СКИТАЛЕЦ

Составление,
подготовка текста
и предисловие
А. Трегубова

СКИТАЛЕЦ, ЕГО ВРЕМЯ И КНИГИ

Эпоха революции 1905 года, вызвавшая к жизни лучшие творческие силы русской радикально настроенной демократии, характеризовалась подъемом передовой, связанной с интересами трудящихся масс реалистической литературы.

Героизм и мужество народа, поднявшегося на борьбу с помещичье-буржуазным гнетом, вдохновляли писателей-демократов на создание произведений, проникнутых боевым революционным духом. Писатели-реалисты видели основную свою задачу в стремлении служить народу, возбуждать «и мужество и гнев пылающий».

М. Горький глубоко осознал значение и место передовой демократической литературы в назревавших революционных событиях 1905 года. Он стремился собрать воедино, скрепить организационно все живое, демократическое, прогрессивное, что было в литературе и искусстве той поры, чтобы повести непримиримую борьбу с реакционным упадочным искусством.

В годы революционного подъема писатели — «знаньевцы» были единственным и самым крупным творческим объединением, которое активно боролось против литературной и политической реакции в стране. В. И. Ленин высоко оценил горьковские сборники «Знания», определив их, как «сборники, стремившиеся концентрировать лучшие силы художественной литературы» [1].

---

[1] *В. И. Ленин.* Соч., т. 34, стр. 380.

Одним из активных «знаньевцев» был Скиталец, вступивший в литературу в начале 900-х годов. Все лучшее, созданное им почти за полувековой период творчества, неразрывно связано с героической эпохой первой русской революции, с борьбой трудящихся масс за свое освобождение, со светлыми идеалами народа.

Высокая оценка творчества Скитальца по справедливости была дана в приветствии президиума правления Союза советских писателей юбиляру в день его 70-летия в 1939 году:

«В тяжелых условиях царского самодержавия, вместе с демократическими писателями «Знания», под непосредственным руководством Алексея Максимовича Горького, в борьбе с реакционным писательским лагерем создавали Вы передовую русскую литературу, связанную с трудовыми низами общества. Гуманистическими, демократическими тенденциями, горячим интересом и сочувствием к трудящимся и обездоленным проникнуто все Ваше творчество...»

Скиталец (Степан Гаврилович Петров) (1869—1941) родился в селе Обшаровке бывшего Самарского уезда, в семье крестьянина. Детство его было тяжелым и безрадостным. Впечатления этого периода жизни легли в основу многих автобиографических произведений Скитальца. Раннему пробуждению духовных интересов будущего писателя в немалой степени способствовала его бабушка, о которой Скиталец вспоминал с особой теплотой: «Была она талантливой сказочницей. Народных сказок знала великое множество и умела их рассказывать фантастически, великолепным сказочным языком, в лицах, с пением и прибаутками. Именно она своими сказками, кротким характером и всею своею незлобивою и благородной личностью внушила мне на всю жизнь любовь к поэзии, ко всему прекрасному и все лучшие человеческие чувства, каких потом не могли вытравить ни школа, ни люди, ни жизнь».

Благотворно повлиял на формирование будущего писателя и его отец — талантливый, незаурядный человек; он прекрасно играл на гуслях, учился столярному ремеслу, токарному и резному делу, рисованию. Находясь в

больнице в течение двух лет, отец Скитальца изучил арифметику, много читал книг по медицине, праву, астрономии, самоучкой постиг французский язык. Он послужил прообразом главного героя повести «Сквозь строй», рисующей годы суровой юности писателя.

После окончания начальной школы, а затем сельского двухклассного училища Скиталец в 1885 году поступил в Самарскую учительскую семинарию, но не закончил ее: в 1887 году он был исключен из последнего класса за «политическую неблагонадежность». В это время он был связан с передовой, революционно настроенной молодежью, занимался в кружке самообразования семинаристов, где читали «Капитал» Маркса. Здесь же проявились и литературные способности юного Скитальца. Им была написана большая поэма «Кабала» — о трудовой жизни его отца. Поэма была принята редакцией провинциальной газеты, но цензура запретила ее, и она распространялась в рукописных экземплярах.

«С 1893 по 1897 год, — вспоминал писатель, — путешествовал по югу России в поисках жизненного пути: работал в земстве, вращался в студенческих революционных кружках, был певцом в бродячей труппе, с которой исколесил Украину, Крым, Бессарабию, Западный край... В годы этих путешествий случайно впервые начал печататься в провинциальных газетах»[1].

Возвратившись в Самару, Скиталец становится постоянным сотрудником «Самарской газеты», пишет из номера в номер стихотворные фельетоны, рассказы, легенды, поэмы, сказки.

Случилось так, что первый свой фельетон в стихах он отнес в редакцию «Самарской газеты» без всякой подписи. «На другой день, — вспоминал писатель, — я увидел напечатанным мой фельетон за подписью «Скиталец». Когда он зашел в редакцию, его обступили сотрудники и сказали: «Посоветовались мы всем составом и по содержанию вашего фельетона решили подписать — «Скиталец»...»[2]

---

[1] *Скиталец*. Избранные рассказы, «Советский писатель», 1939, стр. 4.

[2] *В. Петрова-Скиталец*. Жизнь и творчество Скитальца. Воспоминания, рукопись.

Так появился его псевдоним, под которым он постоянно выступал в литературе.

Обычно в немногочисленных статьях о творчестве писателя начало литературной жизни связывают с опубликованием рассказа «Октава» (1900 г.) на страницах журнала «Жизнь». Однако большое значение имела его работа в «Самарской газете» (1897—1900 гг.). О значительности самарского периода в творчестве Скитальца говорит тот факт, что работа писателя была замечена и оценена столичной печатью, — факт по тому времени немаловажный. «Удивительное время! — отмечал в 1899 году писатель Чириков. — Как поразительно хорошо стали писать даже некоторые газетные работники. Вот, например, в «Самарской газете» пишет фельетоны некто «Скиталец». Пишет он недавно, но владеет пером так свободно, как будто занимается писательством уже десятилетия».

Решающую роль в судьбе Скитальца-писателя сыграл Горький, который помог фельетонисту «Самарской газеты» войти в «большую» литературу.

Творческая дружба Горького и Скитальца, длившаяся годами, укрепила веру молодого писателя в свои силы. Когда Скиталец при встрече с Горьким рассказал ему о замысле повести «Октава», Горький сказал: «Это можно великолепно написать, и это дозарезу нужно! Это очень важно! Понимаете ли вы, что такие писатели теперь необходимы? Вы — интеллигент, вы из народа, и у вас, по-видимому, столько накопилось здесь! — стукнул он себя в грудь...» Повесть «Октава» была опубликована Горьким в журнале «Жизнь» в 1900 году и принесла Скитальцу всероссийскую известность.

А. П. Чехов назвал повесть «хорошей вещью» [1]. «Критика, — вспоминал позже Скиталец, — два года занималась ею. Рецензии, написанные в связи с этой повестью, в десять раз больше самой повести».

М. Горький вовлек Скитальца в активную революционную работу. За пропаганду среди сормовских рабо-

---

[1] *Евт. Карпов.* Две последние встречи с А. П. Чеховым, журнал «Рампа и жизнь», 1914, №№ 24—25.

чих Скитальца и Горького арестовали 17 апреля 1901 года. Поводом для ареста послужило обвинение в приобретении мимеографа для печатания революционных прокламаций и воззваний. Горького выпустили из тюрьмы через месяц на основании врачебного заключения о плохом состоянии здоровья, а Скитальца — через три месяца с последующей высылкой в село Обшаровку под надзор полиции. Однако по пути на родину, в Самаре, его снова арестовали. В тюрьме им были написаны повесть «Сквозь строй», о которой хорошо отозвался Л. Толстой, рассказ «За тюремной стеной» и цикл стихов.

Примечателен и другой факт: 9 февраля 1905 года был арестован Леонид Андреев с девятью членами Центрального Комитета РСДРП, проводившими собрание в его квартире. Как доносил в департамент полиции начальник Московского жандармского управления, это было собрание «главных деятелей Российской Социал-Демократической Рабочей партии... для выработки программы по вопросу о революционировании народных масс»[1].

Среди задержанных на квартире Андреева был и Скиталец. В донесении об этом сообщалось следующее: «Кроме того были арестованы: 10) крестьянин Самарской губернии Степан Гаврилов Петров (литератор Скиталец), явившийся в квартиру Андреева во время производства обыска; 11) его брат, техник, Аркадий Петров, у коего при обыске отобрано было 100 экземпляров прокламации, только что выпущенной от Московского Комитета Социал-Демократической Рабочей партии, и несколько экземпляров других прокламаций Самарского Комитета Социалистов-Революционеров»[2].

К донесению царские жандармы приложили справки о привлечении к уголовной ответственности каждого из арестованных. Припомнили Скитальцу и его первый арест. Весьма характерны в этой справке подробности «дела»: «Петров, Степан Гаврилов привлекался 17 апреля 1901 года при Нижегородском губернском Жанд. Упр. по дознанию «о приобретении мимеографа и изготовлении революционных воззваний к сормовским рабочим с целью

[1] Цит. по работе Ю. С. Пухова «Л. Андреев и Скиталец в революции 1905—1907 годов», сб. «Революция 1905 года и русская литература», АН СССР, 1956, стр. 418.

[2] Там же.

возбудить их к беспорядкам» и к переписке в порядке охраны «об устройстве демонстрации и недозволенных сборищ в Нижнем-Новгороде и печатании журнала тенденциозных произведений...» [1]

Оказавшись благодаря Горькому в центре литературной жизни, Скиталец деятельно сотрудничает в периодических изданиях демократического направления. Его литературно-творческая работа достигла широкого размаха в связи с организацией издательства «Знание», идейным руководителем которого стал с 1900 года М. Горький.

Скиталец создает в это время наиболее значительные произведения начального периода своего творчества — «Октава», «Квазимодо», «Композитор», «Миньона», «Любовь декоратора», «Сквозь строй» и стихи: «Колокол», «Кузнец», «Гусляр» и другие. Его волнуют актуальные вопросы общественной жизни. За опубликование сатирического памфлета «Газетный лист», в котором едко высмеивается мещанство и жестокое преследование печати царским правительством, едва не была закрыта «Самарская газета». А газета «Курьер», опубликовавшая стихотворение «Гусляр», не смогла избежать этой участи. В письме к К. Пятницкому Горький писал: «...говорят, что автору стихотворение сие даром не пройдет. Цензор сидит на гауптвахте» [2].

Герои многих повестей и рассказов Скитальца 900-х годов — талантливые артистические натуры, народные самородки, остро ощущавшие социальную несправедливость. Это — люди страстной мечты, высоких идеалов, утверждавшие любовь к человеку, верившие в безграничные возможности творческого духа. Вот отец рассказчика Гаврила Петрович, прошедший «сквозь строй» жизни. Он полон высоких духовных интересов: изучает алгебру и физику, чтобы построить вечный двигатель, любит стихи Никитина и Некрасова, читает «Отечественные записки». Просветители отца — семинарист, учитель и письмоводитель, преподававшие ему «новые идеи», — очень ско-

---

[1] ЦГИА, ф. 102, оп. 5, № 2230/1905, л. II об.
[2] «Архив А. М. Горького», т. IV, Гослитиздат, 1954, стр. 114.

ро превратились из наставников в слушателей. «Новые идеи» оказались сокровенными убеждениями отца, которые он «давно уже расточал в своих рассуждениях о жизни». «Ее несовершенство и несправедливость он глубоко изучил на собственном горьком опыте и по поводу сухих и отвлеченных идей сыпал такими художественно-яркими рассказами, что очень скоро обратил своих развивателей в аудиторию». Это сильный, волевой человек, который мог бороться с несправедливостью (вспомним кляузный судебный процесс против него с опорой на лжесвидетелей) и отдаться «счастью битвы».

Весь подтекст ранних повестей и рассказов, основное их идейное содержание приводили читателя к мысли о несовершенстве социального устройства, его враждебности миру подлинной красоты, возвышенных духовных интересов. В силу своей исключительности, определявшейся талантом, пониманием прекрасного, эти герои Скитальца особенно трагично переживали «гримасы жизни», разрыв между мечтой, идеалом и действительностью... Вот безвестный хорист оперной труппы Федот («Миньона»); он мечтает беззаветно служить искусству, целиком посвятить себя воплощению в жизнь его высоких, облагораживающих идеалов. Он тоскует о любви, создав в воображении образ идеальной женщины-мечты, Миньоны, ищет ее в жизни. И находит... «Федот делал чудеса. Бас был безумно влюблен, и в этом заключалась тайная причина того мощного подъема и заразительного вдохновения, с которым он пел... Как в сказке, он вырос в собственных своих глазах, и ему казалось, что нет ничего невозможного, потому что на свете есть Миньона — прекрасная, поэтическая, гармоничная, как музыка, Миньона — вдохновительница, для которой одной льется его пение и всеми струнами звучит его молодое, сильное сердце, впервые пробудившееся для любви...» Но это мечта, а жизнь повернулась другой стороной (и это неизбежно! — утверждает автор) — и Миньона, «гармоничная, как музыка», оказалась просто пошлячкой...

Внешне проста и обыденна история Захарыча («Октава»). Захарыч, обладатель редкого и красивого «сторублевого» голоса, попадает в церковный хор. Подневольная, каторжная жизнь певчего, затхлая атмосфера церковного быта, беззастенчивая эксплуатация одарен-

ных от природы людей очень скоро заставили его «затосковать», задуматься о жизни, где «все перепутано: и добро и зло». Однако основной вывод, к которому приходил читатель, состоял в том, что подлинная красота живет в сознании простого народа, а церковь — один из столпов самодержавия — калечит и уродует душу человека, пожирает ее, словно Молох.

В редкие минуты духовного просветления между изнуряющими церковными службами и пьяным угаром певчие как бы вспоминают, что они — люди, что они тоже должны жить «для лучшего». «Будем громко петь о горькой нужде, — говорит октавист Томашевский, — ...и о том, как идем мы к погибели, оттого, что мы артисты, а не жулики, оттого, что у нас не умерла душа и мы еще можем чувствовать и петь, искренне веселиться и искренне плакать!»

Герои ранних произведений Скитальца — сильные, волевые люди, но не активные борцы.

Кузнец Федор Иванович (рассказ «Кузнец») сознает свое человеческое достоинство, превосходство над «хозяевами». Он знает, что его руками и руками таких тружеников, как он, создаются все богатства на земле. Гордость и сознание превосходства делают его независимым, способным к бунту. Он чувствует себя подлинным хозяином жизни и потому бесстрашно бросает вызов своим поработителям: «Вы — хозяева завода, а я — хозяин дела, хозяин этих машин, в которых вы ничего не смыслите!» «Без врагов и без сражений — тебе и жизнь не в жизнь! — говорит один из персонажей рассказа. — И каждому делу, каждому чувству ты отдаешься весь целиком, без раздумья! Тебе бы надо жить во времена Стеньки Разина! Ты — человек цельный, из одного куска!»

Несомненное идейно-тематическое родство можно установить между персонажами этих рассказов и лирическим героем поэзии Скитальца.

Политически актуальные и злободневные стихи Скитальца пользовались огромной популярностью у читателей и были ненавистны цензуре. Так, о стихах Скитальца, напечатанных во втором сборнике «Знания», Петербургский цензурный комитет отзывался, как о «несомненно тенденциозных, намекающих на будущее разрушение и освобождение народа».

Однако нельзя не отметить отличительных особенностей в идейном содержании ранних стихов и прозы Скитальца, которые были замечены и тогдашней критикой: «...песни Скитальца не кованые, — писал критик «Русской мысли», — а звучные, сильные, оригинальные по размеру и настроению, и если в них слышится правда, много возмущения и гнева, то его рассказы не дышат местью и проклятием, не дики они и суровы, и не груб его голос, не чужд он словам любви...» [1]

Тема протеста, бунта, «распрямления» человека, характерная для творчества Скитальца в период революционного подъема накануне 1905 года, решалась писателем с гуманистических, общедемократических позиций; герои еще не поднимаются до осознания политической борьбы, они способны пока на стихийные выступления: это были только «искры возмущения».

Рассказы и повести Скитальца по-горьковски овеяны романтикой. Своеобразный быт средневолжских сел, где память народная хранила воспоминания о седой старине, поэтизировала удаль, свободу, веселый разгул; волжские песни, прославлявшие богатырский размах и силу народную, широкую заволжскую степь и «буйную волю», — все это составляло необходимый фон ранних стихов и многих рассказов, и потому герои казались более цельными, необычными, величавыми...

Атмосфера романтической приподнятости, лиризма и задушевности определялась еще и тем, что Скиталец умело вводил в художественную ткань произведения песню и музыку. Так, он находил чудесные краски для изображения процесса пения: «Этот чугунный, грохочущий голос, печальный и мрачный, был тверд и тяжел; казалось, что его можно было ощупать рукой в воздухе и что, дойдя до человека, он прижмет его к стене и раздавит... Внизу всего хора, как бы из земли, плыла густая, сочная и вкусная октава. Что-то плодородное, ароматное и девственное чувствовалось в этих ярких и цельных звуках, могучее и устойчивое. Казалось, что этот голос внес сюда всю природу, яркие солнечные лучи, их теплоту, ароматное дыхание зеленых степей, их тайны и теплый запах согретой солнцем земли...»

---

[1] «Русская мысль», книга VII, 1902, стр. 214.

У Скитальца даже пейзаж озвучен, музыкален и потому особенно эмоционален: «А навстречу, подавляя своей мощной шириной, уже мчалось беспредельное море. Казалось, оно дышало. Синие тяжелые волны вздымались ленивою зыбью. Море звенело и пело. Величаво, как орган, гудело оно свою торжественную песнь. В ней говорилось о тайнах мира, о вечности неизменной природы, о непрочности людского счастья».

Бунтарское начало творчества Скитальца вслед за Горьким утверждало новое, активное отношение к жизни, к назначению человека на земле, противостояло пессимизму, унынию, безверию декадентского искусства.

Крупным событием в творческой биографии Скитальца явился выпуск в свет книгоиздательством «Знание» в марте 1902 года первого тома его «Рассказов и песен». Горький внимательно, с большой любовью редактировал каждое произведение этого сборника. Прочтя корректуру книги, он написал К. Пятницкому: «Ваше предположение, что книжка будет иметь успех, — очень радует меня. Очень, очень жажду этого успеха в публике, а если он будет сопровождаться неодобрением критики — я сгорю от восхищения!» [1]

Книга действительно имела большой успех у демократического читателя. Обратил на нее внимание и В. И. Ленин, который находился в это время за границей. Получив в Лондоне пятый том «Рассказов» М. Горького и первый том «Рассказов и песен» Скитальца, он писал матери 7 июня 1902 года: «Горького, Скитальца получил и читал с *очень большим* интересом. И сам читал и другим давал» [2].

Ленин нашел возможным поставить эти две книги рядом, так как были очевидны их идейная близость, революционная направленность, гуманизм, глубокое сочувствие трудящимся массам.

В период революционных событий 1905 года Скиталец продолжает сотрудничать в «Знании», выпускает не-

---

[1] «Архив А. М. Горького», т. IV, Гослитиздат, 1954, стр. 65.
[2] *В. И. Ленин.* Соч., т. 37, стр. 270.

сколько сборников стихотворений, а также публикует рассказы «Полевой суд», «Лес разгорался», повесть «Огарки».

Тема индивидуального протеста, наметившаяся в начальный период творчества, перерастает теперь в тему массовой революционной борьбы против угнетения и бесправного положения народа.

Для подавляющего большинства крестьян в революции 1905 года важнейшим был вопрос о разделе помещичьих земель.

Крестьяне глухого поволжского села Селитьбы («Полевой суд») верят еще, что можно «без бунта» отнять землю у графа. Но рушатся их иллюзии одна за другой, — не помог ни царский, ни «полевой суд» — старинный прадедовский способ решать спорные вопросы «по справедливости». За самовольную запашку графской земли сорок три крестьянина были арестованы и заключены в тюрьму.

Более решительны в своих действиях крестьяне в рассказе «Лес разгорался» (1905). Они уже вооружились «мечом освобождения», готовятся в борьбе отстоять свои права: беспрерывно горящий лес, поджигаемый то с одного, то с другого конца, является выражением их окрепшего стремления «бунтовать».

Повесть «Огарки» (1906) — «талантливая повесть совсем горьковского типа» (по отзыву А. Блока) — на новом этапе продолжала так называемую «артистическую тему».

Огарки — это незаурядные личности, исторгнутые жизнью, отверженные, вынужденные опуститься до богемы. Необычайно разнообразны и живописны персонажи этой повести: артист Илья Толстый, певец Северовостоков, слесарь Михельсон, высланный из Петербурга за политическую неблагонадежность, кузнец Сокол и другие, жившие надеждами попасть на «вольные земли», где не попрана справедливость, не унижен талант и разум, где человеку легко дышится.

Повесть сильна своей критической направленностью. С полным основанием А. Блок, ознакомившись с «Огарками», выражал уверенность, что «есть много таких людей, которые прочтут «Огарков» — и душа их тронется,

как ледоходная река, какой-то нежной, звенящей, как льдина, музыкой»[1]. Основной лейтмотив этой музыки — борьба, скорая и справедливая, во имя уничтожения социального строя, уродовавшего душу человека. Устами бывшего журналиста Небезызвестного автор заявлял обществу: «Придут дни, великие дни! Мелкую речку покроет грозное, бушующее море, будет великая буря, великий гнев. И в первой волне возмущенного народа пойдут Михельсоны и Соколы; Северовостоковы будут строить баррикады, поднимая самые громадные тяжести, и будут драться на баррикадах все долго и много терпевшие, все озлобленные, все годами копившие горечь свою, и явятся среди них вожди и герои!»

Как художник-реалист, стоявший на общедемократических позициях, Скиталец сумел уловить в жизни новые веяния, однако революционные идеалы, во имя которых герои произведений Скитальца вступают на путь борьбы, нечетки; неясны были писателю и реальные пути для достижения конечных целей.

Скиталец не поднялся до понимания исторической роли пролетариата, и поэтому в «Огарках» нет резкой границы между передовыми, революционно настроенными пролетариями и представителями «дна», богемы, деклассированными элементами; противоречивы политические установки и в рассказе «Лес разгорался». Ограниченность мировоззрения писателя сказалась в том, что город, изображенный в этом рассказе, символизирует только темные, враждебные деревне силы. Протестуя против обнаженных уродств капиталистического города, Скиталец не понимал, что именно там, в жестокой классовой борьбе зарождался пролетариат, вызревало его революционное самосознание, ковалось оружие для борьбы не только с прогнившим феодально-крепостническим строем, но и восходящим классом буржуазии, что деревня добьется разрешения своих проклятых вопросов только в союзе с революционным пролетариатом, под руководством его партии, открывшей законы преобразования общества в интересах трудящихся масс.

Эту ограниченность позиции автора в рассказе «Лес разгорался» верно подметил М. Горький. В одном из пи-

---

[1] *А. Блок.* Собр. соч., т. X, стр. 43.

сем в декабре 1905 года он писал К. Пятницкому: «рассказ очень недурен, но сильно эсероват. Социалисты-революционеры возликуют — это вода на их мельницу» [1].

Понадобился большой исторический опыт для того, чтобы Скиталец понял великую освободительную миссию пролетариата, его революционного авангарда (романы «Дом Черновых» и «Кандалы»).

В 1908 году вышла в свет повесть Скитальца «Этапы» (первый вариант). В ней не было прежних бунтарских настроений, не было речи об освобождении народа. Повесть, в значительной своей части автобиографичная, воспроизводит трудный период вступления в жизнь интеллигента в начале 90-х годов.

Безысходная тоска одинокого, обозленного на мир интеллигента, лишенного связи с народом, метавшегося в поисках жизненного пути, — вот что составило содержание этой повести.

Главный герой — презирающий всех некрасивый горбун с огненно-рыжей гривой, рвущийся из душной неволи провинциальной жизни. В повести нет широкого жизненного фона, излишне резко подчеркнута беспросветная жестокость социальных уродств, почти фатальная их неизбежность. Фальшиво звучат страницы, рассказывающие о сострадании к народу, который, якобы в безотчетном стремлении, несет к «святым мощам» все самое сокровенное: «скорби и жалобы, и слезы свои, и мечты, и мольбы».

Повесть вызвала суровое осуждение Горького, который не давал своего согласия на ее публикацию в XXV сборнике «Знания», но она была напечатана К. Пятницким без его ведома.

В письме Скитальцу Горький писал: «Три года тому назад наша страна пережила великое сотрясение своих основ, три года тому назад она вступила на путь, с коего никогда уже теперь не свернет, если б даже и хотела этого. Неужели этот поворот, историческое значение которого так огромно и глубоко, прошел для Вашего героя незамеченным, не оживил, не расширил, не взволновал Вашей души радостным волнением, не зажег огонь Вашей любви к родине новыми, яркими цветами? Повесть говорит — нет...»

---

[1] «Архив А. М. Горького», т. IV. Гослитиздат, 1954, стр. 192.

Горький правильно сумел определить истоки творческой неудачи первого варианта «Этапов»: «Вам, видимо, не о чем писать, кроме себя самого...» «Писать себя», потеряв историческую перспективу, отказавшись от больших социальных задач, объективно означало содействие политической реакции.

Творческая неудача, суровое осуждение Горького, наконец, причины семейные (первая жена Скитальца в течение многих лет страдала тяжелым недугом) заставили Скитальца почти умолкнуть в литературе. Однако при этом следует подчеркнуть, что в эпоху мрачного безвременья в литературе писатель не переметнулся в стан реакции, не продал свое перо. Он был одним из последних «знаньевцев», покинувших «Знание», когда с отъездом Горького за границу фактически им стал руководить К. Пятницкий.

В 1915 году Скиталец по мотивам повести «Огарки» написал пьесу «Вольница», которая была запрещена цензурой к постановке и только в 1919 году увидела свет. Пьеса имела успех.

В 1914—1917 годах Скиталец увлекается фольклором, народными песнями, выступает на многих литературно-вокальных вечерах (он проехал с концертами от Петрограда до Владивостока и через Маньчжурию в Харбин).

В эти же годы Скиталец обращается и к мемуарному жанру, были опубликованы его «Воспоминания», «Юность», «Метеор».

После Великой Октябрьской социалистической революции, не осознав громадного всемирно-исторического сдвига в судьбе нашей родины, Скиталец легальным образом переехал жить в Харбин. В своей автобиографии он писал об этом следующее: «Весной 1921 года А. В. Луначарский командировал группу писателей во Владивосток — организовать там советскую газету. В этой группе участвовал и я. Когда группа доехала до Читы, Владивосток заняли белые. Организовали газету в Чите, но в маленьком городе, в голодный 1921 год, без материальной базы газета не выдержала расходов и к концу года прекратила свое существование.

В конце декабря 1921 года правительство ДВР командировало меня в Харбин для постановки моей пьесы» (имеется в виду «Вольница». — *А. Т.*).

За время пребывания в Харбине в течение двенадцати с половиной лет Скиталец создал второй вариант повести «Этапы», написал новый роман «Дом Черновых» о судьбах русской интеллигенции после революции 1905 года, а также работал над большим романом «Кандалы» — об истории возникновения маленькой республики в Самарской губернии в годы первой русской революции. В этот же период были написаны и многие воспоминания — литературные портреты, впервые собранные в настоящем сборнике и открывающие новую грань творческого наследия талантливого писателя.

Находясь многие годы в гуще литературной жизни России, Скиталец общался с выдающимися мастерами русской литературы и искусства: М. Горьким, Л. Толстым, А. Чеховым, Л. Андреевым, В. Короленко, С. Сергеевым-Ценским, А. Серафимовичем, Ф. Шаляпиным, В. Маяковским, А. Дуровым и другими. Мемуарные очерки, скромно названные автором «Встречи», воссоздают не только портреты выдающихся деятелей русского искусства, но и боевое, кипучее время, творческое горение, страстную заинтересованность их в судьбах отечественного искусства, родного русского народа. Да, это было время, как свидетельствует Скиталец, когда «отовсюду как бы выпирало молодую русскую талантливость, все расцветало: сцена — с Художественным театром, Комиссаржевской, Шаляпиным и Собиновым; живопись — с Васнецовым, Врубелем, Малявиным; музыка — с Рахманиновым, Скрябиным и Глазуновым; литература — с Горьким, Андреевым, Буниным.

В воздухе веяло обновлением, и казалось, вся Россия пробуждалась, грезила сказочными, радужными снами».

Скиталец — мастер литературного портрета; немногими штрихами ему удается нарисовать запоминающийся образ великого современника.

В начале своего жизненного пути Скиталец трижды встречался с Владимиром Ильичем Лениным. Вот юный Ленин в Самаре в 1887 году. Огромное обаяние, простота и человечность, тонкий аналитический ум, глубокая целеустремленность запомнились Скитальцу на всю жизнь. Второй раз Скиталец встречался с Лениным в Женеве в 1903 году. В 1905 году состоялась третья встре-

ча. 3 декабря 1905 года была закрыта первая легальная газета большевистской партии «Новая жизнь», на страницах которой печатались произведения Ленина и Горького. Экстренное заседание произошло на квартире Скитальца, где собрались, совместно с Лениным и Горьким, до сорока сотрудников закрытой газеты.

В. И. Ленин в своей повседневной политической работе, в непримиримой идеологической борьбе с врагами революции умело использовал не только огромную научно-историческую аргументацию, но и литературу, искусство. Так, например, при оценке предательской роли либеральной буржуазии В. И. Ленин воспользовался образной характеристикой определенного исторического этапа в развитии первой русской революции, данной Скитальцем в стихотворении «Тихо стало кругом». В работе «Победа кадетов и задачи рабочей партии» (1906) Ленин писал: «Когда наступает затишье после отчаянной борьбы, когда наверху «отдыхает уставший от победы», обожравшийся зверь *, а внизу «точат мечи», собирая новые силы, когда начинает снова понемногу бродить и кипеть в народной глубине, когда только еще готовится новый политический кризис и новый великий бой, — тогда партия мещанских иллюзий о народной свободе переживает кульминационный пункт своего развития, упивается своими победами».

Чтобы пояснить свою мысль и сделать понятными поэтические образы зверя, отдыхающего от победы, и подспудное вызревание новых революционных сил, которые «точат мечи», В. И. Ленин в сноске приводит следующие стихотворные строки:

«* *Скиталец* — «Тихо стало кругом»: «Струны порваны! песня, умолкни теперь! Все слова мы до битвы сказали. Снова ожил дракон, издыхающий зверь, и мечи вместо струн зазвучали... Тихо стало кругом; в этой жуткой ночи нет ни звука из жизни бывалой. Там — внизу — побежденные точат мечи, наверху — победитель усталый. Одряхлел и иссох обожравшийся зверь. Там, внизу что-то видит он снова, там дрожит и шатается старая дверь, богатырь разбивает оковы» [1].

Этот факт свидетельствует о постоянном интересе

[1] *В. И. Ленин.* Соч., т. 10, стр. 194.

Ленина к делам горьковского «Знания», к творчеству писателей горьковской «литературной дружины».

Большая творческая дружба связывала Скитальца с Горьким и Ф. Шаляпиным. Под пером Скитальца во весь исполинский рост встают эти гиганты русского искусства, приумножившие его мировую славу. Горький — это человек, который имел необыкновенный талант «возиться» с людьми, помогать им словом и делом, мудрым советом, верил в лучшие качества человека, ободрял в минуты невзгод и сурово журил за неверные шаги и ошибки. По существу, Горький—это тип человека, писателя, трибуна, борца, вызванный к жизни новой эпохой социалистической революции. Неуемная натура, энциклопедически образованный человек, талантливый художник, несгибаемый борец — таким его рисует Скиталец в своих мемуарах. Чувство признательности и большой любви к этому человеку Скиталец пронес через всю свою трудную жизнь.

Вернувшись на родину, Скиталец в одном из писем писал Горькому: «В оргкомитете я еще не был и ни с кем не виделся, хочу прежде увидеться с Вами...

Свидание с Вами, кроме естественной радости после многих лет невольной разлуки, дорого для меня еще и потому, что, намереваясь вновь выступить в родной литературе, сильно нуждаюсь по старой памяти в Ваших добрых и мудрых советах.

Хотелось бы в конце жизни еще раз взглянуть в Ваши вдохновенные очи, услышать доброе слово, почерпнуть в них новые силы...»

В обширной мемуарной литературе о Горьком воспоминания Скитальца занимают свое определенное место, помогают воссоздать дорогие черты Максима Горького.

С огромной душевной симпатией рассказывает Скиталец о Л. Толстом, А. Чехове, В. Короленко, Н. Златовратском.

Воспоминания Скитальца — это своеобразные картины литературной и общественной жизни России в канун революции 1905 года.

Театр, опера, литературные журналы, вечера, собрания, демонстрации, петиции, протесты, новые произведения литературы — все это было проявлением огромного общественного подъема, охватившего страну.

Вот телешовские литературные «Среды», где собирался цвет тогдашней литературы... Горячие споры, обсуждения книг... «Среда» была «чистилищем», — вспоминает Скиталец, — через которое проходило каждое новое произведение ее участников прежде, чем попадало в печать». Это творческое объединение стало особенно активным зимой 1903 года, когда из провинции переселились в Москву все его участники. Именно здесь окрепли связи многих писателей, составивших ядро горьковского «Знания».

В воспоминаниях Скитальца дается характеристика литературной жизни реакционного лагеря. «После поражения революции 1905 года, — пишет Скиталец, — началась беспощадная расправа, водворилась на много лет гнетущая, тупая реакция.

Реакционный политический режим породил у части интеллигенции реакцию внутреннюю, психологическую, уныние, пессимизм и упадок духа, сказавшийся в потребности найти забвение в чем-то другом: искали суррогатов в опьянении себя вином, кокаином, половой распущенностью, азартной игрой; мрачным флером подернулось затуманенное сознание разочарованных душ, утративших веру в лучшее будущее.

«Все насмарку и всему конец» — приблизительно такими словами обозначали эту длительную полосу отчаяния и горького разгула».

Мотивы мрачной безысходности, уныния, пессимизма мутным потоком хлынули на страницы журналов. Скитальцу, выходцу из глубин народных, убежденному демократу, претит вся эта пестрая нагота декадентщины. Разоблачению декаданса, его антигуманистической сущности посвящено немало страниц в романе «Дом Черновых».

Однако при всей определенности отношения Скитальца к декадентскому направлению в искусстве, страницы воспоминаний не дают политической оценки этого явления. Скиталец рисует как бы бытовую, «житейскую», по существу внешнюю сторону литературной реакции. В этой же связи следует сказать и о Л. Андрееве; его переход в лагерь антидемократического искусства Скиталец объясняет чисто психологическими, глубоко личными мотивами. Но в искусстве, как и во всякой иной сфере об-

щественной жизни, прежде всего действуют неумолимые законы классовой борьбы, и логика этой классовой борьбы определяет поведение, взгляды, интересы, идеи и стремления представителей каждой из борющихся сторон.

Ошибочны взгляды Скитальца и в оценке русского футуризма. В очерке о В. Маяковском он пишет: «В поэзии в самом начале социального катаклизма в первые ряды призваны были футуристы — по духу их творчества революционеры и новаторы». Однако анализ исторических фактов не позволяет сделать такой вывод. Футуризм — одно из крайне правых буржуазных течений в искусстве, в котором заумное словотворчество было самоцелью, формалистические выкрутасы ничего общего не имели с подлинно революционными поисками новой формы и содержания в поэзии, проводившимися Маяковским.

Воспоминания Скитальца, над которыми он работал в последнее двадцатилетие своей жизни, входят существенной составной частью в творческое наследие писателя; они значительно расширяют наши представления о творческом облике писателя-реалиста Скитальца, бытописателя эпохи первой русской революции.

Великие события, свидетелем которых был Скиталец, заставили его поразмыслить над историческими перспективами и четче определить свое место в жизни народа, в судьбах родины. Разгромив интервентов, освобожденный народ приступил к строительству новой жизни. Страна быстро вставала из пепла и развалин. Новое, социалистическое властно входило в жизнь и заявляло о себе. И всякий честный наблюдатель по ту сторону наших рубежей, чей взгляд не был омрачен звериной ненавистью к победившему народу, кто способен был объективно судить о происходивших больших процессах в нашей стране, не мог не заметить этого нового, не мог не загореться желанием внести свой вклад в созидание новых форм жизни.

Из Харбина в Москву Скиталец вернулся в 1934 году, накануне открытия I съезда писателей, когда молодая советская литература окрепла, набралась сил и намечала пути своего развития. В едином творческом союзе объединялись художники разных стилевых направлений, пред-

ставители старшего поколения и взращенная Октябрем молодая поросль.

Скиталец включился в напряженную творческую работу над новыми произведениями и главным образом над романом «Кандалы».

Писатель принял активное участие в работе съезда. В своей речи он сказал: «Величие наших дней заключается в решающей роли трудящихся масс, в развившейся в них гигантской энергии, направляемой твердой рукой сорганизованного монолитного авангарда...

Наша эпоха — эпоха героизма. В настоящее время, наблюдая кругом кипение бурной жизни, испытываешь бодрое и радостное чувство веры в лучезарное будущее. Когда видишь человеческие массы, организованно идущие историческим путем, сердце невольно бьется в такт молодым шагам, колеблющим старую землю...»

Лучшие произведения Скитальца по праву занимают видное место в творческом наследии писателей-демократов, вступивших в литературу на заре нынешнего века.

А. Трегубов.

Повести и Рассказы

ОКТАВА

I

На краю захолустного уездного города плотники строили двухэтажный деревянный дом. Весеннее солнце ослепительно сияло в голубом небе, и городишко, затерянный среди широкой зеленой степи, мирно дремал, пригретый жаркими лучами. На далеком степном горизонте серебряной рекой струилось марево, в город прилетал теплый ветер, пропитанный запахом степных трав. Улица около постройки сплошь заросла травой; окна домов были закрыты от солнца ставнями; кругом веяло тишиной и ленью, и спокойствие городка нарушала только плотничья песня, звучно и весело разливавшаяся в воздухе. Разделившись на две кучки, плотники стояли на верхних венцах сруба, высоко над землей, и тащили балку. Фигуры плотников в разноцветных рубашках и черных картузах отчетливо вырезались на нежном фоне голубого неба. На одном с ними уровне, как бы мимо них и рядом с ними, плыли причудливые серебристые облака...

Балку вкатывали быстрыми рывками, и поэтому напев был тоже быстрый и веселый. Обе кучки чередовались в песне, перекидывая мотив одна другой. По одну сторону были бородатые пожилые мужики, — они пели густыми, низкими голосами, по другую — собралась молодежь, — она подхватывала песню высокими и веселыми фальцетами.

Ка-а-тай, наши, катай,
Знай покатывай, катай!..—

звенели веселые и переливчатые свежие голоса в чистом и спокойном воздухе, пропитанном смолистым запахом сырого дерева.

И тотчас же с другого угла им вторили басы, ободряющие, солидные, спокойно-уверенные:

Ва-а-ляй, наши, валяй,
Знай по-ва-ли-вай, валяй!

А молодые уже опять заливались:

Ка-а-тай, наши, ка-тай...

Эта бесконечная песня, перебрасываемая от одной кучки к другой, лилась играючи, свободно и легко. Так же двигалась и балка, поднимаясь все выше и выше. Наконец, она вкатилась на верх дома, и тогда зазвучала другая песня.

Здоровенный голос загремел на весь город, всколыхнувши его тишину:

Э-эй, мор-двин, подвинь...

И прежде чем он смолк, вся артель, легко увлекая куда-то балку, густо подхватила:

Да у-ух!..
Э-эй, мо-ордо-во-чку...—

завел опять громадный голосище.

Да ух!..—

подхватывала толпа.

Песня гремела и звенела. Она звучала высоко над городом, под широким простором синего неба, дополняя картину разноцветной артели, плывущих мимо нее облаков и раскинутой кругом зеленой степи.

Артельный запевала, обладавший могучим голосом, вдохновлял и увлекал не только всю артель, но и прохожих. Несколько фигур стояли внизу около постройки и, задравши головы, слушали, как из артели плыл густой, как смола, крепкий и свежий голос:

Э-эй... мо-ордо-вский сын, да-о!..

Тщедушный уездный дьякон, в соломенной старой шляпе и голубом полукафтане, с любопытством остано-

вился в отдаленье и слушал, играя перстами в своей козлиной бороде. Он склонил голову набок и с видом знатока вслушивался в могучий голос.

Когда плотники умолкли и стали сходить по мосткам на землю, он подошел ближе и закричал им резким басом:

— Эй, ребята! А который из вас запевало?

Плотники поглядели на дьякона.

— А вот он, отец дьякон! Эй, Захарыч, покажись отцу дьякону!

На верху сруба, как на пьедестале, появилась крупная фигура мужика в пестрядинной рубахе, синих портах и лаптях. Он был среднего роста, с огромным туловищем на несоразмерно коротких и толстых, как тумбы, ногах, широкоплечий, с выпуклой богатырской грудью и кудлатой, большой головой. Безобразное, с толстым носом, широкое лицо обросло рыжей клочковатой бородищей. Похожий на языческого идола, он стоял, упершись руками в бока, и казался богом плотничества, олицетворением всей этой незатейливой, но крепкой и незыблемой жизни. Он царил здесь, созданный как бы только для этой жизни, наилучшим образом приспособленный к ней.

Дьякон поднял бороду кверху, чтобы разговаривать с плотником, фигура которого подавляюще высилась над ним.

— Это у тебя такая здоровая глотка? — спросил его дьякон.

— У меня-а! — ухнуло сверху. — Хо-хо!

Плотник засмеялся тяжелым и круглым, как бревно, грудным смехом.

— Ему в хайло-то ваша шляпа пролезет, отче! — говорили плотники. — В рясу бы его обрядить, ваше преподобие!

Собираясь обедать, они сходили на землю с кошелями, обрубками дерева и крупными щепками под мышкой.

— А ну, слазь, Захарыч! — закричал дьякон. — Я поговорю с тобой!

Захарыч тяжело и медленно стал спускаться по сходням, и они гнулись от его шагов.

Когда он предстал пред дьяконом, тот невольно от-

ступил, как бы почувствовав свою хилость в сравнении с этим богатырем, от которого веяло несокрушимым здоровьем, силой и крепостью, как от смолистой крупной сосны, глубоко пустившей крепкие корни в чаще тихого, девственного леса. Все в Захарыче было аляповато, грубой, топорной работы, но крупно и крепко. Казалось, что природа, создавая его, имела идею слепить что-то выдающееся, наскоро затратила на эту мощную фигуру огромные куски дорогого материала с целью обработать его после, но потом почему-то так и оставила Захарыча неотесанным. В его фигуре истукана и нечеловеческом голосе было нечто, внушающее страх, и только огромные, как у быка, глаза светились добродушным спокойствием и наивностью ребенка. На вид ему казалось лет сорок; густые, крепкие спутанные кудри его были перевиты серебристыми нитями.

— Тебе чово? — спросил он с сильным ударением на «о».

— Чово! — передразнил его дьякон. — А ты вот «чово», что не поешь в церкви с этаким голосищем?

— На́што? — добродушно отвечал Захарыч. — Мне и здесь хорошо!

Он повел могучим плечом и с любовью окинул глазами плотничью работу, синее небо с плывущими облаками и зеленую степную даль.

Дьякон хлопнул себя по бедрам.

— Как «на̀што»? — вскричал он, энергично потрясая бородой. — Бог тебе дал талант, значит нужно тебе не «дубину» орать, а в божьем храме петь, чтобы люди слушали и умилялись. Твой голос для украшения хора и церковных песнопений может служить! Разве это плохое дело? Ведь это — кому? — внушительно подняв кверху палец, спросил дьякон. И, помолчав, сам ответил: — Б-богу! — и отступил от Захарыча, строго глядя на него с поднятой кверху рукой, перстом указующей в небо. — Ему должен служить тот человек, который имеет от него талант, а не себе! В писании сказано: «Овому даде талант, овому два... Кому дано много, с того много и взыщется!»

Захарыч задумчиво и внимательно слушал хилого, но горячего дьякона. Остальные плотники тоже медлили

уходить и, слушая дьякона, зорко смотрели на товарища, точно видя в нем что-то новое.

— Оно, конечно... — виновато и медленно ответил Захарыч, — да где же нам? Мы неграмотные... ничего не знаем...

— Там выучат и еще тебе же деньги будут платить! Ну-ка, скажи: «Вонмем!»

— Гы!.. — густо усмехнулся Захарыч.

— Не «гы», а ты бери! Вот так!

И дьякон, выпрямив грудь и сложив губы трубой, затянул, потрясая козлиной бородой:

— Во-о-н-мем! Вот так! У тебя лучше моего выйдет! Ну! Разевай глотку, я послушаю.

Захарыч сконфузился, покраснел и, набрав в грудь воздуха, загудел, как труба, на целую октаву ниже дьякона:

— Во-о-н-мем!

И тут он сразу увидел свое превосходство над дьяконом. У Захарыча вышло, как будто в праздничный колокол ударили, торжественно, густо и добротно, а у дьякона голос дребезжал, как разбитый чугун.

— Да у тебя октава! — всплеснув руками, закричал дьякон и, подойдя вплоть к лицу Захарыча, заговорил тихо и вразумительно: — Да знаешь ли, глупый человек, что ты совсем не ту ноту взял, на шесть тонов ниже: я сказал в среднее «до», а ты закатил в нижнее, да как!.. Аж земля загудела! У тебя октава, чудак ты этакий! Знаешь ли ты, что такое октава? Это золотой голос! Сторублевый голос! Цены нет твоему голосу! Эх, дурак!

Дьякон тряхнул бородой и добавил с грустью:

— Экий капитал пропадает! Поступай в певчие! До дьякона достукаешься!

Захарыч почесал в затылке, посмотрел на свои лапти, на синие порты, на обрубок дерева под мышкой...

— Где нам до дьякона? — отвечал он. — Наше дело плотницкое... мы топором...

— То-по-ром! — уныло передразнил дьякон и вдруг опять энергично затряс бородой. — Хошь, сейчас в хор определю? И плотничество не надо бросать: по праздникам ведь поют-то. Ну! Пойдем... я тебя регенту покажу!

Он схватил Захарыча за руку и потащил за собой. Молча и долго смотрели плотники, как товарищ уходил

от них вдоль по улице, заросшей зеленой травой. Захарыч шагал, задумчиво опустив голову, а дьякон, развевая широкими рукавами голубой рясы, разводил руками и мотал бородой.

— Увел! — сказал один плотник, прерывая молчание.

— Нештó! — добавил другой.

— Айда, ребята, обедать! Теперь Захарыч у нас в божьи дудки, значит, записался! — весело воскликнул молодой парень с рыжими волосами в кружало, торчавшими из-под картуза.

— Что ж! — солидно возразил один из пожилых. — Дьякон верно говорил: богу это!

— Да богу-то богу, а не рука все-таки плотнику в певчие лезть. Что он может? Для бога! Богу-то и топором послужить можно!

— Как же топором-то?

— А по церквам? Строй церкви! Вот тебе и в плотничьем виде можешь рвение оказать! Напрасно дьякон мужика сбивает! Одна склока!

Гурьбой, все с обрубками и щепками под мышкой, плотники шли по зеленой тихой улице и обсуждали судьбу Захарыча.

— Вросло, скажем, дерево в землю, — говорил высокий и худой старик, — хорошее дерево! А пересади-ка его на другое место, так оно, пожалуй, и пропадет! И человек то же, что дерево: пошто отрывать его от корня?..

II

В губернском городе на Волге по всем церквам звонили ко всенощной. В морозном зимнем воздухе, перепутываясь, плыли густые колокольные звуки. Зимняя ночь опускалась над городом, в домах зажигали огни, и на темном небе всплывали звезды...

К домовой церкви городского училища шел народ, то и дело подъезжали щегольские сани. В этой церкви был канун «престола», и там пел хор певчих, лучший в городе. Хор этот содержал купец Понедельников, церковный староста и попечитель училища. Церковь, прилегающие к ней коридоры и даже лестница были набиты народом. Певчие помещались не на клиросе, который был мал, а

на особо устроенной эстраде, отгороженной перилами, у задней стены церкви, входные двери были устроены в боковой стене.

Большой хор занимал всю эстраду, выстроенный на ней рядами в полукруг, как на сцене. Впереди, вытянувшись как игрушечные солдатики, стояли мальчики в серых курточках, а позади них в два ряда виднелись взрослые певчие: справа тенора, франтоватый народ, слева басы, огромные, мрачные люди, с густыми гривами до плеч; на заднем плане, в тени, видны были фигуры людей с длинными окладистыми бородами.

Около перил, перед иконой, стоял толстый, лысый купец, лет пятидесяти, с окладистой седоватой бородой и суровым взглядом, одетый в черный длиннополый сюртук и высокие лакированные сапоги. Это был Понедельников. Между купцом и иконой сиял тяжелый серебряный подсвечник, уставленный множеством восковых свечей. Рядом с Понедельниковым стоял регент, с очень длинными, свешенными вниз усами, с чубом на круглой стриженой голове и серьезным взглядом, в глубине которого светился скрытый юмор.

— Ну что ж, приехал новый октавист? — спросил Понедельников.

Регент шевельнул одним усом.

— Приехал. Пробовал. Голос большой, — отвечал он с расстановкой, точно каждое слово его было золотое и он взвешивал его на руке.

— Выстоит против Томашевского?

— Сильнее. Медный голос.

— Ну-у? Из каких он? Чай, из духовных?

— Нет, из простых. В уездном городе пел. Знает еще плохо, но голос — таких октав я давно не слышал!

— Если выстоит супротив Томашевского, красную дам ему на чай!

— Нет, не балуйте их этим. А то ведь... гнать придется.

— Ну, вот еще! Все равно пьяница, чай?

— Нет. Говорит, не пьет.

— Где уж, чай, не пить!..

В церкви становилось жарко от тесноты, свечей и пылающего вверху паникадила. Темные, старинные лики икон смотрели сурово на густую нарядную толпу. Ее

сдержанный гул, шелест платьев, покашливанье и шум от толкотни смешивались с треском свечей и позвякиваньем раздуваемого кадила. С улицы глухо доносился трезвон колоколов. Пахло ладаном, топленым воском и потом.

Зашуршала и отдернулась завеса «царских» дверей, на амвон медленно вышел сутуловатый и приземистый протодьякон в белой серебряной ризе. Его длинные тяжелые волосы лежали по плечам и спине.

Всенощная началась.

Регент строго поводил по сторонам блестящими глазами, требуя внимания. Вид у него был торжественный и суровый. Он похож был на Святослава перед боем или запорожского гетмана: длинные усы его свирепо шевелились, чуб на стриженой голове встал, ноздри горбатого носа раздулись. Регент величественно поднял руки.

Пение началось нежным аккордом, разрослось, расширилось и стихло, закончившись замечательно густым и приятным звуком серебристой октавы.

Этим красивым голосом пел самый молодой из басов. Высокий, стройный, с белым интеллигентным лицом, с небольшими усиками юноша лет двадцати пяти; он был чисто одет, и благообразное лицо его резко выделялось из кучи хохлатых голов, длинных бород и опухших физиономий. Его мягкий голос затушевывал все шероховатости и мелкие недостатки хора, объединяя все звуки в одно целое — в круглый и густой аккорд.

В половине всенощной на эстраде из боковой двери появился Захарыч. Он был в плотно застегнутом казинетовом «пеньжаке» и кожаных мужицких сапогах. Кудрявые волосы, перевитые сединой, лежали венком на его широкой голове. Он истово перекрестился на иконы и вопросительно взглянул на регента. Тот молча указал ему место рядом с молодым октавистом, и Захарыч скромно встал к стенке.

От копоти и ладана в церкви стоял туман; с ярко освещенной эстрады трудно было различить в этом тумане плотную толпу народа: она только шевелилась, гудела, вздыхала и казалась одним существом, которое дышало одной грудью, одним дыханием. Хор однообразно гудел «Господи, помилуй», и, как отзвук после удара в колокол, струилось «луй» молодого октависта. Захарыч мол-

чал. Он с удовольствием слушал это стройное, равномерное пение. Голоса звучали свободно и легко, никто не жилился и не выходил из себя. Молодой октавист умел пускать свой львиный рев так благородно и мягко, что хотелось подойти и расцеловать его за то, что у него такой бархатный, масленистый и сочный голос.

Заслушался Захарыч хорошего пения и не решался показать силу своего голоса. Стесняла его и публика, наполнявшая церковь: виднелись фигуры барынь, господ и купцов, а простого народу совсем не было.

Но вот регент поглядел на него и шевельнул длинным усом. Захарыч начал подпевать. Голос его своим колокольным рокотом, как звон огромных медных струн, тотчас же отделился от мягкого голоса его соперника. На общем нежном фоне хора гудение Захарыча выступило металлически ясно, точно лилось оно из медной груди. Тогда его соперник стал петь сильнее, но и Захарыч, осмелев, загудел, как машина. Они тянули «луй» все время, пока дьякон читал, — ни один не хотел кончить раньше другого. Голоса их подавляли хор и рокотали, как большие колокола.

Началось состязание.

Купец Понедельников и еще несколько толстых купцов, обернувшись к хору, смотрели, не сводя глаз с октавистов, да и весь остальной народ с напряженным любопытством слушал эти потрясающие звуки. Из-за их «луй» не было слышно ни дьякона, ни священника, ни пения хора. Это уже было нехорошо, но регент сам увлекся их борьбой и не запрещал им реветь, как двум бодающимся буйволам.

А они стояли рядом и, косясь друг на друга, рылись в низких рокочущих звуках. Один, молодой, красивый, закинул голову кверху и выставил громадный двойной кадык, другой, безобразный, широкий, уперся подбородком в широкую выпуклую грудь и поводил исподлобья большими глазами.

Груди их, высоко подымаясь, работали, как кузнечные мехи. В воздухе, лишенном резонанса, голоса их, охватив друг друга, густой волной носились над толпой людей, и доски эстрады гудели под ногами октавистов, как верхняя дека огромного контрабаса. Голос Захарыча был сильнее, но соперник его имел перед ним другие

преимущества: хитрость и ловкость. Он давал Захарычу выпустить половину силы и как будто уступал, но в конце вдруг обнаруживал всю свою силу и обрушивался на Захарыча.

Ектения кончилась, прервав на минуту борьбу. Регент задал новый тон, и хор опять запел. Соперник Захарыча играл своей октавой, как мячиком, упруго и легко перескакивая с ноты на ноту, точно в струны ударял, а Захарыч, не поспевая за ним, сердился на самого себя. Чувствуя превосходство свое в силе, он завидовал уменью соперника, и его обижало сознание бесполезности силы. Неужто здесь, в городе, не сильный побеждает, а ловкий? И плотник ощутил в себе раздражение против городских тонкостей...

Началось тягучее тихое пение «ирмосов», все основанное на октаве. Захарыч решился сломить своего увертливого противника.

Колокольчиками звенели тенора и дисканты и плыли, качаясь на широкой басовой волне, разливались все шире, становились сильнее, точно приближался величавый девятый вал... Захарыч глубоко вздохнул, набрал в грудь воздуху и приготовился, сердито нахмурив брови.

Вот регент величественно развел руками, повернулся лицом к октавистам и, наступая на них, задержал бушующий, широкий аккорд.

Оба октависта раскрыли свои глотки и наполнили душную церковь львиным ревом. Гребень высоко поднявшейся волны звуков обрушился и разлился с грохотом и звоном. Захарыч надулся, короткая шея покраснела, пуговицы ворота у рубашки отлетели, и выпустил из груди целый вихрь густых и бурных звуков. Эта волна, как порыв бури, всколыхнула воздух, поглотила хор и раздавила хрустальную октаву молодого человека. Затихал хор уже без октав. Оба певца, измученные, остановились и тяжело дышали. Пот струился по их лицам. Купцы с восторгом смотрели на Захарыча и готовы были ему аплодировать: он «заглушил», — значит, состязание было кончено.

После всенощной, когда народ с шумом повалил из церкви, Понедельников подошел к перилам эстрады и громко сказал регенту:

— Нового прими и Томашевского не увольняй: пущай оба ржут.

А потом добавил, усмехнувшись и протягивая двадцать пять рублей:

— Вот это им!.. На овес!

III

Захарыч вступил в жизнь, для него совершенно незнакомую. Он еще никогда не жил в большом городе и не встречался близко с городскими людьми. Теперь пришлось знакомиться и сталкиваться с ними. Певчие были самый разношерстный народ, примениться к ним было трудно. Некоторые, как Томашевский, выглядели господами, другие имели вид пропойц, третьи были похожи на мастеровых. И все они много пили, а Захарыч совсем не пил и поэтому чувствовал себя чужим среди них. Их речи, мнения, поступки и образ жизни — все удивляло Захарыча.

Однажды после обедни регент строго провозгласил на клиросе:

— Завтра к семи часам на Купеческую улицу! Не опаздывать!

У всех певчих, как у больших, так и у маленьких, просветлели физиономии, точно им сказали что-то приятное.

— Что это будет завтра? — спросил Захарыч Томашевского.

— Похороны! — смеясь, ответил тот. — Доход! Бог покойничка послал.

— Плохо мрут нынче хорошие-то люди! — поддержал разговор запьянцовский тенорок, с очень смешной физиономией и вертлявый, как обезьяна. — Год плохой-с! Не мрут богатые-то, а так, шваль разная дохнет! Из рук вон плох нынешний год-с.

Он сделал мечтательную физиономию и продолжал сладким голосом:

— Ах, в прошлый сезон какие покойнички-то были! — Вертлявый поцеловал кончики пальцев. — Антик-муар с гвоздикой-с! Купцы какие хорошие мерли, помещики... прелесть! Певчие, бывало, после похорон и напьют-

ся, и подерутся, все как следует, честь-честью! А теперь-с?

— Ржавчина! — строго рявкнул на него бас величественной наружности и с целой охапкой кудрявых волос на голове. — Какая у тебя скверная теноровая привычка болтать много слов. Вас, теноров, нужно бить уже за одно то, что вы тенора.

Он сверкнул на Ржавчину презрительным взглядом и спросил его октавой:

— Кого хороним?

— Не знаю-с, Илья Николаевич! — с притворной робостью отвечал Ржавчина.

— Ну, кого — это наплевать! А за сколько?

— Увы, Илья Николаевич, за двадцать и трешницу на чай!

Илья Николаевич энергично плюнул.

— Сволочь! — пробурчал он, вероятно по адресу покойника.

На другой день после заупокойной обедни из церкви попарно, длинной вереницей выходил весь хор, потрясая воздух могучими раскатами похоронного пения.

«Свя-ты-ый бо-же!» — гремели басы, звенели тенора и заливались дисканты, а Захарыч с Томашевским замыкали шествие и ревели октавой.

Редкие и густые удары колокола, медленно падая с колокольни, сливались с пением хора. Через минуту процессия вытянулась по площади. Впереди хора несли крышку гроба, а сзади, на некотором расстоянии, медленно двигался печальный катафалк, сопровождаемый мрачными людьми в черных плащах, толпой народа и вереницей экипажей. За хором шли священник и дьякон в ризах, надетых поверх шуб.

Был холодный зимний день, солнце ярко сияло, и певчие, подняв воротники и обвязав уши платками и шарфами, без шапок, медленно шли по дороге, утаптывая искрившийся и хрустевший снег. Они пели, широко раскрывая рты, пар оседал инеем на усах и бородах. Прохожие с любопытством останавливались посмотреть на процессию, почтительно обнажая головы. В промежутках между пением певчие разговаривали о своих делах, пересмеивались, рассказывали анекдоты.

— Сказали ему, понимаешь ли ты, что в этом доме

хозяин умирает... Вот он и стучит в окно: «Хозяюшки!» А у окошка сидит старичок. «Тебе чего?» — «Да у вас, я слышал, покойничек есть, царство ему небесное, а я регент. Не надо ли хор?» — «Нет, — отвечает старичок, — не надо: мне, слава богу, полегче».

— Хе-хе-хе! Вот налетел-то!

«Свя-ты-ый б-бо-же!» — гудит опять хор. Веселый разговор прерывается. Рыдающие похоронные аккорды далеко несутся в морозном воздухе.

Захарыч шел вместе с другими, ревел, слушал разговоры певчих и чувствовал странную, непривычную неловкость от этого смешения печали и смеха.

По дороге процессия остановилась у огромного дома, около которого был выставлен стол для литии. Завидя стол, басистый дьякон, с окладистой черной бородой и широкой грудью, еще на ходу начал служить литию. Он служил самодовольно, заученными приемами, пуская красивые ноты и красиво отчеканивая слова.

«Вечную память» он с удовольствием пустил вниз. Хор торопливо подхватил.

Когда процессия приблизилась к воротам кладбища, ее встретили печальными ударами колокола, а в самых воротах уже стоял маленького роста священник в черной ризе и с дымящимся кадилом в руке. Лицо у него было ласковое и приветливое. Рядом с ним стоял кладбищенский дьякон, высокий и мрачный, весь заросший волосами.

Едва священник завидел покойника, как залился тончайшим тенорком, гостеприимно помахивая дымящимся кадилом. Дьякон угрюмо вторил ему грубым, как бы железным, басом. Певчие смолкли, покойника поставили в воротах, а веселый кладбищенский священник приветствовал его, заливаясь, как соловей, и благодушно помахивая кадилом. Казалось, что он был очень рад новому гостю и очень хлопотал о том, чтобы доставить ему всевозможные приятности.

Процессия двинулась по узкой дорожке, мимо огороженных памятников, крестов и могильных плит.

У свежей могилы затихли последние звуки хора. Гроб опустили в яму, послышались глухие удары земли о гробовую крышку. Кто-то зарыдал тем надрывающим душу рыданием, которое можно слышать только на

могилах. Помощник, заменяющий регента, торговался с распорядителем похорон.

— Прибавьте на чай певчим!.. Холодно!.. Люди устали...

— А почему мальчиков было меньше, чем обещали?

— Помилуйте, все налицо!

Певчие стояли в стороне, надевая шапки на заиндевелые головы и разминая застывшие члены.

— Эх, водки бы теперь! — говорил Томашевский, ежась в своем коротеньком пальто. — Весь застыл!

— Проклятое ремесло! — сказал кто-то.

Помощник регента получил деньги и направился к воротам. За ним потянулся хор. Мальчики бежали вприпрыжку и дули в озябшие кулаки. Вскоре весь хор — и взрослые и дети — вошли в «Россию», трактир, ближайший к погосту.

Там, кряхтя и звучно откашливаясь, они уселись за длинный стол и потребовали себе чаю, водки. За соседним столом разместились румяные озябшие мальчуганы и набросились на чай и булки.

Когда выпили по две рюмки, хохлатый бас Илья Николаевич вынул записную книжку, взял карандаш и сказал внушительно:

— Ну-с, господа! Деньги по рукам! Сколько положить Захарычу?

Певчие замялись.

— Положить ему, как хорошему октависту, — уклончиво сказал кто-то.

— Да сколько? Томашевский получает восемь процентов. Я кладу Захарычу столько же. Никто не имеет против?

— Клади! — загудел хор. — Ничего!.. Им поровну можно получать.

Илья Николаевич выпил водки и углубился в составление раскладки. Появилась новая бутылка. Загудел разговор. На одном конце стола говорили одно, на другом — другое. Изредка вырывались громкие восклицания.

— Эх ты, жизнь! Из церкви в кабак, из кабака в церковь.

— Такая уж наша судьба, чтобы, значит, петь и пить.

— А бутылка-то опять пуста! — прищелкнув языком и смешно прищурясь, вскричал Ржавчина. — Захарыч, не желаете ли вы обмыться?

Тогда весь хор загудел:

— Надо, надо! Надо обмыть октаву! С поступлением! Следует поклепать!

— Что ж! — отвечал Захарыч, почесав затылок. — Я поставлю, только сам-то я не пью.

— Ты не пей, а нас угости!

Илья Николаевич поднял кудластую голову и уставился на Захарыча.

— Не пьешь? — строго спросил он его.

— Не пью.

— Нехорошо. Следует пить, ибо непьющих октавистов не бывает.

И опять углубился в раскладку.

— Эх, Ирлюша! — раздался картавый и задушевный бас. — Не соврлащай, брлат, единого от малых сих. Сопьется и без нас в силу судеб.

— Ну-ну, Петр Иваныч, не скули! Святая душа! — смягчаясь, бурчал Илья Николаевич.

Захарыч невольно посмотрел на картавого Петра Иваныча. Этот бас всегда был немножко пьян, даже по утрам, до обедни. Он был очень высок и страшно худ. Лоб у него был большой, с заливами, лицо некрасивое, острое книзу, но глаза смотрели по-детски ясно. Певчие относились к нему как-то особенно: с уважением, с любовью и в то же время снисходительно, как к ребенку. Захарычу захотелось поговорить с Петром Иванычем. Он спросил певчим бутылку водки и подсел к нему. С Петром Иванычем сидел и Томашевский, который держал себя неприступно и гордо.

Мальчики ушли, получивши свою часть из дохода. Певчие звенели деньгами. То и дело появлялись новые бутылки. Все говорили разом, и звукам голосов вторил звон рюмок и бутылок.

— Ты из каких, брат? — спросил Петр Иваныч Захарыча, поймав его внимательный взгляд.

— Плотники мы... Ну, сбили меня в певчие. Два года пел в Бугуруслане и плотничал. А теперича, значит, работу порешил... Пою. Говорят про меня, коли бог дал

ему талант, то, значит, и быть ему надо в хору: пущай люди слушают.

— А семья-то у тебя где?

— Семья у меня завсегда в деревне живет. Потому как я с артелью по всему уезду ходил...

Захарыч был очень рад, что наконец встретил человека, которому можно рассказать о своей семье, о деревне.

— Талант! — воскликнул Петр Иваныч, и грустная, прекрасная улыбка осветила его некрасивое лицо. — Талант! Правда твоя, — он обязывает тебя быть в хору, но смотри, брат, береги его: здесь омут.

Он окинул трактир грустным взглядом и повторил:

— Да, брат, омут!

Томашевский улыбнулся и заговорил:

— Все ты врешь, Петр Иваныч. Что здесь за омут? Здесь трактир для порядочных людей, которые трудятся, устают и зябнут на морозе, а отдыхают и веселятся только в кабаке. Сволочь сюда не ходит, стало быть, только здесь и можно отдохнуть душой порядочному человеку.

Томашевский говорил не октавой, а тенором, точно октава была у него только для пения.

— Эх, Саша! — задушевно воскликнул Петр Иваныч. — Понимаю я тебя: хороший здесь народ пьет, да ведь жизнь-то какая? Пьяная жизнь, со святыми упокой, аминь, и ку-ку!

— Полный ход! — сказал Томашевский и влил в себя «двуспальную» рюмку водки. От водки его белое лицо разрумянилось; по красивому, словно выточенному лбу расплылось розовое пятно, похожее на облако. Лицо приняло возбужденное выражение, и казалось, будто что-то неожиданно загорелось в этом человеке.

— Омут не здесь, — упрямо сказал он, коснувшись октавной ноты, словно слегка стукнул по барабану.

Томашевский взволнованно выпил еще, встал и зарычал, как лев, и злобно выругался.

— Саша, милый! — обнимая его, утешающим голосом говорил Петр Иваныч. — Брось, не растравляй себя, выпьем! Ты думаешь, сделал человек подлость, так уж он весь насквозь мерзавец? А он на другой день возьмет да геройский подвиг и совершит. Стало быть, нет ни плохих людей, ни хороших, а есть просто человек,

в котором все перепутано: и добро и зло. Жизнь горька везде.

— Ах, не то все ты говоришь! — крикнул Томашевский, наливая в обе рюмки.

— Эх, мужичище! — вдруг обратился к Захарычу Петр Иваныч. — А зачем ты деревню бросил и в город припер? Тоже своих бросил? Ты к нашим, а мы к вашим! И в сем самом кабаке происходит слияние интеллигенции с народом. То есть интеллигенция — это мы с Томашевским, а народ — ты! Понял?

— Понял! Оно верно!.. Я — мужик... — отвечал Захарыч.

Кабак шумел и гудел. Певчие были уже наполовину пьяны и пели хором. Пьяный Ржавчина стоял перед столом с сияющей физиономией и управлял хором, разводя руками и перебирая пальцами.

Ты взойди-ка, взойди!.. —

запевал он на весь трактир хорошим, звонким тенором, а хор подхватил, расширяясь и вырастая:

Солнце кра-а-сное-е!..

Басы перекатывались волной и рассыпались брызгами. Тенора так и плакали, так и выливали всю душу.

Над горою взойди над высо-о-о...—

зазвенел опять голос Ржавчины, а хор дружно подхватывал и разливался:

Над высокою над дубравою, взойди над зеленою...

Песня вызывала в воображении привольную волжскую картину: раннее утро над спокойной, зеркальной рекой, зеленые горы, поросшие кудрявым лесом, а из-за горы выходит багряное солнце, розовые лучи скользят по мокрой траве и спокойной реке, пахнет росой, и воздух свеж, а с реки поднимается прозрачный, голубоватый туман. По песку идут озябшие, измученные люди... Захарычу тотчас же представилась эта родная картина, и дымный кабак на минуту исчез перед его глазами.

Тянут, тя-нут ребятушки,
Тянут родимые... —

заливался звонкий тенор, а хор тихо и протяжно подхватил с какой-то особенной нежной задушевностью:

Барку с хлебушкой!..

— Пусть наша жизнь, — гремел голос Томашевского, — страдание непонятых сердец, пускай. Кричите громче, пойте! Будем громко петь о горькой нужде и о том, что люди несчастны. Я спою и о том, как идем мы к погибели, оттого, что мы артисты, а не жулики, оттого, что у нас не умерла душа и мы еще можем чувствовать и петь, искренне веселиться и искренне плакать! От этого мы идем к погибели.

Мы не сами-то идем...—

звонко и размашисто запевал Ржавчина с отчаянной удалью, потряхивая волосами, а хор, заглушая трактирный гам, звон посуды и щелканье бильярдных шаров, загудел, как ветер, стихийно и неудержимо:

Нас нужда-а ве-дет!..

Басы прокатились волной и унесли куда-то вдаль жалобные теноровые звуки:

Нужда го-орь-ка-я...

IV

Певческие «похороны» затянулись до поздней ночи. Захарыч должен был вести домой вдребезги пьяного Петра Иваныча и заночевать у него. Петр Иваныч, Илья Николаевич, Ржавчина и некоторые другие, все одинокие, жили вместе и представляли из себя одну колонию.

Когда Захарыч проснулся, то увидел такую картину.

В неприглядных комнатах деревянного флигелька было грязно, не убрано, голо и бедно. Солнце тускло светило сквозь замерзшие окна, бледными и грустными лучами освещая сонное царство пьяных. Все спали в тех позах, в каких были захвачены хмелем. Ноги Ржавчины лежали на кресле, а голова на полу, прикасаясь к длинным ногам Петра Иваныча, вытянутым из-под стола.

Ржавчина опустил ноги, приподнялся, сел, встряхнул всклокоченной головой, посмотрел на спящих, нюхнул носом и состроил рожу. Природа наделила его чрезвычайно уморительной физиономией, со вздернутым и загнутым кверху носом, такой подвижной от вечного гримасничанья, что другой тенор, Иванов, толстый и молчаливый человек с красивым и скучающим лицом, проснувшийся на сундуке, звонко рассмеялся.

Весь пол занимала гигантская фигура Ильи Николаевича. Он спал на спине, раскинув могучие руки, разметав свою великолепную гриву. Кругом валялись груды нот, разбитая гитара, скрипка в старом футляре, пустые пивные бутылки; под кроватью виднелась корзина из-под пива. В комнате было холодно, углы ее промерзли.

Ржавчина подмигнул Захарычу на спящего баса и сказал с ужимкой:

— Изверг рода человеческого!

— Мастодонт! — подтвердил Иванов. — Не пора ли его будить, Ржавчина?

Ржавчина, приплясывая, осторожно потряс мастодонта за могучее плечо.

Раздалось громкое рычание.

Ржавчина благоразумно отскочил в сторону и сказал, пожимаясь:

— Нет еще, не пора-с: убьет!

Проснулся Петр Иваныч, прогудел: «Что за черт!» и вылез из-под стола; молча запустил руку в пивную корзину, нащупал там бутылку с пивом, привычным ударом об ладонь вышиб пробку и стал тянуть из горлышка.

Ржавчина вытащил корзину: там остались только две бутылки. Он сделал кислую мину и тоже откупорил бутылку. Пиво соблазнительно забулькало. Илья Николаевич издал протестующее рычание.

— Ржавчина, пора! — сказал Иванов, зевая. Ржавчина допил пиво, скорчил рожу и, наклонясь над басом, закричал ему в ухо изо всей силы:

— Илья Николаевич! Зе-мле-тря-се-ние!..

Бас пробормотал сквозь сон:

— Пшол! Разбуди, когда дойдет до нашего квартала!

Ржавчина посмотрел на всех с плачевной физиономией.

— По-жа-ар! — закричал он в ухо раздирающим душу голосом.

— Наплевать! — мычал бас.

Ржавчина подмигнул всем и опять закричал в ухо:

— Илья Николаевич! Вы пиво — пьете?

И отскочил, приплясывая.

Бас медленно простер свою длань, чтобы схватить назойливого, потом открыл глаза, приподнялся на локоть, встряхнул охапкой спутанных волос, зевнул, как лев, и сказал с мрачным видом:

— Давай!

Ржавчина с ироническим подобострастием, гримасничая и кривляясь, подал басу бутылку пива. Илья Николаевич выпил ее единым духом и опять растянулся на полу.

— Водка есть? — спросил он, ни к кому не обращаясь.

Ржавчина подскочил к нему.

— Была-с, Илья Николаевич, да вы сами ее вчера выпили.

— Не твое дело! Знаю. А почему не позаботился достать?

— Кто ж это обязан вам водки доставать?

— Ржавчина, — возвысил свой бас Илья Николаевич, — попадешься ты мне под руку с похмелья! Вот встану сейчас и изуродую.

Иванов смеялся про себя и говорил тихонько Захарычу:

— Вот каждое утро у них эта комедия бывает! Ты не подумай, что это они серьезно. Боже упаси! Они жить один без другого не могут, закадычные друзья, а так себе — роли разыгрывают.

Ржавчина стоял от баса на приличном расстоянии и говорил с ужимкой:

— Уж я ваш характер знаю-с, Илья Николаевич: не встанете!

Ленивый бас действительно не пожелал встать для избиения тенора, а только выругался.

— Обезьяна какая! — ворчал он. — И на кой черт тенора на свете бывают? Все они глупые!

— Ну, и вы, басы, тоже...

— Молчать! Все вы мошенники!

— А вы шарлатаны!

— А вы козлы!

— А вы...

— Ржавчина! Убью! Нет, встану сейчас и убью эту самую Ржавчину!.. Сделаю доброе дело! — Бас приподнялся на локоть.

— Погоди убивать, — вступился Иванов, — быть может, он водки достанет. Нехай поживет! Убить всегда успеешь.

Бас опять лег и, зевая, произнес медленно и равнодушно, тоном помилования:

— И то... нехай!.. А-а... поживет! Клоун проклятый!

Слово «клоун» задело Ржавчину.

— Что ж, — подскочил он, — я действительно служил в цирке клоуном. И кондитером был. Да-с. А вот вы-то кто-с?

— Я? — рявкнул бас, опять поднимаясь на локоть. — Ах, ты, Р-жавчина! Я — студент, я — певец, а ты — нигиль, шут гороховый. Сравнил себя со мной. Ха-ха-ха!

Он театрально расхохотался.

— Илья Николаевич, ведь и я певец. Я в опере пел, а вы не пели.

— Что ж, не пел, а знаю больше твоего..

— Вот и не знаете. Пропойте-ка «В старину живали деды...»

— «В старину живали деды»? Ну, положим, я этого старья не пою... А ты-то сам знаешь ли?

— Я знаю-с. Хотите, спою?

— А ну!

Ржавчина уселся на кровати, сложил ножки калачиком, «пригорюнился», как-то по-бабьи подперев щеку рукой, и запел на мотив народной песни:

> В ста-рину жи-ва-ли де-е-ды...
> Эх! Ве-се-лей своих внучат...

— Дурак! — остановил его бас. — Это «Не белы снеги». Не смей у меня паясничать, когда я с похмелья. Эх! Как трещит главизна. Хоть бы полмешка соорудить.

— Что толку в этакой малости? — возразил Ржавчина. — Полмешком только вы поправитесь, а нам и понюхать не останется. Надо всю академию опохмелить,

да и Захарыч, может быть, выпьет. Вы, Илья Николаевич, только о себе заботитесь.

— Обо мне хлопотать нечего,— вежливо сказал Захарыч, тяжелыми шагами прохаживаясь по комнате.— Вина я совсем не пью, а посидеть с вами, посижу. Чудно вы живете. Хе-хе-хе!

И он рассмеялся грудным и медленным смехом. Домашняя жизнь певчих занимала его.

— Да, брат, мы чудно живем,— картаво отозвался Петр Иваныч,— деньги пропиваем, за квартиру не платим, а хозяйка печку нам не топит и нас вымораживает.

— Странная женщина! — пожал плечами Ржавчина.

— О, черт! — рычал на полу Илья Николаевич.— Как бы осмыслить внутренний полушубок?

— Плохо вы мыслите, Илья Николаевич! — задирал его неугомонный Ржавчина.

— А ты-то как мыслишь, чертова кукла?

— Я мыслю так,— говорил Ржавчина,— у нашей хозяйки в погребе на веревочке спущена четверть водки. Когда к ней приходят гости, проклятая баба вытягивает на веревке посудину и наливает в графинчик. Я полагаю, что от морозу посудина может лопнуть, и на веревочке останется одно только горлышко.

Мышление Ржавчины понравилось всей компании.

— Возьми с собой из-под кровати пустую четверть! — примирительно сказал Илья Николаевич.

— Господа! — обратился Ржавчина ко всем, воодушевляясь и понижая тон до таинственности.— Во время моего отсутствия вы можете поодиночке прогуляться по двору и незаметно захватить с собой по одному полену-с.

— Это, брат, идея! — воскликнул Петр Иваныч.

Ржавчина оделся и вышел.

Вскоре певчие сами затопили печку краденными дровами, а через десять минут явился Ржавчина, вынул из-под пальто початую четверть водки, поднял ее над головой и запел звонким тенором:

Братья, рюмки наливайте!
Лейся через край, вино!..

С пола торжественно поднялся Илья Николаевич и отряхнулся, как пудель. На непокрытом столе появился

кочан кислой капусты. Все подходили к столу и выпивали, ласково ругая Ржавчину.

— Бестия! Продувное существо! — галдели они.

— Рракалия, — гудел Илья Николаевич.

— Что же теперь в погребе-то?

— А там осколки четверти и горлышко на веревке...

— Хо-хо-хо! — промыхали басовые глотки. — Месть проклятой ведьме! Захарыч, пей, какого черта?

Но Захарыч не пил, а только удивленно кряхтел: «Ну-ну!» и качал кудрявой головой.

В это время из темного угла комнаты вышел еще один тенор. Это был седенький и сгорбленный старичок с ярко-красным носом и длинными жидкими волосами. Фигура его, облеченная в какую-то кацавейку, в узенькие и коротенькие брючки с оттопыренными и засаленными, словно лакированными, коленками, была смешна и жалка. Трясущейся старческой рукой он тоже потянулся к водке и с жадностью выпил. Он хрипло крякнул и, потирая руки, опять было направился в свой угол, но компания, пришедшая в благодушное настроение, остановила его.

— Профессор! Читай нам лекцию, читай лекцию! — галдели все.

«Профессор» моргал красными веками и пугливо смотрел на всех кроткими старческими глазами. Черты его лица и вся фигура хранили следы былого изящества.

— Ах вы, пьяная абсурдия! — прохрипел он, улыбнувшись доброй улыбкой.

Илья Николаевич молча поставил посреди комнаты стул, а на стул «профессора».

— Валяй! — сказал он ему и, обернувшись к остальным, строго рявкнул: — Молчите вы, черти! Слушать у меня, а то ребра переломаю!

Моментально все смолкло. Благородный бас лег в кресло и принял позу отдыхающего театрального короля.

«Профессор» оживился от выпитой водки и заговорил.

Он говорил простым и понятным языком о происхождении мира, о материи, о каменном периоде, о теории Дарвина и первобытном человеке. Говорил о звездных

мирах, о человеческих религиях, о Будде и Христе, об истории всего человечества. Речь его не представляла из себя ничего цельного, но в ней было столько нового, и неожиданного, и странного для Захарыча, что ему казалось, будто перед ним раздвинули горизонт и показали новый, удивительный мир. Плотник весь напрягся и внимательно слушал, разиня рот. Он не знал, как отнестись к этой речи, — верить ей или смеяться над нею? Порою он вопросительно поглядывал на публику, застывшую в неподвижной группе, серьезную, внимательную.

А «профессор» строго и важно говорил им о боге, о цели и смысле жизни и о людях с пытливым умом, полным мучительного и вечного сомнения. Он говорил об их смелых мыслях и о том, как они шли против всех. Он говорил о Галилее, о Лапласе, об инквизиции и о протопопе Аввакуме. Он говорил о ненависти толпы к таким людям, о страданиях их духа и тела, о проклятиях, которым их предавали в соборах, и о кострах, на которых их сжигали.

Плотник слушал и порою тяжко вздыхал, удивленно моргая глазами. А дрожащий голос бывшего профессора звучал среди молчания:

— Дорого человек платит за свое стремление к истине!.. Только на этом пути он бескорыстен и только здесь достоин уважения!..

V

Архиерейская обедня кончилась. Кафедральный собор был полон людьми. Тысячеголовая толпа колыхалась и глухо гудела. Золоченый иконостас блестел, и на ризах «местных» икон отражались огоньки пылающих свечей. Высоко под громадным куполом тихо покачивалось на толстой цепи сверкающее паникадило.

Хор стоял на широком клиросе в голубых длинных «парадах», с закинутыми за плечи рукавами наподобие крыльев, отороченными золотым галуном, с золотыми снурками и кистями на груди. Регент, строгий и серьезный, в черном застегнутом наглухо сюртуке, имел особо торжественный вид. Захарыч стоял с краю клироса около тяжелой золотой хоругви и мрачно посматривал кругом.

Он был расстроен. Томашевский почему-то не пришел. Захарыч за обедней был не в ударе и получил от регента замечание за невнимательность. У него уже несколько дней, как все звучала в ушах лекция профессора, возбуждая какие-то странные, неотвязные думы. Порою сердце Захарыча неожиданно сжималось от какой-то острой и тонкой жалости к кому-то: не то к самому себе, не то к певчим. Он вспомнил слова профессора о могучем духе сомнения, о неотвязных мучениях людей, которыми этот дух овладевал. И Захарыч стал рассеянным.

— Чего же все ждут? — тихо прогудел он Петру Иванычу, который стоял рядом. — Ведь обедня кончена?

— Будет обряд «проклятия», — отвечал тот. — Никогда не видал?

— Нет.

— Ну вот увидишь.

Архиерей, в сопровождении священников и дьяконов, вышел из алтаря на середину собора. Он стоял там на возвышении, окруженный духовенством. Драгоценные камни его золотой митры горели разноцветными искорками.

Около левого клироса устроен был высокий помост вроде кафедры, застланный красным сукном.

Народ слился в тесную толпу и замер в ожидании. Сдержанный шепот, кашель, шарканье ног по камню пола гулко плавали под куполом.

Наконец из левых дверей алтаря медленно вышел старый протодьякон в белой серебряной ризе и с седыми тяжелыми волосами, приземистый, сутуловатый и широкий. Лицо у него было огромное, с крупными и суровыми чертами, все заросшее седой бородой, с мрачным взглядом из-под косматых, седых бровей. Медленно и тяжело, словно чугунный, протодьякон с трудом поднялся по ступеням на высокий помост и положил перед собою тонкую черную книгу.

В странной тишине протодьякон запел один громадным и страшно густым басом таинственный и странный напев, от которого веяло чем-то древним. Казалось, что это пел сам неумолимый рок, судьба, выносящая печальный приговор... Что-то жестокое звучало в этой зловещей убежденности.

Волнообразный голос протодьякона, тяжелый и темный, как смола, лился черной и густой массой, печальными полутонами, начавшись с верхней ноты и постепенно спускаясь книзу.

Протодьякон остановился, провел по лицу и бороде широкой ладонью, которая вся заросла серебряными волосами, и переждал, пока утихнет эхо, встревоженное его могучим голосом. Потом он опять запел тот же напев, только тоном выше.

В этом тоне его исполинский голос стал похож на грозовую тучу с отдаленным громом, которая надвигается, охватывая небо. Этот чугунный, грохочущий голос, печальный и мрачный, был тверд и тяжел; казалось, что его можно было ощупать рукой в воздухе и что, дойдя до человека, он прижмет его к стене и раздавит.

Протодьякон опять остановился и ждал, когда утихнет эхо.

В третий раз он запел еще на тон выше, все с такими же печальными и странными полутонами. Его страшный вопрос о боге грянул теперь грозно и сокрушающе, наполнив собою весь собор. Ответом на него было только могучее, неумолкающее эхо, и, когда оно успокоилось, снова настала тишина.

Тогда протодьякон вынул золотые очки, надел их и развернул черную книгу.

Кончив утверждение веры, протодьякон приступил к вопросу о тех, кто уклонился от нее.

Он опять развернул книгу и начал читать речитативом, размеренно отчеканивая слова, словно прибивал их гвоздями.

«Утверждающим, что Мария дева не была девою...» — сурово и гневно неслось по собору.

Протодьякон перевел дух и грянул уже во всю силу, вдвое громче, чем до этих пор, голосом, который страшно было слушать:

— А-на-а-фе-ма-а!..

Из тысячи грудей вылетел общий испуганный вздох.

А в это время архиерей и священники запели все в унисон, словно зарыдали:

— Ана-фема! Ана-фема! Ана-фема!..

Потом запел архиерейский хор, жалобно и грустно повторяя то же самое слово: «Ана-фема-а! Анафема-а!!»

А протодьякон опять загремел колыхающимся огромным голосом:

«Утверждающим, что Иисус Христос не был сыном божиим...»

Гул ужаса прошел в толпе: «Ана-а-фе-ма!»

«Сомневающимся... — сурово загремел протодьякон, — в бытии божием...»

Захарыч вздрогнул.

«И утверждающим, что мир произошел сам собою...»

Гул в толпе вырастал все более и более: «А-на-фе-ма!»

В толпе пробежал какой-то странный, жалобный ропот, общий стон, послышались всхлипывания, кто-то истерично вскрикнул, у стоявших впереди текли по лицу слезы.

«А-на-фе-ма!» — неумолимо и сурово гремел ужасный голос, как раскат грома, потрясающий небо. Собор наполнился этим раскатом, и удар его с треском разрядился в куполе. Казалось, что купол валится.

Над толпой пронесся гул плача и ужаса.

Острая жалость и сострадание к «сомневающимся» охватили Захарыча. Рядом с громовым голосом протодьякона ему неотвязно слышался дребезжащий, тихий голос «профессора», его лекция о страданиях духа, о великой муке сомнений. Замученные своими неугомонными мыслями, они и здесь прокляты и низвержены в преисподнюю. Несчастный, отверженный дух сомнения!

После окончания обряда, когда народ густыми толпами валил из собора, певчие снимали в алтаре свои «парады» и беззаботно разговаривали:

— Ну и тяпнул нынче протодьякон!

— Да! От души рявкнул дедушка!

— Из молодых такого не найдешь!

— Хорошие-то басы вымирают! Вот умрет этакое чудовище — и шабаш! Конец басам старого фасона!

— Ну, этот еще два века наших изъездит!

Захарыч небрежно швырнул свой парад и, прислонившись к стене, тупо смотрел перед собой. Он был бледен.

— Ты что, Захарыч? — участливо спросил его Петр Иваныч. — Чумной какой-то! Что с тобой, брат?

У Захарыча задрожала нижняя челюсть, на глазах навернулись слезы. Проглотив слюну, он мрачно посмотрел на Петра Иваныча исподлобья и медленно сказал:
— Мне скушно.

VI

Томашевский не пришел и на спевку. Когда послали мальчика на его квартиру, то узнали, что он простудился на похоронах и лежит в больнице.

После спевки Петр Иваныч сказал Захарычу:

— Пойдем, брат, навестим его.

Захарыч согласился. Он жалел этого «барина» и причислял его тоже к «сомневающимся».

Больница была за городом, и Петр Иваныч нанял извозчика.

— Ты знаешь, брат, ведь у него тиф! — сказал он дорогой Захарычу.

— Неужто?

— Да! Если не перенесет кризиса, так, значит, и тово... Ку-ку! А жалко парня.

— Конечно, жалко! — согласился Захарыч. — Такой молодой, беленький...

— Драма у него вышла в жизни... понимаешь? Влюбился он в образованную... Он ведь из этакого круга... Дамский кавалер, тенором пел романсы. А она, брат, за другого замуж вышла. Ему и опротивело чистое-то общество. Приходит он к нашему регенту: «Примите в тенора». Тот пробует голос. Тенор сильный, но есть что-то неестественное в тембре. А наш-то ведь опытен по части голосов, зубы на этом съел. Посмотрел, посмотрел на него, да и говорит: «У вас не тенор, а октава, — я вас приму в октависты». И что же ты думаешь? Ушел Томашевский из высшего общества в нашу «пьяную абсурдию», как говорит профессор, попел с месяц баском и вдруг как провалится с теноровых-то нот прямо в нижний этаж! Открылась, брат, у него октава, и что ни дальше поет, все ниже да ниже, все гуще да гуще...

— Чудеса! — удивлялся Захарыч.

— Да, брат! — вздохнул Петр Иваныч, приподнимая воротник пальтишка. — Жалко, если умрет: в консерва-

торию на казенный счет его берут, а она бы его вытащила на свет. Там бы он и про любовь эту самую забыл и пил бы слабее.

Захарыч крякнул и спросил Петра Иваныча:

— А ты... тоже через любовь?

— Пью-то?

Петр Иваныч рассмеялся.

— Нет! — отвечал он. — Какая у нашего брата любовь? Я и влюблен-то был несуразно, в актрису Бельскую, когда еще в семинарии был. Бывало, ору ей с галерки «браво» так, что весь народ шарахается и смеется. Наконец пришел к ней в уборную. Так и так, мол, влюблен. А она спрашивает: «Это вы, что ли, с галерки так орете басом?» — «Я». Рассмеялась этак весело, как ребенок. «Ну, садитесь, — говорит, — я вас угощу, поклонник!» Послала за вином. Чокнулись мы с ней, выпили и расстались. Вот, брат, и вся моя любовь.

Сани остановились около больничной палаты. Певчие слезли с извозчика и вошли в больничный коридор. Пахло тяжелым запахом лекарств и карболкой. На дворе уже смеркалось.

В длинной высокой палате с огромными окнами было как-то особенно грустно. По мягким половикам беззвучно двигались белые тени сиделок и фельдшериц, худые фигуры выздоравливающих в желтых халатах из грубого сукна. В отворенные высокие двери смежных комнат виднелись ряды больничных кроватей.

— Вам кого? — спросила певчих какая-то женщина, вся в белом.

— Томашевского... Певчий он... — загудели они, не соразмерив своих голосов, и каждое их слово гулко перекатывалось по высокой палате.

— Знаю. Разденьтесь и посидите здесь. Он плох. Я спрошу, можно ли к нему. Вы... его родные?

— Мы — товарищи.

Минут через десять, когда уже совсем стемнело и в палате стали зажигать жестяные лампы, их впустили в большую комнату, где лежало несколько больных на низких железных кроватях. На одной из них, слабо освещенной тусклым светом лампы, неподвижно вытянувшись и тяжело дыша, лежал Томашевский в жару и бреду.

Он никого не узнавал и смотрел в пространство мут-

ными, широко открытыми глазами. Овальное белое лицо его с небольшими усиками горело неестественным румянцем, голова запрокинулась, обнаруживая белую шею и двойной широкий кадык — разгадку его бархатной октавы.

— Саша! — осторожно прогудел Петр Иваныч. — Брат! Это мы... мы к тебе пришли.

И неожиданно для него самого голос его задрожал и осекся.

При звуках певческого голоса Томашевский медленно поднялся и сел на постели. Лицо его приняло вдохновенное выражение, он поднял длинные, худые, белые руки и заговорил своей влажной октавой:

— Тише! Сейчас начинаем!

И, разводя руками, как регент, он запел торжественно, наполняя всю палату бархатными звуками:

Де-е-ва! Де-ва дне-есь!..

От сильного жара голос Томашевского стал вдвое гуще и сильнее. Если бы теперь пришлось Захарычу состязаться с ним, то превосходство было бы на стороне Томашевского. Голос его, гармоничный, густой и струнный, звучал, как целый хор, и плыл по всем комнатам.

Прислуга, сиделки, фельдшерицы, фельдшера и выздоравливающие — все столпились около дверей и слушали.

Томашевский сидел на постели, регентовал перед воображаемым хором и пел.

Петр Иваныч плакал. У Захарыча тоже щекотало в горле.

Он отошел от изголовья, чтобы смахнуть невольные слезы, и наткнулся в полумраке на какое-то съежившееся существо, которое копошилось и всхлипывало на полу, около ног больного. Захарыч нагнулся и увидел жалкое старушечье лицо, омоченное слезами, полное бесконечного горя, муки, отчаяния, почти безумное...

— Кто это? — спросил он.

— Мать! — послышался скорбный шепот.

К утру Томашевский умер. Хоронили его на больничном кладбище в простом, некрашеном гробу. Гроб несла «пьяная абсурдия» — Илья Николаевич, Петр Иваныч,

Ржавчина и Захарыч. За гробом никто не шел, кроме старушки матери.

Она еле волочила ноги от горя и даже не имела сил громко плакать. Товарищи умершего, слегка выпившие, несли гроб молчаливо и мрачно. Только Ржавчина пытался было подтягивать дьячку, но и он скоро умолк, подавленный тяжестью общего молчания. Илья Николаевич был мрачен, как туча, и зло поглядывал на Ржавчину, желая придраться к нему.

Петр Иваныч был бледен, с опухшими от слез глазами. Скука, которую Захарыч ощутил в соборе, не проходила, а все увеличивалась и причиняла ему страдания. У всех было скверно на душе, и каждый таил от других невеселые мысли. Отдавая последний долг товарищу, эти безродные и бездомные люди думали, что им тоже придется умирать на больничной подушке, среди чужих людей, и никто о них не заплачет, кроме какого-нибудь пьяницы-товарища.

Захарыч думал о жизни певчих, о том, как они трудятся, как живут и умирают. И в его ушах звучали то церковные напевы, то веселые песни, то заразительные слова «профессора» и «анафема» протодьякона.

Кладбище было грустное, пустынное, место упокоения бедняков и бобылей, умирающих в больнице. Оно было занесено сугробами снега, огорожено рвом и едва заметной изгородью. Кое-где виднелись наклоненные кресты. День был сумрачный, сверху падал легкий снежок, убеляя длинные волосы певческой братии. Гроб опустили на снег у свежевырытой ямы.

— Ну, прощайтесь! — равнодушно сказал дьячок.

Мертвец лежал в гробу мраморно-белый, с лицом спокойным и важным. Кадык выдавался теперь еще более. Старушка припала к лицу мертвого сына; раздались те самые переворачивающие душу рыдания, которые так привычны были для певческого слуха. Но здесь эти рыдания причинили им беспокойство. Илья Николаевич злобно крякнул и метнул убийственный взгляд на Ржавчину. Ржавчина понял его, с уважением поддержал старуху, отвлек ее от гроба и стал утешать ее... Все поцеловали мертвеца в лоб.

— Эх, брлат! — вырвалось у Петра Иваныча.

Илья Николаевич и Захарыч взяли гробовую крышку.

— Н-у!.. — в низкую октавную ноту сердито сказал Илья Николаевич.

— Ну! — еще ниже и гуще ответил Захарыч.

И они накрыли гроб крышкой.

— А молоток-то позабыли взять! — сказал кто-то. — Чем же гвозди-то заколачивать?

Илья Николаевич обнажил огромный, твердый, словно железный, кулак, поросший волосами, и злобно, с остервенением, молча, крепкими ударами стал вгонять гвозди в крышку. Захарыч поглядел на него, взял в руку лопату и начал ребром ее забивать гвоздь.

Огромные, мускулистые, мрачные люди стояли вокруг гроба на коленях, вбивая длинные гвозди в дерево. Ветер играл длинными волосами певчих, снег шел сильнее. Гроб опустили в могилу, бросили туда по куску мерзлой земли и стали молча, злобно и раздраженно зарывать яму...

VII

После похорон Томашевского у Захарыча, кроме скуки, появились еще и мысли, и он почувствовал себя окончательно несчастным. Прежде ни скуки, ни мыслей у него никогда не было. В деревне все было просто, ясно и непоколебимо, а здесь он ничего не понимал, все кругом было полно противоречий. В церковь ходят не молиться, а смотреть на состязание певцов. Если человек умрет, певчие радуются, потому что смерть его дает им средства к жизни. Хорошие, образованные люди пресмыкаются в певчих, живут нехорошо, в пьянстве и бедности. Не верят в бога, а души у них добрые. Купец Понедельников, нехороший человек, относится к певчим, как к лошадям, швыряет им деньги «на овес», не дал ни гроша на похороны Томашевского, — живет хорошо, в почете, богатстве и благочестии. Он верит в бога, сердце же имеет звериное. Протодьякон проклинает «сомневающихся», а они стоят на клиросе и поют сами себе «анафему». Они заблуждаются в своем неверии и от этого несчастны. Но почему же они не злодеи и почему рассказы «профессора» о происхождении мира так занимательны?.. Кто прав: «профессор» или протодьякон?

И Захарычу казалось, что тот самый мучительный «дух сомнения», о котором рассказывал «профессор», как-то успел забраться и в его душу и что он, Захарыч, попал в число «сомневающихся», преданных протодьяконом «анафеме».

Рой вопросов гудел в голове Захарыча. Мысль, спавшая в нем мертвым сном целую жизнь, никогда, быть может, не проснулась бы, если бы ее не разбудило внезапное столкновение с жизнью, весь уклад которой шел наперекор Захарычу. Но он не мог разобраться в самом себе, чувствовал себя, как заблудившийся в лесу, и не знал, как выйти к свету. Он думал по целым дням и ночам и не мог отвязаться от дум, и это было мучительно для него, потому что, прожив на свете более сорока лет, он еще никогда ни о чем не думал и не имел к этому привычки. Думы его переплетались с необъяснимыми и грустными чувствами. В лучистые, морозные дни он по целым часам сидел на пустынном берегу Волги, занесенной толстым слоем снега, неподвижно смотрел на снежные равнины, на далекие синеющие горы, покрытые лесом и снегом. И в его душе разливалась ядовитая тоска по чем-то утраченном и дорогом, быть может по родной деревне, по той жизни на воздухе, среди природы, под лучами солнца, с которой срослась его душа. И за этой мертвой картиной городской зимы ему чудилась весна в деревне, зеленая степь, широкий простор неба, поющие жаворонки, запах степных трав, пахучие, сырые балки и беззаботные плотничьи песни.

Мучения Захарыча сделались, наконец, невыносимы. Он похудел, лишился сна. Тогда Захарыч решился обратиться за помощью к Петру Иванычу.

Однажды после ранней обедни, когда певчие, по обыкновению, напились чаю в трактире, а до поздней еще было время, он взял Петра Иваныча под руку, отвел в сторону и сказал ему озабоченно:

— Петра...

И затем они долго ходили в полном уединении. Захарыч приступил к изложению своих мыслей, говорил долго, тяжело и бестолково. В продолжение всей своей жизни он очень мало разговаривал, ограничиваясь односложными фразами, и вот теперь с ужасом убеждался в том, что не может высказать своих мыслей.

Язык говорил совсем не те слова, какие надо было говорить, и получался совершенно бессмысленный набор несуразных, самого его удивлявших слов. Он помогал своей речи телодвижениями, прижимал руки к груди, размахивал ими в воздухе, но ничего не помогало: мысли Захарыча оставались в нем, как в крепкой тюрьме, освободить их из заключения он был не в силах. И Захарыч сердился.

— Ты вот что мне скажи! — говорил он с лицом страдальческим и мрачным. Мясистый лоб его наморщился и покраснел, словно в его громадной голове работал какой-то тяжелый и сильный механизм. — Ты вот что мне скажи: почему, например, Адам и Ева... скажем, потоп... евангелие, например, или этот, как его... Бурда... Васька-Где-Гамма... который плавал по морям... и все такое... И вдруг — подлость, грабеж. А где совесть?

В его голове носилась мысль о противоречиях жизни, о высоком учении нравственности, которое остается мертвой буквой, о гибели лучших людей и о благополучной жизни низких и мерзких.

Петр Иваныч не мог уловить смысла в скачках Захарычевой мысли и недоумевал; тогда Захарыч тряс его за плечо, бил себя в широкую и выпуклую, словно вылитую из бронзы, грудь, тяжело выжимал из себя неуклюжие, несуразные слова и запутывался в них.

— Б-бог! — гремел он. — Планида! Жисть!

Рассердился и Петр Иваныч.

— У тебя, брат, ни черта не поймешь! Адам и Ева! Васко-де-Гама!.. Бог! Подлость! Планида! Черт знает, что такое! Действительно, бурда какая-то!

— Эх, Петра, здесь-то у меня много, — стучал себя Захарыч в богатырскую грудь, — а наружу ничего не выходит! Говорить я не умею...

И крепко выругался Захарыч.

Долго бился с ним Петр Иваныч, прежде чем понял хотя бы отчасти Захарыча.

— Накатило на меня! — в отчаянии говорил ему Захарыч. — Не глядел бы я на добрых людей, свет мне не мил! Нет мне житья от думы! Сумлеваюсь я! Скажи ты мне, как бы выгнать из себя сумление? Брат! Я не могу не сумлеваться!

Петр Иваныч задумался, посмотрел на Захарыча своим грустным, добрым взглядом, сказал:

— От невежества это у тебя!

— Верно! — радостно вскричал Захарыч.

— Постой! Ты помнишь, как профессор лекцию читал?

— Как не помнить? С нее и началось у меня.

— Ну, так вот! Помнишь, он рассказывал об ископаемых, о чудовищах, которые вымерли и почему вымерли. Ты — тоже ископаемое. Ты из числа вымерших чудовищ. Ты приспособлен к древней пастушеской жизни, а теперь жизнь другая. Живешь ты на свете совершенно случайно, потому что был ты спрятан в тихой заводи. Когда же взяли тебя в город нашего столетия, то вышло, будто явился ты совсем из другого мира, упал с луны или спал в бугурусланских степях несколько столетий, а потом проснулся и видишь кругом непонятные тебе вещи.

— Верно! — подтвердил Захарыч. — Ничего и не понимаю, что кругом делается.

— Да! Но ты хочешь сразу поглотить всю премудрость, сразу все разрешить, а этого нельзя: на это нужны годы, нужно прочесть много книг, повстречать побольше умных людей, сделаться человеком образованным, а ты ведь невежда! Ты ничего не знаешь, — хотя бы даже вращения земли.

— Вращения земли?

— Ну да! — И Петр Иваныч наглядно рассказал ему о вращении земли. — Понял?

— Понять-то я понял, да верно ли это? Кто узнал, что все это так и есть, а не по-другому?

— Ученые! Они делали опыты и доказали.

— Опыты, говоришь? Но я-то ведь не делал опытов... Стало быть, должен им верить?

Петр Иваныч был несколько озадачен, но, подумав, сказал:

— Должен верить!

— Так, — протянул Захарыч, сбычившись, — а ежели я так не могу? Ежели и тут выходит у меня сумление? Мне надо, чтобы, значит, в самый корень. А то... кому же верить?

Захарыч крякнул, помолчал и с тяжелым усилием спросил Петра Иваныча:

— Не знаешь ли ты такого слова, чтобы из меня сумление выгнать?

— Не знаю, Захарыч.

— И профессор не знает?

— И он не знает.

— Та-ак! Выходит, что жить по совести и по настоящему закону нельзя. Кто не хочет людоедом быть, — руки на себя наложи!

Захарыч тяжко замолчал и шел, пыхтя и отдуваясь. Лоб его еще более покраснел, на висках вздулись жилы. Мозг его работал напряженно, тяжело и медленно. По морщинам мясистого лба струился пот.

— Постой! Что, бишь, я хотел спросить? Самое главное. Может быть, ты знаешь... Вот не найду слов... Да!

Он остановил за лацканы пальто Петра Иваныча и, смотря ему в лицо страдальческим взглядом, полным надежды и опасения, выговорил медленно, с тяжелым усилием:

— В чем... смысел... жизни?

Была страстная неделя, но «пьяная абсурдия» начинала свой день обычным образом: все были с похмелья; Илья Николаевич лежал на полу и пикировался с Ржавчиной.

— Очень уж вы, басы, много водки пьете! — задирал тенор страдающего баса.

— Что ж? — рычал тот, поднимаясь на локоть. — Уж это от бога так установлено: бас — пьяница, баритон — нахал, а тенор — дурак.

— Ну, положим, бывают и между басами та-а-кие, я вам скажу...

— Ничего ты не скажешь! — поспешно перебил Илья Николаевич. — Бас всегда глубоко благороден, снисходителен даже к тенорам, а тенор мелочен, хитер, мал, глуп, соплив и кривоног!.. Эх, как трещит главизна! Ржавчина! Там у меня в пальто есть полтинник. Сбегай в кабак, принеси мешок водки!

— Илья Николаевич! Что толку от одной бутылки на пять алчущих морд?

— Как же быть-то, коли больше нет? Ведь у тебя, мерзавца, ни копейки?

— У меня-то денег никогда не бывает, Илья Николаевич, но зато я на полтинник могу приобрести целую четверть и яичницу на закуску.

— Четверть? — легкомысленно переспросил Илья Николаевич. — Мудрено! Не ври у меня, а то я, право, встану!

Ржавчина уже вытащил откуда-то пальто Ильи Николаевича и шарил по карманам. Найдя полтинник, он нахлобучил картузишко и, театрально раскланявшись, убежал.

— О, чертова обезьяна! — рычал вслед ему бас. — Изуродую, коли пропьет!

Через пятнадцать минут явился приплясывающий Ржавчина. Бережно положив картуз на стол, он стал выгружать странные предметы: сковороду, десяток яиц, пузырек с краской и кисточкой, фольгу, сусальное золото и большое количество обыкновенного песку. Все эти предметы вызвали недоумение, но скоро все объяснилось, когда Ржавчина обнаружил свои кондитерские познания. Он иголкой прокалывал каждое яйцо, выпускал через отверстие содержимое на сковороду и взамен насыпал в скорлупу песку. Затем он искусно заклеивал дырочку воском, обертывал скорлупу фольгой и сусальным золотом, расписывал краской. Компания, окружив его, следила за работой. Ржавчина священнодействовал. Скоро он изготовил десяток красивых «пасхальных» яиц, наполненных песком, завернул их в бумагу и исчез с ними. Остальные занялись изготовлением яичницы.

— У, Ржавчина! — гудела компания, предчувствуя удачу его предприятия. — Хитер, собака!

Ржавчина не заставил себя долго ждать. Очень скоро он гордо появился на пороге, держа над головой четверть водки, и пел:

Братья, рюмки наливайте!..

Илья Николаевич благополучно встал с пола, и все пошло обычным порядком: беседа оживилась, зазвучало пение и раскаты басового смеха.

В самый разгар опохмеления дверь отворилась, и на пороге, на момент остановившись, появился Захарыч.

Он был в одной рубашке, без пояса и картуза. Густые кудри его, перевитые сединой, свалялись, большие глаза были налиты кровью, а широкое лицо с толстым носом опухло и было темное, чугунного цвета.

Захарыч был пьян и, очевидно, пьян уже подряд несколько дней.

— А-а-а! — заревел он своим нечеловеческим голосом. — Вот и я!..

Компания при виде пьяного Захарыча пришла в восторг.

— Давно бы так! — одобрил, осматривая его живописную фигуру, Илья Николаевич. — Я говорил, что следует пить! Ржавчина! Наливай октаве! Одна она теперь на всю Волгу и вот, слава богу, за ум взялась! Захарыч, пой и пей: помянем Томашевского!

Захарыч медленно вливал в свое горло чайный стакан водки, а товарищи стояли полукругом перед ним и пели песню:

Мы тебя любим сердечно,
Будь нам товарищем вечно!
Первый налитый стакан
Выпей, Захарыч, ты сам!

Захарыч сел за стол, облокотился и заговорил, ни к кому не обращаясь:

— От мыслей запил я! Сроду не было их у меня, прах их побери, а тут — на вот тебе! А скучно же мне с ними! Эх! Кончено! Решился я своего спокоя!

— Брось, Захарыч, не скули! У нас это не принято!

— Пей и пой с нами!

И, притопывая, они запели веселую песню:

...Как у тетки Акулины
Собирались именины!..

— Молчать! — рявкнул Захарыч. Он обвел всех исподлобья налитыми кровью глазами и сказал октавой: — Не то поете! Вот какую надо песню!

Плотник облокотился на стол, подпер щеку рукой, закрыл глаза и запел.

Он запел не тем своим органным, густым голосом, каким его заставляли петь в хоре, а другим, тонким, дрожащим, народным голосом, каким поют мужики.

Этот особенный голос он как будто берег для одного себя и запел им только теперь. Голос переливался и дрожал, и было в нем что-то хватающее за сердце, размашистое и глубоко печальное. В песне, протяжной и простой, чувствовалась настоящая русская грусть, широкая, безбрежная.

Быть может, ему вспоминалась родная деревня и печальные степи, где он слышал и пел эту песню, где не знал тоски, скуки и ядовитых мыслей. Быть может, он сожалел об утраченном равновесии души.

Де-и-энь хожу я, ночь гу-а-ля-ю...
Гру-устно се-и-эрдцу ма-е-му...—

пел Захарыч, и его измученная душа вся влилась в эту широкую песню. Точно не Захарыч, а кто-то другой пел в нем:

Сле-и-озы ка-атятся ручья-ми
Вдо-и-оль по бе-о-э-ло-му ли-цу...

Задушевный, размашистый мотив переливался неожиданными переходами, опускался на нижние ноты, замирал и, вместо того чтобы оборваться, вдруг переходил к началу:

Вдо-и-оль по бе-еэ-ло-му ли-цу...
Эх! Па-и-а-ру-мя-на-ай па ще-ке-е!

Песня захватывала дух, уносила с собой и захлестывала душу своей широкой, стихийной, русской грустью...

Захарыч, крепко прижав руку к щеке, забыл обо всех и пел, слегка покачивая кудрявой головой, не замечая, как из закрытых глаз ручьем струились крупные пьяные слезы.

VIII

Пасха была ранняя. Снег еще не сошел хорошенько, и было то время, которое называется «ни на санях, ни на колесах». В воздухе пахло талым снегом и той особенной свежестью ранней весны, когда природа только еще ожидает пробуждения, когда еще холодно, но солн-

це играет по-весеннему и над черными суками голых деревьев вьются прилетевшие грачи.

Эти первые нежные вздохи природы, еще не очнувшейся от зимнего сна, проникают в душу как тихое дуновение, и люди чувствуют бессознательную жизнерадостность, прилив сил, бодрости, надежд и неясных влечений куда-то.

Над городом сияло праздничное, радостное солнце, оглушительный трезвон лился над городом подобно солнечным лучам. По улицам текла нарядная, веселая толпа. Несмотря на холод, преобладали легкие новенькие костюмы. Лица девушек, освещенные задорной улыбкой и разрумяненные свежим влажным ветерком, мелькали в толпе, и все они казались хорошенькими. По мостовой, кое-где очищенной от снега, мчались санки и пролетки с «визитерами» в блестящих цилиндрах. У некоторых из них цилиндры уже съезжали на затылок. На улицах всюду слышались пьяные песни. На извозчике околоточный и будочник провезли в часть пьяного городового.

К дому купца Понедельникова шумно подъехали три тройки. С длинных линеек и дрог слез целый хор певчих. По заведенному исстари обычаю они разъезжали по богатым домам «с концертом».

Тут была целая масса альтов и дискантов и толпа теноров и басов.

Регент взобрался на крыльцо и позвонил.

Хор стоял у крыльца, лениво переговариваясь между собой.

— Вот! — угрюмо говорил один бас с физиономией бандита, в бесцветном пальто с чьих-то плеч, еще более широких, чем его плечи, и в майских брюках. — Целый день хвораю; уж я и выпью, и закушу, и с солью-то, и с перцем — нет! Ни одно лекарство не помогает!

Ржавчина скорчил постную рожу.

— Выпей настойки из еловых шишек! — посоветовал он басу.

— А ты пил?

— Пил!

— Хорошо?

— Все равно, что в еловом лесу сидишь и пьешь.

Дверь отворила олетая по-праздничному горничная и на вопрос регента ответила: «Пожалуйте!»

Лестница и прихожая сразу наполнились народом. Для удобства мальчики раздевались на лестнице, а в комнате только большие, но и им было тесно. Раздеваясь и снимая галоши, все толкали и мяли друг друга. Певчие торопливо проходили в зал и становились по партиям. У Понедельникова собрались гости, и шел пир горой. В соседней комнате гудел пьяный говор и утробистый смех, а в отворенную дверь виднелись плотные толстобрюхие фигуры в длиннополых сюртуках, мелькали окладистые бороды, красные, широкие лица.

Регент задал тон, обвел хор строгим взглядом и взмахнул руками.

Внизу всего хора, как бы из земли, плыла густая, сочная и вкусная октава. Что-то плодородное, ароматное и девственное чувствовалось в этих ярких и цельных звуках, могучее и устойчивое. Казалось, что этот голос внес сюда всю природу, яркие солнечные лучи, их теплоту, ароматное дыхание зеленых степей, их тайны и теплый запах согретой солнцем земли.

Как только загудела октава, купцы один по одному стали вылезать в зал, и на их заплывших жиром лицах появлялась улыбка умиления. Этот странный и редкий голос, играющий в духовных хорах такую важную роль, неотразимо пленял купеческие души. Они знали счастливого обладателя такой удивительно широкой глотки и ободряюще подмигивали ему, с нетерпением ожидая самой низкой и густой ноты.

И он наконец взял эту ноту.

Это был звук, словно доходивший из бездны, — глубокий, таинственный и внушающий невольное чувство страха и уважения.

Захарыч стоял позади всех басов и пускал в воздух свои потрясающие сердца купцов ноты.

Фигура его была ужасна. Приземистый, с богатырской грудью, с громадной вихрастой головой на короткой и сильной шее, с аляповатым, безобразным лицом, похожий на истукана, он крепко, как на сваях, стоял на коротких, неуклюжих ногах и свирепо водил исподлобья огромными глазами, налитыми кровью от пьянства. Страшная густота голоса не позволяла ему выговаривать

слов, и он только бессмысленно ревел, опустив голову, как буйвол.

После громогласного конца концерта мальчики ушли, а большие певчие сделали вид, что тоже хотят уходить, но знали, что Понедельников им уйти не позволит.

— Господа! По рюмочке! Закусить! Пожалуйста! — провозгласил он, обращаясь к хору, и, положив обе пятерни на свое огромное брюхо, осклабляясь, подошел к регенту.

— Ну, брат, и ревет же у тебя Захарыч твой! Утешил, одно слово! Хо-хо-хо-хо!

При одном воспоминании о том, как ревет Захарыч, ему становилось смешно.

— Октава — краса хора! — самодовольно отвечал регент.

— Да уж верно, брат! Она, матушка, как загудит — от нее весь хор стонет! Хо-хо-хо! Ну, а что, пьет ведь?

— Пьет, Лука Савельич! Подержался было сначала, а теперь никогда трезвым-то и не бывает! Уж это голос такой! Без водки и петь не может, — машина не действует, а выпьет полбутылки — приходит в свою нормальность. Самый голос тяготит такого человека. Тяжело иметь октаву!.. Ну-с, — переменил тон регент, — мы уж вами закончили визиты, Лука Савельич! Знаем, что у вас можно отдохнуть.

— А то как же? Чай, не впервой! По заведенному порядку, выпьем, песен попоете нам!

— За этим дело не станет, Лука Савельич!

— А это кто у вас... новенький?

— Да, недавно поступил! Из выгнанных студентов будет. Наук не кончил и в певчие попал! Хе-хе-хе!

— Высших, значит, наук?

— Хе-хе-хе!

— Высшие науки ни к чему! — икая, вмешался в разговор другой купец с лошадиным хвостом вместо бороды. — Жил у меня один этакий на фатере. Так он бога-то «механиком» ругал. Я говорю: по какому случаю механик, но не б-бог? Он то, се, но, между прочим, меня не проведешь: я «их» наскрозь вижу, этих высших-то наук! Никакого толку! Вот беса тешить — это их дело. Я слушал-слушал, да-а как д-дам ему за механика-то

в морду! Одним махом сделал ему разрушение Помпеи...

«Философ» обнажил громадный кулачище и показал, как он сделал «разрушение Помпеи».

Между тем певчие не дремали около длинного стола с винами и закусками. Там шла деятельная выпивка.

Захарыч, мрачный и молчаливый, опрокидывал рюмки с такой быстротой, точно мух ловил. Сначала он выпил три рюмки, стоявшие рядышком. Потом увидал шесть и начал их выплескивать в себя одну за другой, без закуски, но при последней рюмке почувствовал, что кто-то тихонько взял его за рукав. Это был регент. Он пошевелил длинными усами, сверкнул строгими глазами и покачал головой.

— Не пей ты хоть по шести-то! — укоризненно произнес он.

Захарыч отмахнулся от регента.

— Отвяжись! — пустил он в удивительно низкую, великолепную ноту.

Регент махнул рукой и тоже выпил.

— Нет лучше голоса, как октава! — разглагольствовали купцы. — Ну что, например, тенор? Так себе, жидкий голос, от него только мозоли ужжат! А у Захарыча — голос! Мы его завсегда ублаготворим: одежу с себя пропьет — оденем! Посуду в трактире перебьет — заплатим! Напейся он сейчас — сбережем! Он — наш!

— Вер-рно! Ну, тоже есть и верха, которые... хо-хо-хо! Кэ-эк тяпнет!

— Ну, верха-то я и сам тяпну!

Тут же шел и религиозный спор.

— Я говорю тебе, дурья башка, что на том самом, значит, месте, где стоит гора Голгофа, откопан был Адамов мосол...

Собеседник икнул и перебил серьезно:

— Врешь, не мосол!

— Нет, мосол! И вот, значит...

— Не мосол, говорят тебе!

— Как не мосол?

— Голова, а не мосол! Писания не знаешь!

— Нет, мосол!

— Какой такой мосол?

— Вот... такой! — споривший, растопырив ладони,

уверенно и с точностью показал, какой длины был «мосол».

В комнате стоял гул голосов. Всякий говорил свое. Чья-то могучая длань ласково трясла регента за шиворот и любовно приговаривала:

— Вели им песню петь, чертов кум, варяг ты этакий!.. Деймон!

Вскоре хор собрался в кучу. Ржавчина, специалист по части «светского» пения, занял место регента. Началось пение.

От Кав-ка-за до Ал-та-я,
От А-му-ра до Днеп-ра!—

отчеканивали басы «стокатто», а тенора так залились, что даже Понедельников, не любивший их, притопнул ногой и крикнул:

— Унеси ты мое горе!

Захарыч совсем не мог выговаривать слов новой для него песни и только хрюкал, покрывая весь хор:

От Шалтая до Болтая
От Болтая до Шалтая!

Купцы были очень довольны. По окончании песни они так и вцепились в него и, облепив его, как мухи, начали «накачивать» водкой..

И Захарыч пил ее, как воду.

Наконец, он свалился под стол и заснул. Купцы долго старались растрясти его, но он спал богатырским сном.

— На снег его, ребята! — догадался один купец. — Там оклемается!

— Верно! — подтвердили остальные. — Перенесем его с честью!

— Ковер ему на снегу постелим!

— И графин под самое рыло!

— Хо-хо-хо! Октава!..

Мысль о том, что Захарыч проснется не в комнате, а на снегу, показалась купцам забавной.

Они подняли на руки спящего богатыря и торжественно понесли его на двор.

— Держи голову-то, черт!

— Спину-то, спину-то подопри!

— Ничего, тащи, ребята!

— Клади! Так!

— Ну, не трог, спит! Человек не свинья,— выспится, сам встанет!

— Хо-хо-хо-хо!

С насмешливым почетом уложили они мертвецки спящего октависта на куче снега, постелив грязную рогожу; кто-то всунул ему за пазуху бутылку с простой водой.

Затем все возвратились в комнаты и позабыли о нем. Начался самый разгар пиршества. В комнатах зажгли лампы. Начался пляс и дым коромыслом. Певчие опьянели и охрипли от неустанного оранья.

Песни пошли разухабистые.

Вдоль по улице молодчик,
Моло-о-одчик идет!.. —

свирепствовали пьяные басы хриплыми и дикими голосами.

— Дел-лай! — мычали купцы, уже беспомощно притопывая грузными ножищами и тщетно пытаясь подняться с кресел. — Отчи-хвощивай! Жарь!

Ржавчина, донельзя пьяный, покачиваясь, дирижировал хором. Двое басов поддерживали его под руки, чтобы он не упал. Длинные волосы свесились Ржавчине на пьяное лицо. Он беспомощно разводил руками, словно желая полететь, и подпевал хору тоненьким и пьяненьким тенорком:

Вдоль по ши-рокой удала го-ло-вва...

А хор опять ревел нестройно и дико:

Моло-о-одчик!.. Моло-о-дчик идет!..

Вдруг на пороге появилась страшная фигура Захарыча. Весь он был мокрый, — в кудрявых его волосах блестели капли растаявшего снега. Налитые кровью глаза смотрели свирепо. Он держался обеими руками за косяк двери, покачиваясь, несколько секунд смотрел на кутерьму в комнате и вдруг грянул голосом, наводящим ужас:

— Ана-а-фемы!

Рев хора, гам, гвалт и весь стон кутежа — все было накрыто этим чудовищным голосом, от которого, казалось, дрогнули стены.

Захарыч шагнул к длинному столу с винами и закусками, схватил за угол скатерть и сдернул все со стола на пол. Раздался адский гром и звон. Все загалдели и бросились на Захарыча, а он швырял всех, как щенят, полный гнева и ярости, бил и ломал все и всех и ревел, как бык, которого обожгли раскаленным железом.

— Вот вам за Томашевского! Вот вам за овес! Вот вам за снег! Все вы сволочь! Все вы анафемы!..

— Берите его, вяжите его, бейте его! — кричал Понедельников.

Началась каша, свалка, всеобщая потасовка; звон разбитой посуды, крик, визг, плач и ругань покрывал громовой голос Захарыча:

— Сокрушу! Истреблю!..

IX

Захарыч был уволен из хора и пропал. Прошло несколько лет. По временам в певческий мир приходили слухи о нем. Говорили, что он поступил в капеллу Славянского и путешествует по Европе. Потом прошел слух, что он опять в России и поет в митрополичьем хоре. Потом кто-то видел его в Ростове-на-Дону, откуда он опять исчез. Встретили его раз путешествующим пешком по монастырям и поющим в монастырских хорах. Но, несмотря на соблазнительные условия и ухаживания содержателей хоров, он нигде не хотел остановиться и все куда-то шел. Он превратился в «странствующего певчего».

Недавно я встретил Захарыча после долгой разлуки. Это было в приволжском небольшом селе. Там плотники строили деревянную церковь почти на самом берегу Волги. Сельцо приютилось между двух высоких гор, разделенных узким ущельем. Казалось, что село высунулось из ущелья на свет божий, но при малейшей опасности вновь спрячется в жигулевские дебри.

Стояла погожая, теплая, ведренная осень, какая редко бывает. Солнце сияло, как весной. Волга лениво и мечтательно расстилалась кругом, спокойная и медленная до неподвижности, блестящая под спокойно-приветливыми и нежно-меланхолическими лучами осеннего солнца.

Величавые горы — Жигулевские с одного берега и Сокольничьи — с другого, поросшие кудрявым разноцветным лесом, тянулись чудной, сказочной панорамой по обеим сторонам реки. Листва желтеющих деревьев поражала и восхищала богатством и разнообразием красок: были деревья с ярко-красными листьями, оранжевыми и бледно-розовыми, березы стояли, словно убранные золотом, а оголенные ветви издали сливались в нежно-голубую дымку. Казалось, что горы усыпаны сорванными разноцветными розами. Волга лежала между этими грудами роз, словно спящая красавица. Из-под кудрявой опушки леса, у самой воды, белой лентой тянулся отвесный каменистый берег. Внизу, под величавой громадой гор, плыли ленивые плоты, бежали коричневые «косоуши» с косым белым парусом, мелькала рыбацкая лодка.

И все, что плыло по реке, по сравнению с громадными размерами окружающей природы, было игрушечным, хрупким и ничтожным: барки казались ореховой скорлупой, плоты с их избушками казались крошечными, а люди на них — букашками. Горы с удивлением смотрели на хлопотливый пароходишко, лопотавший что-то своими колесами, и точно спрашивали друг друга: «Кто это ползет?» И дальше тянулись все такие же внушительные молчаливые горы, убранные разноцветными кудрями леса, погруженные в свои таинственные и важные думы, чуждые всего людского. Волга уходила вдаль широкой, блестящей, трепетавшей на солнце серебряной лентой и сливалась с прозрачным горизонтом. Природа, пленявшая размашистыми штрихами, дышала мощью и величавым спокойствием. Где-то недалеко от строившейся церкви копошились плотники в разноцветных рубахах, а в чистом горном воздухе звучала веселая песня.

Катай, наши, катай!
Знай, покатывай, катай!„—

заливались звонкие фальцеты и тенора, перебрасывая песню низким голосам, а те подхватывали ее на лету и густо вторили:

Валяй, наши, валяй,
Знай, поваливай, валяй!

Около церкви тяпали топорами, пильщики распиливали сырые пахучие балки, а на вершине обнаженных ребер купола колокольни работал старик с длинными седыми волосами и пел расшатанным басом какие-то духовные стихи. Его голос далеко был слышен, и по этому голосу и седым кудрям я узнал Захарыча. Я направился к церкви, и его пение стало яснее доноситься до моего слуха. Разбитая печальная октава непринужденно и свободно звучала над спокойной рекой и уплывала в горы.

Около церкви на припеке улеглось небольшое стадо овец. С колокольни выглянула огромная голова старика и рявкнула громовым голосом:

— Тря!..

Овцы с гулом шарахнулись от колокольни, а из купола опять поплыло густое пение под мерные удары блестящего топора.

— Захарыч! — закричал я. — Это ты, что ли?

Захарыч посмотрел на меня с высоты, узнал и бросил петь. Он был очень хорош в своем венке из белых, как серебро, кудрей.

— Я! — густо ответил он. — Айда сюда!

Я влез к нему.

Захарыч воткнул топор носом в бревно, которое тесал, сел на бревно и не без важности принял меня. Он был в синей своей куртке и в лаптях. Лицо его дышало спокойствием и уверенностью в себе.

— Сколько лет, сколько зим! — сказал он мне.

— Давненько не видались! — отвечал я. — Ты вот ушел от нас, — опять плотничаешь!

Захарыч усмехнулся:

— Опять плотничаю!

— Что же ты из города-то ушел? Ведь там ты голосом впятеро больше заработаешь, чем здесь топором!..

Захарыч опять усмехнулся.

— А наплевать мне на ваше «впятеро»! — отвечал

он.— Ты посмотри только отсюда на Волгу, на горы! Здесь душа покой себе находит, а там она мятется попусту...

— Но ведь красота и в пении есть, Захарыч! — возразил я. — Отчего ты не поешь в опере или у Славянского?

Захарыч с презрением усмехнулся и промолчал, словно ему приходилось отвечать на ребяческий вопрос...

1900

КОМПОЗИТОР

Я шел по набережной мимо одного грязного трактира. Вдруг мне послышалось, что кто-то изо всей мочи крикнул мое имя. Оглянувшись, я увидел в окне толстобрюхую фигуру мясника Сидорыча, моего давнишнего приятеля. Он приятельски осклаблялся, поманив меня рукой, и орал зычным басом:

— Гаври-илыч!.. Гаври-илыч!..

— Чего тебе? — крикнул я ему.

— Зайди на минутку! Дело есть!

Когда я вошел в трактир, то сразу не мог разобраться, так было накурено и так скверно пахло. Трактир, по случаю воскресенья, был полон, стоял гул голосов, входили и выходили люди, бегали бледнолицые половые с грязными салфетками, и я остановился на пороге, ища глазами Сидорыча...

— Сюда! Сюда! — раздался его голос из угла.— Иди сюда!..

Сидорыч встал из-за стола, за которым он сидел с кем-то, взял меня за руку, подведя к собеседнику, торжественно спросил меня:

— Знаешь ли, кто это со мной сидит? — и, потрясая вилкой, на которой был кусок сосиски, завопил: — Это — ком-по-ззи-тор!

Сидорыч был уже порядочно пьян. На столе стояла водка с неопрятной кабацкой закуской. Тот, кого Сидорыч назвал композитором, поднял голову и поглядел на меня пьяными, добрыми голубыми глазами. Это был мускулистый человек лет около тридцати, с густыми волнистыми кудрями и рыжеватыми усами. Его лицо явля-

ло все признаки долголетнего пьянства: оно было измято, с характерными морщинами и мешками под глазами, нос был ноздреват и красен, но черты лица были красивы и выразительны, а голубые детские глаза положительно напоминали мне что-то забытое...

— А ведь мы с вами знакомы были! — произнес он хриплым, пропитым голосом и улыбнулся застенчивой улыбкой. — Органов!

Я был поражен... Несколько лет тому назад я знал Органова, странного, симпатичного юношу с голубыми, наивными глазами. Он тогда ничего не пил и был очень красив, говорил и пел звучным, приятным баритоном, с детства пел в церковных хорах и удивлял меня своими способностями, в особенности музыкальными. Играл на всех инструментах оркестра, выучившись этому самоучкой, превосходно знал музыку и тогда еще писал какие-то музыкальные пьесы и разыгрывал их на фисгармонии, которую сделал сам. Сам же сделал себе и концертную гармонию. Жил слесарным ремеслом, которым занимался дома, квартируя в лачуге на краю города со старухой матерью. Зарабатывал мало, занимаясь большею частью только починкой самоваров и часов. Зато постоянно сидел за фисгармонией... Из бедной лачуги вечно неслись стройные тягучие аккорды. Его часто приглашали на мещанские свадьбы играть на гармонии. Играл он как артист.

Сидорыч был одним из тех смешных любителей музыки, которые сами ничего в ней не понимают и не имеют слуха. Он не мог спеть ни одной самой простой песни, а между тем замирал от восторга, когда слышал пение или музыку. Понятно было его преклонение перед «композитором».

— Он в тоску может человека вогнать! — хвалил Сидорыч своего собутыльника. — До смерти люблю, когда он со слезой заиграет! Ему, брат, пятьсот целковых за его ноты давали, а он, чудак, не продает!..

— Да ну тебя! — укоризненно прервал его Органов.

— Что же вы не продали ваши сочинения? — спросил я.

— Да так. Не к чему. Денег мне не надо: все равно пропьешь... Пускай после моей смерти возьмут...

— У него гвоздь в башке! — объяснил мне Сидорыч

странный ответ композитора. — Он на чем упрется, не собьешь! А ты лучше вот что: сейчас берем с собой бутылку водки и — к тебе. И Гаврилыча возьмем. Ты нам сыграешь. Идет?

— Идет.

Компания была подвыпившая, но Органов всегда мне казался интересной личностью, каким-то человеком не от мира сего, и, кроме того, мне хотелось послушать его игру. Я согласился поехать к Органову. Мы сели втроем на извозчика, причем композитор кое-как прилепился на козлах. Ехать пришлось на самый край города, имевший совершенно сельский характер: тянулись пустыри и заборы, по улице ходили коровы и свиньи, убогие лачуги смотрели печально. Мы, наконец, остановились у одной избы, над воротами которой висела сапожная вывеска.

— Стоп машина! — сказал Сидорыч, слезая.

Через низкие и темные сени мы вошли в мастерскую сапожника, который сидел на низеньком круглом стуле и работал, обнажив по локоть мускулистые руки. Кругом валялись обрезки кожи, колодки и сапожные инструменты. Пахло тяжелым кислым запахом. Он посмотрел на нас исподлобья и ничего не сказал. Встретила нас старуха, одетая по-деревенски.

— А ты бы погодил нынче напиваться-то! — раздраженно сказала она Органову.— Скоро свадьбу идти венчать, все бы сколько-нибудь заработал!

Мы прошли в соседнюю маленькую комнату с одним окном. Там стоял голый стол, три стула, кровать и фисгармония. Пахло все тем же сапожным запахом. Комната отделялась тонкой дощатой переборкой, и было слышно все, что говорили в доме.

— Человека только что в хор приняли, через час ему надо на свадьбу идти, а тут разные пьяницы приходят спаивать, — слышался недовольный голос старухи.

— Пропащий человек! — подтвердил сапожник.

Органов ухмыльнулся.

— Это мой брат, — сказал он.— Сердит он, да ведь мне наплевать... Не пойду я на свадьбу, потому что пьян, все равно денег не дадут, а только оштрафуют. Вы посидите, а я сбегаю в лавочку за закуской.

И нахлобучил картуз.

Едва он вышел, как вошла старуха.

— Неудачный у меня сынок-то! — со вздохом начала она.— Ни к какому делу неспособен, пьянствует! Уж вы, не знаю, как вас, не давайте ему напиваться-то. На свадьбу ему надо идти, все, глядишь, хоть целковый принесет, а житье наше бедное... Наказал господь таким сыном.

— Разве он много пьет? — спросил я.

— Каждый день напивается... Совсем от дела отбился... А ведь слесарь-то какой хороший был!..

Она прибрала немного в комнате и направилась к двери. Я вышел за ней и остановил ее.

— Вы не сердитесь на нас, — сказал я. — Может быть, он из-за нас не пойдет на свадьбу, так вот...

И я сунул ей целковый.

Это произвело на старуху ошеломляющее впечатление... Она вся просияла и совсем переменила обращение. Принялась благодарить и долго допытывалась, кто я такой: мой поступок казался ей удивительным.

— Уж вы извините, батюшка, я ведь думала, что вы такой же шарамыжник, как эти, которые к нему все ходят... Да кто вы такие будете? Из каких вы?.. Да я вам горяченькой картошечки на закуску-то подам...

В это время явился сын, и старуха скрылась. Он положил на стол соленые огурцы и кусок скверной колбасы. Мать подала в тарелке жареный картофель... Сидорыч откупорил бутылку, и мы выпили... Он прищелкивал языком и пальцами и чувствовал приступы музыкального восторга. Наконец, не выдержал и, умильно посмотрев на молодого человека, сказал просительным тоном:

— А ну-ка ты, тово... вальни что-нибудь!

— Надо выпить сначала! — возразил музыкант.

Выпили еще.

Наконец, Органов сел к своей самодельной фисгармонии и взял несколько аккордов. Фисгармония была небольшая, но звуки были верные и мягкие. Сколько труда, вероятно, потратил бедный самоучка, чтобы соорудить этот инструмент!

Сидорыч замер в ожидании.

— Что же играть? — спросил Органов, оборачиваясь к нам. — Хотите, Моцарта сыграю? А то из оперы что-нибудь?

— Духовное сыграй! — сказал Сидорыч. — О душе... и слова говори...

— Ладно... я сыграю одну пропорцию концерта «Высшую небес...» Вы его нигде не услышите...

Органов заиграл печальную мелодию... Чистые, жалобные звуки сплетались в благоговейные аккорды и, казалось, улетали к небу... Но они были слишком слабы и беспомощны и снова возвращались назад и болезненно пели о земле, о слезах и страданиях... Низкие басовые аккорды гудели тоже болезненно, тихо и меланхолично... В этих звуках чувствовался какой-то разлад, тихая жалоба на что-то, что-то беспомощное и глубоко печальное... Музыка шла отдельными короткими фразами, которые, вероятно, нужно было петь вдумчиво, вразумительно, вникая в их печальный смысл... И Органов запел как бы про себя фистулой своего болезненно-разбитого баритона:

От многих моих грехов...

Тут он взял аккорд тихий, как вздох, и продолжал, аккомпанируя болезненно-жалобными звуками:

Немощствует... тело...

И, словно после некоторого раздумья и вздоха фисгармонии, добавил более низко и тихо, просто и меланхолично:

Немощствует и душа!..

— О-о-хо-хо!.. — тихонько вздыхал Сидорыч, наливая в рюмки.

Органов имел способность извлекать живые звуки, передавать их настроение. Меланхолия воцарилась в комнате, и мы с Сидорычем сидели печальными, пока он вдумчиво, с паузами, пел грустные слова, пояснявшие грустную музыку.

— Будет! — вдруг сказал музыкант.— Надо выпить.

— Ах ты, господи! — восхищался Сидорыч, чокаясь.— И как это он может прямо, можно сказать, за сердце человека взять?.. А?..

— А вы своей композиции сыграйте что-нибудь! — попросил я.

— Своей композиции — это на гармонии или на

скрипке... Да у меня какая композиция? Вроде старинных русских песен... без слов... У меня до двухсот старых песен на ноты положено... Этих песен уж и не поют теперь... я собирал...

Он снял с окна концертную гармонь с каким-то особенным устройством ладов и заиграл что-то протяжное, русское, напоминавшее степные, размашистые песни, полные нежности и тоски, но, тем не менее, это не была обыкновенная народная песня: мотив был облечен и обработан в стройную музыкальную форму с удачным сохранением народного духа. Передо мною был один из тех народных композиторов, никому не известных, создающих самые народные песни, до такой степени характер его музыки был сходен с народной музыкой. Для него, вероятно, ничего не стоило выразить свои настроения так, что получалась подлинная народная песня, правильно положенная на ноты. Пусть это были даже подражания народным мотивам, все же от этой музыки веяло такой юношеской свежестью, глубиной и силой, что как-то не верилось, будто душа этого спившегося слесаря могла породить их на свет.

А огромный материал исчезающих народных песен, которым он владел, не представляет ли он, может быть, огромной ценности? Да и сам народный композитор не мог ли сделаться чем-нибудь замечательным, если бы не погиб в засасывающей мещанской среде, никем не понятый и даже сам себя не понимающий? Органов играл, сидя на стуле и прислонившись спиной к стене. По временам он встряхивал густыми кудрями, а голубые глаза загорались каким-то особенным радостным блеском. Казалось, что хмель соскочил с него, и в чертах его измятого лица я вновь узнавал забытый симпатичный образ прежнего юноши с застенчивой улыбкой и прекрасными голубыми глазами. Казалось, что вдохновение, таившееся в душе композитора, вновь одухотворило его преждевременно обрюзгшее лицо и сделало его юным и прекрасным. А гармония пела дрожащими, задушевными звуками. И представлялся тихий летний вечер в степи, безбрежная ширь и даль, чуткая тишина и нежная гармония всевозможных степных звуков; и на этом фоне далеко плыла и уходила в необъятную даль надрывающая душу песня: в ней словно кто-то прощается навеки,

рыдает томительно-сладким рыданием. И все закончилось тонким, уходящим вдаль, тающим звуком, потонувшим в печальной тишине...

Сидорыч молча вытер слезы и вновь наполнил рюмки. Бутылка быстро убывала.

Я стал говорить Органову, что у него, по всей вероятности, есть талант, что ему нужно заняться собой, бросить пить, уйти из мещанской обстановки и поехать в большой город продолжать музыкальное образование.

Он ничего не ответил. Опять взял гармонь и заиграл всем известный, избитый шарманками вальс.

Но я не узнал этого вальса в его исполнении, столько было в звуках страстной и безнадежной тоски, отчаяния. Лицо его приняло почти трагическое выражение, а голубые глаза потемнели, как темнеет река в хмурую погоду.

Он играл «Невозвратное время».

И вдруг рванул гармонь и заиграл «камаринского», Бесшабашная, неудержимая удаль заговорила в каждом звуке, дразня и подмывая к пляске... Приунывший было Сидорыч поднял голову и начал передергивать плечами, потом притопывать тяжелой ножищей. Темп «камаринского» все учащался, делаясь все удалее и забористее... Правда, Органов забыл опустить какой-то винт, делавший звуки дрожащими и рыдающими, и мне странно было слышать развеселую плясовую песню, сквозь которую пробивались рыдающие звуки. Но Сидорыч уже не выдержал, вскочил, распустил руки, как крылья, и поплыл настолько грациозно, насколько позволяла ему его семипудовая фигура.

Потом он топнул так, что все задрожало, и запрыгал на носках, как воробей... В комнате все затряслось.

— Эх, ходи изба, ходи печь! — крикнул он и начал «откалывать» новое колено. Каждая жилка плясала в Сидорыче, на жирном, красном лице сияла блаженная улыбка.

Органов весело потряхивал кудрями и играл все забористее и зажигательнее...

— Сидорыч, не выдай! — покрикивал он.

А сквозь дикое веселье «камаринского» слышались дрожащие, плачущие звуки.

1900

МИНЬОНА

I

Теплая южная ночь опустилась над живописным приморским городом. На темном, словно бархатном небе, как бриллианты, рассыпались крупные звезды.

Невидимое море бормотало, ворча свои никому не понятные речи. Воздух был теплый и влажный. Ночная темнота казалась наполненной какими-то таинственными тенями, в сонном воздухе чудились тихие вздохи, плыли невнятные, смутные звуки. И город и море были поглощены мечтательной темнотой южной ночи, и было видно только целое море огней, переливавшихся в беспорядке, как золотые искры. Порой по небу двигались, рассекая темноту, громадные лучи, похожие на северное сияние. Огненный меч описывал полукруг через все небо и ударял по морю, мгновенно освещая его до самого горизонта. В этой узкой полосе света серебрилось плескавшееся море, отчетливым рисунком выделялась плывущая лодка или нос неподвижно стоящего на якоре судна. Затем все опять тонуло во мраке: это поворачивали в разные стороны электрический фонарь на военных судах.

К пристани только что подошел огромный морской пароход.

Толпа, хлынувшая по мосткам, казалась не совсем обыкновенной: оригинальные костюмы, бритые физиономии и какой-то особый отпечаток беспечности, отличающий профессиональных актеров, сразу бро-

сались в глаза. Это была гастролирующая оперная труппа.

Торопясь и толкаясь, они быстро схлынули, и скоро с пристани потянулась целая вереница извозчиков с седоками.

После всех сошли с парохода два молодых актера. Это были, вероятно, хористы. За ними не следовал носильщик с их вещами, и в руках у них не было никакого багажа. В противоположность общей озабоченной суетливости, они совсем не думали спешить и шли с любопытствующим видом туристов. Приятели представляли полнейшую противоположность один другому, напоминая Несчастливцева и Аркашку. Один был очень высокого роста, в высоких сапогах, в папахе и черкесской бурке; в этом костюме он казался громадным, выделяясь из толпы.

Он медленно, с бессознательной важностью шагал своими длинными ногами, односложно отвечал басом на теноровое щебетанье своего говорливого товарища; этот был маленький, кругленький, с коротенькими ручками и ножками и круглым улыбающимся лицом. Одетый в коротенький пиджак, он беспечно заложил коротенькие ручки в карманы брюк и задорно семенил около своего товарища, который казался несколько угрюмым или задумчивым.

— Посмотрите, Шемякин, посмотрите! — волновался тенор, забегая вперед и заглядывая в глаза своему товарищу.— Посмотрите, какой симпатичный город! Сколько огней! Ах, какой дом! И окна открыты! Светит розовый фонарь. Как хорошо, вероятно, в этих комнатах! Как вы думаете, кто там живет? Вероятно, какая-нибудь красавица! Рояль! Вы слышите, рояль, Федот? а?

И он запел сладким голосом:

О Маргарита!

— Пьеро! — укоризненно басом остановил его Федот Шемякин.

— Ах, Шемякин, если бы вы знали, как я люблю комфорт, красоту, изящество! И как досадно, право, что вот в этом самом доме, в этой аристократической обстановке живут бездарные люди, которым все это надоело,

которым очень скучно! Представьте себе, если бы мы туда попали, в это общество! Мы бы царили там. Все женщины влюбились бы в нас!

— Ну, брат, — угрюмо возразил бас, — не забывай, что нас с тобой туда не пригласят: мы можем только с улицы смотреть на их окна! Наше дело — походы! С места на место!

— А что ж! Приятно тоже и путешествовать, особенно без багажа! Незнакомый город всегда производит какое-то освежающее впечатление! А ведь мы с вами — флегматики. Что для других важно, то для нас пустяки, и наоборот — что для других пустяки, то для нас чрезвычайно важно! Вот, например, эти впечатления, ощущения... ведь это целый мир! В них — жизнь! А внешние условия — это проза! Счастлив тот, кто умеет находить поэзию жизни!

Они повернули на ярко освещенную улицу. Витрины магазинов и множество гуляющей публики привлекли их внимание. Они вмешались в толпу гуляющих и с любопытством посматривали на все стороны, в свою очередь возбуждая любопытство и улыбки окружающих. Фигура в черкесском костюме всем бросалась в глаза.

— Это артисты! Артисты приехали! — доносились до них отрывочные фразы. Женщины оглядывались им вслед, улыбались, и глаза их светились любопытством.

— Что меня прежде всего интересует по приезде в новый город, так это — женщины! — воскликнул тот, которого другой называл Пьеро.— Помните, Шемякин, как мы восхищались женскими лицами в Харькове и Киеве! Там все украинские и польские типы, а здесь в другом роде, кажется больше еврейки и караимки... Сядемте где посветлее и будем женские типы наблюдать!

Они уселись на скамейке под деревом, около тротуара, ярко освещенного окнами магазинов. Теперь и их лица стали виднее. Лицо Федота было добродушнейшим лицом деревенского парня, с мягкими чертами, широкими ноздрями и белыми бровями. Глаза — узкие, серые, наблюдающие и себе на уме. Когда он говорил или слушал, брови его взмахивали или сдвигались, придавая лицу то или иное выражение. Было ему, вероятно, лет двадцать пять.

Пьеро казался моложе, подвижнее и красивее аляпо-

ватого и слегка неуклюжего баса: это был хорошенький брюнет с тонкостью в очертаниях выбритого, круглого, юношески свежего лица.

— Ты легкомыслен, Пьеро! — бархатным, приятным баритоном говорил Федот, посматривая прищуренными глазами из-под своих подвижных белых бровей на текущую мимо толпу.— Тебе каждая женщина нравится, а мне — одна из тысячи. Я люблю только один тип, который чрезвычайно редко встречается, — тип поэтической женщины! Понимаешь ли, какая она? Это — среднего, даже немножко выше среднего роста, брюнетка или шатенка, чрезвычайно пропорциональная, с особенной, этакой, понимаешь ли, походкой, такой легкой, сдержанной и скромной, с какой-то этакой музыкальной, стройной походкой, с грустным серьезным лицом, в котором есть какая-то трагическая черточка, с глазами, из которых смотрит глубокая женская душа. Понимаешь — это тип оперной Миньоны!

Такую женщину я могу узнать еще издали, еще не видя ее лица, по грациозности ее фигуры, по легкости походки, по вкусу, с которым она одета, по красному цветку в черных или только темных, но непременно густых волосах или на шляпке, которая всегда удивительно идет к ее лицу и прическе.

Равнодушный ко всем остальным женщинам, я прихожу в волнение при одном ее приближении. К подобного типа женщинам я чувствую какое-то магнетическое влечение. И представь себе, что, как назло, не представляется возможности даже и познакомиться с такой женщиной: она всегда промелькнет в жизни, как что-то случайное, неуловимое. Иногда встретишь Миньону на улице, в толпе... Так бы, кажется, и побежал за ней, подошел бы к ней, рассказал ей все, открыл всю свою душу, но она уже исчезла, и сколько ни ищи ее потом — не найдешь никогда. И несколько лет не встречаешь в жизни чего-нибудь подобного, живешь воспоминанием о ней и тщетно стараешься воспламенить себя к окружающим женщинам: фальшь видна сразу, и холод сердца заметен для всех. И живешь скучно и одиноко до тех пор, пока снова не промелькнет где-нибудь ее таинственный образ.

Женщины, окружающие нас с тобой, мелочны, скуч-

ны и прозаичны, так что человек с эстетической душой чувствует к ним ледяное равнодушие. Вот почему осуждены мы на вечное одиночество сердца! С возвышенной душой — и мы только презренные хористы, мы живем среди всякого сброда, где нет поэтических женщин, столь близких нашей натуре. Как скучна жизнь без них! Сколько энергии, силы, вдохновения, талантов обнаружил бы я для нее — этой таинственной Миньоны! И мне надоело, наконец, издали любоваться на нее. Я с ней заговорю! Вот встречу на улице и — заговорю!

— И получишь по морде!

Приятели рассмеялись.

В это время мимо ярко освещенного окна прошла молодая девушка. Свет упал на ее лицо, которое было так поражающе красиво, что оба они остолбенели: это была фантазия художника, мечта поэта, сон... Античная правильность очертаний лица, облитого тонким золотистым загаром, громадные черные глаза, опушенные мягкими ресницами, тяжелые волосы цвета воронова крыла, на которых трепетала свежая темно-красная роза, и необъяснимо грациозная походка — все это так поразило молодых людей, настроенных своим разговором, что они разом сказали друг другу: «Она!»

Красавица вздрогнула и уронила перчатку.

Федот быстро поднял ее и, подавая девушке, загородил ей дорогу.

— Миньона... — прогудел он смущенно.

Она поблагодарила его грациозным кивком и пошла далее. Федот последовал за ней. Он догнал ее и заговорил, волнуясь, торопливо и сконфуженно:

— Простите мою дерзость, что, не будучи знаком с вами... Умоляю вас, выслушайте меня...

Маленький тенор, с любопытством следивший за этой сценой, более ничего не мог расслышать. Он только видел, что красавица не дала Федоту «по морде», а спокойно шла рядом с его высокой фигурой. Через минуту они исчезли за толпой.

Тенор запустил руки в карманы, посмотрел им вслед, посвистал и пропел иронически:

— На-ча-ло есть!..

Затем он принялся рассматривать ярко освещенные окна магазинов.

II

Октябрьское утро было великолепное, какое бывает только на юге. В хорошеньком сквере, разбитом около театра, в девять часов не было ни души. Деревья южного климата зеленели, как весной, и грядки цветов, только что политых садовником, распространяли аромат в свежем утреннем воздухе.

Федот в своей черкесской бурке и папахе нетерпеливо бродил по дорожкам. Красавица сама назначила ему свидание в сквере, так он был вчера красноречив. Он заинтересовал ее. Это еще совсем молоденькая девушка. Удивительно красива.

Никогда еще хорист Федот Шемякин не желал так страстно известности и славы, как теперь... Хоть бы один раз в жизни, но непременно теперь, выступить в какой-нибудь партии перед Миньоной. Она бы тогда узнала, что такое Федот. Он чувствует, что мог бы затмить многих известных певцов, лишь бы ему дали дебют. Он знает наизусть все партии во всех операх, помнит партии каждой скрипки и каждой трубы в оркестре, ноты читает с листа и не смутился бы выступить хотя бы в партии Мефистофеля! Мало того: в его душе давно уже зреют какие-то смутные грезы о пересоздании всех этих старых оперных образов, о появлении великого артиста Федота...

Но никто в труппе даже и не подозревает, что за гусь этот самый Федот: думают, что это — только медное, неутомимое горло, покрывающее весь хор, что это — только необъятные легкие, могучие, как кузнечные мехи... Только! Но он «им» покажет! Лишь бы дождаться удобного случая...

Вдруг на дорожке показалась Миньона. На ее синевато-черных волосах трепетала еще влажная темно-красная роза, темное платье было с темно-красною отделкою. Это сочетание темного цвета с красным удивительно шло к ней. Ее свежее, золотистое лицо настоящей южанки дышало здоровьем, черные глаза, напоминавшие Федоту южную звездную ночь, блестели.

Федот затрепетал при одном ее приближении. Он поспешил ей навстречу.

— Здравствуйте, — сказала она своим певучим голо-

сом, протягивая ему крохотную ручку, затянутую в черную перчатку.— Ах, как я устала! Торопилась очень! Сядемте!

Они сели на скамейку. Кругом пестрели роскошные, благоухающие цветы, и сама Миньона благоухала и цвела, как они. Картинная фигура черкеса, вся в серебре, как нельзя более гармонировала со всей обстановкой свидания.

— Вы меня очень интересуете! — сказала она, украдкой взглядывая на него своими пламенными глазами.— Никто со мной еще так не говорил... Расскажите мне что-нибудь о себе, о сцене... Для меня это — совсем неведомая жизнь! Скажите, неужели вам не надоела она, такая беспокойная, бродячая?.. Вы любите сцену?

Федот сразу воодушевился.

— Люблю ли я сцену? — заговорил он своим сдержанным, бархатным голосом, то сдвигая, то поднимая свои широкие белые брови.— Люблю ли сцену? Да я без ума от нее! Я мечтал о ней с детства. Я перепробовал много всяких занятий и везде чувствовал себя не на своем месте до тех пор, пока не попал на сцену! Я люблю ее страстно, я наслаждаюсь ею, и мне все равно, чем бы ни служить ей: окажется у меня талант — я буду, может быть, большим артистом, не окажется — останусь тем, что я есть, пропадет голос — я буду ламповщиком,— но только бы мне быть на сцене, только бы служить ей, этой красоте... Раз в человеке есть хоть искра любви к искусству и раз этот человек попал на сцену — кончено. Он на всю жизнь становится рабом сцены, и для него легче сойти в могилу, чем сойти со сцены! В жертву ей он приносит все. Он готов переносить всю непрочность и необеспеченность жизни актерской, жизни скитальческой, цыганской и закулисные дрязги, и всевозможные неудобства и страдания, которыми изобилуют внешние условия его жизни! На все это он закрывает глаза, все это приносит в жертву тому наслаждению, которое он испытывает на сцене!

— А вы... играете какие-нибудь роли? — спросила Миньона, опуская глаза и крутя в пальцах темно-красную розу.

Федот мучительно покраснел и смущенно улыбнулся.

— Нет еще... То есть один раз выходил сватом... но неудачно...

Он вздохнул.

— Отчего же?

— Да неосторожно сел на кончик длинной такой скамьи на сцене... Скамья взвилась — и я того... упал! Вызвал смех в публике...

Миньона звонко рассмеялась.

— Ах вы, бедный, право! Голубчик вы, милый какой, непосредственный! За что же вы так любите сцену?

Федот быстро оправился и с прежним увлечением стал говорить о сцене и о том, за что он ее любит. Это ничего, что он был неловок при первом выходе: он слишком сильно хочет быть ловким — и будет таким, понадобится быть изящным — он будет изящным на сцене. Потребуется взять ноту, которую он взять не умеет, — он ее возьмет, он выучится этому на сцене же! Воля — вот главное, а сила воли дается любовью...

И Федот рассказал ей о своем влечении на сцену с детства, о своих мечтах, о своих скитаниях... Рассказал зачем-то всю жизнь. Еще в ранние годы нужно было кормить стариков — отца и мать, воспитывать маленьких братьев и сестер, но он их бросил и ушел... Словно звезда какая-то светит ему и ведет куда-то. Отец спился, мать умерла в нужде, чуть ли не с голоду. Его душа разрывалась от любви и жалости к ним, но не уступил он им, весь охваченный одною целью, одним призванием — сценой!..

Федот был положительно красноречив, почти вдохновенен, когда рассказывал Миньоне о своих страданиях. Даже простое, типично русское лицо его стало интересным от постоянной смены выражения. Бархатный голос очаровывал. Миньона, казалось, внимательно слушала, но потом вдруг спросила, почти прервала его:

— А вы, конечно, хорошо знакомы с вашим знаменитым тенором, который завтра поет Фауста?

Федот несколько смутился:

— Ну, да, знаком... А что?

— Скажите... меня это интересует... Какой он? Хороший? Интересный? Умный?

Федот замялся: знаменитый тенор был известен своею глупостью, чванством, малограмотностью и некра-

сивыми похождениями по любовной части. Федот искренне презирал этого человека. Но что-то остановило его отозваться так об артисте.

— Да, он интересный...

— И хороший? Ах, я так и знала! Я была в этом уверена!.. А та маленькая певица, говорят, его жена?

— Да, жена...

Миньона нахмурилась.

— Мне она не нравится! — враждебно сказала девушка. — У нее вот такие поднятые брови, идиотское лицо!..

И она сделала очень похожее, но смешное лицо маленькой артистки.

— Я бы хотела завтра побывать за кулисами... в антракте... Я никогда не видала... проведите меня! — нежным голосом сказала Миньона и, просительно улыбаясь, положила свою бархатную ручку на его большую руку. Взгляд ее лучистых, ласкающих глаз обжигал простое сердце Федота.

— Хорошо, — обещал он, — я вам это устрою... Вы будете в театре? Хотите, я вам достану ложу?

— Достанете? Прелестно! Я буду в ложе. А теперь — пока расстанемся: мне пора! Не провожайте: мне неудобно, чтобы кто-нибудь меня увидел с вами...

Они простились, улыбаясь друг другу. Миньона быстро исчезла за деревьями, оставивши после себя тонкий аромат духов.

Федот остался сидеть на скамейке и долго мрачно смотрел на садовую дорожку, усыпанную желтым песком, на едва заметные маленькие следы ее ног.

III

Случилось так, что Мефистофель внезапно заболел накануне самого спектакля. Хотели было отменить «Фауста» и поставить другую оперу, потому что некому было петь Мефистофеля.

Но такого случая давно уже ждал Федот и заявил о своем желании выступить в этой ответственной партии.

Сначала ему было не поверили. Но потом, ради

пробы, позволили выступить на репетиции. Федот изумил всю труппу: свободно и легко лился его гибкий, самой природой поставленный голос. Знатоки заметили необыкновенную ритмичность и музыкальность в его пении. Успех был уже на репетиции. Неуклюжий Федот перевоплотился в Мефистофеля и сам не знал, как это сделал: ему казалось, что перевоплощение — дело самое простое. Он только ухмылялся, когда его спрашивали, как это он делает. В его сердце царила Миньона, ее милый образ неусыпно витал перед ним, ее бархатные глазки, как две путеводные звездочки, ласково и тепло ободряли его, сияя и смеясь.

И Федот делал чудеса. Бас был безумно влюблен, и в этом заключалась тайная причина того мощного подъема и заразительного вдохновения, с которым он пел. Он чувствовал необыкновенный прилив сил. Как в сказке, он вырос в собственных своих глазах, и ему казалось, что для него нет ничего невозможного, потому что на свете есть Миньона — прекрасная, поэтическая, гармоничная, как музыка, Миньона — вдохновительница, для которой одной льется его пение и всеми струнами звучит его молодое, сильное сердце, впервые пробудившееся для любви...

Федот любил, Федот развернулся.

Вечером на спектакле он превзошел самого себя, превзошел все, что от него ожидали. Высокая, мощная фигура, своеобразный художественный грим и великолепный, гибкий, светлый голос бархатного тембра, могучий темперамент — все это сразу же ошеломило публику, опечаленную было анонсом о болезни «настоящего» артиста.

Мефистофель затмил самого Фауста, знаменитого слащавого тенора, издавна щеголявшего своим сладострастным «pianissimo».

Для всех было ясно, что на сцену пришел новый несомненный талант, восходит новая звезда.

Рано утром вся труппа была уже на пароходе. Восходящее солнце обещало светлый, теплый день и красноватыми лучами освещало спокойное море и пробуждающийся город.

После всех явились на пароход Федот и Пьеро. Они не спеша рассчитывались с извозчиком и, смеясь, взбирались на пароход.

— Скорее! — кричали им хористы.— Уже два свистка было! Только вас двоих и ждут, флегматики проклятые!

— А нам какое дело? — отвечал им Пьеро, поджав одну ножку и перевертываясь на другой.— Мы — флегматики, нас можно и подождать!

На палубе один музыкант пиликал на скрипке, а другой вторил ему, ударяя в бубен и припевая.

От этой картины так и веяло беспечностью, свободой.

— В поход, Пьеро! — возбужденно крикнул Федот.— С места на место!

Он встал в позу и запел:

В морском просторе...

Вдруг какой-то предмет ударил его в плечо, он оглянулся: у ног его лежала только что сорванная темнокрасная роза; он подобрал ее и взглянул с площадки парохода вниз: на конторке стояла Миньона и кивала ему головкой.

Он бросился по лестнице вниз и через минуту был уже подле нее.

— Миньона!

Она протянула ему руки. Миньона была бледна. Та самая трагическая черточка, которая так нравилась Федоту в его идеале, сквозила теперь в выражении ее лица.

— Видите, я пришла! — сказала она низким голосом. — Не забывайте меня! Благодарю вас за ложу! Я вчера сходила с ума от Мефистофеля: какой певец! Лучше тенора! Вот если б вы так пели!

Раздался оглушительный свисток.

— Идите, идите! Не поспеете! — заторопила она его.

Он жал ее руки.

— Сберегите мою розу!

— Буду хранить всю жизнь...

— Прощайте!

Он едва успел вскочить на пароход. Зашумели волны, пароход отвалил, медленно удаляясь.

Миньона махала платком.

Федот смотрел на ее печальное лицо с черными серьезными глазами: оно все более и более удалялось от него. Он стоял на площадке парохода, завернувшись в бурку, и пел, заглушая шум воды:

Прощай, моя Миньона!

Лицо Федота в эту минуту имело счастливое и самодовольное выражение победителя женских сердец.

В это время к нему подошел Пьеро и бесцеремонно пихнул его кулаком в бок. Круглое лицо его против обыкновения не было улыбающимся, а, наоборот, так и дышало гневом и раздражением:

— Федот! Я не могу утерпеть, чтобы не сказать вам, что вы вели себя как дурак и простофиля. Черт побери! Неужели вы так и не заметили, что она все время бегала за нашим знаменитым тенором, а вами пользовалась только для услуг? Ну, что? Вы ее за кулисы водили, контрамарки ей доставали, а она над вами смеялась и за нос вас водила! Дурак бас! Вы думаете, что это она вас вышла провожать? Как бы не так, держи карман! Это она «его» провожала! И вся труппа это знала и видела, кроме вас! Это — дрянная девчонка, обыкновенная противная психопатка! Обидно даже мне стало за вас, Федот! Вот-те и Миньона, поэтический тип, таинственная женщина и прочая белиберда!..

Пьеро запустил руки в карманы и продолжал иронически:

— Дубина ты, дубина, балда ты стоеросовая!

А навстречу, подавляя своей мощной шириной, уже мчалось беспредельное море. Казалось, оно дышало. Синие, тяжелые волны вздымались ленивою зыбью. Море звенело и пело. Величаво, как орган, гудело оно свою торжественную песнь. В ней говорилось о тайнах мира, о вечности неизменной природы, о непрочности людского счастья.

1900

ЛЮБОВЬ ДЕКОРАТОРА

Декоратор Костовский запил в такое время, когда именно не следовало запивать: готовилась к постановке феерия, успех которой исключительно зависел от красоты декораций. По городу расклеили анонс, нужно было устраивать различные приспособления, писать новые декорации, и вдруг случилось то, чего так боялся режиссер: Костовский запил.

Это всегда случалось в самое горячее время, когда он был до зарезу нужен, и происходило нечаянно, в виде неожиданного несчастия. Словно злая сила подталкивала его в такое время, и запретная влага казалась ему неотразимо заманчивой: он ощутил непреодолимое желание испытать чувство преступности, поступить наперекор всему, во вред самому себе.

Сильные впечатления становились положительно необходимыми этой бурной, талантливой натуре — и он обретал их в пьянстве. Дни загула были у него всегда полны интересных встреч и странных приключений, свойственных только ему одному.

Зато, вытрезвившись, он принимался за работу с какой-то неистовой энергией: кругом него все тогда кипело и трещало, а сам он горел огнем вдохновения.

Его не прогоняли за пьянство только потому, что это был дивный декоратор, гений своего дела.

Он вредил репутации труппы скандалами, приключениями, небрежною и грязной одеждой и всей своей неряшливой внешностью, но зато из-под его кисти выходили восхитительные, художественные декорации, за ко-

торые публика вызывала «декоратора» и о которых потом печаталось в газетах.

В труппе, за кулисами, все сторонились Костовского, и никто не хотел водить с ним знакомства: хористы тоже «пили», но считали себя людьми высшей породы, чем рабочий-декоратор, и не принимали его в свою компанию, а хористки и балетные танцовщицы относились к нему, как к существу бесполому, избегали его и смотрели на него с брезгливою гримасою. Он тоже мало интересовался ими.

Ему нравилась только одна — Юлия, маленькая балерина, да и ту он полюбил только как художник, когда она плясала на сцене, освещенная электрическими лучами рефлектора, которым управлял он же. Ему нравились некоторые повороты ее хорошенькой головки, и он любовался ею, отличая ее в толпе других балерин более светлым лучом. «В жизни» он никогда не заговаривал с нею, а она делала вид, что не замечает его внимания.

Живя в каком-то странном одиночестве, без любви и друзей, не интересный ни для кого в труппе, но необходимый для нее, он испытывал беспредметное чувство «обиды» и — запивал.

Так запил он и теперь, когда был в сильной степени «необходим».

Толстый режиссер стоял по окончании репетиции на сцене и разговаривал о Костовском с поверенным по делам труппы, щеголеватым брюнетом.

Широкое жирное лицо режиссера выражало сдерживаемое озлобление, озабоченность и грусть.

— Ну, скажите вы мне, пожалуйста, — говорил он как бы сквозь слезы, между тем как в груди его клокотала целая буря, — ну, что я теперь буду делать? Ч-то я теперь б-буд-ду д-дел-лать?

И, беспомощно скрестив на толстом брюхе пухлые руки, он злобно и грустно посмотрел на собеседника.

— Свинство! — отвечал поверенный.— Запил еще на море, когда мы сюда ехали, и до сих пор не просыпается, пьет себе и знать ничего не хочет! И, знаете, ведь он в дороге свалился с парохода! Это было забавно. Лежу я себе, сплю. Вдруг шум. Стоим у Ялты. Шторм. Кричат: «Человек упал в море!» Я вскочил. «Кто та-

кой?» — «Костовский!» А, Костовский, а я думал — кто другой! Я опять лег спать, потому что Костовский не человек, а свинья.

— Как же он упал? Пьяный?

— Конечно. Заснул на палубе, а про него и забыли. Пароход накренился, море его и слизнуло.

— Хо-хо-хо! — басовито засмеялся режиссер.

— Хе-хе-хе! — тоненьким смехом откликнулся поверенный.— Но всего забавнее, что море его не приняло: не успел Костовский проснуться, как его уже опять на палубу бросило. Удивительный случай! Такого подлеца и море не принимает!

Режиссер засмеялся генеральским басовым смехом, от которого затряслось его обширное чрево.

— Где же он теперь? Не разыскали еще? — спросил он, несколько смягченный рассказом о приключении с Костовским.

— Здесь. Вытрезвляется в костюмерной. Искали его, искали и, наконец, настигли голубчика в кабаке, в самый разгар драки с какими-то мастеровыми, не дали кончить драку и багажом доставили сюда. Под глазом у него теперь вот такой фонарь.

— Позовите-ка его сюда, пьяницу.

Молодой человек суетливо побежал через сцену и скрылся за кулисами. В пустом театре гулко разносился его взывающий тонкий голос:

— Костовский! Костовский!

Вскоре он вернулся к режиссеру, подмигивая и как бы желая сказать: сейчас начнется комедия!

— Сейчас придет: стыдно ему, мнется.

Послышались медленные, неровные шаги, и на сцену вышел человек, который возбудил столько негодования и не был принят морем.

Это был человек среднего роста, сильного телосложения, жилистый и мускулистый, несколько сутуловатый. Одевался Костовский в синюю блузу, испачканную красками и подпоясанную широким ремнем. Грязные, замасленные брюки заправлял в высокие сапоги. Костовский имел вид обыкновенного рабочего. Руки у него были очень длинные, как у гориллы, жилистые и, должно быть, очень сильные. Сила чувствовалась даже в его некрасивом, но характерном лице с развитыми скулами и боль-

шими рыжеватыми усами, свешенными вниз. Из-под сдвинутых бровей мрачно и вместе с тем добродушно смотрели голубые глаза. Особенностью этого лица являлось еще выражение стремительности и необыкновенной энергии. Под левым глазом красовался огромный синяк — след искусного удара. Жесткие светлые волосы его торчали во все стороны непокорными, злыми вихрами, и весь Костовский производил впечатление существа размашистого и неукротимого.

Он застенчиво и вместе с тем гордо поклонился, никому не подавая руки.

— Что же это вы делаете, Костовский? А? — холодно обратился к нему режиссер.— Пьеса назначена на завтра, а придется ее отменить! Зачем вы мне пакостите, скажите, пожалуйста? Честно ли это с вашей стороны? Зачем вы пьянствуете? Вон какое у вас под глазом украшение! Стыдитесь!

Костовский попятился, запустил в свои вихры огромные пятерни и вдруг весь загорелся страстным, неукротимым чувством.

— Марк Лукич! — воскликнул он хриплым, глухим, но проникновенным голосом.— Я пил! Но теперь — баста! Я сделаю все, что нужно! Сегодня суббота, спектакля нет, я не выйду отсюда до завтра! Я всю ночь буду работать! Я! Я... Ах ты, бо-жже мой!

Костовский потряс в воздухе руками и, казалось, весь был охвачен отчаянной энергией. Он жаждал работы, как искупления.

— Да ведь вы понимаете ли, что нужно сделать? Нужно написать новую декорацию во всю сцену. И написать хорошо! Понимаете ли? Х-хар-рашо написать!

— О, я напишу! Я напишу! — воскликнул Костовский, воодушевляясь и запуская в жесткие вихры все десять пальцев. Он, забывшись, прошелся по сцене и остановился против режиссера.

— Расскажите мне суть, какая должна быть декорация, для чего она? — спросил он более спокойно.

— Видите ли, это будет второй акт. Двое заблудились ночью в степи. Место должно быть дикое, глухое. На них нападает страх. Тут происходят сверхъестественные вещи. Вот вы и напишите такую степь, чтобы было

все: и даль, и мгла, и тучи, и чтобы публике жутко делалось...

— Довольно! — прервал Костовский.— Я напишу вам степь. Я буду работать ночью, при лампах, на сцене. Завтра все будет готово. Материал есть?

— Все есть, только работайте! — вставил свое слово поверенный.

Но Костовский уже почувствовал декораторское вдохновение. Он отвернулся от своих начальников, не слушая, не видя их, позабыв о них. Он встал посреди сцены и, теребя свои вихры, закричал мощным, повелительным голосом:

— Гей, Павел, сюда! Ванька, беги ко мне, живо. Поворачивайтесь, чертовы дети, Костовский работает!

Театральный рабочий Павел и подмастерье Ванька, личность юркая и чумазая, страстно преданная сцене, засуетились, расстилая громадное полотно, притаскивая кисти и краски.

— Ну, — сказал поверенный режиссеру, — слава богу, образумился, пьесу теперь не придется отменять! Пойдемте обедать, ему теперь не надо мешать.

Они ушли.

Сцена всю ночь была ярко освещена. В пустом театре было тихо, как в могиле. Только раздавались иногда шаги Костовского, когда он, с длинной кистью в руке, то подходил к полотну, то отходил от него. Кругом стояли ведра и горшки с красками...

Работа кипела у Костовского. С подбитым глазом, весь перепачканный в красках, с торчащими вихрами и усами, он совершал своей огромной кистью какую-то титаническую работу. Глаза его горели. Все лицо его было вдохновенно.

Он творил.

Утром в одиннадцать часов вся труппа, собравшись на репетицию, стояла толпой перед произведением Костовского. Артисты, хористы, хористки и балерины смотрели на громадную декорацию то со сцены, то из партера и высказывали свои мнения. В глубине сцены, во всю ее ширину, висела гигантская картина.

Это была степь.

На первом плане она заросла густым и высоким бурьяном, репейником и перекати-поле. Дальше виднелась

печальная степная могила, густо поросшая травой, а потом уже и развернулась безотрадная, глухая степь с бесконечной, удивительной далью, степь сказочная, богатырская, бездорожная, безлюдная... Казалось, что вот-вот из-за могильного кургана покажется Илья-Муромец и гаркнет:

— Есть ли в поле жив человек?

Но молчит угрюмая степь, грозно и мрачно молчит, а на горизонте вырезаются могильные курганы и ползут косматые, зловещие тучи. И нет конца этим тучам и могилам, и бесконечна эта страшная степная даль...

От всей картины веяло мрачным настроением. Оно давило душу. Казалось, что вот-вот произойдет здесь что-то страшное, что могилы и тучи имеют какое-то символическое значение, что они как будто живые... Правда, на близком расстоянии в декорации Костовского ничего нельзя было разобрать: какая-то грубая мазня и ляпня огромной кистью, широкие мазки, спешные штрихи и больше ничего.

Но чем дальше отходили от нее зрители, тем все яснее и яснее выступала картина громадной степи, одухотворенной могучим настроением. И чем пристальнее смотрели на нее все, тем все более и более поддавались ощущению жуткости.

— Ай да Костовский! — гудела вся группа.— Молодчина! Талант! Этакую чертовщину напустил!

— Что ж! — наивно отвечал он.— Мы народ мастеровой: работать — так работать, гулять — так уж гулять! Мы этак!

Все смеялись над ним, говорили о нем целый день: никогда еще он не писал так удачно.

А он продолжал орудовать в своей декораторской, и энергия его только еще разгоралась. Во время репетиции он писал «индийский храм», кричал на своих приспешников и даже крикнул в пылу вдохновения на самого режиссера, который хотел было ему что-то указать.

Он был неукротим, невменяем и величав. Он расхаживал по своей мастерской еще более вихрастый и грязный, чем прежде, писал великолепный фантастический «храм» и переживал счастье вдохновения. Весь вид его, взбудораженный бессонной, вдохновенной ночью, был

олицетворением силы и страстной энергии: бледное лицо с синяком и торчащие злые вихры, пламенные глаза, из которых словно исходили голубые лучи, — все говорило, что вдохновение Костовского вспыхивает не на минуту, но горит долго, неиссякаемым, ровным светом.

Он весь ушел в свой «храм», когда почувствовал около себя чьи-то легкие шаги и ароматный запах. Он обернулся: перед ним стояла Юлия.

Она стояла в костюме балетной танцовщицы, то есть почти без костюма, так как на репетиции приходилось танцевать. Это была маленькая, хорошенькая брюнеточка в розовом трико, белых башмачках и воздушно-легкой коротенькой юбочке. Высокая, крепкая грудь ее ровно и спокойно дышала, а свежее золотисто-смуглое лицо улыбалось. Миндалевидные черные глаза, подернутые влагой, смотрели нежно. В балетном костюме она напоминала сказочную фею. Трудно было представить существо, более противоположное Костовскому, чем эта фея. Она была вся — изящество и легкость, а он — неуклюжий, темный, размашистый, смущенно стоял перед ней и с восхищением смотрел на нее. Длинная кисть в его руке опустилась на пол, к ее ногам...

Костовский позабыл свою работу. А Юлия звонко рассмеялась, сверкая мелкими острыми зубками, подошла к нему легкими, грациозными шажками и, протягивая ему свою маленькую ручку, смело сказала:

— Здравствуйте, Костовский!

Прошло несколько месяцев.

Громадный оперный театр был переполнен публикой. За кулисами кипела работа, происходила давка, суета и беготня.

Сквозь занавес слышалось гудение толпы и доносились торжественные волны оркестра.

Рабочие метались как угорелые, устраивая декорации; блоки визжали, а сверху из какой-то темной высоты то спускались, то поднимались огромные полотна, стены дворцов, куполы, леса и морские волны.

Всей толпой рабочих распоряжался Костовский.

Он был неузнаваем. Лицо его помолодело, посветлело, голубые глаза светились весело и счастливо. На нем

блестели лакированные сапоги и ловко сидела бархатная куртка; вихры не торчали.

— Спускайте морское дно! — крикнул он звонким голосом.

Спустили огромное полотно с изображением морского дна. Декоратор отошел на несколько шагов и еще раз с любовью посмотрел на «морское дно»: это было его новое произведение.

— Слушай, Павел! — закричал он опять. — Когда поплывут наяды — ты пусти Юлию ниже всех, по дну ее пусти!

— Слушаю!

Пробежал сценариус, человек, на истасканном бритом лице которого уже давно запечатлелось циничное знание закулисной стороны всего на свете.

— Ангелы, черт вас побери! — орал он хриплым голосом. — Наяды, чтоб вас... по местам!..

Наконец, все было готово для того, чтобы наяды на блоках могли проплыть через сцену по «морскому дну».

Костовский уже стоял на вышке с электрическим рефлектором, направленным на сцену: он сам устраивал световые эффекты для освещения декорации и действующих лиц.

«Морское дно» озарилось и зажглось нежным, поэтическим светом.

Этот зеленовато-серебристый свет как будто проникал сквозь воду сверху, оттуда, где блещет яркий солнечный день.

А здесь, на дне, все жило, не зная света.

В перспективе стоял коралловый риф, а кругом него жадно протягивали по воде свои ветви странные полуживые растения, плавали слизистые медузы...

Внизу, на первом плане, зияла мрачная подводная пещера, а из нее высовывались отвратительные щупальцы огромного спрута и неподвижно смотрели два его зеленых глаза.

И среди этого первобытного, уродливого мира вдруг появилась чудная, прекрасная женщина с распущенными волосами и голыми плечами, у которой вместо туловища было рыбье тело, покрытое блестящей серебряной чешуей. Красоту ее чудной головки и роскошных плеч как бы оттенял безобразный подводный мир.

Она проплыла, как рыба, гибко и свободно извиваясь, сверкая чешуей, а за ней показалась другая, третья, четвертая и целая стая.

Тела их светились прозрачно-молочным светом, серебряная чешуя горела искрами. Освещенные лучами рефлектора, они, по воле Костовского, стали дивными, сказочными красавицами.

Но всех их затмевала одна. Она плыла ниже всех, почти по дну, и выделялась из всех яркостью своей красоты.

Она была освещена лучше, обольстительнее всех: нежнейшие лучи рефлектора тепло и любовно падали на нее, бежали за ней и, лаская ее гибкое тело, придали обольстительное выражение ее лицу, а глаза сделались похожими на звезды.

Она казалась созданной только из света, и этот свет незаметно менялся с каждым моментом. И она менялась, рядясь в тысячу оттенков, и казалась царицей моря.

Она чувствовала, что волшебник-декоратор наделил ее дивной красотой, что восхищенная публика готова греметь аплодисментами в честь этой красоты, и, проплывая вблизи декоратора, благодарно вильнула ему блестящим рыбьим хвостом, на который вдруг посыпался, по воле щедрого, влюбленного декоратора, целый ливень разноцветных бриллиантов...

Она уплыла за кулисы, а он, приподнявшись на цыпочки и счастливо улыбаясь, послал ей из-за рефлектора воздушный поцелуй.

В труппе все знали об этой закулисной любви: Юлия всегда возвращалась из театра в сопровождении Костовского, они жили в одной гостинице, и его номер приходился рядом с ее номером. Костовский был постоянно с ней и любовался на красавицу, а она охотно позволяла ему ухаживать за собой. Он бегал за ней, как верная собака, и подолгу терпеливо дожидался ее у дверей женской уборной, пока она беззаботно разгримировывалась, переодевалась и болтала с подругами.

На этот раз по окончании спектакля ему особенно долго пришлось стоять у лестницы. Из женской уборной то и дело выходили закутанные женские фигурки и ухо-

дили с другими мужчинами, которые дожидались у лестницы, как и декоратор.

Толпа редела, а «ее» все не было.

Печально и озабоченно стоял Костовский, безучастно смотря вокруг и уповающе посматривая на дверь уборной.

А дверь отворялась все реже и реже, и вышли почти все женщины.

Наконец, вышла хористка, бойкая Роза.

— Что вы тут стои-те? — протянула она, удивленно поднимая брови и делая лукавую гримаску.— Я последняя, больше никого нет, а Юлию вы прозевали: она давно уехала!

— Как уехала? — спросил Костовский, и на лице его выразилась острая боль.

— Ха-ха-ха! — рассыпалась Роза серебристым смехом.— Очень просто, еще до конца спектакля с поклонником своим уехала, а вы, миленький, давно уже ей надоели!

Декоратор отшатнулся и схватил себя за вихры.

— Неправда! — сказал он глухо.

— Ну, вот еще! — затараторила Роза. — Сам виноват! Ей только и хотелось выдвинуться. Вы ее всегда так освещаете, что за ней теперь весь первый ряд ухаживает! Она сделает себе карьеру! А вы ей теперь больше не нужны.

Роза засмеялась и, таща свой узел, побежала по лестнице.

Костовский долго стоял неподвижно на прежнем месте и, объятый тишиной и тьмой пустого театра, чувствовал, как в груди его сначала понемногу, а потом все сильнее и сильнее разливалось пламя жгучего страдания.

Когда он постучался в дверь ее номера, Юлия встретила его холодно.

Влажные глаза ее равнодушно и спокойно блестели из-под густых черных ресниц, черные волосы, небрежно зашпиленные, лежали роскошной короной, и два густых локона свешивались на ее полные щеки. На ней был широкий японский костюм из дешевой материи и легкие туфли.

— Юлия... — прошептал Костовский, задыхаясь от волнения.

— Садитесь,— сказала она небрежно и ничего не замечая,— займитесь чем-нибудь, мне, право, некогда занимать вас...

— Юлия...

Она прилегла на кровать и углубилась в чтение книги, как будто ей никак нельзя было оставить чтение.

Его бесила эта ненужная хитрость женщины: зачем хитрить и этим еще более оскорблять его, когда можно сказать прямо.

— Юлия, ты говоришь со мной, как с гостем, которого нужно занимать. Что за церемонии?

— Тут нет никаких церемоний, — отвечала она, внезапно оскорбившись, — это — простота отношений: кто чем хочет — тем и занимается. Вот я — читаю... и вы чем-нибудь займитесь, а скучно будет — уйдите.

Она выгоняла его.

Костовский свирепел от этой «простоты отношений» и от ее перехода с прежнего короткого «ты» на «вы».

— Послушайте! — сказал он раздраженно и тоже переходя на «вы».— Мне нужно поговорить с вами... Я подожду, когда вы кончите читать...

Она не отвечала и, полулежа на кровати, смотрела в раскрытую книгу. Наступило тяжелое молчание.

Костовский сидел за столом и молча смотрел на Юлию: облокотясь на подушки, она лежала в грациозной кошачьей позе, подобрав под платье ножки, обутые в легкие туфельки, и эти маленькие туфельки шаловливо прятались под складками платья, дразня Костовского.

Сквозь легкое платье обрисовывались красивые очертания ее тела, широкие рукава позволяли видеть по локоть ее маленькие, полненькие ручки, и вся она была так мила и грациозна, что Костовский, ненавидя ее в эту минуту, все-таки чувствовал влечение обнять ее...

Он отвел от нее глаза. Комната ее была бедная — дешевенький номер гостиницы, освещенный электричеством. У двери стоял гардероб с ее костюмами, около стола комод и зеркало... На вешалке, у входа в комнату, висела ее плюшевая кофточка, затканная кошачьими лапками. Он долго с ненавистью смотрел на эту кофточку

и на кошачьи лапки. И ему вспоминалось, как прежде она ласково встречала его, усаживала в кресло и, смеясь, нежно гладила ручкой его жесткие вихры, и как отрадно было этим вихрам ощущать прикосновение нежной, маленькой ручки.

Она быстро отшвырнула книгу и гневно встала с постели.

— Вам не о чем со мной говорить! — кричала она, краснея.— Все уже переговорили! Пора кончить эту любовную канитель, это миндальничанье!

Костовский весь затрясся и встал из-за стола.

— Канитель... миндальничанье... — с горестью повторил он.— Юлия! Что же случилось между нами?

— Ничего между нами не было и быть не могло! — энергично заявила она.— Мы слишком разные люди... ничего общего... и... нам надо раззнакомиться!

Она двинула стулом, села в угол, где было темнее, и посмотрела на него из темноты своими большими черными глазами; у этих глаз было всегда одно и то же выражение: на кого они смотрели, того и приглашали куда-то и обещали что-то, без ведома их обладательницы. Отталкивая, она в то же время звала его к себе.

— Я понимаю, — печально заговорил он, подсаживаясь к ней,— тебе хочется расстаться со мной, у тебя есть, говорят, другой.... кто-то из первого ряда... Что ж? Расстанемся... только зачем эти хитрости и зачем ссора? Я не хочу, чтобы все это кончилось так скверно — ссорой; мне хочется, чтобы после хоть вспомнить можно было... Но, Юлия, знай, что эти... из первого ряда... презирают тебя... унижают... смотрят как только на тело... а ведь я... я л-люблю тебя, черт тебя возьми, проклятая!

Он держал ее за руки выше локтя и тряс в своих лапах.

— Фи! Как это грубо! Ругается! Пустите! Пустите, вы мне руки вывихнете! Грубый!

Ей хотелось поссориться с ним. Он, в свою очередь, почувствовал прилив зверской злобы, страстное желание растерзать, избить, вытолкать ее.

Он еще крепче сжал ее руки. Глаза его позеленели, зубы скрипнули, и на сильных скулах обозначились желваки.

— Ай! — вскрикнула она.

Но он уже бросился перед ней на колени.

— Милая, дорогая, золото, солнышко мое, радость моя! Ты для меня — все! Все мои мысли и все мои чувства — все для тебя, и от тебя, и к тебе! О, я груб, я — зверь! Опять погружусь на дно, откуда ты вызвала меня! Ну, милая, ну, счастье мое, прости меня... видишь, я целую твои руки, твое платье... я плачу... прости!..

И, стоя перед ней на коленях, этот большой и сильный человек ловил маленькие ручки женщины, целовал их, целовал ее платье и плакал...

Когда он поднял голову, то вдруг поймал на себе ее внимательный, странный взгляд: в этом взгляде черных глаз, подернутых влагой, не было ни любви, ни сострадания к нему, ни презрения, но было что-то очень обидное, похожее на любопытство, но бессердечнее, чем любопытство: это была любознательность естествоиспытателя, с какою он режет живого кролика, или любознательность собирателя насекомых, когда он накалывает на булавку редкого, замечательного жука и смотрит, как он корчится на булавке. Он даже и теперь интересовал ее только как нечто оригинальное, самобытное: резкие переходы от грубости к нежности, странность объяснения, вспышка зверской злобы и вслед за тем унижение перед ней и слезы — все это было очень интересно.

Но Костовского словно молнией озарило: он понял настоящее, истинное отношение к нему Юлии и почувствовал, что ранен ею смертельно, что она только интересовалась им, но любить его никогда не могла, что она — существо совсем другого мира, чем он... что он чужд ей. Слова замерли в груди Костовского. Он замолчал, схватил шапку и опрометью, не взглянув на Юлию, выбежал из гостиницы.

Костовский почти бессознательно очутился в грязном извозчичьем кабаке. Давно уже он не запивал, но теперь почувствовал, что ему необходим кабак, и надо, чтобы кругом шумели голоса и крякали извозчики, чтобы пахло водкой и в ушах звенела кабацкая посуда.

Он сидел в углу кабака, один, за маленьким столиком, и пил водку. Перед ним стояла бутылка с этим напитком и скверная кабацкая закуска. Грязная скатерть

была облита водкой и пивом, тусклые керосиновые лампы под потолком слабо освещали кабак, наполненный пьяными людьми. Все они галдели, пили, звенели посудой; бледнолицые половые бегали, подавая напитки, а в соседней комнате щелкали бильярдные шары, и кто-то из игроков, каждый раз, когда ударял кием, запевал тенором веселые куплеты:

Хожу ли я, брожу ли я...

— Десятку в угол, дуплетом! р-раз!

Все Ю-ли-я да Юлия...

— О ч-черт! — ворчал про себя Костовский, наливая десятую рюмку и мрачно опрокидывая в свое горло жгучий напиток.

Он злился, что и здесь, в кабаке, «она» преследует его. Он решил «забыть» ее навсегда: он презирал ее, ненавидел и не хотел вспоминать о ней.

Кабак повеял на него своими звуками и запахами, облегчая страдания Костовского давно знакомым колоритом чего-то родного, вольного, прежнего.

Но мало-помалу мысли его незаметно удалялись из кабака, опять появлялась «она» и не отходила прочь.

Она была теперь в костюме наяды, с рыбьим телом, в серебристой чешуе, ярко освещенная разноцветными лучами, обольстительно прекрасная... Она манила его за собой, соблазнительно улыбалась и уплывала в даль, в безбрежное море...

И человек, влюбленный в наяду, чувствовал, что погибает, что никогда не вернет он прежней беспечности, силы и здоровья души.

И ему вспоминалось, как он жил прежде, когда не знал наяды и ее поцелуев. Он кутил, да. Но это было не пьянство, а молодечество, сила на волю рвалась! Веселья и размаха жаждало сердце.

Потом он, словно сказочный рыбак, нашел в сетях своих наяду. И поднял он ее на руки и стал целовать, и — прощай беспечная жизнь! Погубила наяда человека!

— О черт! — продолжал рычать Костовский, допивая водку и тем желая отогнать мучительные мысли. Но «она» безжалостно терзала его и являлась перед ним то в одном костюме, то в другом: то она была фея, то па-

стушка, то опять наяда, то близко подплывала к нему в домашнем широком платье, и черные локоны ее волос упадали на полные румяные щеки... И всю ее заливали яркие, поэтические лучи.

С друзьями чару хмельную
Порою разопью ли я—
Все Юлия да Юлия...—

доносилось из бильярдной. Мало-помалу кабак наполнялся туманом, сквозь него чуть-чуть мерцали лампы, а гул пьющего народа отдалился куда-то и стал похож на далекий прибой моря. По кабаку пошли морские волны, равномерно подымаясь и опускаясь. А из волн опять выплывала наяда и, смеясь, манила к себе Костовского.

На минуту он приподнимал голову и опять видел перед собою бутылку, наливал из нее и снова пил; туман, сгущаясь, клубился перед его глазами. Но, отуманенный вином, он все-таки видел, как из винных паров поднимался над бутылкой ее поэтический, милый образ.

Когда через несколько суток, после долгих поисков по кабакам, Костовского, наконец, нашли и вытрезвили, шла опять опера с морским дном и наядами.

Теперь Костовский опять имел свой первоначальный вид: грязный, небрежно одетый декоратор стал еще мрачнее, вихры его сделались упрямее, усы ощетинились больше прежнего.

Мрачно стоял на своей вышке, за кулисами, и освещал наяд лучами рефлектора. В душе его был холод, мрак и ожесточение. Теперь он уже и сам сторонился от всех, ненавидел всю труппу и жил один.

А наяды плыли по морскому дну. И он светил на них.

Но это был не прежний поэтический свет. Декоратор светил печальным, бледным светом, и они казались безжизненными, полумертвыми.

Когда же поплыла Юлия, по-прежнему ниже всех, на нее полились зловещие темно-синие лучи, и она скорее казалась фурией, чем наядой. Лицо у нее было синее, страшное, с черными губами и темными впадинами вместо глаз, а скользкое рыбье тело словно облито было отвратительною слизью...

Гул отвращения пошел по театру.

А декоратор осветил тем же светом и морское дно со

всеми его чудовищами: как символ кошмара и тоски, выступил из мрака зеленоглазый спрут, зашевелились слизистые медузы...

Синее тело Юлии словно плавало в этой отвратительной массе и, наконец, слилось вместе с нею в одно живое, безобразное существо.

Декоратор медленно поворачивал стекла рефлектора, смотрел на созданное им освещение, и ему казалось, что он уничтожил и разрушил все прежнее очарование, что женщина, которую он любил, никогда не была хороша; ему казалось, что теперь он видит ее в настоящем свете, что божественно-прекрасной она становилась только тогда, когда была освещена светлыми лучами его любви.

1901

ЗА ТЮРЕМНОЙ СТЕНОЙ

Ослепительно-светлый майский день. Теплый, свежий воздух отрадно вливается в грудь. Голубое небо как-то особенно прозрачно, и по нему медленно плывут чистенькие облака, похожие на груды свежего снега. Птичье царство ликует под хрустальным куполом неба: радостно вьются ласточки, пролетают стаями голуби и галки, высоко-высоко, чуть-чуть пошевеливая длинными крыльями, плывет коршун, и его клекот, как звук струны, раздается в звонкой пустоте неба...

Вот все из внешнего мира, что можно видеть и слышать, находясь за тюремной стеной. Высокая и белая, она образует продолговатый четырехугольник, в средине которого стоит двухэтажный белый дом с домовой церковью и четырьмя круглыми башнями по углам. Эти башни с зубчатыми краями и круглыми отверстиями для пушек придают ему вид старинного замка. Он в самом деле выстроен лет двести тому назад, и подвальный этаж его, с таинственными темными казематами, почти весь ушел в землю.

Преддверием к нему служит неуклюжее высокое здание, где помещаются канцелярия и квартиры тюремного начальства. Под этим зданием устроен полукруглый туннель и двое полукруглых железных ворот, выкрашенных коричневой краской. По бокам ворот, заграждающих туннель со двора, — две неглубокие ниши, и в каждой из них окно. Одно из них с железной решеткой, а в другом видны занавески и желтая клетка с канарейкой. Фундамент здесь тоже значительно ушел в землю, а от одного угла отвалился белый камень величиной с пол-

аршина, кубической формы, на котором и сидит всегда надзиратель Быков.

Быков похож на чугунную тумбу или «бабу», которою утрамбовывают мостовые. Он небольшого роста, руки и ноги у него короткие и толстые, туловище плотное и увесистое, словно вылитое из чугуна, лицо безусое, добродушное и глубокомысленное.

Сидя на камне, он целый день развлекается тем, что кормит белым хлебом голубей. Ружье со штыком и ключами на штыке стоит у него между ног, прислоненное к плечу, огромная стая голубей окружает Быкова, пожирает крошки хлеба и воркует. Быков любит этих мещан птичьего царства: его круглое и простое лицо, лицо деревенского парня, осклабляется при виде голубиного счастья. Быть сытым и ворковать — это его собственный идеал. В его довольном лице с большим и крепким лбом и во всей его неповоротливой фигуре есть что-то неприхотливо-положительное и неподвижно-устойчивое. Быков ни в чем не сомневается, ничему не удивляется и все в мире считает целесообразным. Это твердое и ясное миросозерцание находит в нем крепкую опору, и Быков непоколебим, как чугунная, неподвижная свая.

А по двору ходят арестанты... Они одеты в белые холщовые рубахи, такие же шаровары и «коты». Тесемка, которой завязывается ворот, у многих оборвана, и рубаха не закрывает загорелую, коричневую грудь. Большею частью это все живой и веселый народ. Исключение составляют только каторжане с кандалами на ногах: они неразговорчивы, задумчивы, угрюмы и важны.

Особенной походкой, широко расставляя ноги, неизменно и вечно бродят они по широкому двору от стены до стены, и своеобразный звон железных цепей, похожий на пение птиц, с утра до ночи не смолкает на дворе и в остроге.

С головой, наполовину обритой в профиль, мрачные и важные, в своих звонких цепях, они картинно-трагичны...

Зато остальные арестанты, свободные от цепей, и малолетние преступники смотрят жизнерадостно: одни устраивают борьбу, другие просто лежат на траве, которою заросли углы двора, и нежатся на солнышке. Кое-где собрались в кучки, играют в карты и орлянку.

Биографии этих людей почти одинаковы: жизнь их с детства проходит в тюрьме; за стенами ее все им чуждо и враждебно, едва выйдут они на свободу, как уже опять попадают в острог, в свой мир, где они выросли и сжились. Они не приспособлены к иной жизни, кроме тюремной.

Надзиратель кормит голубей по одну сторону ворот, а по другую, около ниши, собрался кружок игроков. Это все молодые, здоровые лица, виднеется две-три наполовину обритых головы, позвякивают цепи. Все серьезны и сидят на земле, поджав под себя ноги.

Быкову наскучили голуби. Он встает с камня; стая птиц взвивается кверху и, звеня крыльями, улетает...

Он подходит к арестантам и, опершись на ружье, следит за игрой.

Ставкой, вместе с медными грошами, служит еще книга, разодранная на четыре части.

Картежники играют молча, изредка обмениваясь короткими фразами.

. . . .
. . . .

— Четвертку, значит?

— Четвертку.

— Ходи! А я ужо половинкой-то под тебя!..

— Батюшки! — вскрикивает Быков. — Никак это евангелие? Кто это поставил?

— Эйко! — рассеянно отвечают ему.

Эйко, арестант важного вида, с рыжими бакенбардами и дерзкими глазами, полулежа, бьет карту.

— А тебе что? — огрызается он на Быкова.

— Да как же, — возмущается Быков, — евангелие и на кон! Что ты, не русский, что ли? То-то у тебя фамилие-то чудное: Эйка!

— Я англичанин! — серьезно говорит Эйко, поглаживая бакенбарды; лицо у него овальное, исполненное достоинства, усов нет, бакенбарды котлетами. Он, действительно, похож на англичанина.

Быков добродушно, хотя и укоризненно, качает головой.

— Только что вчера вам в церкви крещеный... евангелие раздавал для вразумления, а вы — в карты...

— Молчи ты, тумба! — презрительно отвечают ему.— Что смыслишь, штык?

Быков, ухмыляясь, берет евангелие на русском языке, развертывает его своими короткими и толстыми пальцами и медленно читает вслух:

— «Бог есть любовь...»

И задумывается.

— То-то и есть! — снисходительно говорит ему Эйко.— Ведь не понимаешь, что оно и к чему сказано?

— «Кто имеет две одежды, — продолжает надзиратель, — отдай одну неимущему и, если кто ударит тебя в левую щеку, подставь ему и другую!»

Тут Быков торжествующе смотрит на Эйко.

— Вот как надо-то! — говорит он, ткнув корявым пальцем в книгу.

— Дурак ты! — спокойно отвечает ему Эйко.— Надо, да не нам! Книга эта священная, ну, только что она нам не подходит: кому может арестант оставить одежду, какому неимущему, когда она у него казенная, а неимущий-то — он сам? И насчет щеки — тоже. Меня, может, всю мою жизнь только и делали, что в морду били? Хоть подставляй, хоть нет — все равно лупят!

Сочувственный смех арестантов покрыл последнюю фразу Эйко. Засмеялся и Быков.

— Было за что, вот и били! — возразил он.— Зря не станут бить... Всякий, значит, будь на своей точке и делай свое дело в исправности.

— Противно тебя слушать. Ты доволен тем, что ты надзиратель?

— Доволен.

— И дети твои и внуки тоже будут надзирателями либо лакеями. Ты представь себе: едут на пароходе мои дети во втором классе и обедают, а твои им кушанье подают. И так до скончания века! Справедливо это?

— Справедливо! — отвечает Быков, наклонив голову и опираясь на ружье. Он крепко стоит на своих коротких ногах и в эту минуту похож на подводную скалу, о которую разбиваются мечтания. Эйко смотрит на него с ненавистью.

— Тумба! — ворчит он, злобно убивая карту.

— Бойкий ты! — с неизменным добродушием замечает Быков. — Башка у тебя мозговита, а все толку нет!

И столяр ты, и резчик, и переплетчик, а работать не хочешь, балуешься...

Глаза Эйко, острые, как гвозди, сверкнули, овальное «английское» лицо на минуту приняло злое и гордое выражение.

— Голодный прохожу, а работать не стану! — упрямо произнес он, смотря куда-то в пространство, словно говорил не Быкову, а кому-то невидимке. Задетый за больную струну сердца, он как будто хотел досадить «кому-то» тем, что вот он, Эйко, прекрасный столяр, резчик и переплетчик, «не хочет» работать.

А кругом по-прежнему важно и мрачно бродили скованные каторжане, и по всему двору, не умолкая, пели цепи...

Через весь двор бежал низенький мужичонко-арестант, громыхая кожаными сапогами. Он подбежал к Быкову.

— Огурцов не надо ли? Жена пришла! — вскричал он, улыбаясь заискивающей улыбкой. Арестанты засмеялись.

— Хорошо ли торгуешь, Клемашев?

Клемашев засмеялся детским смехом.

— Какая моя торговля? Жена орудует. А мне еще двадцать месяцев сидеть! Из-за восьми рублей! Страсть как досадно! Думал воровством хозяйство поправить, а оно только хуже вышло! Баста теперича! Не буду воровать!

— Хо-хо-хо! Невыгодно? — заржали арестанты.

Клемашев поглядывал на всех добрыми детскими глазами и тоже смеялся, а Быков наставительно сказал ему:

— Конечно! Скажи сам себе: не буду. И не будешь. Все равно, как вино пить которые бросают.

— Да ведь, милый ты человек, — любовно заглядывая ему в глаза, возразил Клемашев, — ведь все думаешь хозяйству как ни на есть подсобить, а оно только хуже! Я еще в прошлом году чуть было не попал в острог — из-за мешков. Работали мы у купца Башкина; муку возили. Ну, а когда со двора уходили, и замотали мы двое за онучи по два мешка, все годится для хозяйства! А приказчик догадался. Так что было! Либо, говорит, пашпорта назад берите, либо сейчас в острог! Взяли пашпорта!

— А не воруй! — сказал Быков.

Огромный великан-арестант с широкой бородой улыбнулся добродушнейшей улыбкой и певуче произнес:

— Не обкрадывай купцов: мать-тюрьма есть для нашего брата! Ты где служил в солдатах-то? — спросил он Быкова.

— В Ромнах я служил.

— А еще где был? В Одессе был?

— Нет.

— Эх, что за город! Пристань кака! Набережная! Море шумит! Жизнь!

Широкая русская улыбка озарила огромное лицо великана.

— А в Москве ты был? Нет? Эх, в Сокольниках там хорошо! В Петербурге тоже не был? А в Тифлисе? Не был? Ну, в Астрахани, по крайности? Нет? Да где же ты был?

— Нигде я не был! — отвечал Быков. — А тебя, видно, везде носило?

— Я-то весь свет прошел! Я по Байкалу плавал и в Татарском проливе был! Во всех тюрьмах сидел, все искусства и науки произошел... — Он улыбнулся опять очаровательно-добродушной, светлой, как солнце, плутоватой улыбкой и добавил нараспев: — Тюрьма-матушка всему научит! А вот ты, — неожиданно набросился он на Быкова, — ничего не можешь понимать, что есть такое — жизнь! С тобой говорить, что горохом об стену бить!

— Брось! — загудели арестанты.— С кем ты связался? Лучше уж пусть сочинитель стишок читает, чем это... А? Эй! Сочинитель кислых щей! Вальни-ка!

Такие насмешливые слова относились к молодому, угрюмому арестанту. Это был парень сутуловатый, неуклюжий, медвежьего телосложения, с широким лбом и голубыми глазами, смотревшими мрачно и застенчиво.

Сочинитель ухмыльнулся и прогудел глухим и густым, медвежьим голосом:

— Смеетесь надо мной, а сами просите!

— Ну, ну, не ломайся! Отхватывай!

Сочинитель сидел, подобрав под себя ноги, сгорбился и, не поднимая глаз, начал декламировать своим угрюмым и грубым голосом:

Очи черные, очи жгучие,
Вы пленили мою молодость,
Вы зажгли во мне луч-огонь,
Не могу теперь слово вымолвить.
Мне не спится в ночи темные,
Крушит молодца любовь к девице,
А еще крушит участь горькая,
Доля бедная, безотрадная,
Узы тяжкие, тюрьма лютая...

Неказист был поэт: лицо скуластое, рубаха на груди расстегнулась и обнаружила широкую звериную грудь, заросшую лохматой шерстью.

Трудно было допустить, чтобы «красна-девица» могла плениться такой фигурой, но он продолжал с какой-то грубой и настойчивой силой:

Н-но л-люблю я тебя, раскрасавица,
Пуще жизни, пуще солнышка,
Пуще света всего белого!..
Уж вы, узы мои, узы мрачные,
Узы мрачные, тюремные!
Вы сосете кровь из моей груди,
Душу мучите, сердце гложете...
Ой, судьба ли моя, судьбинушка,
Горемычная, злоковарная!
Не с тобой ли мне в тюрьме сидеть,
В кандалах терпеть гореваньице,
От начальников измываньице?
Как один из них — кровожадный зверь...

— Верно! — вырвалось у арестантов, а поэт гудел, не останавливаясь:

Он питает злобу к каждому,
Не имеет он человечества...

— Сволочь! — пояснили слушатели.

Он лютее зверя лютого,
Тигра хитрого, кровожадного...

— Ишь, как хлещет! — восхитился и Быков.— Не за это ли он тебя в карцер сажал?

— Что ему карцер? — возразили арестанты.— У него ружейный заряд в боку сидит! Что ему карцер?..

— Ку-ка-и-ку-у! — раздалось вдруг по всему двору громогласное пение петуха.

Это кричал арестант с веселым и лукавым лицом; он

стоял посредине двора, расстегнутый, с шапкой на затылке и пел петухом так натурально, что где-то далеко за тюрьмой откликнулись настоящие петухи. В руках у него были три деревянных ложки, и он артистически заиграл на них, припевая сиповатым, но игривым и складным голосом на мотив цыганских песен:

По горам-долам катался,
Тарантас мой изломался!
Тарантас мой, тарантас,
Прокати в последний раз!..

Ложки отчетливо и плавно прищелкивали не хуже кастаньет, словно выговаривали каждое слово. В ту же минуту откуда-то взялись два цыгана, смуглые, ловкие, с курчавыми, словно осмоленными, бородами, похожие друг на друга как два родные брата. Они пустились в дикий цыганский танец, извиваясь вокруг музыканта, как обезьяны, а он медленно шел через двор, туда, где происходила декламация, и пел, аккомпанируя на ложках:

Ай, батюшки, караул:
Цыган в море утонул!
Не в реке, не в озере,
На дворе в колодезе!..

— Гей! Гей! — выкрикивали и скакали цыгане, ударяя в ладони и притопывая арестантскими «котами».

Ой, валенки, валенки,
Не подшиты, старенькие, —

припевал артист, приближаясь к группе.

— Споем? — крикнул он.

Арестанты встретили его одобрительным смехом. Только окованные каторжане с прежней тоскливой серьезностью бродили вдоль длинного двора, и железные звенья цепей, не умолкая, пели свою грустную песню.

Около ниши, у высокой, белой стены собрался арестантский хор: кто сидел на каменной ступени, кто прямо на асфальте, вытянув скованные ноги или положив себе на колени обезображенную, бритую голову; большинство стояли полукругом, некоторые полулежали... Живописен и странен был этот окованный хор, в рубашках из грубого холста, с голыми шеями, открытой грудью и харак-

терными лицами коричневого цвета от загара. Это все были резкие, энергичные черты. Не было заметно лиц глуповатых или забитых... Некоторые молодые и почти интеллигентные лица сразу бросались в глаза и навсегда запечатлевались в памяти своей особенной красотой. Некоторые были мрачны и грозны, и всем лицам было свойственно одно неуловимое выражение, которое бывает только у арестантов. Его трудно определить каким-либо словом, оно — печать долголетнего озлобления непокорной натуры, в нем есть что-то протестующее против всего на свете.

Арестант с ложками оказался «регентом». Он встал лицом к хору, величественно поднял руку с ложкой и обвел весь хор строгим взглядом. Шапка у него совсем съехала на затылок, обнаруживая черную густую щетину стриженой головы и большой мефистофельский лоб с заливами.

В его серьезном теперь лице чуть-чуть сквозил ядовитый юмор.

Хор густо и широко загудел. Регент помахивал ложкой со всеми приемами «маэстро». Казалось, что сам Мефистофель дирижирует хором убийц, воров и бродяг. Солнце заливало всю эту группу ослепительно ярким светом. Они пели:

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащится с сумой на плечах.
Котел его сбоку тревожит,
Сухарики с ложкой гремят.
Идет он густою тайгою,
Где звери его сторожат.
Худая на нем рубашонка,
Премножество разных заплат,
Худая на нем и шапчонка,
И серый тюремный халат.
Лишь только к Байкалу подходит,
Рыбачью он лодку берет,
Унылую песню заводит,
Про родину что-то поет...

Песня густо катилась... От нее веяло романтической жизнью, полной приключений, она говорила о вечном скитальчестве и бродяжестве и как бы поднимала завесу над темной жизнью этих людей, и за этой завесой

чудились грустные и мрачные рассказы и печальные драмы с неизменной кровавой развязкой. Жизнь бьет таких певцов, поэтов и мыслителей, и ее удары извлекают из них глубокие звуки, мрачные стихи и своеобразные песни.

Регент сделал предлагающий жест, и нежный тенорок-запевало затянул плавный, игривый напев:

Па-а Си-б-бири я гул-ляю,
Паселенец ма-ла-дой...

А хор густыми аккордами, словно рояль, аккомпанирует ему:

Тум-ба — тум-ба — тум-ба!
Тум-ба—тум-ба—тум-б-ба-а!..

— Полюби меня, челдонка:
Я брожу здесь сирото-ой, —

заливается солист. Это арестант, по прозванию Соловей,— певун и плясун; он маленький, с черненькими усиками, ловкий и сильный. Теперь он сидит под самой нишей, в центре хора, а кругом непринужденно расположился хор: тенора все стоят полукругом и имеют вид воровской и плутоватый, а басы, большею частью, сидят и все — в кандалах.

Мы пойдем с тобой в Россию
По дорожке столбовой:
Снаряжу тебя в доспехи —
В банях будешь спать со мной...

— Тум-ба — тум-ба — тум-ба-а! — густо аккомпанирует хор, мефистофелевская рожа сияет, а Соловей забористо выводит:

Посох вырежу потолще
На защиту от собак,
Твои кольца и сережки
Отнесем с тобой в кабак!

— Тум-ба — тум-ба — тум-ба! — грохочут басы. А Быков неподвижно застыл на своем камне, как воспеваемая тумба, и с добродушной улыбкой смотрит на веселье арестантов.

Хор все увеличивается. Песни быстро сменяются. Доходит дело до пляски. Хор стоит кольцом и весело поет плясовой мотив:

Ой, дуб — ду-ба, ду-ба, ду-ба...

Слышатся веселые восклицания:
— Соловей! Спляши, что ли, для окончания дела!
— Али он был на суде?
— Как же! Нынче водили!
— Осудили?
— На три года!
— Ва-а-ляй, Соловей!
Соловья выпихнули на середину круга.
Он выждал такт и «пустил дробь».
По первым же его приемам видно было, что пляшет не простой плясун, а артист этого дела: так пляшут в цирке... Его «коты» так и заговорили...
А хор стоял во всей своей живописной непринужденности, расстегнутый, загорелый, с бритыми черепами и гудел:

Ой, дуб—ду-ба, ду-ба—ду-ба!..

— Жарь, Соловей!
— Все равно тебе теперича!
Соловей восхитительно плясал вприсядку: маленький, но мускулистый и крепкий, он упруго и ловко подпрыгивал, как мяч, и перебрасывал из одной руки в другую свою маленькую серую шапку...
Все лица расплылись в улыбку.
Но лицо самого Соловья было необыкновенно серьезно: смуглое, красивое, с черными усиками и блестящими глазами, оно сохраняло пренебрежительное выражение, словно хотело сказать: «Плевать мне на то, что меня осудили!»
В маленькую калитку полукруглых ворот входили и выходили разные люди. Прошел взвод солдат, в белых рубашках, с револьверами у пояса и саблями и скрылся на соседнем дворе, где была пересыльная тюрьма. Оттуда провели разнообразно одетую, рваную толпу пересыльных... Каких только там не было фигур: кто в кацавейке, кто в рваном пиджаке, кто в длинной арестантской шинели. Старики, женщины, подростки и дети и в этом сброде вдруг — гордая фигура благородного босяка... У многих за плечами котомки, сапоги, а у пояса жестяной чайник. Некоторые прощаются с друзьями из арестантов. Пожимают руки. Слышны пожелания. Потом

вся эта странная толпа исчезает за воротами в сопровождении конвойных, внушая недоумение и интерес к себе... Странный, бродячий мир, тени, откуда-то и куда-то без конца идущие, кто они? Своим молчаливым, символическим шествием через тюремный двор они напоминают о существовании какой-то особенной, таинственной жизни.

Калитка вновь отворилась, и в нее с трудом пролезла необыкновенная фигура.

Это был чернобородый мужик геркулесовского телосложения, в красной кумачовой рубахе, высоких сапогах и косматой черкесской шапке. Он был поразительно широк, грудаст и мощен, на выпуклую грудь падала окладистая черная борода, и вся невысокая, но удивительно крепко сложенная фигура его казалась сбитой молотком на наковальне. Он обвел тюремный двор мрачным взглядом и крикнул сильным голосом:

— Здравствуй, матушка-тюрьма!

За ним вошло двое часовых с ружьями и тщедушный тюремный чиновник в полицейском мундире. Арестанты поднялись и сняли перед чиновником шапки, за исключением Эйко. Чиновник с гримасой махнул им рукой, и они разбежались по двору. Потом он отдал какие-то приказания часовым и побежал в пересыльную тюрьму, а богатырь с важным видом путешественника, ожидающего на станции лошадей, стал прохаживаться около запертых ворот. Взявшись за пояс и опустив широкую голову, крепко утвержденную на короткой воловьей шее, он ходил взад и вперед нетерпеливыми шагами.

Быков и еще трое надзирателей вытянулись в струнку и оцепили его, держась на почтительном расстоянии.

Но в сравнении с ним их гарнизонные фигуры казались плачевно-жалкими и не имели в себе ничего устрашающего. У Быкова на штыке добродушно звякали забытые ключи.

Через минуту со двора пересыльной тюрьмы вышел начальник, осанистый пожилой человек в белом кителе и картузе с кокардой. Он шел, не торопясь, к воротам, и перед ним вытягивались часовые, снимали шапки арестанты, только человек в красной рубашке и папахе продолжал ходить и едва посмотрел на него.

Начальник подошел к могучему человеку и начал

что-то ему говорить тихо и вразумительно. Собеседник остановился перед ним, но не дослушал его и внезапно вскипел.

— В се-ре-ду-у? — заорал он на весь двор, размахивая руками. — Это чтобы я святую троицу в остроге сидел? Ни за что! Н-нынче хочу! Терпеть не могу я здесь! Уж лучше вы меня в больницу отправьте, а то я у вас тут все перелюмаю, перебью и сам изрежусь и изобьюсь! Желаю нынче, сегодня, сичас — и больше никаких!

Начальник опять что-то сказал ему, отрицательно качая головой, и проследовал в калитку полукруглых ворот, а вслед ему загремел яростный, могучий голос:

— Так вы этак-то? Обманом заманили меня сюды, да и не пускаете? В тюрьму посадить хотите? Да рази это мыслимо, чтобы вольного человека лишить свободы? А? Накося, что выдумали! Ну, не на того напали! Меня везде по всей Рассее знают! Меня сам великий князь знает, и прокурор святейшего правительствующего синода знает! Только попробуйте посадить! Я в московской тюрьме из окна решетку выломил, и у вас выломлю! Я в Петербурге дворцовую стражу всю разогнал, а не токмо, что вас! И мне за это ничего не было, только патрет с меня сняли да еще денег на дорогу дали! Вы со мной не шутите! Отпирайте, штоль!..

Он подошел к воротам, ударил в них наотмашь огромным кулачищем и загрохотал:

— Отпирайте!

Тишина была ему ответом. Весь двор опустел: арестанты стояли кучкой в отдалении. Часовые замерли на своих постах.

Тут беспокойный гость начал ругаться, все повышая и повышая свой могучий голос и, видимо, приходя в ярость. Ругань была отборная, артистическая.

— Гей, анафемы, иуды-предатели, ироды окаянные! Пять минут даю вам сроку! Не отопрете — ломать начну!..

— Накося! — продолжал он, шагая по асфальту в ожидании ответа. — Вольного человека свободы хотят лишить! Где это написаны такие законы, чтобы за беспісьменность гноить человека по всем острогам, прогонять по всей Рассее? А? Беззаконники! Вы дайте мне

конвой, я и пойду себе пешком, в сутки-то шутя сто верст уйду али лошадь куплю: ведь у меня и деньги есть! Вот он — чек: пойду сейчас в банк — и возьму! Чего же вы меня держите, как разбойника, да еще на святую троицу в острог хотите засадить? За что, про что? Не хочу и не хочу, разнесу все — а не сяду!..

Он подождал немного и, видя, что никто не думает отпирать ему ворота, подбежал к тому окну, в котором виднелись занавески, цветы и клетка с канарейкой.

— Вот вам! Вот вам! — кричал он, выбивая кулаком одно стекло за другим. — Я как начну бить — куда только все ваши пташки-кинарейки полетят! Вот, вот!..

Разбитые стекла звенели и сыпались на асфальт. За окном никто не откликался. Тогда вольный человек застучал кулаками в ворота.

— Отпирайте, чертовы дети! — грохотал он. — Эх, кабы мне что-нибудь потяжельше в руки взять!

Он огляделся кругом, и внезапно взгляд его упал на камень Быкова; он быстро схватил камень, поднял над головой четырехпудовую тяжесть, разбежался и со всего маху грянул камнем в полукруглые железные ворота.

Гулкий гром прокатился по всему двору тюремного замка.

Камень упал около калитки. Часовые подбежали, чтобы убрать его, но богатырь быстро встал на него и остановил их повелительным жестом.

— Прочь! — гаркнул он и, подняв руку кверху, продолжал с камня торжественно и театрально: — Я второй Самсон. Убью, не подходите!

В это время, словно в ответ на громовой удар камня, калитка ворот отворилась, и в нее вошло какое-то новое начальственное лицо и, по-видимому, ничего не подозревая, с недоумением огляделось кругом. В тот же самый момент второй Самсон с необыкновенной быстротой шмыгнул в калитку.

— Убежал!.. — глухо загудело по всему двору.

— Заманили! — засмеялся кто-то.

Произошла суматоха: с пересыльного двора выбежал опять тщедушный и бледный чиновник, а за ним бегом пробежала толпа солдат человек в пятьдесят.

Все они ринулись вслед за Самсоном.

А он стоял в полутемном туннеле, прислонясь спиной

к запертым вторым воротам, как зверь, загнанный в тесное ущелье.

— Господь дал мне силу, — сказал он, — всех вас могу истребить, но не хочу! Берите! Отдаюсь!

Все пятьдесят облепили его...

— Кандалы давайте. Кузнеца!

Раздался чей-то повелительный голос:

— Заковать!

Под каменным сводом было тесно, темно и шумно; все суетились, толкались, галдели. Принесли ножные и ручные кандалы.

Богатырь лежал на земле, и его не было видно за толпой солдат. Он молчал. Слышалось звяканье цепей и удары молота по железу.

Наконец, ворота отворились, и его торжественно провели в тюрьму.

Он шел, окруженный толпой солдат, окованный по рукам и ногам. Руки его были скручены и скованы за спиной, косматая папаха сдвинута на затылок, голова опущена, и широкая черная борода веером лежала на выпуклой груди. В красной рубахе, огромный, мрачный, в цепях, он был страшен и походил на Стеньку Разина.

Арестанты стояли в отдалении и сочувственно смотрели на героя. Он взглянул на них, кивнул головой и, переступая порог тюрьмы, крикнул громовым голосом:

— Глядите, братцы: вот он, мученик!

Его увели.

Тогда арестанты опять собрались к воротам. Но настроение их было испорчено. Они молчали и мрачно переглядывались. Не было слышно ни пения, ни шуток.

Из тюрьмы вышел тщедушный тюремный чиновник и обратился к ним с речью. Арестанты нехотя сняли шапки.

— Я вам должен, господа, объявить, что вышло распоряжение содержать вас в камерах, а на прогулку выпускать по закону — на два часа. Сегодня — последний день вашей свободы...

Арестанты глухо и недовольно зарычали.

— Это не от нас, — поспешил заявить чиновник, — мы тут ни при чем... мы обязаны... сами знаете...

Он развел руками и скрылся в калитку ворот.

Раздался быстрый и громкий звонок колокола — знак собираться в камеры.

Арестанты медленно и нехотя потянулись в мрачное здание.

Солнце садилось, и его последние румяные лучи, бледнея, угасали на неподвижной, задумчивой туче. Быстро смеркалось, и повсюду наступала отрадная тишина весеннего вечера. Легкие звуки долетали отовсюду. Откуда-то издалека доносились в тюрьму веселые голоса и протяжное пение. На небе кое-где вспыхнули маленькие звездочки.

Злобно звеня и потрясая цепями, шли арестанты под мрачные, низкие своды подвального этажа: у них были отняты последние лучи свободы.

Надежды на счастье в жизни давно уже не было.

Впереди была только тюрьма...

Столовая помещалась в катакомбах унылого подземелья. Черные своды смыкались над самой головой и давили душу. Казалось, что они еще хранят мрачные воспоминания о дыбе, пытках и кнуте. Казалось, что эти черные, толстые стены таят в себе крики и стоны, звучавшие здесь когда-то, в давние века.

По небу рассыпались редкие, изумрудные звезды, полная красавица луна взошла над острогом и облила его белые стены трепетным серебристым сиянием. Она, как чародейка, околдовала своими волшебными лучами эту нежную, весеннюю ночь: чары ее обнимают дремотную землю и тихий, серебристый воздух. Всюду таинственно лежат и расползаются мглистые тени, и шепчутся тихие, страстные звуки. Раздражающая ароматная теплота веет в густом воздухе и навевает нежные желания и нежную весеннюю тоску...

Быков по-прежнему сидит на своем камне, прислонив ружье к плечу, не то дремлет, не то думает о чем-то...

На кончике его штыка от лунного света искрится лучистая бриллиантовая звездочка.

А острог поет.

Поют в каждой камере, наверху и внизу, каждая камера — свою песню, и пение всего острога сливается в один общий певучий гул.

Сто-нет он по тюрь-мам и остро-гам...
В рудни-ках, на желе-зной цепи-и,—

глухо и мрачно гудит тягучая песня в нижнем этаже.

А сверху гремит веселый хор:

А наутро старик с больной головой,
Он идет и блюет, и руга-ается...
И р-ру-га-ается!..

Буйно гудят басы.

Но их покрывают из другой камеры:

Друзей теперь мне не на-да-а!
Желе-зны цепи мне дру-зья-а!

Ло-па-та—ве-чная подруга,
А тачка — верна-я жена-а!

С другого конца острога откликаются:

Пройдет зима, настанет лето,
В полях цветочки расцветут,
А мне, несчастному, в то время
Железом ноги закуют.
Придет цирюльник с бритвой острой,
Обреет правый мне висок:
Я буду вид иметь ужасный
От головы до самых ног.

Но из всеобщего гудения выплывает протяжный мотив, полный специально-тюремной тоски:

Там, где море вечно плещет
На песчаные брега...

Медленными, тяжелыми волнами льется эта песня о Сахалине, где вечно звенят море и цепи...

Спит там правда, спят законы,
Спят давно уже, давно...
И на все людские стоны
Плещет море лишь одно...

Тюрьма поет свои страдания, клянет свою судьбу, прощается с родиной и любовью, ненавидит своих тюремщиков и воспевает бродячую жизнь. И это пение преступной, «несчастной» и бродячей Руси сливается в один глубокий и мрачный стон.

Быков сидит на камне и порой взглядывает на узенькое окно круглой башни, куда посадили скованного

Самсона. Он понравился Быкову своей силой: камень, так легко брошенный в ворота, Быков пробовал поднять — и не мог. Он прислушивается, как силач по временам начинает бить в железную дверь башни.

— Ироды! Христопродавцы! — глухо доносится оттуда. — Я все башни размечу, все ваши пташки-кинарейки разлетятся! Накануне святой троицы! А? Дьяволы! Я вам покажу кинареек!..

И Быкову слышен звон потрясаемых цепей.

Но вот он видит, как огромные лапы узника охватывают железный переплет решетки: посыпалась известка, железные прутья зашатались, медленно вогнулись в башню и — исчезли.

— Господи! — прошептал Быков, подходя к башне.

— Вот вам и решетка! Вот вам ваши поганые кандалы!..

В окно к ногам Быкова упала согнутая вдвое решетка и сломанные наручники.

— Размечу! — грохотало из башни. — Всю печку вам разворочаю! Господи! И для чего ты мне дал такую силу? Неужто для того, чтобы век в тюрьме сидеть?

Никто не отвечал ему.

Тюрьма пела...

1901

СКВОЗЬ СТРОЙ

I

Мне вспоминается внутренность деревенского кабака: маленькие окна, бревенчатые стены, грязные сосновые столы и скамьи. За столами сидят мужики и пьют водку большими шкаликами из толстого зеленого стекла. Высокая стойка отгораживает полки с бутылками и огромную, тридцативедерную бочку с водкой. Около нее на стене висят разного калибра «мерки» — медные ковши, и кабатчик цедит в них из огромного крана бочки пахучую синеватую водку.

Кабак галдит; дверь, обитая рогожей, с кирпичом на веревке блока, постоянно отворяется и хлопает, в нее врываются клубы морозного воздуха, образуя белое облако; оно редеет, и тогда в нем видны огромные фигуры, закутанные в тулупы и чапаны, с бараньими шапками на головах, с большими обледенелыми бородами.

Фигуры хлопают огромными рукавицами, снимают их и заскорузлой рукой стаскивают шапки, обнажая потные лысины; от лысин к потолку поднимается пар...

Ледяные сосульки, отдираемые с длинных усов и бород корявыми пальцами, тают. Слышатся кряканье и приветствия кабатчику.

— Гавриле Петровичу! Хромому! Сто лет жить!

— И вам сто лет жить да двести на карачках ползать! — звучно отвечает кабатчик.

— Хо-хо-хо! — покатывается весь кабак. — Уж он ска-

жет так скажет. В карман за словом не полезет, деревянная нога!

Кабатчик — сиделец от богача-хозяина, владельца почти всех кабаков уезда — мой отец.

Он стоит за стойкой, облокотясь на нее большими, тяжелыми руками, и небрежно кидает мужикам складные прибаутки, поговорки и меткие слова.

Наружность его необыкновенно симпатична.

Он — худой, среднего роста, хорошо сложен, вид у него бравый. Лицо — энергичное, характерное, с резкими, сухими чертами — напоминает кардинала Ришелье; нос с горбиной, на щеках бороды нет, и только на подбородке эспаньолка, правильная в виде лопаточки. Лицо смуглое, веселое и смелое, очень живое и выразительное. Волосы длинные, русые, закинутые назад, вьются крупными кудрями.

Левая нога у него отрезана немного ниже колена, и он ходит на деревяшке, в широких брюках навыпуск. Одетый в длинный пиджак старинного покроя, он быстро поворачивается за стойкой и очень ловко владеет своей деревяшкой.

Он почти не вынимает изо рта коротенькую черную трубку, и над его густыми кудрями постоянно вьются голубые кольца табачного дыма.

— Гаврила Петрович! Гаврила Петрович! — дружественно гудит кабак.

И вот мой отец вынимает из-под стойки гусли и кладет их перед собой на стойку.

Они треугольные, столярной работы, со множеством струн. С широкого края гусель натянуты длинные стальные басы, обвитые тоненькой блестящей, серебристой проволокой; за ними идут медные, золотистые струны, одна другой короче и тоньше.

Отец засучивает рукава, обнаруживая мускулистые руки с крупными пальцами, и кладет руки на струны: правой рукой он берет аккорды всеми пальцами на басах и длинных струнах, а указательным пальцем левой руки проводит по всем струнам; звонкие, беспечные и наивные трели текут серебристым ручьем, а блестящие басы мягко рокочут долгим, расплывчатым звуком.

Кабак умолкает, и к стойке поворачиваются грубые, бородатые лица полупьяных слушателей.

Загадочный, не то веселый, не то печальный мотив начинался медленно, басы неопределенно тянули нечто похоронное, но сквозь этот строй внезапно прорывались маленькие, лукавые и задорные трели.

И тогда гусляр, закинув голову и молодцевато потряхивая кудрями, запевал с подмывающим видом:

Ка-ак... на улице Варварин-скай!..

У него был хороший голос, какой-то теплый и грудной бас, не очень сильный, но чистый, мягкий.

Спи-ит-лежит мужик камаринска-ай!..

Выразительное лицо его дышало в это время особенным юмором, ноздри горбатого носа раздувались, глаза блестели вдохновением...

А живые струны простодушно и покорно выговаривали за ним каждое слово. Чувствовалось, что крепко и глубоко спит воспеваемый мужик.

Мотив делается все быстрее, звуки сгущаются и крепнут, сверкающие басы гудят, сливаются в один голос, крючковатые крупные пальцы проворно перебирают струны, а указательный палец уже с неимоверной быстротой пробегает по всем струнам.

Борода его вся всклоченная
И дешевочкой подмоченная!..

Чудодейственный палец смешит весь кабак своими движениями: он описывает на струнах неуловимо-комические полукруги, словно издевательски мажет кого-то по губам, а порой и вся левая ладонь, изображая педаль, похлопывает по струнам, словно по лысине камаринского мужика, словно будит его от сна, и вот он пробуждается, а палец уже проворно убежал на верхние струнки, и они заливаются тонким серебристым смехом.

Снится бабе, что в веселом кабаке
Пьяный муж ее несется в трепаке,
То привскочит, то согнется в три дуги,
Истоптал свои смазные сапоги...—

скороговоркой припевает отец. На гуслях поднимается отчаянный вихрь веселых звуков: тонкие струны ухарски взвизгивают, беспечные голоса их вьются и порхают стаями, среди них воет и тянет одну бесконечную ноту толстая нижняя струна, а басы гудят-гудят-гудят, словно опускаются все ниже и ниже.

З-зар-рычало бла-га-р-родие:
— А-ах ты, хамово отр-родие! —

выразительно поет отец. Лицо его ежеминутно изменяется, изображая мужика, сон, бабу, глупость, «благородие» и его гнев... Лицо музыканта полно жизни, энергии, веселья, ноздри двигаются, кудри, встряхиваясь, словно пляшут на его голове.

Из кармана два полтинника
Вдруг со звоном покатилися
И сквозь землю пр-ровалилися!..

Голос отца уже гремит злобным смехом, а гусельные струны рассыпаются серебряным звоном.

По мере того как захватывающий мотив «Камаринского» развертывается во всю ширь и гусляр вдохновенно создает самые удивительные звуки, неудержимое, могучее веселье захватывает весь кабак: широкие плечи пожимаются, подергиваются, огромные ножищи тяжело притопывают, чей-то кулак ударяет по столу, вырываются восклицания:

— Сыпь, барыня, в решето! Эх! Шире! Ходи, изба, ходи, печь!..

Маленький, шестилетний мальчик, я был тут же за стойкой и во все глаза смотрел на отца.

История о «камаринском мужике» очень интересовала меня: его приключения были занимательны, и сам он завоевал все мои симпатии. Его широкий разгул казался мне волшебным сном, полным таинственности: там рычит «благородие» — невиданный мною зверь, там полтинники чудесным образом со звоном проваливаются сквозь землю, а самого камаринского мужика волшебный вихрь подхватывает и несет в «трепаке». Таинственная сила распоряжается им, преследует его и наконец сваливает лицом в грязь.

Мотив делается опять медленнее и реже и снова становится загадочным: сквозь веселый строй слышатся похоронные аккорды басов, и кажется, что камаринский мужик устал плясать, свалился на улице и опять спит, спит глубоко и симпатично, запрокинув курчавую всклокоченную бороду, подмоченную «дешевочкой».

И вдруг раздаются самые отчаянные звуки «трепака», они «заставляют», «требуют», чтобы плясали, невозможно удержать ноги от пляса, слушая их.

Тут происходило самое главное, волшебное зрелище: весь кабак плясал, плясали молодые и старые, пьяные и трезвые, плясал я... А отец так и крутил пальцем и, прихлопывая по струнам, припевал, потрясая кудрями:

Мужикам по ногам,
А бабам по пяткам!..
Цыплятки мои,
Индиатки мои!
Брошу просо — не клюют,
Прошу выпить — не дают!..

— Хо-хо-хо! Ай-ай! Ой! — в изнеможении стонет кабак, а гусляр не унимается:

Попьем, попоем —
Все горе забудем!
А смерть придет —
Умирать будем!

Кабак наполняется новыми фигурами, он гудит, словно улей, торговля идет оживленно.

Поздно вечером, перед запором, когда кабак уже пуст и гусли давно спрятаны, в нем еще пляшет Пешня, кабацкий завсегдатай, седенький и вечно пьяненький старичишка с длинным носом, похожим на пешню. Он топчется на одном месте и, громыхая кожаными сапогами, смешно поет старческим пьяным голосом:

Попьем, попо-ем...
Все горе за-бу-де-м...

— Г-гаврила... Петрович! Д-дай! Доверь! Одну...
— Не дам! Ступай домой!
— Г-ганя! Налей! Плясать хочу!..

Попьем, попо-ем...

— Ну, это — его же царствию не будет конца! — говорит отец, выпроваживая Пешню.

И когда тот послушно уходит и отец запирает дверь кабака, я выхожу из-за стойки на середину его и, представляя Пешню, начинаю тоже плясать и горбиться, как он, припевая:

Попьем, попоем —
Все горе забудем!

В селе был еще другой кабак, от другого хозяина. Между двумя кабаками возгорелась борьба, и победителем в ней оказался мой отец. Его вообще часто переводили из села в село, и весь период моего детства за это время связан с воспоминаниями о беспрестанных переездах. Отца всегда посылали в такой кабак, где «торговля» шла плохо и ее требовалось поднять.

Как только появлялся он со своими гуслями, село начинало пьянствовать, и «торговля» шла бойко. Гусли и песни и симпатичная личность кабатчика окружали кабак ореолом поэзии, влекли туда даже непьющих и совращали их в пьянство.

Успех отца выводил из себя представителей враждебного ему кабака. Против ненавистных гуслей был устроен заговор. Однажды в праздник, когда кабак был полон, а отец в ударе и заливался на гуслях за своей стойкой, отпуская забористые куплетцы, в кабак вошла целая компания парней, сильно подвыпивших. Они навалились к стойке, и один из них, рыжий, протягивая музыканту руку, вместо рукопожатия, размахнулся и ударил изо всей силы кулаком по гуслям. Но удар пришелся по подструннику, сделанному из очень крепкого дерева, и гусли уцелели — отец успел сдернуть их со стойки. Пьяная толпа с ревом и ругательствами лезла на стойку, чтобы разбить гусли. Мне ярко запомнилась эта картина: красные, пьяные лица, потрясая кулаками, лезли на отца, а он стоял за стойкой, как за баррикадой, и, держа гусли за спиной, отмахивался от своих врагов увесистой медной меркой. Весь кабак волновался, ревел и крутился в свалке. Отец отбил приступ злоумышленников и отстоял свои гусли.

Наутро парни пришли к нему, трезвые, с повинной.

Он, по обыкновению, был за стойкой, а парни мялись перед ним и конфузливо чесали затылки.

— Прости уж! — ныли они.

— Дураки — богу печаль! — сказал им отец спокойно. — Зачем вам понадобилось гусли-то разбивать? Олухи царя небесного!

— Да мы нешто сами? Целовальник из того кабака нас подбил! Разбейте, баит, у него, робяты! Дал по целковому да два полштофа выставил! Ну, мы и того... пьяные были, спьяну.

— Не спьяну, а сдуру... Другой и пьян, да умен, два угодья в нем! А вы — ни богу свечка, ни черту кочерга!

— Прости уж, молим тебя!

— Без толку молиться — без числа согрешить! За целковый вас, чертей, и купить и продать можно! Ничего не понимаете! Мужики — кругом брюхо!..

— Гаврила Петрович! — выступил вперед рыжий парень, тот самый, что ударил по гуслям. — Окрестил ты меня меркой, буду тебя крестным звать! Крестный, дай мне сейчас по морде, только не томи!

Парни мялись перед стойкой, а отец смотрел на них как-то особенно задумчиво. Потом вздохнул, тряхнул кудрями и сказал с добродушным презрением:

— Черти!

И стал заниматься со мной грамотой: я лежал на стойке, а он рисовал карандашом на листе бумаги алфавит букв, крупно, по-печатному.

Кабак мало-помалу наполнялся народом, и опять шла «торговля», гвалт и игра на гуслях.

Иногда отец заставлял меня подзванивать железной палочкой в треугольник, сделанный из стального прута, и я сидел на стойке и звонил в такт его игре, а кругом галдели, пили, ругались.

Я очень любил отца, больше, чем мать. Мать была женщина добрая, тихая, на все смотревшая глазами своего мужа, всегда во всем с ним согласная. И она, и я, и мужики считали отца очень умным и все знающим. Он много разговаривал со мной и любил рассказывать занимательные истории. Мы жили в маленькой комнате, смежной с кабаком. Я бывал очень счастлив, когда отец позволял мне спать с ним. Раздеваясь, он отвязывал деревяшку, ставил ее у изголовья, шутил и пугал меня об-

рубком своей ноги. Смеху и веселью нашему не было границ. Я смеялся до слез от его чудачеств и наконец уставал от смеха. Тогда мы укладывались под одеяло, я радостно прижимался к его широкой груди и требовал рассказов. И он рассказывал мне о море и солнце, о жаркой стороне, о ките, о слоне и обезьяне, о львах и тиграх и всех их представлял в лицах, принимал их позы, ложился на пол, ползал и подражал их голосам. Он сам увлекался представлениями и увлекал меня. Иногда он рассказывал мне о своей жизни, полной приключений.

— Вот видишь ли, Копка, — говорил он мне своим низким и теплым басом, и в голосе его звучали тогда задушевные, мягкие нотки, — я был дворовый человек, барский... Теперь народ вольный, а тогда воли не было, и все люди были барские: желтопузики, что хотели с ними делать, то и делали. Моего отца, а твоего дедушку, засекли до смерти кнутом за сущий пустяк: украл обрубок барского дерева и спрятал в подполье, — он был столяр. Мать в дворне была, а меня, когда я вот еще с тебя был, лет шести, гусят пасти посылали. Бывало, сидишь-сидишь на солнышке день-деньской, сгоришь весь от зною, все смотришь, как бы коршун гусенка не утащил: если пропадет гусенок — значит, и меня, клопа, тоже драть будут. У меня, брат Копка, тогда со спины-то рубцы не сходили, дубленая у меня спина-то. А гусята часто пропадали, потому что я на тростяных дудках любил играть, у пастуха выучился. Заиграешься — и забудешь про гусят: вечером порка. А был я-таки и озорник порядочный, все норовил назло что-нибудь сделать. Потом, когда побольше вырос, на гуслях стал играть. И когда у барыни мигрень приключался — есть такая барская боль — мигрень, — то меня с гуслями к ней призывали. Барыня была старая девка, злющая-презлющая: гусли слушать любила, а меня ненавидела. Бывало, как заиграю ей да запою «Вьется ласточка», сейчас это ее в слезу ударяет — мигрень пройдет, а мигрень пройдет — барыня опять всех пороть велит. И отдала она меня в ученье — в столяры. Там, брат, меня тоже здорово лупили: шесть лет я был не в ученье, а в мученье, ну зато столяр из меня вышел хороший, и еще я от себя токарному и резному ремеслу и рисовать выучился. Вышел я,

брат, из ученья двадцати одного года — орел-орлом, словно меня и не били никогда! По праздникам работал на себя. Скопил деньжонок, расфрантился, шляпу купил пуховую и на тройке, с колокольчиком, в родное село приезжаю...

Рассказывая, отец вновь переживал давно пережитое, голос его звучал задушевной грустью, по временам он закуривал свою трубку, и она, на момент вспыхивая, освещала красным светом его лицо, похожее на лицо кардинала Ришелье. И в тишине темной комнаты мягко ворковал его теплый голос:

— Здорово мне влетело за этот колокольчик: как заслышала барыня тройку — тут же ее в мигрень ударило... Показалось ей, что «волю» везут, — перед волей это было. А народ бежит навстречу, кричит: «Воля! Воля!» Плачут. И как узнали, что это не воля, а я, — на смех меня подняли, а барыня к себе позвала. Как завидела меня, франта, так и зашипела: «Я, говорит, тебе покажу волю! Отец твой под плетьми околел, и тебе то же будет!»

Написала записку, призвала мужика Онуфрия, дворецким он был, отдает ему письмо: «Отведи, говорит, этого хама в контору и письмо отдай! А потом назад Гаврюшку представь!» Повел меня дворецкий. Чую — пороть ведут. Идем мимо кабака. Я и говорю Онуфрию: «Ведь не убегу я от тебя, зайдем в кабак, выпьем!» Важный был такой этот мужик, почтенный и глупый и вино любил, но только непременно даровое, на свои же не пил. Зашли. Спросил я косушку. Пьем. «Ну-ка, говорю, дай-ка я посмотрю бумагу-то». Он мне и дал. А я ее р-раз! Изорвал в мелкие клочья. Как вскочит мужик. «Что ты со мной сделал? И меня с тобой будут пороть!» — «Беспременно, говорю, выпорют, коли поведешь меня в контору!» — «Как же быть-то?» — «А пойдем, говорю, назад потихоньку: я притворюсь, будто меня выпороли, и ты доложи барыне, только и всего! И будут наши спины целы!..»

Я тихонько взвизгивал от нетерпения: рассказ отца захватывал, волновал и увлекал меня, я трепетал за отца, прижимаясь к его теплой груди, и в душе дивился его уму и смелости, а он останавливался на самых интересных местах рассказа и курил свою трубку.

— Ну-с, делать нечего, согласился мужик. Посидели в кабаке — идем на барский двор. Я согнулся, чуть ноги волочу, охаю: о-ох! Насилу плетусь. Мужик ведет меня, а дворня-то посмеивается, «с приездом» поздравляет, и до спины пальцем то один, то другой дотронется, а я — о-ой! — заору благим матом, в кухне до койки насилу добрался...

Вышла барыня. «Что, говорит, Онуфрий, сводил?» — «Сводил, матушка-барыня!» — «Выпороли?» — «Выпороли, матушка-барыня!» — «Хорошо ли выпороли-то?» — «Хорошо, матушка-барыня!» А я лежу: о-ох! о-о-хо-хо!..

Отец рассказывал все это картинно, в лицах, разными голосами, изображая людей. Я торжествовал и покатывался со смеху. Трубка то вспыхивала красным огоньком, то погасала, а отец рассказывал... Мрачные тени и картины прошлого как бы проносились перед нами одна за другой в тихой полуночной темноте...

— И всего-то я у барыни одно лето прожил. Воспитанница у нее была, барышня, Наташей звали... Р-раскр-расавица! Волосы, почитай, до пяток, глаза большие, печальные... Когда бывал у барыни мигрень — призывали меня в покои с гуслями. Был я тогда веселый. Наташа-то меня и полюбила, и я ее полюбил. Барыня же терпеть не могла, если кто кого полюбит! Отдали Наташу замуж за пастуха, а меня в кабалу, далеко, на фабрику, около Волги...

Теперь уже и слова-то этого никто не понимает, что оно значит — кабала, а тогда человека в дрожь бросало от этого слова. Продавали тогда мастеровых из дворни на фабрики и заводы на года: человек работает, а деньги за него давно уже барин получил. И обходились с такими закабаленными страшнее, чем с каторжниками, лупили и в хвост и в гриву. Вот и меня так-то закабалили... опять на шесть лет.

Ты на гору, а черт за ногу: только из ученья вышел — в кабалу попал, а там люди, как в аду, мучились. Лупили их плетьми — сколько влезет, все равно как сидорову козу. Жизнь прожить, Копка, не мутовку облизать: всего натерпишься! Она, брат, совсем не в нашу пользу устроена. Она — как мала куча: которые наверху — барахтаются да нижних ногами топчут!.. А из-под низу как вылезешь, коли на нас, нижних, доски положены, верх-

ние на досках сидят и обедают, а у нас кости трещат! У них чай да кофей, а у нас чад да копоть.

Я не понимал истинного смысла этих слов, но отец всегда говорил притчами, образно, и его рассказы запечатлевались в моей душе.

— Ну-с, жил я таким манером в кабале, — рокотал отец, — и думал: только бы кончился срок, тогда мои дела пойдут по маслу, откуплюсь на волю! И стал я работать по ночам сдельную работу, чтобы денег накопить да от барыни выкупиться. И так-то работал шесть лет, деньги эти мне в руки не давали, а только за мной записывали. Кончился срок. Иду в контору за расчетом, чуть петухом не пою от радости: воля, думаю, вот она где! Заработал!

Отец засмеялся горьким смехом.

— «Позвольте расчет!» Переглянулись. Главный-то и говорит, спокойно так: «Отведите его и дайте ему расчет». Повели меня двое. Гляжу — ведут к воротам. А фабрика была, как острог, высокой стеной обведена, и ворота были железные, а у ворот огромный такой татарин, и в руках у него пуда в три дубина. Иду я, под полой гусли, в руке узелок — и весь я тут.

Подвели меня молча к воротам, растворили их, а татарин взял в обе руки дубину... да-а как д-даст мне промежду лопаток — я и вылетел за ворота: куда кузов, куда милостынки! Брякнулся я об землю, гусли в одну сторону полетели, узелок в другую, а ворота опять захлопнули и заперли. Вот тебе и расчет! Получил! Копил-копил, да черта и купил!..

И опять горький смех и пламенное дыхание трубки.

— А уж вечер был, и на дворе была буря, дождик лил, и Волга вся черная была, а по ней белые барашки гуляли...

И некуда мне было деться, и ничего у меня не было, только гусли сломанные. Взял я их в обе руки, размахнулся и о камень разбил, только струны застонали!..

И побежал я под дождем, по грязи, без шапки — сам не знаю куда. И такая злоба у меня в сердце была, что так бы вот эту самую фабрику порохом бы и взорвал! Добежал до берега Волги, повалился, плачу, ругаюсь и богу жалуюсь...

А Волга так и гудит внизу, черные валы так и ходят,

дождик хлещет, ветер гонит темные тучи, а гром с неба нет-нет да и раскатится, словно хохочет надо мной: тррах-тах-хо-хо-хо-о!

Мрачная, величавая картина бурной ночи, гром и молнии, тучи и волны — все это грозно вставало предо мной, и я в страхе прижимался к отцу, который, может быть, и сам не сознавал в себе волшебной силы слова.

Он попыхивал из своей коротенькой трубочки и, вновь переживая пережитое, рассказывал своим задушевным голосом:

— И стал я звать черта: хотел я продать ему свою душу, только бы он помог мне отомстить за все мои обиды...

— Ну, и что же он? — шепотом спрашивал я, едва переводя дух от волнения и невольного страха.

— Не явился! — отвечал он тоном сожаления и сострил: — Должно быть, тогда и сам черт не мог помочь мне!..

Добрался я, — продолжал отец, — до родного села, к барыне, и заболела у меня нога: простудил я ее, босиком по болотам с неделю осенью шел. Распухла моя нога, как бревно, стал я хромать. Барыня видит, что я обезножил, как лошадь, и выгоды ей от меня мало, взяла да и отдала меня в солдаты, единственного сына у матери-то, да еще больного! Ничего! На нашем базаре все сойдет, это можно было тогда. Как сейчас вижу: вышла партия новобранцев в дорогу, и я с котомкой иду, а мать все за мной бежит да ревет, седые волосы растрепались, глаза безумные... Обвила меня за шею — нипочем не вырвусь!.. Она ревет, и я реву... Наконец, я вырвался и без оглядки убежал от нее бегом, со своей хромой ногой, догонять партию... Эх, Копка, инда слеза прошибает, как вспомнишь! С тех пор я так мать свою и не видал: умерла...

Отец плакал всякий раз, когда рассказывал этот эпизод прощания с матерью.

Он продолжительно затягивался из трубки, вытирал слезы и, успокоившись, продолжал:

— Тогда в солдаты провожали все равно как в могилу, а я не робел; я даже и не думал, что не дослужусь до офицера... Непременно, думал я, офицером буду! Однако вышло другое. Ногу мою очень скоро там разнесло

совсем, и положили меня в больницу. А в больнице-то я пролежал ни много ни мало, как целых два года, ногу-то мне там и отрезали. И как раз тут воля вышла! Обкарнали мне крылья да на волю и выпустили! Ни кола, ни двора, полетай куда знаешь — это пролетарий называется по-книжному-то! Двадцать девять лет мне было тогда, да только никто не верил, все за старика считали: переделали мне в больнице рыло-то! За два года-то леженья много я, Копка, книг прочитал: если бы все их собрать, то можно было бы ими набить вот всю нашу комнату до потолка! И арифметике я выучился в больнице, у одного барина, а до тех пор арифметики я не знал, так что оно, пожалуй, и лучше вышло, что в больницу-то попал. Солдатская служба была такая, что волосы дыбом становятся, как вспомнишь! Я бы непременно в беглые попал, а беглых тогда «сквозь строй» прогоняли: поставят роту солдат в два ряда, каждому палку дадут, а беглому руки к ружью привяжут и за ружье ведут, и бьют его с двух сторон в голую спину палкой изо всей силы, так что, когда до тебя, бывало, дойдет очередь бить, то уж не по спине бьешь, а по кровяной говядине, говядина-то клочьями висит, а в ней от палок занозы. Упадет он — его водой отольют, поднимут и опять дальше сквозь строй ведут! Случалось, что так и не дойдет до конца: помрет под палками. Тихо-то ударить нельзя: сзади строя ундера идут и мелком на спине крестики ставят тем, которые не изо всей мочи ударили. Кончится «сквозь строй», тут начнут этих «меченых» пороть: только и слышно кругом «ува! ува!» — как младенцы, под розгами визжат!..

Я слушал эти рассказы, и сердце мое замирало от жалости и ужаса.

И вся жизнь моего отца представлялась мне таким длинным-длинным «сквозь строем» из розог, плетей, палок, дубин, горьких обид, нескончаемых несчастий, несправедливых унижений и попираний человека!.. И какого человека! Даровитого, талантливого, умного... Я до сих пор не понимаю, как он мог сохранить в себе столько жизнерадостности, достоинства и доброты, как мог он быть весельчаком, так забористо играть на гуслях и петь примиряющее: «попьем-попоем, все горе забудем»...

Однажды, когда отец далеко за полночь убаюкивал меня своими рассказами и мы лежали с ним в нашей каморке без огня, в кабаке раздался звон разбитого стекла, а потом зазвенели деньги в большой шкатулке для выручки. Отец вскочил, наскоро подвязал деревяшку, торопливо зажег свечу, и мы с ним осторожно выглянули в полуотворенную дверь в кабак: там уже все было тихо. Тогда мы вышли за стойку, отец кинулся к выручке... Большой, окованной медью шкатулки с деньгами не было, окно против стойки разбито. Вор исчез через окно вместе со шкатулкой, и звон произошел от груды медных и серебряных монет, когда он, вероятно, повернул ее боком. Все село знало, что ежемесячная выручка отца была не менее пятисот рублей, а было уже близко первое число, и отец ждал хозяина за выручкой. Похищение было засвидетельствовано поднятой на ноги сельской полицией, а на другой день прискакал хозяин, богатый купец. Он был толстый, с широкой бородой веером, кривой на один глаз, с двумя толстыми цепями на жилетке. В обыкновенное время он всегда шутил с отцом, видимо дорожил им, любил слушать гусли и всегда звал его почему-то «орлом», может быть потому, что как в физиономии, так и в натуре необыкновенного кабатчика было что-то орлиное: орел с отрезанной ногой и подрезанными крыльями! Но теперь хозяин влетел в кабак запыхавшись, озабоченный и недовольный. Единственный глаз сердито вращался, рябоватое лицо покраснело...

— Орел! — закричал он. — Много ли украдено?

— Пятьсот рублей! — отвечал отец. — Вся выручка!..

Хозяин плюхнулся на стул, вынул красный платок и стал отирать пот с лысины...

— Пятьсот рублей! — простонал он хриплым голосом. — Вся выручка! И зачем я тебя без залога взял? Что с тебя, голяка, возьмешь?

— Лев Осипыч! — укоризненно заговорил отец. — Чем же я-то виноват? Ведь меня убить могли из-за ваших денег! Да и что вам пятьсот рублей?

— Как что! — заорал хозяин. — Орел! Ты не орел, а ворона! Проворонил мои деньги, да еще смеешься! Пятьсот рублей — деньги! Их на полу не подымешь!..

— Бывает, что и на полу подымают! — отвечал отец и бросил в купца толстым кожаным бумажником, туго

набитым. — Я-то орел, — презрительно продолжал он, — орлом и останусь, а вот ты-то кто?

Лев Осипыч развернул бумажник: в нем были бумажные деньги.

— Это что? — спросил он в недоумении.

— Пятьсот рублей! — отвечал отец. — Успокойтесь, все цело: я всегда их держал в шкатулке, а этой ночью словно кто шепчет мне: возьми да возьми в карман! Встал ведь ночью с постели, вынул их из шкатулки да в карман и положил! А тут как раз и воры! Ну, им только рублей восемь досталось, мелочь...

— Ор-рел!.. — заорал купец, словно пьяный, так был рад. — Молодчина! Люблю! Орел — одно слово, это ты верно!..

И он стал трясти своей жирной рукой огромную, жилистую руку отца.

На радостях купец велел откупорить бутылку какого-то «допель-кюмеля», и они дружественно выпили. Отец сыграл на гуслях, я подзванивал в звонок, Лев Осипыч был в прекраснейшем настроении и все кричал: «Ор-рел!»

Отец только кудрями тряс.

— Ты, орленок! Н-на! — захмелевший хозяин ущипнул меня и подарил мне новенький бумажный рубль; бумажка гремела, как накрахмаленная, и хорошо пахла. Я был рад.

Отец и Лев Осипыч выпили еще.

— Ну-с, — сказал, наконец, хозяин, — теперича — учет! Нельзя! Девушка гуляй, а дельце помни! Беда, ежели я тебя да в мошенстве пымаю! Ха-ха-ха-ха! З-замузычу!.. Ор-рел!..

И они принялись за учет.

Когда через несколько времени я вбежал к ним в кабак, они ссорились.

— Какая недоимка? — горячился отец. — Недоимку следует скостить; в долг мужикам роздал, а у них кобылка хлеб поела, оттого и воровство началось!

Хозяин спокойно щелкал на счетах и холодно отвечал:

— Скостить нельзя! Вычту с тебя из жалованья!..

Отец побледнел. Орлиные глаза его засверкали.

— Как? — заговорил он голосом тихим и дрожащим, между тем как в груди его клокотало бешенство. — Не можешь скостить, когда я спас тебе пятьсот рублей? Я мог ведь их утаить!

— Мог утаить — и не утаил! Значит — дурак! Был я у тебя в руках — не умел держать, а теперича за что же я тебе буду скащивать? Сам посуди! Орел!

— Так ты этак?

— А то как же? — спокойно отвечал хозяин, углубляясь в счета. Ноздри его острого носа сплющились, глаз холодно и неподвижно смотрел в приходо-расходную книгу, и все рябое лицо приняло неприятное, хищное выражение.

Наступило зловещее молчание.

— Вон! — рявкнул вдруг отец, бледный и весь дрожа от злости.

Хозяин от изумления не мог ничего сказать и уставился на него, бледнея...

— Вон, сволочь!.. Я тебе не слуга, — повторил отец, и от его баса на полках встревоженно задребезжали бутылки и рюмки.

Своей дюжею рукой, оплетенной толстыми жилами, он схватил хозяина за шиворот и тряхнул.

Между «орлом» и Львом Осипычем завязалась борьба. Несколько минут они возились молча, слышно было только усиленное дыхание обоих. Купец был гораздо крупнее моего отца, но отец оказался сильнее. Он действовал только одной рукой, другой же держался за стойку, чтобы не быть сшибленным с ног, и яростно возил противника из стороны в сторону.

Перехватываясь левой рукой по стойке, примыкавшей к выходной двери, отец впихнул его в дверь, но купец уперся в косяки. Пыхтя и страшно вращая глазом, он силился подшибить отца под его деревянную ногу. Тут произошло что-то быстрое и неожиданное: отец выпустил шиворот врага и, подняв деревяшку наперевес, пихнул ею купца в толстое, мягкое брюхо.

Лев Осипыч полетел с крыльца.

II

Мы с отцом вышли за околицу, навсегда оставляя село. За спиной у отца висели гусли и узелок. Левой рукой он опирался на толстую палку с железным наконечником, а за правую держался я и семенил за ним по пыльной дороге. Из-под серого картуза развевались по ветру его длинные кудри, в зубах у него ароматно дымилась на свежем воздухе черная коротенькая трубка. Солнце ярко сияло над зеленой степью, село потонуло за пригорком, а впереди серебристою лентой блестела на солнце широкая Волга. Мать мы отправили в родную деревню, к дедушке, а сами превратились в странствующих музыкантов.

— Поедем, Копка, перво-наперво в Нижний, на ярмарку, — сказал мне отец. — Там, говорят, музыканты деньги наживают! Там у нас пойдут дела по маслу, каждый день буду тебе пятак на книжку давать!

В это время я был одержим страстью к чтению сказок. Я жил в чудном мире подвигов Еруслана Лазаревича, Бовы-королевича и Францыля Венециана и хотел каждый день читать новую сказку.

— Идем! — отвечал я, чувствуя в себе героический дух Еруслана и Бовы.

Перед нами открывалась фантастическая жизнь бродячих гусляров, полная приключений, богатая новыми впечатлениями, яркими картинами...

Трое суток мы плыли на пароходе в третьем классе. Знойный летний день торжественно сиял над спокойной гладью реки, а навстречу нам плыла панорама зеленокудрявых гор. Эти красивые береговые горы важно и задумчиво молчали, песчаные косы блестели, как золото, порой из-за горы любопытно выглядывала деревушка. По временам пароход плыл около самого берега, у подножия огромных скал, и тогда нужно было поднимать голову кверху, чтобы видеть верхушки гор. Лесистые, курчавые горы сменялись гладкими, и они были расписаны золотыми квадратами хлебов, черными полосами пашен, зелеными пастбищами. Высоко, наверху гор, ползали чуть видные стада черных и белых овец, коровок и лошадок... Все они казались маленькими, как детские игрушки. Избушечки селений тоже представлялись ку-

кольными, с беленькой церковкой, с малиновым звоном сельского колокола... Порой по извилистой тропинке спускалась к реке за водой девушка в ярком наряде, а у берега колыхались челноки, бегали нагие ребятишки, купались и брызгали водой, и брызги алмазами сверкали на солнце.

Вся эта жизнь медленно проплывала мимо нас и опять сменялась величавыми горами и дикими утесами.

— Гляди, Копка, — сказал мне однажды отец, — вон утес Стеньки Разина! Экое орлиное гнездо!..

И он стал мне рассказывать о Стеньке Разине. Утес поражал своею мрачной величавостью... Он был отвесный, возвышался прямо из воды и казался крепостью, сложенной гигантами из громадных камней. Весь каменный, с боков окутанный стройным бором, он грозно хмурился, словно погружен был в грустные воспоминания о Степане Тимофеевиче. Из расщелин диких камней упрямо росли молодые березы, а в уступах вили гнезда степные орлы. От этого места веяло героическим настроением, а отец увлекательно рассказывал мне о подвигах Разина, о громадных исторических сценах, и фигура волжского героя вырастала в моем воображении до гигантских размеров... Мятежи, разбои и грозные события вполне соответствовали этой романтической обстановке: величавая река, лесистые горы и мрачные утесы словно созданы были для того, чтобы здесь разыгрывались трагические истории, эти места одним своим видом наводили на какие-то размашистые, большие мысли.

— И вот, Копка, — рассказывал мне отец, — поймали его, сковали и руки и ноги и в железную клетку посадили. Так в клетке, словно зверя, и повезли в Москву. Там, на Красной площади, четвертовали...

И он в ярких красках и в живых образах большими чертами, словно художник, нарисовал мне картину казни: огромная площадь, освещенная кровавым светом восходящего солнца, полна народа... Эшафот... Палач в красной рубашке, с окладистой бородой, с топором... Разин лежит на эшафоте... Р-раз! отлетела правая рука... Раз-раз!.. левая нога... Разин молчит... не хочет стонать... Он гордый. Потом таким же манером левую руку, потом правую ногу и после голову... Изрубили в куски и бросили собакам. Вот как!

У меня кровь застывала в жилах. Изумленными глазами смотрел я то на отца, то на утес, который, как грозное видение, уплывал назад и казался мне теперь обиталищем величавых теней, а отец, указывая на него палкой, продолжал свои рассказы.

— На этом утесе был сложен из камней стул, на стуле сидел Разин и судил ослушников, и бросали их тут же, с горы да в Волгу... Очень просто. А то раз плывет Разин по Волге со всем своим войском на лодках: пароходов тогда не было. Все лодки коврами разубраны да награбленным добром нагружены: разграбил он персидское царство и персидскую княжну с собою взял. Плывут они и песни вольные поют, а кругом-то дебри дикие, утесы, да горы, да Волга на солнышке светится. И говорит Разин: «Эх ты, Волга-матушка!»

И я жадно слушал красочный, картинный рассказ, оживленный подробностями: «княжна взвизгнула», по воздуху сверкнули «золотые башмачки с красными каблучками» и прочее. Я смотрел на Волгу и утесы и невольно ждал, что вот-вот из-за мыса покажутся разубранные лодки с разбойниками, и уже мне чудилось, как поют они вольные песни, а Разин говорит: «Эх ты, Волга-матушка!» Но ничего подобного не показывалось: плыли иногда парусные лодки да плоты со своими избушками. А отец рассказывал:

— Твой дедушка не верит, что Разин умер, и все спорит со мной. В народе, видишь ты, разные сказки про него сложены, так — фантазии: будто под этой самой горой живет Разин; в смерти ему отказано, а предназначено вечно мучиться; лежит он в темной пещере, вроде как в подполье... Цепями он к этому подполью прикован, томится и стонет, задыхается без воздуха и света. Дедушка говорит, что когда на Волге поднимается буря, это знак, что Разин мечется и рвет свои цепи. Кажется, что только Волга шумит да валы об утесы бьют, а если прислушаешься, — это «он» под горою стонет... С виду будто бы только сосны под ветром гудят, а наставишь ухо, послушаешь хорошенько — железные цепи звенят! И лежит в пещере огромный великан, седой и нагой... Борода ему все тело покрывает, на руках и ногах за триста-то лет львиные когти отросли, цепь, как змея, обвила его и с телом срослась... Лежит Разин и на груди своей всю го-

ру выдерживает. Каждую ночь приходят лев и медведь, в клочья его разрывают... И тогда он стонет, и от стонов его дрожит гора, а на Волге поднимается буря. Но в том-то и штука, что к утру он опять, как ни в чем не бывало, срастается и опять целехонек лежит в цепях, и опять гора его давит... Так мучится Разин, и конца его мучениям не будет никогда!

Отец задумался немного, помолчал и повторил грустно и вдумчиво:

— Никог-да!..

Я полюбил Разина за его мужество и страдания. Я настроен был сказочно, на богатырский лад, и в моих глазах он был гордый и мятежный волжский дух. Прикованный к утесу, он жил в этих горах. Мало того, он был в моем отце и во мне. Вечный дух беспокойства, мучениям которого никогда не бывает конца, — вот что было в нас. Нам была по душе дерзость Разина, нам, оторванным от всего уклада жизни, отрицаемым ею, одиноким, чуждым всем. Мы оба любили героев непокорных и одиноких, сильных и воинственных. И отец без конца рассказывал мне о них. А Волга ослепительно трепетала на солнце, вдали, словно со дна реки, всплывал вдруг белый, как лебедь, пароход и, дымясь, гулко пел. Рев его катился по реке и пропадал за горами. А в ответ ему оглушительно и дико, со свистом и хрипотой яростно орал наш пароход и, мощно барабаня колесами, весь сотрясался и дрожал, словно был охвачен неукротимою злобой, словно мчался он в бой. Потрясенный его могучим, страшным голосом, я зажимал уши и в страхе бросался к отцу. Он мне казался единственным и верным моим оплотом в этой огромной жизни, где исчезал я, как маленькая, незаметная пылинка.

— Чего ты, дурачок, боишься? — успокаивал меня отец. — Это свисток, пар! Вон видишь, как он устроен: повернуть ручку — пар и бьет в края этой медной трубки...

И он после свистка подводил меня к трубке, где расхаживал сердитый усатый человек в форменном картузе, и объяснял ее устройство; он страстно любил механику и рассказывал мне все это со своим обычным увлечением... Потом подводил к машине и, говоря о ней, возвышался до истинного красноречия. Я со страхом и лю-

бопытством заглядывал в огромное брюхо парохода и по целым часам смотрел, как работал могучий и страшный механизм, как двигались огромные, блестящие цилиндры, облитые хлюпающим маслом, и как копошились и кишели бесчисленные колесики.

— Это все пар приводит в движение! — объяснял отец. — Но когда-нибудь наука выдумает и «вечный двигатель», который будет двигаться без пара, сам, и — вечно! — продолжал он с глубоким убеждением и верой. — Он будет наподобие вселенной и этих бесчисленных миров, которые все ворочаются вокруг солнца и звезд... Каждая звезда ведь — это тоже солнце!

О науке он всегда отзывался с большим уважением и любовью, и у нас начинался упоительный разговор о звездах и планетах, о море и солнце, о жаркой стороне, полной сказочных чудес, о жителях луны, о человеческой душе, и мой отец давал волю своей пылкой фантазии. Он умел рассказывать с мельчайшими подробностями о том, чего сам никогда не видал. С луны и звезд мы опять спускались на землю, но не к нашей печальной жизни, не в тесные каморки и бедные хижины, хорошо знакомые нам, а в роскошные дворцы и пышные залы, к богатым и счастливым. Отец водил мою жадную мысль по бесчисленным сказочным залам, без конца отворяя предо мной все новые и новые двери с яшмовыми рукоятками, с зеркальными стеклами, с дивными зверями у мраморных ступенек крыльца... Наконец, он описывал мне жизнь царя с таким обилием подробностей и с таким видом, как будто сам был развенчанным царем. Он описывал царское белье, царское кушанье, весь день царя, его занятия и, наконец, спальню с балдахином из бархата и острым мечом, который висит на тонкой ниточке над головой царя...

Грустная действительность нашей жизни была слишком неприглядна, чтоб ею интересоваться, и, два мечтателя, мы больше интересовались мечтами. Рассказы отца отвечали в моей душе подвигам Бовы и Еруслана и уносили ее в мир героизма и рыцарства.

Потом мы начинали играть перед пароходной публикой. Нас плотным кольцом окружала разношерстная, любопытная толпа, разглядывая нас и наши гусли.

А отец начинал «Песню про Стеньку Разина»:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выбегают расписные,
Острогрудые челны!..

Мотив песни был самый разбойнический, размашистый, и отец пел ее сильным голосом, вольно и широко...

А струны журчали, словно весла всплескивали, песня мчалась мерными взмахами, и выходило похоже на то, что «острогрудые челны» разрезают звонкую волну и длинные весла на солнце блестят...

На переднем Стенька Разин,
Обнявшись с своей княжной,
Свадьбу новую справляет
И веселый и хмельной...

Мне представлялась целая стая лодок, «разубранных коврами», отчаянные лица разбойников и среди них Разин, говоряший с Волгой.

Эх ты, Волга, мать родная,
Волга, вольная река!.. —

гремит сильный голос отца, а мне кажется, что это голос Разина.

Толпа вдруг увеличивается, все ждут, чем кончится песня, а отец пропоет куплет и помолчит немного, только струны журчат и звуки бегут, и мчатся легкие челны.

Мощным взмахом поднимает
Он персидскую княжну
И за борт челна бросает!

Резко обрывается песня: словно «ахнули» все, словно бросили весла... И опять повторяются последние слова, но уже нежно, жалобно и медленно, словно душа расстается с телом, и тихо плачут волны, принимая драгоценный подарок:

И за борт челна бросает...
В набежавшую волну...

И в душе у Разина, в темной ее глубине, тоже что-то плачет о любви, вырванной с кровью из сердца. Но тотчас же начинается прежний размах, и отец, тряхнув кудрями, поет, как настоящий разбойник:

Гей, ты, Фролка, черт! Пляши!
Грянем песню удалую
На помин ее души!
Из-за острова на стрежень,
На простор...

И песня заканчивается так же, как и началась: челны бегут, волны журчат, весла всплескивают, и никаких следов не остается на том месте, где утопили княжну. Все исчезает.

Выйду ль я на реченьку,
Посмотрю на быструю!..

Потряхивая кудрями, переходит отец на другую песню.

Унеси ты мое горе!..

Беспечные, живые звуки русских песен, вдохновенный вид гусляра и смешные движения его пальцев по струнам мало-помалу наэлектризовывают слушателей, и в круглую дыру гусель сыплются мелкие деньги.

А ночью небо, и Волга, и берега — все одевалось теплою мглой, в небе выплывали лучистые звездочки и в черной мгле горизонта перепутывались с разноцветными огоньками маяков и встречных судов. Пароход мчался в таинственную безбрежную мглу, из черной огромной трубы вместо дыма столбом вылетали мелкие красные искры и гасли на бархатном фоне черной ночи.

И мне казалось, что какое-то сказочное чудовище с красными огненными глазами, изрыгая искры, как Змей-Горыныч, уносит нас в неведомый, удивительный край...

И вот однажды утром этот край вдруг предстал перед моими глазами. Я проснулся от какого-то странного пения. Пароход шел медленно. На носу парохода широкоплечий, чернобородый матрос стоял у борта и, закидывая пестрый длинный шест, нащупывал дно.

— Ше-есть! — пел он густым и мрачным басом.

И тотчас же, как эхо, откликался ему где-то невидимый дрожащий тенор и повторял за ним протяжно и печально:

— Ше-есть!..

И пока он тянул, коренастый матрос опять погружал за борт свой шест и безнадежно пел:

— Пя-ять!..

— Пя-ять!.. — жалобно подхватывал невидимка.

— Шесть с половиной! — ободряюще и быстро вскрикивал бас.

— Шесть с половиной! — радостной скороговоркой повторял тенор.

Но мрачный матрос снова закидывал шест и опять протяжно и сердито пел:

— Шесть!..

— Шесть!.. — разочарованно и грустно звенел невидимый тенор...

На горизонте, совсем уже близко, зеленела высокая гора, а на горе блестел под лучами утреннего солнца красивый, словно сказочный город, — он был обнесен зубчатой каменной стеной с башнями, старинные церкви так и сияли своими золотыми головами, а река против города была вся, от одного берега до другого, запружена судами, и мачты этих судов с бесчисленными красными и белыми флагами казались огромным лесом, которому не видно было конца. Пароход наш подходил к ним все ближе и ближе...

Мы с отцом ходили по многолюдным, шумным улицам огромного города, играли и пели под окнами многоэтажных домов, пробирались сквозь разноцветную, веселую толпу.

Над ярмаркой стоял целый ад звуков: из трактиров ревели музыкальные машины с литаврами, бубнами и турецкими барабанами, доносилось бесшабашное хоровое пение с визгом и пляской.

На улицах гремели ломовики и пролетки, жужжала оживленная толпа; уличные певцы, музыканты и плясуны пели, играли и плясали, задирая головы на окна верхних этажей. Это был все пришлый, не русский народ: евреи и еврейки с арфами и скрипками, уличные оркестры венгров с медными трубами и хриплыми контрабасами, музыканты-акробаты, из которых каждый играл на нескольких инструментах руками, ногами и головой, и, наконец, гудочники-итальянцы с гудком под мышкой, в национальных рваных и засаленных костюмах, с красивыми загорелыми лицами и живыми мягкими тело-

движениями, полными прирожденной грации. Все это наигрывало, звенело, гудело, пело и плясало разом, создавая невообразимый гам; волынка тянула странные не русские мотивы, скрипки уличных скрипачей визжали, расстроенные струны арф беспомощно стонали, трубы неистово ревели и хрипели, литавры звенели, барабаны бухали, певцы и певицы надрывались, чтобы быть услышанными...

Толпа густыми волнами текла повсюду с невнятным гулом и жужжанием; мелькали яркие восточные костюмы: восточные купцы в золотых и серебряных тюбетейках, в халатах из желтой и голубой материи, китайцы в том наряде, в каком я видел их нарисованными на вывесках, — в широких цветных шароварах, в странной шляпе и странной обуви, косоглазые, смуглые, с длинными тонкими усами, с черной жесткой косой. Уличные акробаты в ярком трико сгибались в кольцо, прыгали, перевертывались в воздухе, ручные обезьяны лазали по водосточным трубам громадных домов, заглядывали в окна верхних этажей, потешая толпу. Из окон трактиров, откуда несся гам и гул голосов, грохот «машин» и взвизгивание женского хора, спокойно выглядывали полуобнаженные женщины. Над пестрой, веселой и поющей толпой стояла золотистая пыль, освещенная жаркими лучами августовского солнца...

Мы затерялись в этой толкотне со своими тихими, простодушными гуслями.

На огромной площади, полной народа, виднелся целый ряд балаганов. На вышке каждого из них гремел раздирающий уши оркестр и кривлялись паяцы в смешном, дурацком наряде. Потрясая высоким колпаком с погремушками, они отпускали едкие шуточки, и толпа слушателей отвечала им словами, еще более смешными. Набеленные лица паяцев были неприятны, со щетинистыми усами, с резкими чертами и морщинами, со следами пьяной и тяжелой жизни.

Тут же крутились карусели, каждая под свою музыку. Около одной карусели мы долго стояли и смотрели на музыкантов; их было трое, и все они были пьяны, в растерзанных одеждах, двое играли на гармониях, а третий — на барабане, отдаваясь игре с необыкновенной энергией. Один из гармонистов был в одном только

белье... Нервное, бледное лицо его, обросшее рыжей щетиной, было возбуждено от долгодневного пьянства, воспаленные глаза блестели, все силы его души, казалось, были напряжены вовсю, как натянутые струны, и он играл мастерски, с неистовством, с бешеной энергией, в каком-то исступлении. Играя, он размахивал гармонией, поднимал ее над головой, растягивал длиннейшие мехи и, в упоении собственной игрой, качал нечесаной мохнатой головой, а гармония так и пела, говорила, рыдала, и смеялась, и звенела болью русской души, которая развернулась и удержу знать не хочет.

— Ай да портной! — говорили кругом. — Пропился человек, в музыканты попал, а ловко наяривает!.. Яко благ, яко наг, яко нет ничего!..

Второй гармонист аккомпанировал столь же энергично и, судя по черным рукам, был сапожником. Но всех энергичнее был барабанщик, деревенский парень. Весь красный, обливаясь потом, он злобно и ожесточенно бил палкой в большой турецкий барабан, словно тот был его заклятым врагом.

— Жарь! — слышалось из толпы. — Сыпь, ребята!

От музыки этих троих музыкантов веяло огромной силой энергии, удалью и ширью...

Около «силомера» мы заинтересовались богатырем-калачником. Он был почти на голову выше толпы, весь в муке, с рыжими курчавыми усами, в картузе на ухо и донельзя рваном пиджаке внакидку... Какой у него был героический вид! Как гордо смотрел он на толпу, как легко раздвинул ее своим богатырским плечом! Из уст его рекой лилась рифмованная ругань, он ругался артистически, торжественно и победоносно, выражая звонкою руганью избыток сил и благодушно-боевое настроение.

Одной рукой он брал тяжелый деревянный молот, вдохновенно бил им, кверху по доске взлетал кусочек железа и эффектно разбивал пистон...

— Ссаривай! Знай наших, почитай своих! Что, черти? Живота вам али смерти? — вызывающе ругался калачник.

Он победил всех. Презрительно раздвинул толпу и гордо исчез в ревущей пасти ближайшего кабака.

Гул и стон стояли над ярмаркой. Мы с трудом про-

бирались сквозь густую толпу, останавливаясь кое-где поглазеть... Нас обоих подавляло обилие впечатлений, лиц, красок и звуков... Толпа, представлявшая смесь всероссийских типов, физиономий и одежд всех стран и народов, с гулом, говором, пением и руганью бесконечным потоком проходила перед нами: китайцы, бухарцы, негры и итальянцы сменялись русскими купцами, мужиками, барынями, сапожниками и калачниками.

Посередине площади какой-то разносчик выставил зеркальный шар, величиной с камышинский арбуз, и на его поверхности отражалась вся ярмарка, со всеми зданиями, со всем движением разноцветно одетой толпы; мы увидали и себя, маленькими, словно на фотографической карточке. Я долго рассматривал в бесконечной смене лиц крохотные отражения кудрявого гусляра с характерным энергичным лицом, с гуслями за плечами, и маленького деревенского мальчика рядом с ним.

Отец вспомнил, что в Нижнем Новгороде должен где-то стоять памятник Минину и Пожарскому. Он рассказал мне об этих людях и хотел показать памятник, но не знал, как его отыскать, и сколько ни спрашивал встречных, никто ничего не мог сказать. Каждый думал о своем деле, настроение у всех было торговое, только мы с отцом интересовались героями и на ярмарке жизни искали чего-то, что было чуждо всем и близко нам. Отец, наконец, решил, что Минина и Пожарского нет здесь.

— Есть другой Новгород, — сказал он мне, — так они там, в другом Новгороде!

Наконец мы попали в грязный и низенький трактир,— там было много комнат, и во всех комнатах толпились люди, сидели за столами и пили. В трактире стоял гул и шум голосов, звон посуды, гремело пение. В самой большой комнате, на возвышенной площадке, пели песни женщины в коротеньких платьицах, с голыми плечами. Они слегка пританцевывали и, оттопыривая пальцами свои кисейные подолы, потрясали ими в такт своему пению. Одна из них, которая стояла впереди, запевала сильным, грудным голосом:

Раз в когтях нужды-злодейки
Стукнул нищий в дверь мою,
Но сама я без копейки,
Голодаю, да пою!
Тру-ля-ля! Тру-ля-ля!

Остальные припевали, чуть-чуть поднимали юбки, пританцевывали и неестественно улыбались.

Ради неба, просит пищи,
И пуста его сума...
Жаль беднягу!.. Хочешь, нищий,
Вместо хлеба — я сама...

Весело подхватывал хор певиц. Все они были очень красивые, молодые, голоса звенели, как струны...

Наше появление было замечено хозяевами трактира, и нам позволили в антракте показать свое искусство. Отцу дали стол, он положил на него гусли, засучил рукава, настроил струны, тряхнул кудрями и заиграл.

Он заиграл печальную, задушевную песню... Резко выделяясь, прозвучала она в этом грязном городском трактире, среди бесшабашного веселья и нечистых песен. Невинные гусельные трели как бы случайно залетели сюда, словно пойманные полевые птички. От них веяло чистым воздухом полей, они как будто грустили, одиноко порхая в нездоровом воздухе огромного возбужденного города. А у нас обоих, у отца и у меня, на сердце была печаль по оставленной деревне и страх перед городом...

К нам прислушивались. Шум трактира стал глуше.

Тогда отец запел:

Ветка, ветка бедная,
Ты куда плывешь?
Берегись, сердечная:
В море пропадешь!

Жалобные трели и грустные аккорды гуслей опять заговорили, словно повторяя его слова, а он, помолчав, продолжал свою песню:

Нечего беречься мне!—
Веткин был ответ. —
Я уже иссохшая,
Во мне жизни нет!

Как задушевно, как грустно он пел своим теплым голосом!.. Негромкий, но густой и слышный, этот голос переплыл через весь гам трактира, как волна, и смолк, а звуки гуслей повторили его слова и передали басам. Басы согласились, но тихо спросили о чем-то...

От родного деревца
Ветер оторвал! —

объяснил отец, и ноздри его раздулись, и глаза внезапно заблестели...

Пусть теперь несет меня
Куда хочет — вал!..

И опять заговорили печальные струны. Тут подошла к нам замечательно красивая девушка. Я был до глубины души поражен ее красотой и фантастическим ярким нарядом: на ее черных густых волосах лежала красная шелковая шапочка, украшенная мелкими серебряными монетами, вся грудь была в ожерельях из монет, рукава куртки широкие, расшитые золотой бахромой, а юбка на девушке была из красного атласа. Девушка весело смотрела огромными черными глазами из-под густых и длинных ресниц и казалась очень живой и возбужденной. Смуглая, румяная, с тонкими чертами лица, она была дивно хороша! И голос у нее был музыкальный, похожий на звук свирели, и говорила она, словно пела, чужим, не нашим говором, «по-хохлацки», как объяснил мне после отец.

— Бандуристику, голубчичку! Заграй мени, а я заспиваю! Заграй, кучерявый!

И она громко запела своим свирельным голосом:

Виют витры, виют буйны,
Аж дерева гнутця!..

Отец сразу подхватил на гуслях аккомпанемент, и сильное грудное сопрано так и зазвенело по всему трактиру... Ее голос был яркий и горячий, как лучи ее родного южного солнца, и брызгал, словно огненный дождь, обдавая толпу... Теперь мы уже сделались предметом всеобщего внимания, со всего трактира прихлынул народ, кольцом окружил певицу и гусляра, а она пела, ни на кого не глядя, и лицо ее было теперь такое гордое, мрачное и прекрасное!..

Ой, як болит мое сердце,
А слезы не льютця!.. —

разливалась по трактиру печальная песня. Но слезы обильным ручьем уже текли из ее прекрасных глаз. Она пела задушевно и грустно, и так была красива, поющая и плачущая, что жаль было смотреть на нее.

Вдруг она быстро положила свою хорошенькую ручку на струны и остановила песню.

— Веселую! — крикнула она.

Отец заиграл веселую.

Она тряхнула головкой, повела плечами, зазвенела всеми своими монетами, улыбнулась и, плавно поворачиваясь на каблучках, грациозно покачивая станом и разводя руками. запела:

Попьем, попоем —
Все горе забудем.
А смерть придет —
Умирать будем!

Слушатели смеялись. «Ловко поет!» — говорили одни. «Пьяная», — возражали другие.

Она пела и хлопала в ладошки, притопывая каблучками и плавно поворачиваясь кругом себя, а по лицу ее все еще текли слезы.

В эту минуту явился полицейский в сопровождении толстого, хорошо одетого господина. Полицейский грубо ухватил певицу за руку и прекратил ее веселье, а господин что-то такое говорил, и вид у него был оскорбленный и обиженный. Девушка покорно пошла с ними из трактира и только громко ругалась грубыми словами. В толпе звучали слова: «убежала», «били», «обязана» и еще что-то, непонятное мне.

Мы играли в этом трактире несколько дней. Потом нас пригласили в другой. Наконец мы получили приглашение в большой трактир играть до конца ярмарки на жалованье в двадцать пять рублей в месяц на всем готовом.

Трактир помещался во втором этаже огромного дома, и в него вела длинная широкая лестница. Нам отвели

крохотную, полутемную каморку, два раза в день подавали чай, в полдень обед и поздно вечером ужин.

Днем почти нечего было делать — трактир пустовал, и только по временам приходила пить чай большая компания восточных купцов. Они все были одеты в дорогие национальные костюмы яркого цвета, ходили в калошах и ичигах из зеленого сафьяна и не снимали с бритых голов дорогих тюбетеек, густо расшитых золотом и серебром. Все на них блестело и шелестело. Они были важные, молчаливые, медлительные и говорили на странном, гортанном языке. Им подавали на большом подносе фарфоровые чашечки, низенькие и широкие, похожие на тюбетейки, и они медленно и долго пили из них густой чай. В нашей музыке они не нуждались.

Днем отец обыкновенно разучивал для себя новые мотивы, слышанные им на ярмарке. У него был хороший слух и большая память, и он уже играл на своих гуслях все марши, польки и всевозможные отрывки из опер и оперетток, усвоенные им от здешних бродячих музыкантов. Играл он и нежно-печальные, одного характера, нижегородские народные напевы, неумолчно звучавшие в воздухе.

Вся ярмарка прежде всего гудела здесь песнями: они носились в воздухе, лезли в уши, запечатлевались в памяти. Эти мелодичные нижегородские песни, в которых неизменно воспевались любовь и разлука, до сих пор звучат у меня в ушах; они особенно хорошо выходили на нежных гусельных струнах.

Отец разучивал эти песни и даже, кажется, сочинял свои, а я в это время упивался чтением лубочной книги, купленной за пятак. Этот пятак я ежедневно стал требовать у отца, помня его обещание. Он сначала давал охотно, но потом стал отказывать и сердиться.

А я всем существом моим жил в мире богатырей, рыцарей, волшебников и драконов. После каждой прочитанной сказки я долго не мог успокоиться и пытался передавать мои впечатления бумаге: я рисовал. Так как рисовал я без устали и вечно, то на бумагу для этого тоже нужны были деньги, и я подбирал на полу оберточную бумагу и покрывал ее изображением вооруженных с ног до головы рыцарей, подписывая каждое изображение каким-нибудь двустишием.

Я продолжал свои занятия и вечером, когда под потолком трактира зажигали лампы; желтая оберточная бумага из-под гильз при свете ламп становилась белой, и на ней можно было рисовать. От рисования отрывал меня отец, он налаживал струны и принимался за работу; трактир начинал наполняться гостями.

Я чувствовал себя так, как будто бы только что очнулся от роскошных и сладких сновидений, и с тоской начинал бить в звонок, а отец разливал по трактиру звонкие гусельные звуки.

Иногда мы пели дуэтом «Стонет сизый голубочек», или «Вот на пути село большое», или «Ветку». У меня был звонкий дискант, и я любил петь, но петь по принуждению не хотел и часто отказывался. Тогда мы ссорились.

— Пой! — говорил мне отец.

Настроение мое моментально становилось мрачным, я бычился и молчал.

— Пой, говорят тебе! — горячился отец и начинал аккомпанемент.

Гусли рокотали. Я молчал.

— Пой, черт тебя подери! — ревел он на меня в бешенстве.

Я начинал петь, но от грубого обращения со мной у меня совсем пропадал мой обычный звонкий голос: он дрожал, обрывался, слабел, а глаза мои наполнялись слезами оскорбленного самолюбия.

— Громче! — кипятится отец.

Я совсем умолкаю: горло сдавлено спазмой, по щекам льются слезы.

— Тьфу! Ни одной книжки тебе не куплю! Звони!

И он пел один комические куплеты:

Встреча-то премерзкая:
Лавочник идет.
А жена-то дерзкая
В лавке в долг берет!
Дети плачут с голоду,
Дохнет вся семья.
Глупо сделал смолоду,
Что женился я...

Он пел и по-прежнему энергично потряхивал кудрями, но сквозь веселый строй гуслей пробивалась печаль.

Когда по окончании игры никто из публики не подходил к гусляру и не бросал на струны мелких денег, тогда отец посылал меня обходить слушателей с протянутой шляпой в руке. Из-за этого у нас тоже выходили препирательства, но угроза лишения книг действовала, и я шел собирать деньги.

Смущенно путешествуя со шляпой, я чувствовал себя униженным. Некоторые давали мне деньги со словами: «Это тебе», но я все отдавал отцу.

Гости все прибывали, голоса их начинали сливаться в один общий гул, и мы барабанили всю ночь почти без передышки. Мало-помалу фигуры гостей расплывались, разбухали, вырастали до потолка, потом сразу исчезали, гул трактира становился глуше, в ушах гудели только знакомые звуки гуслей, и я звонил сквозь сон, с закрытыми глазами. Толчок отцовской руки пробуждал меня, я поднимал голову и, постепенно склоняя ее, опять звонил, звонил, звонил...

У отца на всех пальцах были кожаные «напалки», иначе, как говорил он, «пальцы можно протереть до кости».

Однажды утром, когда трактир пустовал и мы были свободны, я спускался с отцом по длинной лестнице из трактира, чтобы идти купаться на Оку.

На лестнице, как и во всем трактире, было пусто, тихо. Вдруг на ней появились какие-то люди и бросились к отцу. Один из них, зверообразный, рыжий, похожий на того парня, который хотел разбить гусли, загородил отцу дорогу.

— Ты что, хромой черт, нам вчера испортил дело? — хриплым голосом зарычал он.

— А то, что я не согласен людей грабить, — отвечал отец. — Пошел прочь!

— Ах ты... шерстобит! — злобно зашипел рыжий и схватил отца за горло. Трое других молча вцепились в него, и началась борьба. Рыжий душил его, и отец хрипел, лицо налилось кровью, глаза страшно выкатились. Я пронзительно визжал и колотил ручонками рыжего. Мой визг спас отца: сверху прибежали половые, таинственные люди бросились на улицу и убежали.

Отец едва отдышался.

— Разбойники! — говорил он всем собравшимся. —

Хотели они вчера обобрать пьяного купца, да я не согласился, а без меня нельзя было! Так вот — за это! Тут грабежом деньги-то наживают! Ну, якшаться с ними нам не рука!

Он тряхнул кудрями и шутливо добавил, обращаясь ко мне:

— Видно, Копка, здесь у нас дела-то не пойдут по маслу!

Дела шли у нас действительно далеко не по маслу. Доходы, на которые рассчитывал отец, были плохие, а на «темные» дела он не соглашался; значит, о солидном заработке нечего было и думать.

Но я знать ничего не хотел и каждый день клянчил пятак на книжку. Когда в трактир заходил разносчик с коробом лубочных книг и картин, я ударялся в слезы.

— Купи книжку! — умолял я отца, обливаясь слезами.

— Денег нет, не куплю! — сурово отвечал он.

— Купи-и! — приставал я, всхлипывая.— Деньги есть, я сам видел в сундуке!

— Отстань! Какие это деньги? Они нужны тебе же, на сапоги, на рубашку!

— Не надо мне сапоги! Не надо рубашку! Книжку мне! Ведь только пята-ак! — тянул я его за душу.

— Сегодня пятак, завтра пятак!.. Это — его же царствию не будет конца!

— Купи-и!..

Я реву. Все лицо мое мокро от слез.

— Я тебе все песни буду петь! Буду слушаться! — пускаюсь я на обещания.

— Не куплю! — говорит он непреклонно.

— Зачем же ты меня обманул? — сквозь рыдания кричу я, испытывая первое разочарование в жизни.

— Чем я тебя обманул?

— Ты... говорил... как приедем в Нижний... каждый день... по книжке...

Родник моих слез оказывался неиссякаемым. Я поступал жестоко: вероятно, отцу было тяжело видеть мое горе. Но он оставался непреклонным — впереди стоял грозный призрак бесприютных скитаний без гроша за душой.

Опрометчивое обещание, данное мне отцом о ежедневной покупке книг, имело для меня огромное значение.

Мечта о ежедневном чтении все новых и новых книг составляла для меня весь интерес жизни, и ради этой мечты я терпеливо переносил все, что было для меня ненавистного в нашем ремесле. Эту мечту я лелеял долго, еще когда мы ехали по Волге. Я никак не ожидал, что отец меня обманет, и не хотел взять в толк нашего тяжелого положения — книжка мне казалась нужнее сапог.

Какая-то мысль мелькнула у меня. Хотя плакал я вполне искренне, но, тем не менее, имел и расчет, что мои слезы разжалобят отца. Когда же он устоял против слез и занялся разучиванием, я сразу бросил плакать, забился в угол нашей каморки и сидел в нем долго и мрачно. Я решил непременно поставить на своем.

Мне захотелось отнять у отца пятак. Но тут я вспомнил, как он расправился с купцом и четырьмя разбойниками, которые не могли его свалить на лестнице с единственной ноги, и сообразил, что он — сильный, а я — мал и слаб. Значит — надо украсть. Пятаков в сундуке лежит целая пригоршня: если взять один из них, то отец, пожалуй, не заметит. А если и заметит — так что ж? Я не боюсь! Я скажу: да, я взял, потому что это «мой» пятак, заработанный мною, один из тех, которые дадены «мне». Пусть тогда не покупает сапог, наплевать! Я считал себя совершенно правым, и не только правым, но прямо обобранным, а отца — присвоителем моего пятака и обманщиком.

Я смело открыл сундук, взял пятак, лежавший сверху других пятаков в маленьком ящике сундука, и, крепко зажав монету в кулаке, побежал покупать книжку.

Мне попался разносчик, у которого только и осталось, что две книжки. Одна была «Еруслан», давно мне известная, а на розовой обертке другой был нарисован рыцарь в полном вооружении, заглавие же книжки было «Дон-Кихот». Я любил рыцарей и купил эту книжку.

Читать я ее принялся тут же, на тумбе, между деревьями. Книга эта сразу увлекла меня. Я от всего сердца полюбил благородного и храброго рыцаря, путь которого был длинным рядом несчастий и битв, а он все-таки не унывал и шел как «сквозь строй». И я находил сходство в его судьбе с моей собственной судьбой и жизнью моего отца и плакал, читая о страданиях Дон-Кихота...

Я наскоро смахивал рукавом слезы и снова проглаты-

вал страницу за страницей, пока не кончил чтения. Таких книг я еще не читывал и теперь был убежден, что лучшей книги нет на свете. Я чувствовал себя после чтения, как в чаду: голова горела, щекам было жарко, и казалось мне, что все кругом задумалось о печальной истории: огромные пятиэтажные дома удивленно смотрели своими многочисленными окнами, словно хотели сказать: «Вот так штука!», а деревья совсем-таки явственно шептали над моей головой: «И ты ведь будешь... Дон-Кихотом... Дон-Кихотом!»

Наконец я пришел в себя. Как быть с такой великолепной книгой? Как уничтожить ее? Можно ли расстаться с таким другом, как Дон-Кихот? Я был в нерешительности, а храбрый рыцарь пристально смотрел на меня с розовой обложки, восседая на Россинанте во всеоружии своих доспехов, и как бы говорил мне, кивая: «Не бойся!»

Я свернул книжку трубкой, положил в карман штанов и как ни в чем не бывало возвратился в трактир. До самого вечера я рисовал Дон-Кихота на желтых обложках от гильз, слагая в честь рыцаря самые дружеские двустишия, потом всю ночь покорно играл с отцом и даже пропел «Вот на пути село большое».

Заснул я крепко и спокойно, как человек, которому удалось хорошее предприятие. Во сне подъезжал к моему изголовью Дон-Кихот и дружелюбно разговаривал со мной.

Когда я проснулся, утреннее солнце радостно било в окно и освещало каморку розовым светом. Первою моею мыслью был «Дон-Кихот», и я схватился за карман: увы! книжки там не было. Я поднял голову: у стола сидел отец, весь в розовом освещении, и внимательно читал измятую книжку в розовой обложке—моего «Дон-Кихота». На лице его я заметил удовольствие. Он курил трубку, слегка улыбался, раздувая ноздри, и, видимо, одобрял подвиги Дон-Кихота. Но едва он заметил, что я проснулся и шевелюсь, как лицо его приняло суровое и зловещее выражение.

— Поди сюда! — сказал он что-то чересчур уж спокойно. — Где ты эту книжку взял?

— Купил.

— А где денег взял?

— В сундуке.

— Значит — у-кр-рал! — сказал он, повышая голос и как бы срывая с лица маску спокойствия; оно теперь пылало гневом, розовое от восходящего солнца.

Я стоял перед ним с опущенной головой, как подсудимый. Я обиделся, что отец заговорил со мной тоном судьи, а не товарища, каким он был до сих пор. Я чувствовал какую-то неискренность с его стороны, словно он играет роль. И я молчал. Что-то мне мешало говорить. Помолчал и отец, выпустил облако табачного дыма, и оно расплылось по комнате, освещенное золотыми лучами. Отец сердито посмотрел на солнце своими грозными глазами и заговорил о Дон-Кихоте.

— Дон-Кихот был честный рыцарь, — говорил он, — он шел напролом и никогда не воровал, не лазил исподтишка по сундукам... А ты — воришка, трусишка, непослушный сын! Ты — не рыцарь, а просто арестант!..

И он долго красноречиво и с обычным своим увлечением яркими красками рисовал мне мое будущее: сначала я украл один пятак. Если меня не наказать, то я украду другой, потом стащу и целый рубль, потом больше, потом еще больше. Затем — «повадится кувшин по воду, сломать ему голову». Это значит, объяснил он, что «сколько вору ни воровать, а тюрьмы не миновать! Быть бычку на веревочке!» Я, наконец, попадаюсь в лапы жандармов в синих мундирах, меня забирают и сажают в острог, одевают в арестантский халат, а ноги куют в железные цепи. Мать видит меня в цепях и умирает с горя, а весь народ кричит: «Смотрите, смотрите, арестанта ведут!» На груди у меня повешена черная доска, а на ней мелом написано: «Вор!»

Это слово отец крикнул так, что я вздрогнул: оно словно било меня по лицу. Я хотел возражать, хотел оправдываться, объяснить ему... Но язык мой не хотел говорить: я был оскорблен и гордо молчал, а отец не понимал моего молчания и допекал меня.

— Поздно тушить пожар! — гремел он. — Нужно тушить искру! Зло нужно вырывать с корнем в самом начале! Нужно сечь сына, когда он поперек лавочки укладывается, а не тогда, когда он и вдоль-то не уляжется!

Ты думаешь, — не унимался он, — что мне пятака жалко? Нет, мне тебя жалко, потому что ты стоишь на

краю пропасти и хочешь броситься туда. Сегодня ты посягнул на пятак отца твоего, а завтра посягнешь на пятак чужого дяди, потому что своих-то пятаков у нас мало и всегда будет у тебя мало их, запомни это! Мы — бедняки и не должны тягаться с богачами: «Коза с волком тягалась — одна шкура осталась!» А чужой-то дядя тебя в бараний рог и согнет, потому — он сила: «С сильным не борись, с богатым не судись!» На свете так устроено, чтобы одни были бедные, а другие богатые! И в котором бедняке заводится такой дух, чтобы завидовать богатым и не покоряться своей низкой доле, то этот бедняк погибает, как мошка от дождя, и я не хочу, чтобы ты погиб, а для этого я обязан, как отец, дать тебе наказание, чтобы ты помнил и не воровал больше никогда!

И он стал торжественно приготовлять розги, чтобы истребить во мне мятежный воровской дух.

Я не верил, что он меня высечет. Что-то поднялось и закипело в моей груди, но оскорбленная гордость не позволяла говорить... А мне хотелось крикнуть ему, что я уже не маленький, мне целых восемь лет, что я такой же вольный певец, как и он, и меня не за что сечь...

Он взял меня за руку и вывел на двор, под сарай...

Я чувствовал, что в голове моей все перевертывается от ужаса, унижения и страха. Я готов был на все, лишь бы меня не секли. И я униженно встал перед ним на колени, рыдал и даже лицемерно молил «о прощении». Гордый в душе — я затрепетал при виде розог, испугался предстоящих ударов...

Я струсил.

Но лицо отца было твердо и сурово. Он решил.

— Не проси и не моли! — говорил он непреклонно.

Рыдающего, полубезумного, положил он меня на скамейку и начал сечь. Розги свистели в воздухе и обжигали мою спину огненными полосами. Я вырывался, царапался, кусался, бил ногами и пронзительно кричал.

Но отец крепко держал меня и сильно бил. Потом у меня потемнело в глазах.

Очнулся я в каморке, на постели. До спины нельзя было дотронуться: она была в крови и ее жгло... Но гораздо сильнее жгло мою душу: и тело и душа моя были в крови.

Душу жгло какое-то новое чувство, которого я прежде не испытывал, — это была злоба.

Я думал об отце; он мне теперь был ненавистен. Я чувствовал, что никогда не забуду и не прощу ему нанесенной мне обиды. Как приятно было бы увидеть его теперь мертвым!.. Отца, которого я так любил, без которого не мог представить себе своего существования, за которого я не задумался бы прежде пойти в огонь, — этого отца, такого дорогого для меня человека, единственного из людей, кого я до этих пор любил всеми силами своей души, — теперь я не мог представить себе без ненависти и отвращения.

Я сидел на постели в неподвижной позе и чувствовал себя совершенно одиноким на всем свете.

Я хотел плакать, но слез не было. Упрямая злость застыла в моем сердце, жгла мою душу и сушила мои слезы. Я уже никого не любил и всех ненавидел. Я ненавидел и отца, и половых, и повара, и бабу с ребятишками, и всю толпу, которая смотрела на то, как меня секли. Наконец, я ненавидел самого себя, и это было всего тяжелее.

«И зачем это я на колени становился, да еще «миленьким» его называл, — со стыдом думал я,—лгал, признавая себя виноватым, кричал и плакал? Нужно бы молчать, как молчал Стенька Разин, а я испугался, струсил! Стыд! Не хочу быть трусом! Хочу быть храбрым, как Дон-Кихот, и мужественным, как Разин!»

Самолюбие мое страдало от сознания, что я не таков, какими были они. На полу валялся измятый «Дон-Кихот», розовая обложка книги сморщилась, и мне показалось, что рыцарь теперь смотрит на меня с кислой гримасой презрения.

Весь свет был мне противен, не глядел бы на него. Жизнь моя как бы разделилась на две половины: светлую, когда я еще не был бит, и темную — после того, как меня высекли.

Светлая жизнь исчезла безвозвратно, а теперешняя моя темная жизнь показалась мне совершенно неинтересной, скучной, холодной...

И мне захотелось умереть. Захотелось прекратить в груди невыносимую жгучую боль, которую я чувствовал.

И я представил себе, как я буду мертв и как отец

будет плакать надо мной и раскаиваться в том, что высек меня. О! Я отомщу отцу! Я отомщу своею смертью!

Я чувствовал себя несправедливо обиженным страдальцем, и мне было смертельно жаль самого себя, и это чувство доставляло мне мучительное наслаждение. Злорадное чувство мести охватило мою горящую душу.

Я встал с постели и вытащил из-под кровати веревку: я знал, что там была веревка. Куда же привязать? Вот к форточке можно привязать. Я приставил стул к печке, встал на него, приподнялся на цыпочки и привязал веревку к чугунной плите печной форточки; на другом конце была петля. «Теперь нужно запереть дверь!» — сказал я мысленно, соскочил со стула и запер дверь. Все это я проделал с каким-то особенным спокойствием и чувствовал себя хитрым и предусмотрительным человеком.

Однако я торопился. На дворе был какой-то шум. «Яшка, подь сюды, эфиопская твоя морда!» — орал сердитый голос. Это повар поваренка ругает. Экипажи гремят. Воробьи чирикают. «Да что же это я? Скорее!» — шептал я сам себе. Я просунул голову в петлю и оттолкнул стул. Он с грохотом упал, а меня куда-то потащило. Стены комнаты закачались, и мне сделалось страшно, и я опять струсил, мне захотелось освободиться, снять петлю, спастись: я болтал ногами в воздухе, чтобы встать опять на стул. Хотелось закричать и не мог... Мне показалось, что лицо мое раздулось и кожа на нем хочет лопнуть... Целый вихрь мыслей завертелся в моей голове. С удивительной ясностью вспомнил я всю мою коротенькую жизнь, деревни, села, поля, мать, кабаки, Волгу и ярмарку. Все это было, как на картине, и имело какой-то особенный, таинственный смысл, как бывает во сне, и я понял что-то такое самое главное, что прежде не знал.

Зеленые, оранжевые и красные круги заходили перед моими глазами, расплываясь все шире и шире, и наконец моя жизнь осветилась ярким солнечным светом: она стала дивно прекрасной. Я почувствовал необыкновенный восторг. Где-то мягко и тихо играла стройная музыка, а около меня гармонично позванивали малиновым звоном серебряные колокольчики... Сладкая истома счастья разлилась по всему моему телу. Тогда моя жизнь стала понемногу удаляться от меня, солнечное сияние побледне-

ло, появилась черная ночная мгла, по ее безбрежному, бархатному полю замелькали бесчисленные огоньки и понеслись вдаль... Колокольчики звенели все тише и тише, музыка удалялась, огоньки мелькали все реже и, наконец, совсем погасли.

Кто-то случайно вытащил меня из петли.

III

Два года мы были бродячими музыкантами. Мы побывали во всех поволжских городах, переезжали из города в город, переходили из трактира в трактир, но везде нам жилось одинаково скверно.

Отец как будто чего-то искал в жизни; ощупью, скорее чутьем, чем сознательно, он стремился куда-то выбиться «из-под низу». Это был человек, неудовлетворенный жизнью. Его артистическая натура и живой ум жаждали какой-то иной жизни, более широкой и светлой, чем та, которая предназначалась нам, рожденным в низкой доле.

И он искал дороги, но дороги не было. Вместо лучшей жизни мы попадали в худшую, вместо возвышения— понижались, мы лезли «на гору», но «черт» неукоснительно схватывал нас «за ногу», и дела наши все еще не шли «по маслу», хотя отца нигде не покидала глубокая вера, что они, эти дела, вот-вот, сейчас, завтра непременно пойдут по маслу.

Наконец, мы оставили музыкальный промысел: в одном из приволжских городов отец поступил на механический завод, из деревни приехала мать, и мы зажили посемейному.

На заводе из людей весь сок выжимали и умели держать их в кабале, хотя и по-новому. Отец целый день проводил на заводе, делая шестерни, и возвращался домой усталый и мрачный. Когда мы с ним по-прежнему ложились вместе спать, я видел, что все колено его изуродованной ноги покрыто кровавыми пятнами.

— Это мозоли, — говорил он мне, — они ногу-то как огнем жгут!

В своих рассуждениях он подвергал резкой критике заводские порядки, потом делал поэтические обобщения

и переходил к философским рассуждениям о жизни вообще. Эти рассуждения он сводил к басне о Кривде и Правде и передавал ее в лицах. ...«Правда, где ты?» — восклицал он громким голосом и сам же отвечал, состроив смиренную и юмористическую физиономию: «Здесь-то я здесь, да за-корм-ле-на!» —он говорил эти слова тоненьким, словно пришибленным голосом. И вдруг, уже от себя, начинал громить Правду. Его возмущали ее «закормленность» и забитость.

Я ходил в школу. Там не знали, что со мной делать: по чтению я годился хоть в старший класс, а по письму— в самый младший, так как мог писать только печатными буквами. Меня посадили в младший, где люди едва умели складывать слова, а я, читавший лучше «старших», должен был заниматься только чистописанием. И мне было скучно в школе. Товарищи мои казались мне слишком глупыми: их занимали только свайка, бабки и голуби; книг они все терпеть не могли, а о богатырях не имели понятия, никто из них не путешествовал и ничего не знал. Я презирал их, предпочитая оставаться в обществе своего отца и лубочных богатырей.

Жили мы около завода, под горой, недалеко от Волги и пристани. Завод с высокой трубой стоял на самом берегу; в полугоре тесно жались лачуги всякой голи и бедноты; там во дворе снимали мы у кого-то комнату за три рубля. А выше нас громоздились большие каменные дома и гудел город.

Наш двор был весь застроен лачугами, переполнен жильцами, комната наша была такая грустная, грязная, оклеенная старыми шпалерами, а потолок — писчей бумагой, он протекал от дождя, и от этого на бумаге образовались причудливые узоры; я любил смотреть на них и различать в этих узорах облака, замки, рыцарей и драконов.

За тонкой дощатой перегородкой жил хозяин хибарки. Он был всегда пьян и постоянно пел одну и ту же песню: «Воспой, воспой, жавороночек!» Песня была очень грустная и звучала за переборкой денно и нощно.

Однажды в праздник, в летний день, в городе случился пожар. Пожары происходили почти каждый день, и население нашего двора относилось к ним только как к

даровому зрелищу. Обыкновенно эти зрелища не были продолжительными: пожар скоро тушили. Но в этот день он что-то затянулся; из города к нам плыли облака черного дыма, слышались грохот скачущей пожарной команды, гул толпы и тревожные звуки набата. День был ветреный, по Волге ходили беляки, а в черном дыму порой летели «галки» — горящие головни...

С нашего двора множество людей побежало на пожар. Черные облака все увеличивались, теперь уже и нам из-под горы было видно, как порой лизали их красные языки пламени. Ветер все сильнее и сильнее дул к Волге, доносил к нам запах гари и дыма. Прибежавшие с пожара говорили, что его никак не могут остановить: «галки» летят во все стороны, и огонь перекидывается; вся главная улица в огне, пожар идет к Волге...

Этим тревожным рассказам аккомпанировали возрастающие приливы набата, гул пожара и вой ветра... Дым и пыль, смешиваясь, крутились в воздухе и застилали солнце, и оно светило каким-то зловещим, сказочным светом. Некоторые на всякий случай начали «таскаться», выбираясь из хибарок, но отец мой запретил матери связывать наш скарб в узлы.

— Терпеть этого не могу! — возмущался он, энергично выколачивая из трубки.

— Да ведь другие же таскаются? — возражала она.

— Другие! Мало ли что другие? Другие-то богатые, у них много всего, вот они и боятся пожара, вот и таскаются! А у нас ведь нет ничего, терять нам нечего и таскать тоже нечего! Не моги! Пожар сюда не дойдет!

Он закурил трубку, выпустил дым из ноздрей и продолжал:

— А жаль, если не дойдет: давно уж эти гнилушки пожара дожидаются, да и заводу-то надо бы сгореть, ежели по справедливости-то! Все бы немчура-то наша поплясала немножко!.. Штрафовать! Штрафовать! Глюп! Карашо штрафовать!

И он артистически передразнивал немца, хозяина завода.

Отец спокойно отправился на пожар, а мы с матерью воспользовались его отсутствием и стали «таскаться». Мы вытащили постель, несколько узлов и гусли к воро-

там, где уже расположилось все население нашего двора, напоминавшее цыганский табор.

Я тоже побежал на пожар.

Там, на горе, весь город гудел... Народ толпами бежал туда и оттуда... К Волге скакали пожарные бочки, запряженные парой сильных лошадей, с пожарными в медных касках, и возвращались обратно с водой... Я бежал в гору по скверным тротуарам из булыжников, попадая людям под ноги, невольно заражаясь общим возбуждением.

На главной улице, на горе, свирепствовал необыкновенный пожар: все кругом горело, дымилось, рушилось, трещало, грохотало. Примыкающая к пожару улица была запружена толпой народа, лошадьми, бочками, насосами, грудами узлов и всякого имущества. Черный едкий дым застилал всю картину, могучее пламя, раздуваемое бурей, выло и металось, вся толпа кричала, и в этом общем крике ничего нельзя было разобрать, — все звуки покрывал потрясающий набат. Он гудел грозными частыми ударами, и эти удары слились в оглушительный медный вой и стон; набат возбуждал, требовал и грозил...

Я испугался, стиснутый густой толпой... Вдруг появились солдаты. Впереди их был толстый и седой вояка в эполетах, генерал, как я подумал. Он махал рукой и что-то кричал толпе, которая запрудила улицу. Толпа не слушала. Тогда солдаты обнажили сабли и двинулись на нее, — толпа ухнула и с гулом подалась назад. Произошла давка: женщины визжали и плакали, мужчины ругались, упавших топтали ногами. Я стоял, прижатый к стене. Густая волна народа хлынула к стене, и я был бы раздавлен, если бы чья-то мощная рука не схватила меня за шиворот и не приподняла на воздух. Это была рука моего отца. Он как раз наткнулся на меня, загородил мое тело своим и, упершись в стену руками, выдержал на своих плечах стихийный напор толпы. Скоро она отхлынула, и тогда отец, только что спасший мне жизнь, той же самой мощной рукой сгреб меня за волосы и дал краткую, но внушительную таску. Он был взбешен моим присутствием на пожаре.

— Я тебя, мерзавец!—гневно закричал он на меня.— Беги домой, чтобы духу твоего здесь не было!

Я заплакал от боли и побежал домой. Когда боль прошла, я нашел таску вполне заслуженной.

Вслед за мной пришел и отец. Увидя, что мать все-таки вытащила имущество к воротам и сидит на узлах, он рассмеялся.

— А ведь и впрямь дойдет сюда! — сказал он. — Сгорит весь наш клоповник! Эй, жавороночек! — крикнул он хозяину. — Горишь?

— Горю! — весело отвечал плюгавый мещанин с мочальной бороденкой, одетый в казинетовый пиджак. Он выколачивал обухом косяки из дверей и окон своей хибары, был, по обыкновению, выпивши и пел:

Воспо-ой, воспо-ой, жаворо-о-ны-чик!..

— Эх! — вскричал отец, расхаживая по двору. — Одного жалко: в погребе целая корчага сметаны осталась! Копка! — дружески обратился он ко мне. — Ну тебя злиться-то! Полезем в погреб сметану есть!..

— Полезем! — сказал я важно, польщенный его приглашением.

И мы спустились в погреб. А двор наш уже загорался.

Мы долго сидели на корточках около корчаги, весело ели сметану, и физиономии у нас обоих были вымазаны ею. Мы дурачились.

— Ну, пора! — сказал отец. — А то сгорим!

Мы вылезли вовремя — крыша «погребицы» уже пылала и минут через пять после нас рухнула в погреб.

А пожар уже разлился по всей горе, спускаясь под гору, к набережной, где были огромные склады леса и дров. Было жарко от огня, и мы перевезли на извозчике свои вещи к самому берегу Волги.

Приближалась ночь. Солнце заходило за отдаленные Жигулевские горы. Волга стала розовой, а облака, освещенные лучами заката, казались объятыми пожаром. В это время занялись на набережной дровяные склады, и, наконец, загорелся завод. Весь город, расположенный по огромной горе, вместе с набережной представлял теперь море огня. Пароходные конторки отошли от берега. Пассажирские пароходы, проходя мимо города, были полны зрителями, кренились и казались черными. Картина пылающего города была, вероятно, великолепной.

Мы были между огнем и водой. Вся беднота со своим

скарбом расположилась вдоль самого берега, у воды. Приходилось ночевать на открытом воздухе.

Я задремал около матери, свернувшись клубочком на большом узле.

Ночная прохлада разбудила меня. Суда и пароходные конторки были освещены красным отблеском пожара, а за ними, на черном фоне ночи, из воды поднимался огненный великан: он колыхался, гудел и трещал, доходя до самого неба, и сыпал оттуда страшные искры. Пламенное чудовище медленно шло по реке, все ближе и ближе к нам.

— Кто это? — закричал я в ужасе.

— Спи, спи! — отвечала мне мать, наклоняясь ко мне и прикрывая меня старой шалью. — Не пугайся, это беляна горит!..

Но я не мог спать и сел наверху нашего скарба. Огненная беляна пылала над рекой, отражаясь в ней, и река пылала. Я поднял голову к небу: небо горело. Весь берег и вся гора были в огне. Этот пыльный и вонючий город, который давил нас под горой в душных подонках своих, теперь, объятый пламенем, стал дивно прекрасным: огненные волны вздымались к розовому небу, и пламя их на бархатном фоне ночи было таким чистым.

Темно-красные языки лизали черную ночь, фукали фейерверком бриллиантовых огней, то бледнели, принимая золотистый отблеск, то снова обращались в ярко-красный поток...

Отец мой сидел на узле, курил трубку и задумчиво смотрел на погибающий город.

— Гори, гори, черт те дери! — сказал он и сплюнул. Потом взял гусли, подумал немного и заиграл что-то стройное и трогательное.

А город пылал.

Мы переехали в село, в одно из тех приволжских сел, где некогда отец был сидельцем в кабаке.

Село было большое, богатое, расположенное у подножия горы, в нескольких верстах от Волги.

Мне вспоминается наша маленькая избушка, приобретенная отцом за сто двадцать рублей в рассрочку на несколько лет, стоявшая в конце села, невдалеке от озера

Кривенькое, осененного громадными ветлами, а на берегу прокоптелые кузницы.

Вспоминаются мне тихие летние дни, скрип тяжелых телег с пахучими снопами, которые вечно тянулись мимо нашего дома, мужики, ходившие в черных высоких шляпах гречневиком, и звучные удары кузнечного молота, мягко долетавшие к нам из кузниц.

Здесь отец открыл столярную мастерскую и работал один, самостоятельно. В избе были русская печь и подтопок — голландка. Стол, стул и рамы окон были его собственной столярной работы, стены оклеены шпалерами, а пол выкрашен охрой. На окнах белели занавески, на столе красовалась вязаная скатерть, на стенах — дешевые картинки, несколько фотографий, зеркало, этажерка с книгами... Вообще, обстановка нашей избы значительно отличалась от крестьянской обстановки.

Дверь из избы вела в мастерскую, непосредственно пристроенную к избе и отопляемую подтопком. В мастерской стояли верстак и токарный станок, под потолком сушились доски и брусья, а стены были увешаны столярным и токарным инструментом.

Около верстака всегда была груда пышных белых стружек, от них приятно пахло свежим деревом, и, кудрявые, веселые, они валялись по всему полу мастерской.

Работы у отца было всегда много. Он был единственный на всю округу мастер столярного дела, все его знали, и для всех он был симпатичен.

Он стоял за верстаком в холщовом фартуке с нагрудником, твердым от клея и лака, шапку его кудрей поддерживал ремешок, руки, большие, тяжелые, с крупными пальцами, с мозолями, были засучены по локоть.

Я любил лежать на стружках и смотреть, как работал отец. Сосновые и липовые стружки смолисто и сладко пахли, а отец ввинчивал доску или брус в свой верстак и строгал.

Сначала он строгал шерхебелем, который злобно грыз и скоблил дерево; летели грубые, толстые стружки, на доске оставались прямые желобообразные полосы. Потом он брал рубанок; рубанок мягко пел и сглаживал резкие полосы шерхебеля, и из него весело вылетали широкие мягкие стружки, свертывались в спираль и ложились к ногам столяра. Затем в его руках появлялся

пузатенький, благодушный шлифтик; он нежно, женственно и кротко ворковал и давал стружки тонкие, словно шелковые ленты.

Но более всего я любил смотреть, когда отец фуговал. Фуганок шел по доске медленно, с певучим, размашистым свистом, выпуская длинные, тонкие и широкие ленты.

Эти ленты, белые и мягкие, ласково ложились отцу на плечо, обвивали обнаженную руку и застревали на голове, перевивая его крупные кудри. А он, медленно и размашисто строгая, пел неистощимые, длинные, интересные песни. Мерный свист фуганка аккомпанировал ему, стружки радостно и раболепно плясали, а игривый, льющийся голос отца распевал:

За морем синичка
Не пышно жила:
Не пышно жила —
Пиво вва-рива-ла!

Отец и столярной работе умел отдаваться с увлечением, вдохновенно. В стульях, сундуках, рамах, этажерках и шкафах, выходивших из-под его руки, было много его личного, творческого, сказывался его вкус, любовь ко всему красивому, стройному, изящному. Шкафы и стулья он украшал резьбой собственного рисунка, сам же выдумывал и токарные фигуры. В капризных и непринужденно неожиданных завитках резьбы, в стройно выгнутых линиях токарных работ чувствовался остроумный художник с веселой, капризной и свободной душой.

Жили мы все-таки «не пышно»: у меня уже были сестра и брат, а впоследствии появились еще сестра и еше три брата; маленькая наша избушка была полна жизни.

Меня и здесь отдали в школу. В первый же день моего ученья возвратился я из школы с огромным синяком под глазом: деревенские школьники приняли меня насмешливо, и я дрался с ними.

«Нехрестьянин», сын «страннего» человека, я казался им существом низшего разбора, чем они. Каждый из них чувствовал себя «хозяином», наследником отцовского добра, а я был пришлым, странствующим человеком без всякой надежды на хозяйство и имущество.

И в городе и в деревне я чувствовал исключитель-

ность своего положения и неизбежность одиночества; люди как будто устроили жизнь так, чтобы меня не было, а я появился, и вот меня нигде не хотели принять, я был лишний.

Деревенские мальчишки словно чувствовали во мне какого-то врага: из таких, как я, пришлых и «странних», лишенных оседлости, выходят обыкновенно конокрады и «стрекулисты» и во всяком случае враги всякого маломальски зажиточного крестьянина.

И мне пришлось избегать ребяческих сборищ, игр и хороводов; проходя мимо них, я шел сквозь строй насмешек и каменьев. А около отца кипела своеобразная жизнь и втягивала его в неожиданную общественную деятельность.

Прежде всего оказалось, что он давно уже известен как «знахарь» и лечит от разных болезней молитвой.

Больные, минуя фельдшера и доктора, обращались к нему.

Потом он оказался адвокатом. К нему приходили за судебными советами, доверяли производить раздел и просто являлись поведать какое-нибудь личное горе, попросить совета и утешения. День его наполовину был занят посетителями. Для всякого он бросал работу, садился на верстак, закуривал свою неизменную трубку, выслушивал чужое горе и тотчас же воодушевлялся.

Начиналось это с утра. Дверь отворялась, и в мастерскую входил изможденный мужик, бледный, как мертвец. Он стаскивал шапку и, тяжело дыша, долго и медленно молился на икону, потом кланялся на обе стороны и говорил:

— Здоро́во живете!

Отец останавливал фуганок и отвечал:

— Поди-ка, добро пожаловать! Милости прошу к нашему грошу со своим пятаком! Что скажете?

— До твоей милости, Гаврила Петрович: одолела кумоха, смерть моя, дряница с рыла не сходит! Силов нет!

Отец садился на верстак и закуривал трубку. Посетитель присаживался на стул. Трубка пылала, зеленоватые облака дыма окутывали голову отца.

— Бьет? — слышался из облаков его бас.

— И-и!.. — отвечал мужик, крутя головой. — Не доведи господи! Всю силу вымотало, все потроха...

— Давно?

— Да уж, никак, два года!

— Д-да! Запустил ты! У фельдшера лечился?

— Лечился, да что! — Тон мужика звучит пренебрежительно. — Польги нет! Никакой, то-ись, польги нет тебе, да и шабаш!

— А от меня-то какая тебе польза будет? Ведь я если что и знаю, так от них же: якшался я с ними.

Мужик недовольно молчит и потом отвечает тоном несокрушимого убеждения:

— Ты больше знаешь!

Отец искренне злится.

— Черти! — гремит он из облаков дыма. — Вам хоть кол на голове теши! Сколько лет долблю я вам: не запускайте болезней, лечитесь у доктора: он учился медицине, у него лекарства, он знает науку!

— Ты больше знаешь! — упрямо повторяет мужик. — От дохтура польги нет, а от тебя — польга! Они хорошее-то лекарство господам дают, а на нас кричат...

— Да как на вас, дьяволов,не закричишь? Вы и ангела из терпения выведете! Идете лечиться, когда уже болезнь запущена... Тебя теперь никакой хиной не проймешь! Мышьячищем тебя, черта...

Мужик добродушно улыбается и с удовольствием слушает отборную ругань: от отца ему приятно ее слушать, а от доктора — обидно.

— Ненавижу я вас, чертоломов, дуботолов проклятых! — искренне гремит отец.

— А ты, будет костерить-то! — прерывает его мужик. — Ты уж... тово... молитву-то лучше дай: твоя молитва не то, что наша: она до бога доходит! Знаем мы!.. Дано, значит, тебе от него... Страдал ты много!..

— Я не колдун! — обращался отец к мужику. — Я только знаю молитву от лихорадки.

Отец присаживается к столу и начинает что-то писать на маленьком клочке бумаги своим корявым почерком.

Мужик вздыхает.

Я не знаю, откуда взял отец эту молитву, и теперь не помню ее, но она вся была написана каким-то громовым языком.

Отец свертывал бумажку в маленькую трубочку и говорил, отдавая мужику:

— Привяжи на крест и носи на груди до тех пор, пока сама не потеряется. Не отвязывай и не бросай, а то болезнь опять воротится!..

Мужик благоговейно брал бумажку и тут же, при отце, привязывал ее на «гайтан».

Вознаграждения отец не требовал.

Едва уходит больной, как является целая компания мужиков.

— Гаврила Петрович! — взывают они, торопливо помолясь на икону. — Это что же такое будет? Разор? Сделай милость, оборони!

— Тут пашня, пар, сенокос приходит!..

— А нас в острог!

— Ни за что ни про что!

— Бога в ем нет!

— Рази можно в острог мужика сажать летом? А? Летом?

Отец сидит на верстаке, закинув настоящую ногу на деревянную, которая враждебно смотрит на мужиков, как дуло ружья. Дымные облака возносятся к потолку и окружают отца ореолом таинственности. Он курит и молча смотрит на мужиков.

— А вы вот что! — говорит он, прерывая их говор. Мужики сразу умолкают. — Нечего дурака-то корчить, говорите мне прямо, по совести: ведь... украли?

Мужики мнутся, чешут в затылках, и затем их длинные бороды шевелятся от широкой улыбки.

— Да ведь оно уж... конешно... Гаврило Петрович... тебе-то уж мы... как попу... знамо дело... было дело...

Затем они подробно рассказывают, как «было дело»: обыкновенно, украли какие-нибудь пустяки у кулака, сделали порубку, залезли в амбар...

Узнав, что они уже признались судебному следователю, отец выходит из себя и в ярости вскакивает с верстака.

— Черти! — гремит он, потрясая бородой и сверкая глазами. — Дубье!.. Олухи царя небесного! Да ведь нет никаких доказательств, дьяволы! Мужики вы, кругом брюхо! Терпеть я вас не могу! Зачем признались? Эх! Засадят вас теперь на все лето, пустят по миру блаженных дураков! Тьфу!

«Воры» ноют.

Отец мрачно затягивается из трубки. Трубка хрипит и пылает. Облака дыма сгущаются.

— Ба! — неожиданно вскрикивает отец. — Вот что сделайте: запритесь опять на суде, да и баста! А про следователя скажите: он, мол, на нас шибко закричал, стал стращать, мы испугались и сказали, как он велел... он ведь... чай, собака?

— Собака! — отвечают мужики, повеселев. — Орет истошным голосом!..

— Ну, вот!.. Прикиньтесь дурачками! Казанских сирот разыграйте!..

И отец пускается в подробные наставления. Частью из книг, но больше из жизни он почерпнул всевозможные сведения по всем отраслям: лечил не только молитвой, но и давал рецепты, знал судебные уставы и писал мужикам прошения, отдавая мне их переписывать набело. «Платы» и тут он не требовал, но мужики не забывали своего избавителя и совершенно неожиданно, спустя долгое время, являлись к отцу или с мешком муки, или с возом дров, присылали молока, яиц.

Местный мировой судья, старый барин и закоренелый крепостник, возненавидел моего отца от всего сердца. Судья мстил мужикам тем, что постоянно стремился «закатать» их в острог «по высшей мере наказания», но благодаря отцу половина его решений отменялась «на съезде», и судья оставался в дураках.

Мужики смеялись над ним, а хромого столяра превозносили. Складывали и распевали песни про них. Незаметным образом отец стал популярным человеком, любимцем народа.

Песня прославляла его, а судью осмеивала. Осмеивала она также местных богачей, причт и сельское начальство и все выше и выше поднимала образ моего отца, окружала сиянием славы, и он являлся в песне народным героем, печальником народного горя и ходатаем за народ. Первоисточником этих песен был кузнец Назар. Удары его молота доносились до нашего дома, а когда наступали сумерки и звуки рабочего дня умолкали, то прекращались и кузнечные звуки. В такие полупечальные, полуотрадные вечера отец выходил на крыльцо с гуслями и потихоньку, для себя, наигрывал что-то нежное и грустное. Тонкие, жалобные звуки тихо струились

и плакали в задумчивом вечернем воздухе, и в это время к нему иногда приходил Назар. Ему было лет двадцать пять, он обладал заметной наружностью: высокий, плечистый, статный, он смело, как сокол, смотрел своими голубыми глазами. Волосы и усы у него были белые, как лен, густые, слегка вьющиеся; говорил скороговоркой, с быстрыми жестами, что не совсем шло к его атлетической наружности.

Назар, как и отец, говорил меткими словечками, пословицами и поговорками. Приходя, подавал отцу большую закоптелую руку и встречал пожатие такой же огромной и жилистой руки, выпачканной лаком с голландской сажей. И у них начинался быстрый, остроумный разговор, пересыпанный рифмами.

— Гаврилу Петровичу исполать, много денег наживать, сто лет жить да двести на карачках полвать!

— И тебе того же, кузнец-молодец на свой образец: думал сделать лемех, а он вышел плюх, сожег да и окоротил и на топор поворотил...

— И на топор-то не хватило, повернул на шило: шило-то не вышло, а вышло ш-шик!..

— И то хорошо.

— Верно говоришь ты примерно, что тебе покучишься, то и научишься!

— У нас ума нет, совести больше!

— Именно! Живем в себе, а не в городу, все носим на вороту, что не надо — и то повесим! Эх! — тараторил рифмач-кузнец. — Чудно дедушкино гумно, семь лет хлеба не сеял, а все свиньи ходят! Уж давно все наши капиталы в печи, а все к нам в гости ходят богачи; этта старшина с писарем у нас побывали, напились да нас же с батькой обругали...

— Где гостят — там и пакостят! — замечает отец. — У них чай да кофей, а у нас чад да копоть!..

Играя рифмами, они продолжают рассуждать; кузнец усаживается у ног моего отца. Мы уже знали, что, немного послушав и вдохновившись музыкой, он будет петь на тот мотив, который ему заиграют, и не отходили от него.

А он, упершись локтями в колени, держал перед собой большой палец левой руки, изуродованный ударом

молота, не спуская с него глаз и ни на кого не обращая внимания. Он говорил, что дар песен заключается у него именно в этом пальце, и пел всегда смотря на него и как бы извлекая из пальца неистощимые поговорки.

Отец знал, как пробуждается в Назаре вдохновение, и сначала играл печальное. Назар слушал, смотрел на свой раздробленный палец и, покачивая белокурой головой, начинал тихонько напевать что-то:

Сердце мохом обрастает...
Весь измученный народ!..

И сама собой слагалась у него песня о том, как болит у него сердце и отчего; как вздыхают кузнечные мехи и как он кует молотом железо; сердце его такое же, как то железо: оно мягкое, оттого что раскаленное... И бьют его прямо по мягкому огненному сердцу, а из сердца вылетают искры...

Он поет, а гусли жалобно и нежно стонут...

Между тем около крыльца мало-помалу собирается народ, кто ни идет мимо, всяк остановится и слушает.

Но гусли уже играют веселее, импровизатор, вдохновляясь все более и более, подчиняется мотиву и постепенно меняет настроение: он поет уже о том, что не все же плакать да вздыхать, что рабочий человек ни в какой беде не пропадет, он все перенесет, ему все трын-трава!..

Я любому богачу
Набок рыло сворочу! —

поет он, ухарски потряхивая головой.

— Хо-хо-хо! — одобрительно смеется толпа.

Она увеличивается с каждой минутой.

— Назар поет! Назар поет! — слышится кругом. А его уже не видно за толпой: он сидит согнувшись и не отрывает глаз от своего чудодейственного пальца. Отец потряхивает кудрями и, раздув ноздри, разливает лукавые подмывающие трели. Раздается залихватский мотив с прихлопываньем ладонью по струнам: это знак, что пришло время петь на «злобу дня». В толпе светятся улыбки, и она плотнее придвигается к певцу, чтобы лучше слышать. И звенят насмешливые куплеты о попе, судье и писаре, о старшине и мироедах-кулаках.

Все село насмешило приключение с кулаком Кузькой,

которому на хуторах за его амурные похождения «обрядили» лошадь, когда он спал пьяный в тарантасе: обрезали ей хвост и гриву и навязали мочала. На такой лошади спавший Кузька проехал по всему селу.

И вот начинается поэма о Кузьке:

Поглядите, добры люди!
Кузька едет на верблюде!

— Хо-хо-хо-хо! — грохочет вся толпа, надрывая животики над каждым куплетом.

Злободневная поэма оказывается бесконечной, и от Кузьки поэт переходит к другим лицам:

Мировой судья, папаша,
Рассуди-ка дело наше:
Я не жулик и не вор,
А мешок с мукой упер!

— Хо-хо-хо! — гремят слушатели. Они совершенствуют песню, тут же вслух поправляют и «приправляют» ее забористыми словечками.

И за что судить-то тут,
Коль украл я только пуд?

— Верно! — замечает толпа. — Знамо дело, не за что. За пуд — и судить! Дурак, а еще судья!

Гусли так и заливаются, так и рассыпают добродушно-лукавые трели, толпа хохочет, а импровизатор сидит, глубокомысленно уставясь неподвижным взглядом в палец вдохновения, поет и сыплет летучими рифмами.

Столяр и кузнец были большими друзьями: кроме поэзии, их соединяла еще идея об изобретении «вечного двигателя». Эти талантливые люди увлекли и меня: мы втроем устраивали наши совещания и делились мыслями о шурупах, «шалнерах», рычагах и других деталях измышляемого нами механизма, наводя скуку на домашних.

Иногда ночью, когда все крепко спали, отец окликал меня:

— Копка!

Я просыпался и видел, что он, со свечой в руке, в одном белье, с наскоро подвязанной деревяшкой, сидит около моей постели.

— У меня явилась новая мысль! — объявляет он мне. — Вот погляди, я сделал чертеж!

И он совал мне клочок бумаги с новым рисунком «вечного двигателя».

— Вот здесь будет шалнер, — увлекаясь, гудел он, понижая голос до октавы, чтобы не разбудить спящих, — а здесь рычаг на большом шурупе, а колено-то уж вот оно где!.. Эге?

И он радостно и хитро подмигивал мне.

— Теперь у нас пойдет дело по маслу!..

Но дело не шло. Наши опыты не удавались, обнаруживая существование каких-то неожиданных для нас законов и непредвиденных препятствий, которые только увеличивали энергию изобретателя. Каждый праздник мы собирались в кузнице или мастерской и «строили». Отец забывал о еде, о семье, обо всем, кроме своей идеи. Он сам клепал железо, пилил, ковал, страшно возбужденный, с горящими глазами, неубедимый, повелевающий. Назар был исполнителем, а я на побегушках, и отец командовал нами, приходя в ярость от малейших наших сомнений; молот и голос его гремели до ночи, мы наконец утомлялись, но он был неутомим.

Возвращаясь в сумерки из кузницы, мы горячо обсуждали наше предприятие.

— Эх, кабы знал я физику да алгебру! — восклицал отец и таинственно сообщал нам: — Там, в этих книгах, есть!..

К делу о «вечном двигателе» был привлечен сельский учитель, с которым отец мой водил дружбу. Это был хладнокровный, невозмутимый человек, лет двадцати восьми, красивый, представительный, с небольшой белокурой бородой. Он пришел к нам в мастерскую с целой компанией: с двумя семинаристами — сыновьями попа, и письмоводителем мирового судьи; последний обожал моего отца, ходил к нему каждый день, учился токарному искусству и игре на гуслях.

Вся эта молодежь наперебой стала доказывать отцу невозможность «вечного двигателя». Но не так-то легко было его убедить. Он не признавал никаких авторитетов

и выступил против них с блестящей речью, достойной лучшего применения. Он знал о Галилее и Копернике и сравнивал себя с ними, говорил, что всякая новая мысль вначале считается людьми невозможной, а потом оказывается вполне осуществимой. Он требовал веских доказательств и спорил с ними целую неделю. Они чертили и доказывали ему теоремы, натащили книг, и отец принялся за чтение. С этого времени молодые люди стали ходить к нему и проводить время в горячих спорах о жизни, о науке, о религии и о человечестве.

Отец и Назар отложили на время изобретение «вечного двигателя» и возвратились к построению самокатки — велосипеда, который был уже изобретен моим отцом прежде, но не усовершенствован. Снова начались разнообразные рисунки и модели сложного механизма, пока он не стал проще. Тогда с тем же лихорадочным увлечением принялись мы строить самокатку. Опять каждое воскресенье мы ковали, варили, клепали, и отец опять вдохновенно отдавался работе. Нашей деятельностью сильно интересовались мужики и приходили в кузницу глядеть. Они глубокомысленно смотрели на отца, который, сидя на земле, весь в саже, клепал листовое железо и грохотал кузнечным молотом.

— Не пойдет! — обменивались они замечаниями.

— Хитра штука!

— Не выйдет, хромой! Кишка у тебя, пожалуй, тонка такую вещь сляпать?

— Выйдет! — неистово рычал изобретатель, надсаживаясь и грохоча молотом. — А не выйдет, так ворота вымажем!

— Хо-хо-хо! Чудило мученик!

Против ожидания вышло. Мы сделали из железа низенькую тележку на трех колесах: два колеса побольше, а третье — маленькое, впереди, оно повертывалось и так и сяк, словно руль. Механизм ее был до смешного простой и остроумный, и на тележке-самокатке можно было ездить, работая руками.

Проба самокатки происходила довольно торжественно: в кузнице собралась толпа мужиков, баб, туча ребятишек и учитель со своей компанией.

Отец не без волнения сел на самокатку и, двигая ры-

чаги на «шалнерах» своими ручищами, быстро покатил от кузницы к селу. Только волосы его развевались, да ситцевая рубашка раздувалась от ветра...

— Бр-раво-о! — кричали ему вслед семинаристы и письмоводитель. — Ур-ра-а!

А хладнокровный учитель солидно рассуждал с мужиками:

— Вот кабы такому человеку образование! Бог знает, что бы из него вышло! Может быть, гений!

— С головой человек, — подтверждали мужики.—Хитрец!

— Вот был Кулибин, механик-самоучка!.. — продолжал учитель и стал рассказывать о Кулибине.

А отец, сопровождаемый радостной тучей ребятишек, был уже далеко и, наконец, исчез из виду. Мужики смотрели ему вслед, качали головами, приговаривали:

— Чудодей!..

Такая жизнь, полная кипучих волнений, нравилась моему отцу. Он был уверен, что дела пойдут по маслу, если рядом с его верстаком поставить еще другой для меня, и с нетерпением ждал, когда я кончу курс учения в школе. На мою склонность к чтению он мало обращал внимания и по окончании курса, когда мне исполнилось четырнадцать лет, поставил меня за верстак.

Мне сшили холщовый фартук с нагрудником, и в нашей мастерской засвистели два фуганка.

Мы с отцом вставали рано и вместе принимались за работу. В семье и у деревенских ребят сразу переменилось отношение ко мне: я стал работником, полноправным человеком... Отец обращался теперь со мной серьезнее, как с большим. Когда мы снимали фартуки и, вымыв мозолистые руки, садились за стол, он даже ухаживал за мной:

— Ешь больше, Капитон, — говорил отец. — По пище фуганок свищет!

И, глядя, как с каждым днем грубели мои руки и развивались плечи, похваливал меня:

— Здоровило! Выйдет из тебя этакий чертище-столярище!

Но я мечтал о чем-то другом. Мне по-прежнему хотелось читать все новые и новые книги.

Во мне приняли участие семинаристы, и я стал бывать в семье попа. Там все смеялись над моею неуклюжестью: я за все задевал, все ронял и разбивал. Рифмованная речь, сотканная из народных пословиц, обычная у нас дома, здесь всех удивляла... Мне было тяжело в непривычной обстановке, я постоянно конфузился, но семинаристы рассказывали о неведомой, заманчивой жизни, они открывали мне новый мир, и у них были замечательные книги.

Я таскал эти книги домой, с жадностью читал их и давал читать отцу. Он поглощал их с таким же увлечением, как и я.

И мы говорили о книгах.

Особенное впечатление произвела на нас поэзия Никитина и Некрасова. Читая их, мы просиживали ночи напролет, делились чувствами и новыми мыслями. Я читал, а отец слушал.

— Что это за люди были! — страстно восклицал он со слезами на глазах. — Какая у них душа была, коли они о простом народе так верно писали?

Стихи Никитина сделались его любимой книгой. Он раскрывал ее и днем, на несколько минут оставляя фуганок, но едва раскрывал, как уже и плакал.

— Проклятая! — кричал он сквозь рыдания и запускал книгой в угол. — И читать-то тебя нельзя!

Письмоводитель мирового судьи таскал нам из библиотеки своего патрона журналы «Отечественные записки» и «Дело».

Мы с отцом погрузились в мир новых идей.

Теперь уже вся эта компания—семинаристы, учитель и письмоводитель — сделались нашими постоянными гостями. Собираясь в нашу избушку, они сначала было поучали отца, но потом внезапно превратились в его учеников. «Новые идеи» оказались идеями моего отца, которые он давно уже расточал в своих рассуждениях о жизни. Ее несовершенство и несправедливость он глубоко изучил на собственном горьком опыте и по поводу сухих и отвлеченных идей сыпал такими художественно-яркими рассказами, что очень скоро обратил своих развивателей в аудиторию. Под влиянием прочитанных книг и обще-

ства интеллигентной молодежи талант красноречия развернулся у него во всю ширь. Мой отец как-то сразу пробудился, прозрел, бессознательные мысли, назревавшие в нем в продолжение всей жизни, теперь отлились в ясную, художественную форму. В нем началась кипучая внутренняя работа, «переоценка ценностей», и он уже не хотел знать удержу. Он говорил вдохновенные, огненные речи, проникнутые знанием и пониманием жизни.

Он живо и образно, со всеми подробностями набрасывал огромные и яркие картины будущего счастья человечества, вкладывал в это всю свою веру, всю силу воодушевления и — увлекал.

Он стал для нас всех «учителем жизни».

А жизнь шла своим чередом. Урожаи делались год от году хуже, село быстро беднело, и к отцу толпами стали приходить «больные» и «воры». Благодаря своей находчивости и близости к народу он и лечил удачно, и «татей» обелял успешно. Мировой судья рассвирепел и поклялся уничтожить моего отца. Сельское начальство тоже давно точило зубы на него. Они все соединились против хромого врага и затеяли кляузный процесс, опорой которого служили лжесвидетели. Этот процесс при удачном окончании должен был привести моего отца в острог.

Отец не испугался борьбы. Напротив, он смело принял вызов и весь отдался счастью битвы. Никогда я еще до сих пор не видал его таким энергичным и красноречивым: он вырастал в моих глазах.

Казалось, что этот человек «с беспокойством в сердце», всю жизнь свою искавший именно такой донкихотской борьбы за угнетенных, наконец нашел условия существования, подходящие для него.

Все время, пока тянулся процесс в трех инстанциях, отец походил на огнедышащий вулкан, энергия била из него огненным фонтаном, а из уст лились увлекающие вдохновенные речи. Он видел поэтически-пророческие сны, где сражался с огромной змеей, два раза душил ее, а она ускользала из рук, и наконец в третий раз задушил-таки.

И действительно, в третьей инстанции, когда дело было передано съездом другому мировому судье, отец выиграл процесс. Он сам говорил на суде защитительную

речь при огромном стечении «чистой публики» в зале суда и «нечистой» — у крыльца камеры.

Что это была за речь! Уничтожающая, мощная, вдохновенная! Он разбил ею козни своих врагов с каким-то богатырским размахом, словно Еруслан Лазаревич, срубающий головы семиглавому змею, он, как Бова, разогнал их метлою!..

А мужики все беднели да беднели. Наконец, нагрянул голодный год. Еще весной по селу пошел стон: весна ранняя, безводная, земля трескается, будет голод.

Осенью он пришел, этот голод. Отец повесил гусли на чердак, и они висели там всю зиму с порванными струнами, занесенные снегом: не до них было.

Приезжие «из степи» показывали образчики хлеба из лебеды, — он был похож на сухой коровий помет. Такой же хлеб предстояло есть и нам.

Но нашему селу повезло. Внезапно, как раз против нашей Обираловки, затонула на Волге баржа с пшеном. Мешки пшена доставали крючьями со дна реки и продавали за бесценок.

Народная молва создала из этого целую легенду; нашлись люди, которые сами «видели» Николая-угодника: он шел по волнам как по суху, весь был огненный и такой большой, что головой касался небес. И взял он рукой купеческую баржу за конец мачты и погрузил ее на самое дно — «для народа»!

Кулаки, словно коршуны, бросились на это пшено, скупили его и стали продавать по двойной цене. А народ и этому был рад. Мы покупали большие, длинные мешки с мокрым, горелым пшеном, сушили его на печке, потом отдавали молоть и пекли из пшенной муки блины.

Блины эти были горьковаты и пресны на вкус, а когда остывали, то стоило уронить блин из рук на пол, как он разбивался, как тарелка, на части.

Всю зиму питались мы этими блинами, не видя ни хлеба, ни мяса. Найденная где-нибудь сухая корка черного хлеба считалась лакомством. Блины опротивели нам, и мы ели их с отвращением, исхудалые, бледные, смотря друг на друга большими голодными глазами. Весной пришел однажды к нам сельский учитель и стал говорить отцу:

— Наступают времена трудные, деревня беднеет, ра-

зоряется... Это — экономический процесс... дальше будет еще хуже... Известный процент населения двинется в город. Отпустите-ка старшего-то сына держать экзамен в учительскую семинарию. Приспособим... если выдержит — казенную стипендию дадут!..

И учитель стал убеждать отца, чтобы он «пустил меня по науке». Отец согласился. В начале августа меня снарядили в город. И вот вспоминается мне теперь последняя страница моей деревенской жизни.

Три часа утра. Все уже готово к моему отъезду на станцию. Горит лампада у образов и лампа — на столе. Мои младшие братья и сестры спят на полу, а мы — отец, мать и я — пьем чай «на дорогу». Но никому чаю не хочется; мать молча вытирает слезы, ее доброе, славное лицо полно молчаливой, но бесконечной любви ко мне. Отец говорит о жизни, речь его дышит мужеством и его вечной верой в дела, идущие по маслу. Я волнуюсь: мне и грустно, и радостно, и жутко... Слышно, как подъехал мужик на телеге, чтобы везти меня на станцию.

— Ну, мать, надо благословить сына-то! — говорит отец. — Выпускаем птенца из гнезда!

Мать берет маленькую икону спасителя в фольговой ризе и молча благословляет меня. Она ничего не говорит, только крупные слезы бегут по ее лицу и падают на мою голову.

Потом благословил отец. Я и перед ним встал на колени и наклонил голову, а он прикоснулся иконой до моих волос и стал говорить.

— Благословляю тебя, сын мой, в жизнь! — говорил он задушевным голосом. — Иди прямой дорогой, надейся только на самого себя, а не на других, никогда не трусь. Знай, что путь бедняка тяжел, и будь готов ко всяким испытаниям. Не увлекайся богатством и сладкой жизнью, помни о нас, о твоих братьях и сестрах, и о простом народе, который страдает. Может быть, вернешься назад ученым человеком. Набирайся больше того ученья, которое нужно народу, а не воротишься, так расскажи хорошенько там, в городе, счастливым и богатым людям, хорошенько расскажи о страданиях народа! Помни о нем всегда, не поддавайся соблазнам, да смотри, берегись потерять... — тут голос его дрогнул, — веру...

И он заплакал, осеняя меня иконой... Видно было, что он хотел сказать очень много, но не мог говорить от слез.

А я едва сдерживал радостную улыбку — мой выход в жизнь казался мне тогда таким легким, многообещающим. В том, что я достигну в жизни чего-то очень хорошего и буду ее победителем, я не сомневался: мне было шестнадцать лет.

Сели мы с отцом в телегу, положили в ногах маленький сундучок и подушку, и телега покатила по сельской дороге. Светало. Звезды гасли одна за другой. Пышная заря освещала нам путь. В ее розовых лучах плыла чистая, бриллиантовая звездочка. Розовый свет обливал избы, соломенные крыши, сельскую церковь, околицу, гладь извилистой речки, затерявшейся в зеленых лугах, и кусты, окропленные росой... Все кругом было в розовом свете. Утренний свежий воздух лился в грудь. Я радостно дышал полной грудью и, озираясь по сторонам, беспечно улыбался. А утренняя звездочка так весело плыла и сияла, такая чистенькая, хорошенькая...

Ах, как жаль, что я не сделался ученым, никогда с тех пор не возвращался в деревню, а в городе не рассказал о страданиях народа! Я был брошен на путь неудач, разочарований и мытарств. Изгнанный из учебного заведения, я был гоним повсюду, очутился в рядах «городского пролетариата» и пошел «сквозь строй» жизни. Меня унижали, оскорбляли... Если мужики в деревне считали меня «нехрестьянином», то городские люди ясно видели во мне все признаки «мужика», «плебея». Мне было чуждо многое, что течет в крови интеллигента, на мне не было «долга народу», вся психология моя была неинтеллигентная, знание народа было почерпнуто из жизни, а не из книг, и я чувствовал свою рознь от всех. Как в деревне я слышал враждебное «нехрестьянин», так здесь слышал пренебрежительное «неинтеллигент».

Мои приключения были как бы продолжением приключений моего отца. Я лез «на гору», но черт, по обыкновению, схватывал меня «за ногу» и не давал ничего, кроме грошового заработка, противного канцелярского труда, жизни впроголодь. Я жил одной только надеждой, что в будущем дела пойдут по маслу. Я мечтал о Москве,

о вольнослушании в университете, о сцене, о литературе... Стремлений и надежд было много, не было только денег и не было дороги, по которой мог бы я идти.

И вот в это самое время, когда я совсем было нацелился лезть в Москву, черт опять схватил меня «за ногу». Из села пришло от отца письмо.

«А у нас опять голод! — писал он своим корявым почерком. — Мужик совсем обеднял, и у меня никакой работы нет. Прежде хоть добрые люди помогали, а теперь и рады бы помочь, да самим есть нечего. И надумал я, сынок, переехать к тебе в город, там я хоть какую ни на есть работишку найду, и дела наши пойдут по маслу, а здесь совсем с голоду помирать приходится, и с ребятишками. Избу мы продали за сто двадцать пять рублей. Я думаю, что ты не оставишь своего отца...» и т. д.

Через неделю они приехали. Отец немного поседел, кудри его развились, и голос как будто уже не так был звучен и тверд, как прежде, но в общем он по-прежнему был энергичен и свято верил в то, что все пойдет по маслу.

Шесть человек мелюзги играли в лошадки, были донельзя жизнерадостны, беспечны и эгоистичны.

Мы зажили на краю города, в маленькой шестирублевой квартирке, в подвальном этаже. Нас было так много и все мы предались такой кипучей деятельности, что даже самый дом, в котором поселились мы, угрюмый и какой-то кислый, как будто ожил и повеселел.

Отец точил на токарном станке, младшие мои братья бегали в школу, прыгали на одной ноге, вывертывали козла, кувыркались и дрались, оглашая глухую окраину города звонким, заразительно веселым смехом. Я служил разом на двух грошовых должностях, таскал работу домой и теперь уже не имел ни одной свободной минуты.

А отец имел вид мудреца и философа, читал Бокля и Милля. Мысль его шла вперед, к нему и здесь ходила молодежь; душа его оставалась вечно юной.

Так прошел год и еще год... и еще... Однажды зимой, когда я пришел поздно ночью с вечерних занятий, мать и шестнадцатилетняя сестра тревожным и печальным шепотом сказали мне:

— Отец заболел.

Он лежал на койке и стонал.

Кругом была наша печальная и гордая бедность: старые стулья с резьбой, починенные рукой отца, тусклое зеркало и три грошовые картины на стене, в рамках его же работы: охота на слона, на льва и на белого медведя... гусли в углу. Лицо отца было темно-коричневое, воспаленное, но, по обыкновению, мужественно-спокойное... Он открыл глаза.

— Простудился... — сказал он вперемежку со стоном, — целый день был в ходу... а ведь для меня — ход... самое трудное... пить захотел... выпил квасу... и грудь заложило...

Организм его был еще полон сил: на груди лежали геркулесовы руки, а от густых грудных стонов сотрясалась койка, и гудел под нею пол...

Нужна была помощь доктора, а денег в доме, по обыкновению, не было.

Наутро я раздобыл целковый и плохонького, старенького доктора.

Болезнь пошла вперед очень быстро: через неделю наступил кризис, и больной был уже перед лицом смерти.

Он лежал на своей койке, тяжело дышал, мучительно кашлял и гулко стонал...

Мы могли только смотреть на борьбу жизни и смерти и надеяться только на силу организма.

Мать и сестра, стоя около койки, тихонько плакали, отворачиваясь, чтобы он не видел их слез, но он видел.

Он по-прежнему густо и глубоко стонал и... отпускал шутки для того, чтобы рассмешить плачущих женщин.

— Ты на гору... а черт за ногу! — говорил он свою любимую поговорку.

И они улыбались, плача.

Ночью ему сделалось особенно трудно.

— Надо... попа!.. — сказал он мне, прерывая стоны. — Умер бы я и без него, да придираться будут к вам... из-за похорон... Умру, дух мой смешается с атмосферой... и все! Очень просто!

К концу жизни он стал отходить от религии: существование бога допускал, но в загробную жизнь не верил.

Я побежал за попом. Было часа четыре утра. Ночь была морозная, звездная... Весь город спал как мертвый. Густые голоса церковных колоколов медленно па-

дали в тишину, были похожи на стоны отца и надрывали сердце своим похоронным унынием... Казалось мне, что эти колокольные вздохи, полные мрачной безнадежности, относились ко всей долгой и страдальческой жизни отца, к моей жизни и к моему будущему и к будущему всей нашей семьи. Они словно произносили приговор, зловеще пророчили что-то грустное, словно отнимали у нас всякую надежду на какой-нибудь проблеск счастья в нашей жизни... «Никогда-а! никогда-а!..» — словно говорили они, надрывая душу, и плыли и умирали в мертвой, безучастной тишине... А кругом нигде не было ни единого проблеска света.

Я добежал до квартиры соборного священника. Пришлось очень долго звонить. Мне отперли с неудовольствием. «От кого?» — спросили меня. Я сказал, что мой отец умирает. Мне велели подождать, и я долго стоял в передней. Наконец, вышел священник атлетического телосложения, с круглой бородой и необыкновенно высокой грудью: таким почему-то я всегда представлял себе Пересвета, который вышел на поединок с Телебеем в Куликовской битве. На лице попа ясно выражалась досада. «Где живет умирающий?» — спросил он меня. Я сказал. «Не моего прихода!» — ответил он и не хотел идти. Я стал его упрашивать и не уходил из квартиры... Наконец, священник скрепя сердце согласился и пошел со мной, сердито запахнувшись в енотовую шубу и нахлобучив бобровую шапку.

Когда мы пришли, отец уже умирал: стоны сделались слабее, в груди клокотало. Пересвет стоял у его изголовья и скороговоркой исповедовал его, задавая вопросы и не дожидаясь ответов, да отец уже и не мог говорить.

В несколько минут исповедь была кончена. Священник торопился домой. Я догнал его у порога и сунул ему тридцать копеек — все деньги, какие нашлись в доме. Он принял их, не глядя, надел бобровую шапку и ушел.

— Благословить... детей...— сквозь хрип и стоны вырвалось из груди отца.

И мы все стали подходить к его изголовью, он клал дрожащую руку на голову каждого и делал это так, как будто торопился куда-то.

— Дочери мои..., дочери мои...— лепетал он коснеющим языком.

Глаза его были закрыты, грудь высоко и тяжело подымалась, из нее вырывалось клокотание, словно она все более и более наполнялась чем-то, что мешало дышать.

Он ничего не сказал о своих сыновьях; в минуту смерти его душа болела только о дочерях; он знал, что, получив от него в наследство здоровье и энергию, мы все пойдем «сквозь строй» жизненных пыток, будем каждый в одиночку биться с жизнью и не упадем, гордо пройдем до конца; истерзанные, с окровавленной душой, мы вынесем все!

Но как же горька и безотрадна ваша судьба, вы, дочери бедноты, бедные сестры мои! Вашим певцом хотел бы я быть, ваши слезы и страдания хотел бы воспеть, к вашим ногам положить горькие песни!.. Беспросветно грустна ваша жизнь!..

Клокотание в груди отца все увеличивалось. Но воспаленное лицо его по-прежнему хранило выражение мужественной энергии и ясного сознания. Он собрал последние силы и отчетливо прошептал:

— Прощайте!

И вдруг открыл глаза широко, изумленно... Казалось, что он увидел какое-то необыкновенное видение, и глаза его медленно закатились, словно не могли оторваться от какого-то удивительного зрелища. Потом по лицу и всему телу пробежало острое содрогание, вздохи становились все глубже и реже. Потом замерли, остановились... Долго не было вздоха... Наконец, вырвался глубокий вздох и опять замер...

Эти последние вздохи были похожи на умирающее пламя лампы, когда оно то гаснет, то вспыхивает снова. Последнего вздоха я долго ждал — и не дождался.

Я стоял у постели отца с каким-то странным, деревянным спокойствием. Я смотрел на его мертвое лицо: оно приобрело особенное выражение важности и молчаливого знания никому не ведомой тайны. Мертвый, он более чем когда-либо походил на кардинала Ришелье... Горбатый нос, правильная эспаньолка с проседью, орлиная гордость и благородство лица, еще дышавшего непреклонной волей и энергией, придавали ему странную, почти царственную величавость. Нечто рыцарское было в его чертах, и не верилось, что этот важный старик—не

герой, а лишь задушенный жизнью труженик, бывший крепостной раб.

Я ощутил желание заплакать, но, посмотрев на «шестерых» — маленьких, с белыми кудрявыми головами, бледных, с недоумевающими глазками, — удержался: ведь они бы все взвыли вслед за мной, а я этого не хотел. Как только умер отец, я сразу почувствовал себя старше и серьезнее, — на мои плечи опустилась тяжелая, словно чугунная ноша...

Женщины подошли к мертвецу, чтобы закрыть ему глаза, и вполголоса говорили о чем-то, словно боясь, как бы он не услыхал.

Мне предстояло очень много хлопот: идти взять ссуду на похороны, взять записку от священника, от полиции, заказать гроб и купить место для могилы. Много...

Но пока еще было темно и рано идти, и я подошел к окну. Тусклый рассвет кисло и насмешливо смотрел на меня в окно, и в душе моей звучала дрожащая, грустная мелодия прощания с юношескими мечтами. Звезды бледнели и гасли. Одна из них, маленькая, туманная звездочка, покатилась по небу и бесследно пропала.

1902

ГАЗЕТНЫЙ ЛИСТ

(Сказка)

Спокойно дремало гнилое болото. Берега его обрамлял высокий камыш и тихо шептался с печальной осокой, наклоненной над вонючей илистой водой. По воде плавали широкие лилии, такие беленькие, чистенькие и невинные и такие гордые своей чистотой, что нельзя было и подумать о их родстве с гнилым болотом. Правда, у них не было никакого запаха, кроме разве того, что от них немножко отдавало тиной, но они этого не замечали и весело улыбались.

А на кочке, поджав под себя ногу, уже целый день стоял глубокомысленный аист и думал о египетских письменах, которые он читал на пирамидах, когда был в Египте. Он считал себя очень ученым, потому что говорил всегда никому не понятным египетским языком.

Две лягушки — самец и самка — с чувством пели любовный дуэт, аист слушал — и не ел их, так как был меланхолично настроен!

Тихо и сонно было на болоте. Голоса лягушек нежно дрожали, камыш чуть слышно шелестел и нашептывал слова любви осоке, а она стыдливо потупилась и, наклонясь, рассматривала свое отражение в гнилой, зеленой воде. Лилии невинно улыбались.

Вдруг откуда-то прилетел ветер.

— У-у-у! Как тут у вас скучно! — сказал он камышу и осоке. — Ты все еще ухаживаешь за этой недотрогой? Смотри, порежешься! А эти все еще поют одну и

ту же песню. И аист все еще думает бесполезную думу. Старые слова, старые песни, старые думы. У-у-у! Как скучно здесь!

Камыш недовольно закачался и зашелестел, неподвижная осока зашевелилась, аист нахохлился, а ветер продолжал:

— Как далеко я был! Я играл с морскими волнами. Вот была потеха! Они ревели, как звери, вздымались и падали, как горы, и я трепал их белые гривы. И море гудело, как орган, и пело дивную песнь!.. У! Что это была за музыка! Там были новые мотивы с новыми словами. Как волновалось море, как боролись волны! Как хорошо там было! У-у! У-у! Терпеть не могу лягушечьих песен!..

И там я видел рыцарей моря. Они живут на самом дне его, в коралловом дворце. И выходят они только ночью и в бурю, чтобы выгнать ночь. Что за доспехи на них! И сами они неуловимые и сильные, и тела их словно выкованы титанами из железа! И когда они выходят из волн и обнажают свои длинные, ослепительно блестящие мечи, вместе с ними из моря появляется лучезарное солнце! У-у! Много чудес на свете!

Лилии недоверчиво покачали головками.

— А есть ли в море лилии? — спросили они. — Могут ли там расти такие чистые цветы?

Ветер нежно поцеловал их и ответил:

— В море нет лилий. Вы бы там погибли с вашей чистотой: только грязное, гнилое болото порождает вас. Вы чисты от того, что болото слишком грязно... Что толку в вашей красоте, когда вы украшаете и прикрываете собой грязь?

— Этот чудак-ветер не признает эстетики, — сказали цветы, отворачиваясь от ветра.

Тут кто-то бросил камень, завернутый в газету. Рассерженный ветер подхватил его, изо всех сил швырнул в болото и улетел.

Болото всколыхнулось.

Камень громко шлепнулся и пошел на дно, а газетный лист развернулся в воде. По ней пошли широкие круги, лилии испуганно закачались, а лягушки так и не докончили свой дуэт.

— Так! Так! — закричали с другого конца болота дикие утки.

— Что случилось? — спросил по-египетски аист, вынимая из-под крыла голову и переступая с одной ноги на другую. Увидя как раз перед собой газетный лист, он гордо вытянул шею и важно заболтал: — Ага! Понимаю: мне прислали газету!..

И он стал читать ее, но так как газетный лист был написан не по-египетски, то аист не понял ни слова.

— Гм, — сказал он, — громко шлепнулось, но, между прочим, совершенно непонятно — откуда и зачем?

И, поджав под себя одну ногу, он погрузился в долгую думу о том, что бы могло быть написано в газетном листе. А от листа все еще расходились по болоту широкие круги.

— Нет ли здесь чего-нибудь об изящном? — спросили друг друга лилии, наклоняясь над мокрою газетой. — Так приятно почитать иногда что-нибудь изящное и непременно чувствительное, такое, от чего на лепестках выступают слезы: это очень приятно волнует сердце и разгоняет скуку.

Осока тоже наклонилась и молча заглянула в газетный лист, а камыш прошептал ей:

— Милая, брось, не стоит забивать голову! Впрочем, ведь у тебя нет головы!.. Знаешь ли, я прежде тоже был очень любопытен, но теперь мне все надоело... Все, что пишут в газетах, очень старо.

— Ах, отстань, пожалуйста! — зашелестела осока и слегка оцарапала камыш. — У тебя дряблая и пустая сердцевина, а я хотела бы понять жизнь нашего болота и вообще — развиваться...

— Скажите пожалуйста! — недовольно пробормотал камыш.

А газетный лист, намокая, медленно опускался на дно.

— «Московские ведомости»? — быстро осведомился гибкий и скользкий линь, сверкая своей золотистой чешуей и мимоходом подплывая к печатной бумаге. — Ах, нет, что-то другое, следовательно, читать не стоит! Я люблю только «Московские ведомости»...

И, вильнув хвостом, он проплыл далее.

— Беспременно тут что-нибудь про моего соседа, про Ивана Иваныча написано! — сказал карась, вылезая из тины.—Накося, как грохнуло-то по болоту, инда я проснулся! Поглядишь — будто бы только газета, ан и у нее про нас камень за пазухой имеется! Ну, времена! Экие времена беспокойные пришли: только что в ил зароешься — бац! Что-нибудь бухнется в болото! А зачем? Почему не тихо-смирно, не потихоньку да полегоньку? Полюбовно бы!.. Однако следовало бы прописать Ивана Ивановича: он у меня ракушку съел!..

— Памфлет! — сказал окунь, подплывая и заглядывая в газету. — Понимаю все намеки. Интеллигенцию ругают: будто бы вообще, а, промежду прочим, кто у нас на болоте интеллигент? Никто, как пескарь! Значит, это про него! Тоже и «буржуа» пробирают! Ну, это сразу видно, что вон про того леща писано!.. Но, позвольте, зачем этот резонерский тон, какое полное право газета имеет на чужие недостатки указывать, когда у нее свои есть? Разве это бумага? Разве это шрифт? И потом — посмотрите — сколько в ней воды!..

В это время газетный лист опустился на дно, так как на него села улитка.

— Я глубокая натура, замкнутая в самой себе! — сказала она. — Ах, сколько во мне чувств, идей и талантов! Меня глубоко возмущает этот газетный лист, который так невежливо и грубо появился здесь! Я не вижу в нем ни одной строки о добродетели, о сострадании к бедным и тем несчастным рыбам, которых судьба перекусила пополам. А где тут лирика? Где поэзия? Не мешало бы тем, кто пишет газету, помнить великие слова Пушкина: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв»! А это что? Тьфу!

И улитка плюнула на газету.

— Непременно пошлю им анонимное письмо с ругательствами! — добавила она.

Но тут вполз на газету рак и, ни слова не говоря, сошвырнул ее огромной клешней в болотный ил.

— Я и сам умею читать! — сказал он. — Удивительно мне: зачем эти улитки лезут к нам, ракам, с чтениями? Слава богу, мы теперь почти все грамотные! Почаще бы только к нам на дно газету пропускали, а уж мы ее здесь как-нибудь тово... сами обмозгуем... самому оно

способнее, чтобы, значит, без обману!.. А ну-ка, нет ли тут чего насчет нарезки земли?..

И, медленно водя по строкам своей неуклюжей клешней, рак шепотом начал читать по складам:

— Стихотворение на тему «Бей в железные сердца!»

Он глубокомысленно пошевелил длинными усами, остановился читать и спросил самого себя: «Бей?» Кого и по какому поводу?

Потом подумал и, махнув клешней, стал продолжать чтение, сказав:

— Должно быть, там, наверху, что-нибудь случилось!

А его уже окружила целая стая разной мелкой рыбешки и слушала чтение газеты. И рак важно читал ее по складам, медленно водя огромной клешней, чтобы не сбиться со строки.

Вдруг в воде что-то зарябило, несколько окуней бросились врассыпную, и к газетному листу важно подплыла большая полосатая щука в сопровождении двух угрей.

— Ура! — закричала мелкая рыбешка.

Но щука устремила свой неподвижный взор на рака, который покраснел от смущения, и строго спросила:

— Кто такой?

— Рак...

— Какой губернии?

— Самарской...

— Что это находится у тебя в клешнях?

— Газетина...

Щука вильнула хвостом.

— А, так у нас в болоте даже раки стали газеты читать?! Да ведь этак они у нас все живо перешепчутся!

И, повернувшись к угрям, сказала:

— Взять его за жабры!..

А старый, заросший мохом пень стоял рядом и бормотал про себя:

— Сто лет уж я стою на болоте и все одну историю вижу! Ничего нового! Все повторяется в мире! Суета сует и всяческая суета!

1902

КУЗНЕЦ

— Вот скажите, пожалуйста, этим баранам, которые ни черта не понимают, а суются не в свое дело,—скажите им, что паровик может работать!

Так закричал разъяренный Федор Иваныч, кузнец, машинист и руководитель по постановке вновь открываемого парового кирпичного завода. Он закричал так, обращаясь к эксперту и указывая огромной черной ручищей на хозяев своих, трех купцов, которые стояли прямо перед ним и смотрели на него с глубокой ненавистью.

В это мгновение он был замечательно картинен и посвоему красив: высокий, статный, широкоплечий, в синей грязной блузе и высоких сапогах, он стоял перед ними в энергичной, уничтожающей позе. Лицо у него было смуглое, окаймленное черной подстриженной бородой, черные цыганские глазищи горели из-под густых бровей, густые черные волосы как бы встали дыбом и сдвинули на затылок промасленный картуз, и весь Федор Иваныч, черный, грязный, мечущий искры из глаз, казалось, горел каким-то внутренним огнем.

— Действительно! — совершенно спокойно сказал эксперт, старик почтенного вида, низенького роста, с длинной седой бородой и умными глазами. — Хоша воды и меньше, чем показывает стрелка, но это совсем не вредит. Паровик может работать, а вы, господа купцы, напрасно беспокоитесь! Если бы, скажем, воды в паровике было и еще меньше, то и тогда...

Он толково и серьезно, обстоятельно объяснял купцам положение дела. Купцы внимательно слушали. Один пожилой и толстый, старинного типа, в длиннополом

сюртуке и высоких сапогах, другой помоложе, в поддевке синего сукна, а третий — совсем молодой, в куцом пиджачке, жокейском картузике и обуви велосипедиста.

Они все трое были взволнованы только что происшедшей крупной ссорой с Федором Иванычем: купцы нашли какое-то упущение в постановке нового, недавно выписанного паровика и набросились на машиниста с ругательствами. Федор Иваныч, по обыкновению, дал им отпор в сильных выражениях. Послали за экспертом, приговор которого и решил дело в пользу Федора Иваныча.

Вся сцена происходила в кузнице, временно устроенной в отгороженном дощатыми стенами углу завода. Здесь был кузнечный горн, на земляном полу, посредине кузницы, стояла наковальня, окруженная грудой железных обломков, у стен виднелись верстак и железный токарный станок. Всюду валялись молотки, щипцы, слесарные и токарные инструменты.

В раскрытую дверь кузницы был виден отлогий берег Волги и сама она, спокойная, как зеркало, и блестящая под темно-красными лучами летнего заката. Завод стоял за городом, на берегу Волги.

Купцы сделали вид, что пропустили «баранов» мимо ушей, но едва только эксперт ушел, как они снова набросились на Федора.

— Ты что это делаешь? — закричал на него старший купец, представитель компании. — Тебе слово скажешь, а ты — десять?

— А то как же? — спокойно отвечал Федор Иваныч. — Что, я вам спускать, что ли, стану?

— Охальник ты! — возразил купец.—Что ты есть тут такое, что за фря? По какому случаю поднимаешь морду? Ты — рабочий, такой же чертоклеп, как и все другие кузнецы! Должен ты хозяина уважить или нет? Делай, что велят, — и баста.

— Тоже! — раздраженно подхватил другой купец, одетый в поддевку.—Чай, ведь он образованный! Прочитал две книги — и думает, что умный! Да ведь тебя, цыгана, еще утюжить да полировать надо! Дудки, брат,— нет еще в тебе настоящей политикатуры!

— Что ему! — поддержал велосипедист. — Для него

завод-то хоть лопни! С него, голяка, взятки гладки, а наших тут восемьдесят тысяч ухлопано!

И, наступая на Федора Иваныча, они все трое закричали, указывая на завод:

— Тебе тут мало горя! Твоего тут ничего нет!

— Как? — повышая звучный, металлический голос и сверкая глазами, закричал Федор Иваныч. — Как моего тут нет? А труда-то моего тут сколько вложено! Вы его ни за что считаете? Вы платите мне только пятьдесят рублей, потому что у меня семья и нужда, а попробуйте-ка выписать ученого механика! Заплáтите ему двести! Как же вы говорите, что моего тут нет? Да тут каждый винт, каждая гайка облиты моим потом да еще и кровью! Ха! Тут много моего! Разве вы не видели, как я работаю, как день и ночь кую для вас ваше богатство? И все-таки — моего тут нет? Вы — хозяева? Вы — в ответе? Нет! Вы — хозяева завода, а я — хозяин дела, хозяин этих машин, в которых вы ничего не смыслите! Кто ответит, если вы сделаете взрыв? Небось, сами ж на меня тогда весь ответ взвалите! Ведь не вы, а я расписываюсь в книге, когда приезжает фабричный инспектор! На мне — весь труд, на мне — весь ответ! Ведь вы мне вздохнуть не даете за пятьдесят-то рублей. Вы кровь мою из меня выжимаете, да еще издеваетесь надо мною и ругаетесь скверными словами! Вы думаете, что я ваш раб?

Федор Иваныч ударил себя кулаком в грудь и звонко крикнул:

— Нет! Я — вольный слуга! Вы не имеете права мешать моей работе и делать мне глупые приказания! Вы забыли, что есть и на вас управа!

— Какая?

Федор Иваныч схватил молот и, оглушительно грянув им о наковальню, крикнул:

— Фабричный инспектор! Вот какая!

Как был — грязный, в замасленной блузе и с черными от сажи руками, взволнованный и взбудораженный гневом, он яростно бросил молот, нахлобучил картуз и выбежал из кузницы, оставив своих хозяев в самом озлобленном настроении.

— Сходи, сходи к нему, друг! Ха-ха-ха! Сходи!

— Пожалься ему! Чево тут!

— И пойду! — гремел Федор Иваныч.

Федор Иваныч вышел из квартиры фабричного инспектора омраченный и разочарованный. Он крепко хлопнул большой парадной дверью и сошел с крыльца.

Смеркалось. В небе зажглось несколько серебряных звезд, и полная луна медленно выплывала из-за облаков. Над городом стояла золотистая пыль и трескотня извозчичьих пролеток по мостовой.

Федор Иваныч постоял немного в раздумье и затем с чувством изысканно и сильно выругался.

Потом повернул за угол и пошел по тротуару, напирая на встречных, толкаясь и никому не уступая дороги.

Он злился на фабричного инспектора, на купцов, на свою бедность и на всю жизнь. Хороший машинист, слесарь и токарь, он давно уже создал себе репутацию беспокойного и неуживчивого человека и действительно нигде не уживался. Он уже не гнался за тем, что за труд ему платили бессовестно мало, он искал только одного: чтобы с ним хоть обращались-то деликатнее. Но обращение было везде грубое, а на грубости Федор Иваныч всегда отвечал еще более грубо и, обладая горячим характером, даже пересаливал в этом отношении и никогда не оставался в долгу у своих обидчиков. От этого своего непокорного характера он страдал всю свою жизнь, страдала его любящая, кроткая жена Маша, голодали ребятишки.

Федор Иваныч еще раз выругался сквозь зубы и толкнул кого-то плечом.

Вот и теперь: шел к фабричному инспектору защиты просить, а вместо этого и тут стычка вышла. Он злобно припоминал подробности объяснения. Вышел инспектор к нему в прихожую, важный, толстый... «Что тебе нужно?» — «Так и так...» — вежливо начинает рассказывать Федор Иваныч, смягчая свой громкий голос.

— Ну, и что же? Делай, что велят! — с неудовольствием говорит инспектор.

А в зале, слышно, кто-то на музыке играет и женский голос про любовь поет.

— Ка-ак? — возвышает голос Федор Иваныч. — Да как же это можно? Да я...

— Молчать! Пшел вон!

Инспектор вспылил, раскраснелся и ушел из прихожей, а у Федора Иваныча в груди так и запылало. Обидело его такое обращение. Не понял его инспектор, да и понимать не хотел.

— Кто твой хозяин? — крикнул он на горничную около двери. — Татарин али русский?

— Русский, — пробормотала она, отшатнувшись от Федора Иваныча.

— Ну, так скажи ему, — и голос его загремел по всей квартире, так что даже музыка прекратилась и про любовь перестали петь, — скажи ему, что дур-рак он!

Рявкнув так, Федор Иваныч изо всей силы хлопнул дверью и ушел.

Ему хотелось излить кому-нибудь свое горе, всю свою наболевшую душу. Он вспомнил, что давно обещался побывать у брата; брат у него, сравнительно с ним, богатый человек: своя лавка, свой дом на набережной, лошадь, корова, свиней сколько, кур одних сорок штук. Вот еще обещал ему брат пару кур да петуха на обзаведение. Добрый он мужик, брат-то, только скучный—сытый больно, да покой своей жизни очень любит, а жена у него — сущая ведьма: скопидомка, жадная и скупая, все боится, как бы бедному брату от богатого чего не перепало. Из-за нее они с братом и отдалились друг от друга.

Зайти разве к брату?

Федор Иваныч вышел на набережную, разыскал небольшой, серенький домик с палисадником.

На крыльце сидел брат. Он был приземистый, лысый, с длинной рыжей бородой и нисколько не был похож на Федора Иваныча. Сквозь ситцевую рубаху, подпоясанную под мышками, «выщелкнулось» довольно объемистое брюхо.

— Что поздно? — сказал он Федору, подвигаясь и давая место рядом с собой.

— Да так... завернул! — промычал кузнец, присаживаясь.

Он снял с головы потный картуз и, смотря в него, вздохнул.

— Что невеселый? Али все не ладишь с купцами?

Федор Иваныч крякнул, надел опять картуз и заговорил.

Он заговорил о том, как оскорбили его купцы, как он с ними ссорился, как был у инспектора и что вышло из этого.

Говорил о том, как тяжела жизнь рабочего человека, как трудно ему бороться и как все труднее становится жить.

— «Что ни год — уменьшаются силы, ум ленивее, кровь холодней»...—неожиданно ввернул он стихи из Некрасова и заключил задушевным, грустным тоном, понижая голос почти до шепота: — Эх, брат, хоть бы ты помог мне! Не купцов же идти просить! Они скажут: «р-ра-ботай!», а ведь я работаю вот уже тридцать лет, брат!

Федор Иваныч грустно улыбнулся.

Брат покачал бородой.

— Я-то что же? Чем я помогу?.. А ты бы, того... покорился бы им.

— Покориться? Не-ет! — вскричал Федор Иваныч, и черные глаза его вновь загорелись сатанинской гордостью. — Не могу покориться! Понимаешь? Не могу!

Он побледнел и глубоко задышал. Ему уже стыдно было, что он вдруг расчувствовался перед братом.

Брат молчал.

Луна ярко освещала их несходные фигуры: одну — благодушную, а другую — мрачную; облила, словно молоком, кусты акаций в палисаднике и посеребрила неподвижную гладь Волги. У берега стояли черные баржи и суда, неподвижные и таинственные, как спящие чудовища.

— Я бы их! — с глубокой сдержанной злобой воскликнул вдруг Федор Иваныч и сжал кулаки.

Брат немного отодвинулся от него.

— Да-да-а! — протянул он, захватив горстью свою длинную бороду и не находя что сказать. — Трудно тебе, Федор, эх, трудно!

Потом он зевнул.

— О-хо-хо! Господи Иисусе Христе! Сколько горя-то на свете!

И, вставая, добавил совсем в другом тоне:

— Что, возьмешь, что ли, кур-то?

— Давай! — мрачно ответил Федор и тоже встал.

Они вошли в калитку на двор, и хозяин отворил дверь курятника.

— Хватай прямо с нашести! — сказал он добродушно.

Федор Иваныч исчез в курятнике, где тотчас же начался куриный переполох.

— Кто там? — раздался из окна звонкий голос.

— Бери скорее! — торопливо зашептал брат. — Проснулась, волк ее заешь!

Федор Иваныч разбойничал в курятнике. Куры отчаянно кудахтали и хлопали крыльями. Скоро он выскочил из низенькой двери, держа вниз головой в одной руке двух куриц, в другой — петуха.

Но толстая женщина, в юбке, без кофты и босиком, уже шла из сеней к ним.

— Это что за разбой? — завопила она, всплеснув руками, увидев обоих братьев на месте преступления.

— Так что... куры вот... Федору... — робко бормотал муж.

— Куры! Куры! — передразнивала она его желчно.— Твои, что ли, куры-то? Я их сама выводила да сама кормила! Мое это добро, не дам никому! Ах, ты, бардадым, бардадым! Рохля! Дурак!

— Да ведь не чужому... брату! Что ты!

— Какому брату? Какой он тебе брат? И на дух не надо мне твоей родни! Все они у тебя шобонники, голоштанники! Только норовят что-нибудь стащить, пьяницы!

— Тьфу! — плюнул муж.

А она, подступая к Федору Иванычу, задорно и звонко кричала:

— Отдай назад, грабитель!

Федор Иваныч в эту минуту был похож на браконьера: он держал в левой руке всех трех птиц, а правой отстранял от себя бабу. Он свирепо глянул на нее исподлобья и сказал:

— Отойди, тетка, не отдам!

Он выскочил в калитку с курами в руке и быстро зашагал к берегу.

В это время из окна домика высунулась длиннобородая, лысая голова старшего брата, ярко освещенная луной, и прокричала:

— Поезжай на бударе! У берега моя бударa стоит!

На Волге было тихо. Вдоль всего берега неподвижно спали длинные, черные баржи. Где-то в трюме слышался глухой и мерный стук водолива, струя воды, которую выкачивали, падала из отверстия в боку баржи и мягко шумела, выливаясь в реке. Где-то далеко играли на гармони, и дрожащие звуки протяжной песни тихо плыли в теплом воздухе. Кое-где на баржах разводили огонь и кипятили ужин в котелке. На других судах рабочие садились в кружок и ужинали, другие молились, обратясь лицом на восток; их черные фигуры отчетливо вырезались на светлом фоне реки, которая блестела под серебряным светом луны. Вдали, за Волгой, чернела узорчатая полоса лесистого берега.

Там, кое-где, словно светляки или чьи-то кровавые глаза, краснели точки далеких рыбацких костров. Фонари на мачтах судов казались издали разноцветными звездами.

Федор Иваныч почти неслышно ударял кормовым веслом, пробираясь вдоль берега, между бесчисленных баржей, пароходных конторок, судов и плотов. Черный, он плыл в тени почти невидимый. Вода здесь казалась тоже черной и тихо журчала под плавными, неслышными ударами длинного кормового весла.

Федор Иваныч сидел в корме крохотной долбленой душегубки, нос ее высоко поднимался над водой, и казалось, что кузнец плывет по реке на каком-то сказочном водяном звере.

Волга несколько смягчила его мрачное настроение.

В городском саду играла музыка. Большой город, залитый лунным светом и осыпанный огнями, потихоньку уплывал назад, удаляясь от Федора Иваныча. Кузнец миновал пристань и плыл теперь мимо бесконечной вереницы плотов. Здесь было совсем тихо, только из города нежно доносилась струнная музыка.

Острое чувство гнева и обид, испытанных за день, мало-помалу притуплялось в груди Федора Иваныча и как бы опускалось на дно его души, чтобы присоединиться там к прежним тяжелым чувствам, которые лежали в темной ее глубине, словно охлажденные куски раскаленного железа, брошенного в воду.

Теперь он уже испытывал не злобу, а презрение к врагам; баба, которая хотела отнять у него кур, пока-

залась ему смешной. Экая дура! А с купцами он сыграет штуку!

Ненавидят они его ото всей души, а уволить все-таки не решатся... до поры до времени... потому что трусы и рабы они собственной копейки, он слишком нужен и выгоден им. Ну, а вот когда он им сделает все самое главное... спасет их от разорения, тогда, конечно, выгонят... вышвырнут вместе с детьми на мороз... Да что ж! — он этого не боится: сколько уж раз так бывало, привык! Слава богу, молот еще из рук не вываливается, и его тотчас же примут в мастерские, где, впрочем, знают уже характер Федора... Э, черт с ними! Будь что будет, а холуйствовать он ни перед кем не намерен! Нет, уж этого от него никогда не дождутся, — у него есть гордость и человеческое достоинство!

Куры затрепыхались у его ног и закудахтали. Федор Иваныч взглянул на них и тут только заметил, что худая бударка почти до половины наполнилась водой, связанные куры плавают в ней, а вода очень быстро прибавляется: должно быть, ототкнулась какая-нибудь щель. Стоило хорошенько качнуться в лодке, чтобы она пошла ко дну... А до завода было еще далеко.

Сильным ударом весла Федор Иваныч повернул к плоту.

— Эй! Эй! — заорал с плотов зычный голос, колыхая дремотную тишину реки. — Куда лезешь? Какого черта надо? Нельзя! Эй! Э-эй!

И по реке гулко прокатилось эхо:

— О! Э!

Из-за караулки показалась плечистая фигура высокого старика с длинным багром в руке, которым он намеревался оттолкнуть от плотов тонувшую бударку Федора Иваныча.

— Эй! — грозно орал старичище.

Но Федор Иваныч с проворством гимнаста вскочил на плот.

— Какого дьявола орешь, леший?! — закричал он на сторожа плотов. — Тону ведь! Не видишь, что ли? Черт!

И он одним махом вытащил бударку на плот, опрокинув вверх дном вместе с водой и курами.

— Кто те знает, что ты за человек? — смеясь, отве-

тил старик, осматривая Федора. — Может, что слизнуть хочешь. Вон ты какой... темный!

— Небось, потемнеешь! — ответил Федор Иваныч, перевертывая лодку и помещая в нее мокрых, измученных кур.—Эх, какая дырища-то! Дай-ка пакли, что ли? Я машинист вон с того завода. Али не знаешь? Нашли кого испугаться, черти! Чуть не утопили.

Старик дал ему пакли, но все еще недоверчиво на него поглядывал.

— Много больно тут всякого жулья! — оправдываясь, бормотал он.

Федор Иваныч починил бударку и спустил ее на воду.

— Вот и готово! — весело сказал он. — Поплыву теперь дальше. Спасибо, дед!

Он сел в корму, оттолкнулся веслом от плотов и, удаляясь в серебристое лоно реки, запел размашистую волжскую песню:

Меж крутых бережков
Волга-речка течет,
А по ней, по волнам,
Легка лодка плывет...

Его металлический, резкий голос словно разрубал неподвижный воздух и далеко разносился среди ночной тишины.

Старинный плавный мотив песни, сложенный на волнах, за веслами, мчался словно быстрая шестивесельная лодка по широкому раздолью мерно дышащей Волги.

Старик некоторое время стоял на краю плота и слушал песню, опираясь на свой длинный багор.

Голос Федора Иваныча, быстро удаляясь, все глуше и глуше доносился из речной дали:

В ней сидел молодец...
Волны резал веслом...

Наконец, не слышно стало песни. Она словно растворилась в лунном свете.

— Ну, этого не скоро заездят! — сказал сторож, поворачиваясь и шагая с багром по бревнам плота. — Много в ём блох!

Когда Федор Иваныч поднялся с курами в руках из-под отлогого берега к заводу, около которого стоял са-

рай, заменивший ему с семьей квартиру, глазам его предстала приятная картина: у него были гости и, очевидно, уже давно поджидали его.

Гостей было двое, они сидели за столом, вынесенным из сарая и поставленным на «воле» таким образом, чтобы сидящие за ним свободно могли любоваться на Волгу.

На столе кипел самовар, стояли домашняя закуска и бутылка водки. Гости, по-видимому, чувствовали себя прекрасно и встретили хозяина радостным смехом.

Один был с продолговатой бородой, сухой и крепко устроенный человек в косоворотке и в пиджаке. Руки у него были большие, мозолистые, серые глаза смотрели пронзительно.

Другой был с закинутыми назад длинными кудрями, с рыжеватыми усами и в белом кителе телеграфиста.

— Будьте настолько перпендикулярны, Федор Иваныч, — галантно сказал телеграфист, — выпейте и закусите огурцом!

— Птицелов! — насмешливо приветствовал Федора слесарь. — Аника-воин!

Чай разливала Маша, жена кузнеца, молодая женщина, с лицом симпатичным и грустным. Подле нее сидела старшая дочь, девочка лет двенадцати, белокурая, похожая на мать. Она играла про себя на большой звучной гитаре, которая закрывала почти всю ее хрупкую фигурку. Около стола ездил на игрушечном велосипеде шестилетний Володька, бутузый крепыш, с черными глазами, похожий на Федора Иваныча. В сарае слышались голоса других детей.

— Вот это хорошо вы сделали, что водки-то захватили! — сказал Федор Иваныч. — Хорошо выпить с устатку!

Он смачно выпил большую рюмку водки и покрутил головой, пережевывая свежий огурец.

— Я нынче за день столько ругался, братцы, столько ругался — и-их ты, боже мой!

— Знаем, — сказал слесарь. — Воевал — одно слово.

— Был у инспектора? — спросил телеграфист.

Федор Иваныч выпил еще, плюнул и стал в лицах рассказывать о своих приключениях.

Гости слушали и выпивали.

Когда он кончил рассказ, слесарь, погладив бороду, сказал:

— Выгонят они тебя!

— А велика печаль! — возразил Федор Иваныч. — Видел, в какой квартире меня держат? А ведь скоро холода настанут. О чем жалеть-то? Вот еще! Была бы голова, а петля всегда найдется.

— Вот он завсегда так говорит, — вмешалась Маша. — Ни себя, ни семью свою не жалеет! Век живем — мучаемся! Хоть бы о детях вспомнил! А я так думаю: нехороший характер у него!

— Маша! — с пафосом вскричал Федор Иваныч. — Неужто я когда забывал о тебе? — Он ударил себя в грудь кулаком.—Ты всегда была для меня—моя жизнь, моя отрада!

Женское сердце Маши ни на минуту не устояло против этих страстных слов, она улыбнулась.

— А я так думаю, — сказал телеграфист, — у тебя, Федор, геройская натура! Без врагов и без сражений — тебе и жизнь не в жизнь! И каждому делу, каждому чувству ты отдаешься весь целиком, без раздумья! Тебе бы надо жить во времена Стеньки Разина! Ты — человек цельный, из одного куска! Ты даже и не знаешь, что значит иметь трещину в душе. «Через весь мир прошла великая трещина, весь мир расколот пополам, и мое сердце расколото!» — так сказал великий поэт Генрих Гейне.

— Ну, уж и герой! — язвил слесарь.

— Будьте перпендикулярны, выслушайте меня,—продолжал телеграфист, вставая и чокаясь. — Ты, Федор, человек без трещины в душе, созданный из всего здорового, ты стоишь на здоровой, твердой почве, а я, человек с расколотым сердцем, говорю тебе: валяй, не робь! Не позволяй наступать себе на горло! Не корись никому! Плюнь в морду твоим купцам! Вот! За твое здоровье! Будемте перпендикулярны, господа!

— Уж вы, пожалуйста, не раззадоривайте его, — возразила Маша. — Такого горячего человека останавливать надо, а не натравливать. Оставьте, пожалуйста, этот разговор!

— И то правда, — сказал Федор Иваныч,—и вправду оставим. Да и какого черта вы взялись меня жалеть или

вроде того? Да я — счастливый человек! — воскликнул он, размахнув руки и как бы подставляя грудь ударам судьбы. — Я счастливее моих купцов! Знаю я, что у них дома-то делается! Какие кошки у них в сердцах скребут! У одного жена сбежала и у другого — от развратной жизни. Из детей никакого толку не выходит: все больные да слабоумные! А у меня-то, господи, моя-то Маша-то, — отрада жизни моей! Ребятишки — один другого озорнее, а на дочь на мою посмотрите: музыкантша! Ну-ка, Зина, спой нам «Белый день занялся над столицей»! А? Она ведь у меня и поет и играет, — пояснил он гостям.

Девочка поправила свои льняные кудри, рассыпанные по плечам, и тихо заиграла на гитаре. Маленькие пальчики цепко заскользили по грифу, и под нежный аккомпанемент тихих струн Зина запела тоненьким мелодичным голоском:

Белый день занялся над столицей,
Сладко спит молодая жена!..

Аккорды правильно, музыкально следовали за пением, цепкие бледные пальчики извлекали нежно-мягкие, шелестящие звуки, грустная песня о гибели труженика в устах ребенка звучала какой-то эпической, спокойной печалью, и детское личико певицы, склоненное над гитарой, было не по летам серьезно и умно. Ее тоненький, комариный голосок звенел так хорошо и тихо, что казалось, будто это пела невидимая крохотная фея, порхающая в лунном свете.

А все кругом было залито этим нежным серебряным светом. Угрюмый завод, жалкий сарай и пустынная, песчаная местность, такая скучная днем, такая прозаическая и унылая, — все теперь стало прекрасно и многозначительно. Словно все молча ожило и, полное тихого, вдумчивого спокойствия, облитое волшебным светом, вздохнуло, зашептало, взглянуло, прислушалось...

— Превосходно! — с важностью сказал телеграфист. — Я знаю в этом толк и определяю: музыкально и даже с чувством. Только вот что: не надлежит петь печальные песни нам, у кого жизнь и без того печальна. Наша песня должна поддерживать в нас дух бодрости.

Веселый дух должен быть в бедном человеке, печаль же ослабляет сердце.

— Ну, однако, Зина, тебе пора спать, — сказала Маша, — дети все уже легли. Простись со всеми да и ложись.

Зина положила гитару, обняла и поцеловала отца, потом мать, а гостям подала руку. Потом пошла в сарай.

— Богу-то не забудь помолиться, — сказала ей вслед мать.

— Всякая песня бывает хороша, если ее хорошо спеть, — сказал Федор Иваныч, беря и настраивая гитару. Под его огромными и как бы железными пальцами струны зазвучали сильно, густо и резко. Он откинулся к спинке стула, сдвинув картуз на затылок, и, мощно ударяя в гулкие, звучные струны, размашисто запел своим резким, металлическим голосом:

Кто дорогу трудом пролагает,
Не жалея труда своего...

Он чувствовал себя сильным, смелым и правым человеком. Федор Иваныч был уверен в себе, в своих силах и внимавших его пению друзьях. Он бодро и отважно смотрел в будущее. В голосе звучало железо.

Кто безумного счастья не знает,
Милый друг...

Стальные струны гулко повторяли за ним:

Милый друг, помолись за того.

— Го! О!.. — разносилось эхо.

Свет луны освещал весь воздух, обливал берег и таинственно спокойную Волгу, змеился по ней серебряной полосой и мелькал в ее струях мимолетными звездами, которые то загорались, то гасли, словно играющие золотые рыбки.

1903

ИКАР

Деревенский кузнец Назар приехал в город за покупками по хозяйству и по устройству паровика, имея в кармане на эти покупки тридцать рублей.

Он шел по главной улице, разыскивая магазин с техническими принадлежностями, но магазин все как-то не попадался ему на глаза.

Наружность у Назара самая непривлекательная: он — сутулый, с пологими плечами, с длинной жилистой шеей и угловатым лицом, с козлиной бородой.

Голова его наклонена, задумчивый взгляд устремился в землю, а походка тяжела и неуклюжа.

Кузнец Назар — странный и «чудной» мужик. Вся деревня смеется над ним, хотя и считает его «докой» и «хитрецом».

Однодеревенцы отказываются понимать его: он иногда толкует им о том, что можно сделать «вечный двигатель», или вдруг придет в умиление, смотря на восход или закат солнца, радуется красивому цвету облаков.

А паровик он сделал хотя и хорошо, «умственно» и «хитро», но — «ни к чему», так как гораздо дешевле было бы купить его готовым.

И много было в Назаре такого, что всем казалось непонятным, странным и смешным.

Сооружение паровика стоило ему огромного умственного напряжения; приходилось многое постигать, изобретать, проводить бессонные ночи, но это нравилось ему, и он вложил свою душу в совершенно не нужный ему паровик.

Теперь он почти даром отдает его напрокат.

За все эти поступки вся деревня хохочет над ним, и ругательски ругается жена, женщина умная, почтенная, религиозная и хозяйственная.

Вот и теперь Назар, вместо того чтобы попасть в технический магазин да потом идти на базар за покупками по поручению жены, внезапно остановился у огромного окна магазина художественных вещей и фарфоровых изделий.

Его поразила маленькая фарфоровая группа: молодой нагой парень, будто бы ангел с крылами, упал на острый камень около воды; так и видно, что упал он откуда-то с облаков и разбился о камень, и так жалостно и красиво лежит его аккуратное тело, а из-за белых плеч, как паруса, легли изломанные, разбитые крылья.

И еще две голые девицы подплыли к нему из воды, русалки, должно быть, любопытные, и заглядывают ему в мертвое пригожее лицо.

И вдруг умиление и слезы почувствовал Назар и сам не знает отчего: то ли история чувствительная представлена, то ли в линиях и очертаниях этих фарфоровых тел есть что-то умилительное, тонкое, так бы вот все и смотрел, и плакал.

Необыкновенное волнение овладело Назаром: ему казалось, что можно вечно стоять здесь и любоваться на эти удивительно красивые тонкие линии, и от этого любования слезы навертывались на глаза.

И все его хозяйство, и паровик, и жена показались ему пустяками в сравнении с тем счастьем, которое должен испытывать обладатель этой вещицы. Почти бессознательно отворил он дверь магазина и остановился у порога, стаскивая шапку.

— Чего тебе? — небрежно крикнул на него барин, стоявший за прилавком, — хозяин, должно быть.

Тогда Назар ткнул корявым пальцем в вещицу и спросил дрожащим голосом, заикаясь:

— Сколько стоит?

Приказчик удивленно и недоверчиво посмотрел на мужика и ответил:

— Это — «Икар», стоит двадцать пять рублей, ты — от кого?

Назар молча завернул полу кафтана, дрожащими руками вынул деньги и, отдавая, сказал внушительно и проникновенно:

— Получи.

Затем он бережно положил за пазуху тщательно запакованную драгоценность, нахлобучил шапку и удалился из магазина своей тяжелой походкой, неуклюжий, с наклоненной задумчиво головой, пологими плечами и длинной мужицкой шеей в рубцах и складках.

Назар вернулся домой без покупок, но радостный и улыбающийся своей тихой, детской улыбкой.

Жена удивилась праздничному лицу Назара.

Трое ребятишек обступили его, ожидая гостинцев. Жена стояла в двери чулана и проницательно смотрела ему прямо в лицо.

— Что это, Назар, каким ты именинником приехал нынче? А где у те покупки-то?

Назар молча и загадочно улыбнулся и все стоял посредине избы, и все нащупывал что-то за пазухой.

— Покупок я не купил, оставил до другого раза, — медленно, с расстановкой заговорил он и все улыбался своей хорошей, трогательной улыбкой, которая удивительно преображала его некрасивое лицо.—А вот, жена, поглядико-сь, какую вещу я тебе привез! Двадцать пять рублев отдал, потому и не купил, все деньги извел...

Тут он бережно вынул «Икара», дрожащими руками развернул его и любовно поставил на стол.

При взгляде на голые человеческие фигуры почтенная женщина долго не могла вымолвить ни слова, пораженная горем и негодованием. Наконец, она всплеснула руками и неожиданно для Назара вдруг разразилась энергичной и звонкой бранью:

— С ума ты сошел, старый дурак, греховодник ты этакий, бесстыжие твои глаза!.. Голых баб купил, батюшки мои светы! Да неужто не стыдно тебе глядеть-то на этакую пакость, бесстыдник ты, охальник, озорник бессовестный! Да неужто двадцать пять целковых? Батюшки! Ограбил! Разорил! По миру пустил, разбойник... душе-гу-уб! Что мы есть-то теперь будем? Дети-то босиком да без хлеба! Ай, батюшки! Да и что это с тобой попритчилось?

Ее укоры мало-помалу перешли в причитания и

слезы. Мысль о двадцати пяти рублях, истраченных так глупо, все более и более ужасала ее.

Она плакала с воем и причитаниями, как плачут по покойникам. Ребятишки, глядя на нее, тоже завыли.

А Назар стоял среди них, как бы пробужденный от сна, и силился что-то сказать, и на добром лице его выражалась острая и внезапная боль.

Смотреть на бесстыдных «голых баб» Назару строго воспрещено. И только по воскресеньям, когда жена с детьми уходит в церковь, Назар отпирает сундук, бережно вынимает оттуда «Икара», садится за стол, держит хрупкую вещицу в своих огромных, корявых пальцах, долго любуясь ею, и детская, прекрасная, трогательная улыбка появляется на его лице.

1904

ЛЕС РАЗГОРАЛСЯ

I

На луговой стороне Волги стоит голая каменистая гора, похожая на опрокинутый вверх дном котел. Зовут ее курганом.

Курган странно и неожиданно возвышается на плоском песчаном берегу. Передняя часть его, обращенная к реке, безжизненно-каменная, а затылок покрыт зеленой березовой гривой.

Позади кургана гладкая степь до самого горизонта.

У подошвы горы приютилось маленькое село с белой церковкой; оно называется Буяном.

Весной Волга подходит вплоть к селу и кургану, заливает кругом все луга и перелески, и тогда стоит курган среди широкой водной равнины. Через Волгу, прямо против кургана, виднеются крутые зеленые горы, заросшие кудрявым лесом, окаймленные внизу, около воды, сверкающей белой полосой: это каменоломни обнажили их девственные известковые груди.

И стоят горы, словно девичий хоровод, зеленой гирляндой, белогрудые, кудрявые, отраженные в реке, как в зеркале, и молча улыбаются кургану, но курган угрюм и печален: голый, каменный, он словно сжал и затаил в твердом сердце своем огромное, глубокое горе.

Из-за спины его глядит серое, голодное село с маленькой беленькой церковью.

Бедно живет Буян. Земли у буяновцев мало, и родит

она плохо; они умерли бы с голоду, если бы не кормилица-Волга, если бы не благодатные горы: весной у кургана бывает хлебная пристань, и буяновцы грузят, а летом они идут в горы, в каменоломни, и ломают камни.

Тяжел и суров их труд: каждый год во время ломки камня погибает их несколько человек, раздавленных каменной глыбой, и каждый день кто-нибудь возвращается с работы окровавленный. Оттого и характеры у буяновцев дерзкие, мрачные, оттого и пропивают они осенью почти весь свой заработок.

Вдали с кургана виден большой, красивый город. Днем он блестит на солнце золотыми головами церквей, а ночью горит красными огнями, словно тысячью пламенных глаз. И кажется, что многоглавый исполинский зверь днем и ночью смотрит на приволжские села, внушает им что-то и властно притягивает к себе своим огнем и блеском, как бы простирая к ним длинные лучистые нити, по которым льется ток его жизни, отзываются удары его сердца. Он не только вытягивает из этих сел жизненные силы, но и сам дает им в обмен что-то горькое и острое, блестящее и опасное, то, что мучит, но зажигает, что становится огненным оружием против него же. Можно подумать, что в дымящихся зданиях каменоломен, мельниц и кузниц, разбросанных по берегу у подножия гор, в зданиях, где мучатся порабощенные села и деревни, — сотни мускулистых рук уже куют богатырский меч освобождения.

А кругом, по обоим берегам громадной реки, день и ночь горят заповедные, вековые леса. Облака серого дыма вместе с запахом гари, разрежаясь, плывут над горами от горизонта к Волге, и над нею стоит серый, дымный туман.

Ночью по всему небосклону — то за лесистыми горами, то в далекой степи — пылает гигантское зарево, освещающее кровавым светом высокое ночное небо. Едва потушат пожар в одном месте, как огонь появляется в другом. Но крестьяне как бы не замечают лесного пожара, не любят говорить о нем. Лица их серьезны, уклончивая речь коротка и осторожна. Молчат крестьяне.

Горит огромное богатство, дивная красота, первобытный угол мира. Быть может, скоро пламя охватит милые кудрявые горы, обоймет каждую стройную сосенку, и запылает вся страна.

Тревожным настроением затишья перед грозой охвачено все кругом: и горы, и Волга, и старый, печальный курган.

Тревожнее блестит вдали каменный город, окутанный облаком дыма и пыли, напряженнее смотрит он в темную весеннюю ночь своими кровавыми глазами на тихие приволжские села, озадаченный тем, что со всех сторон приближается пламя.

Все молчит; молчит напряженно, тревожно, торжественно...

Лес разгорается...

II

Сельский учитель села Буяна, Дивногорский, сидел утром перед раскрытым окном своей маленькой квартирки, пил чай и поджидал к себе в гости мужика Мирона, обычного и почти единственного своего посетителя.

Дивногорский, длинный, нескладный юноша с первым пухом на румяных щеках, застенчивый, робкий и тупой на вид, был здесь учителем недавно и уже тяготился своим положением. Исключенный за малоуспешность из духовного училища, он долго шатался без дела и, наконец, чтобы не идти в солдаты, пристроился в учителя. Но ему претила возня с ребятишками, дерзкими и озорными, как и все на селе; ребятишки и мужики невзлюбили его, и он стал бояться их.

Юноша не ожидал, чтобы мужики могли быть такими, какими он их нашел, ему казалось, что они умнее его и желают дать это почувствовать: при всяком разговоре предлагают ему замысловатые вопросы и злорадно любуются его невежеством, ненаходчивостью и мальчишеским смущением.

А невежество свое он впервые почувствовал только здесь. Прежние учителя приучили здешних мужиков к воскресным лекциям, любительским спектаклям, за-

прещенным книжкам и всяким умственным разговорам. Обо всем этом Дивногорский не имел понятия, как будто жизнь его до сих пор проходила где-то в пустыне. И ему хотелось как можно скорее сложить с плеч непосильное бремя учительства.

«Уйду в дьяконы», — думал он, помешивая ложечкой простывший чай. Широкие белые брови юноши были низко опущены над маленькими серыми глазами, смотревшими угрюмо и грустно, а пухлые, сочные губы, чуть-чуть оттененные золотистым пушком, складывались в капризную детскую улыбку. Мысль о дьяконстве он уже однажды высказал сторожу, и сторож иронически одобрил ее.

Хотелось ему об этом поговорить еще с Мироном, молодым грамотным парнем, который за последнее время что-то часто повадился к нему приходить. В первый раз Мирон пришел недели две назад, и между ними произошел следующий разговор:

— Здравствуйте.

— Здравствуй! Чего тебе?

— А до вашей милости, Иван Петрович, с докукой.

— С какой?

— А вот вы люди ученые, всякие умные книги читаете.

— Ну, так что же?

— А мы мужики-дураки, ничего не знаем...

— Ну?

Мирон осклабился.

— Нет ли у вас какой книжечки почитать?

Дивногорский не ожидал такого вопроса и запнулся.

— Есть у меня книги, да ведь они... того...

— Чего?

— Не разрешены для вас, для мужиков...

Мирон словно ждал такого ответа.

— Как это не разрешены? Для всех разрешены, а для нас — нет? Отчего? Почему такое?

На учителя посыпался дождь щекотливых вопросов. Юноша растерялся. Вопросы Мирона казались заранее обдуманными, и учитель дал ему книгу из «неразрешенных».

Но Мирон не отвязался. Через два дня он опять пришел — возвратить прочитанную книгу — и опять завел

разговор в форме вопросов, которыми он как бы вытягивал желаемые ответы. Дивногорскому было не по себе.

— А вот, — завел Мирон, уже развязно сидя на стуле перед стоявшим учителем, — есть ищо одна книга по этому самому, как бы сказать, вопросу...

И он, смешно перевирая, с трудом выговорил какое-то иностранное слово.

— Вы, чай, знаете ее? Читали?

— Нет, не читал... — сконфузившись, произнес юноша.

— А я читал! — неожиданно заявил Мирон и медленно вытащил из кармана истрепанную книгу. — Не желаете ли почитать? Примечательная книга.

С тех пор они стали обмениваться книгами, а визиты Мирона стали почти ежедневными.

«Мужик, — с досадой думал про него Дивногорский. — Какой он мужик — он студент! Нахватался где-то верхушек, брошюр, книг, обо всем толкует, обо всем знает, выписывает какую-то газету... что я ему дался? Зачем ходит?»

И у него к Мирону зародилось двоякое чувство: завистливой вражды и невольного уважения. Ему хотелось сравняться с Мироном в развитости и выйти из того унизительного положения ученика, в котором он нечаянно очутился.

Он смотрел в окно и все хмурился. Весеннее утро было тихое, отрадное. На широкую сельскую площадь, заросшую зеленой травой, падала горбатая тень кургана. Волга тихо дрожала на солнце. У берега чернела длинная купеческая баржа, которую крючники-буяновцы уже более недели с перерывами нагружали чужим хлебом, а теперь почему-то забастовали, и кажется, что забастовкой руководил Мирон.

За дверью послышались тяжелые, быстрые шаги; учитель обернулся. На пороге стоял улыбающийся Мирон. Он вошел, и Дивногорскому показалось, что все кругом стало яснее, веселее и проще, а сам Дивногорский почувствовал себя более умным и более нужным для людей, и все это произошло, должно быть, от широкой улыбки Мирона, от его сияющих серых глаз и всей крепкой, бодрой фигуры.

— Здравствуйте, Иван Петрович! Чай да кофей,— звучным тенором громко заговорил Мирон.

— Милости прошу! — улыбнулся и Дивногорский.— Садись за компанию.

— Милости прошу к нашему грошу со своим пятаком! — досказал Мирон, садясь, и засмеялся рассыпчатым смехом.

Он в самом деле походил на студента из крестьян: это был крепыш лет двадцати семи, блондин, с маленькими белокурыми усами, с красивым загорелым лицом. Серые глаза его искрились умом, хитростью и весельем. Такие лица бывают у бедняков-студентов и у некоторых рабочих. Волосы он стриг ежиком, одевался в синюю рабочую блузу и высокие сапоги. Но, походя на студента, он все-таки оставался мужиком: он был крепкий, ядреный, сочный, как морковь, только что вытащенная из влажной, теплой земли. Он весь был насыщен запахом солнца и поля.

Мирон придвинул к себе стул, сел к самовару и, кивнув на открытое окно, спросил:

— Любуетесь?

— А чем тут любоваться? — угрюмо ответил учитель.

— Как чем? Лес горит! Казенный лес! Вы сходите на курган да оттудова поглядите: так и полыщет! Дымище надо всей Волгой столбом стоит! Страсть! Вот, брат, Иван Петрович, до чего дошло.

— Отчего же он горит? — пробурчал учитель, хмурясь и прихлебывая чай.

Мирон слегка отодвинулся от стола, прочно уселся на стуле, как раз против учителя, расставил короткие ноги в тяжелых сапогах, уперся руками в колени, глубокомысленно нахмурился и воскликнул своим звучным грудным тенором:

— Как отчего? Да мужики же поджигают! Неужто не знаете? Стражники давно уж перестали тушить — все равно никакого толку не выходит, вроде того, как бы насмех: в одном конце зальют, а хвать — с другого занялось. Рази можно что поделать супротив народа? Все сгорит!

— Неужели? — изумился учитель, близко нагнувшись к Мирону и глядя ему в лицо.

А светло-серые глаза Мирона сияли каким-то особенным, привлекательным огоньком. Он пришел, точно до краев переполненный какими-то большими чувствами.

— Весь народ, — продолжал Мирон самоуверенно, — зашевелился! На том берегу что делается — слышали? Васильевцы забастовали ренду платить, говорят: не дадим одиннадцать рублей за десятину, хотим пять. А в других которых деревнях и того не платят: давайте, говорят, нам землю даром, потому что наша она — крестьянская!

Мирон энергично тряхнул головой, стукнул себя по колену и воскликнул, сияя глазами:

— И дали даром! Ого!

Он весь дышал злорадным торжеством. Широкая синяя блуза облегала его плечи, и заметно было, как высокая плотная грудь Мирона глубоко и свободно дышала.

Учитель, облокотясь на подоконник и вытянув свои длинные, худые ноги в коротких брюках, молча смотрел на него, слушал, заражался его самоуверенностью и ощущал желание так же волноваться, иметь такую же объемистую грудь, как у Мирона, и таким же звучным грудным голосом говорить о народе.

— Димакраты! — неожиданно воскликнул Мирон. — Они говорят этак, иные прочие господа — так! — Он повернул растопыренную ладонь сначала в одну, а потом в другую сторону. — И все промеж собой спор ведут! — Он развел руками, пожал плечами и глубокомысленно нахмурился. — Не нам их разбирать! Мы, мужики, знаем одно: землю! Там вы как хотите, а нам перво-наперво землю подайте! Нарежьте нам землю, а потом мы уже поглядим и сами разберем всю нашу нелягальную литературу.

Мирон чуть было не подавился двумя последними словами, но выпалил их самоуверенно.

— А не дадите — сами возьмем! — добавил он гордо.

Когда он заговорил о земле, лицо его преобразилось, приняло одухотворенное выражение, глаза сверкали, грудной голос тепло вибрировал. И чувствовалась в нем могучая жажда земли, нежная любовь к ней. Он

словно сжал и затаил в сердце что-то огромное и тяжелое, и только слово «земля» могло всколыхнуть затаенное.

Сильным человеком показался он в эту минуту Дивногорскому.

— Да будет ли все это когда-нибудь? — жалобно спросил учитель. — Победит ли народ?

Мирон словно загорелся весь.

— Будет! — с необыкновенной силой убеждения ответил он. — Победит! Восторжествует правда!

Глубоко взволнованный, он замолчал и, глядя на собеседника блестящими глазами, полными слез, почти прошептал трепещущим от сильного чувства голосом:

— Настал великий час!

Оба торжественно замолчали. Сердце Дивногорского трепетало. Словно волна прокатилась и захватила их или огненная искра, родившись в душе одного, проникла в сердце другого и обожгла...

Слезы из глаз мужика сверкнули и высохли, голос опять зазвучал ровно и твердо, но долго еще после этой минуты сердце юноши продолжало гореть и трепетно биться.

Мирон придвинулся к нему ближе, наклонился к самому лицу и заговорил тихим, таинственным голосом:

— В Ключах мужики землю захватили у помещиков. Выехали в поле и давай пахать... Конечно, скачет стражник верхом. «Что вы делаете?» А ему говорят: «Не лезь! Рази не видишь? Весь мир здесь».

Голос Мирона опять затрепетал и зазвенел, как струна, лицо словно осветилось изнутри, глаза сияли.

— Весь мир! — повторил он, вставая и наклоняясь к другу; в мерцающих глазах Мирона были восторг и любовь, детская вера и сила внушения. — Мир!..

Он хотел было разъяснить смысл этого слова учителю, но только махнул рукой и стал продолжать:

— Стражник поглядел, видит — народу много, что с ним поделаешь, с народом-то, подумал и говорит: «Братцы, я и сам знаю, что ничего против вас не могу, да ведь — служба, взыщут с меня! Вон управляющий на меня в окошечко глядит. Пожалейте, притворитесь,

будто бы я вас прогнал, так — для близиру, а когда уеду — опять пашите!»

Ну, мужики пожалели его, повернули назад, стражник уехал, а они воротились. Управитель все это видел и присылает сказать им: «Хочу, дескать, добром поговорить с вами, соберитесь к моему крыльцу». Мужики послушались, пришли. Вышел на крыльцо старичишко, Мосеем его зовут, я его знаю: хитрый, из мужиков он, и вся мужицкая душа наизусть ему известна. Поклонился на обе стороны всему народу, сделал харю ласковую и говорит: «Православные! Не я хозяин земли, мне все равно, а только я добра вам хочу, потому как и сам мужик. Ну, хорошо, запашете вы землю... ведь должны вы знать, что даром это вам не пройдет: приедут казаки, начальство, что тут хорошего? А не лучше ли, говорит, сделать так: я вам земличку-то вспашу и посею на ней, а время придет — уберу, обмолочу и в амбар ссыплю. А вы осенью придете на все готовенькое и возьмете? Ась?»

Мирон, изображая управляющего, заговорил смешным старческим голосом и состроил такую комическую рожу, что учитель не выдержал и расхохотался.

— Ах, чертова ноздря! — воскликнул он, заливаясь тонким бабьим смехом, и брыкнул ногами. — Ну, что же мужики-то?

— Мужики? — ухарски переспросил Мирон. — Мужики задумались, помолчали маленько, а опосля того говорят ему: «Верно!»

И опять он изобразил из себя мужиков, которые задумались над ехидным предложением старичишки, неуклюжие мужичьи фигуры, простодушные рожи и легковерие на этих рожах.

— Хи-хи-хи! — взвизгивал развеселившийся учитель. — Чудак ты, брат Мирон! Как это все у тебя ловко выходит! И откуда ты все знаешь? Я вот, например, про здешнюю забастовку — и то ничего не знаю.

— А что же, вам рази надо про нее знать? — серьезно спросил Мирон.

— Очень любопытно! — вспыхнув, признался юноша.

— Ну, так я расскажу вам...

Мирон опять отодвинулся от учителя, облокотился

на спинку стула, положил ногу на ногу и стал рассказывать.

— Составилась нас артель, — начал он деловым, обстоятельным тоном, — в двести пятьдесят человек. Прежде-то всегда по четыре рубля с тысячи грузили, а теперича захотели наши грузчики свою цену поставить. Отрядили меня съездить в город — цены узнать. Поехал я. Вижу, в городе все бастуют, грузчики — тоже, и мы забастовали на десяти. Тогда купец бросился в степные деревни и набрал там пока что человек тридцать по старой цене. Мы им сказали: «Что вам за охота — по четыре, когда мы хотим не только для себя, но и для вас десяти достигнуть. Ведь вас тридцать, а нас двести пятьдесят, вашей смене раз в неделю придется грузить. Много ли заработаете? Проедите больше!» Ну, они сейчас же перешли на нашу цену и стали вместе с нами бастовать. Он — другую артель, и другая к нам пристала. Делать нечего — согласился. Поработали немного, опять вчерась забастовали: просим двадцать.

— Ну, это, пожалуй, не того, нехорошо, — возразил учитель.

— Нехорошо-о? — иронически протянул Мирон и вдруг побледнел, на лице его выразилась ненависть, тонкие ноздри расширились, глаза сверкнули недобрым огнем, и весь он, энергичный и дикий, напомнил какого-то красивого, опасного зверя. — Нет, это хорошо! — крикнул он. — Купец-то ведь скулил: «Что вы со мною делаете? Это раздеванье нашего брата! Я, говорит, в город поеду, губернатору донесу, казаков сюда потребую, усмирю вас!» А я и говорю ему: «Ваше степенство! Сколько лет мы чуть не даром на вас работали, когда была ваша сила, а ведь не ездили к губернатору усмирять ваш аппетит! Отчего же вы-то, говорю, теперь о казаках мечтаете? Что у нас здесь? Беспорядки али бунт? Ничего, мол, такого нет! Напротив того — у нас, ваше степенство, теперича оч-чень даже тихо! А ежели вам кажется, что от нашей забастовки ваша милость чахнет и хиреет, то, мол, у вашего степенства еще многонько осталось». Подошел и пальцем ему в толстое брюхо ткнул.

Мирон зло засмеялся и начал ходить по комнате.

Учитель сконфуженно следил за ним глазами и не находил возражений.

Успокоившись, Мирон опять заговорил:

— У нас ведь на самом деле теперича во всем селе тишина: ни драк, ни песен. Винную лавку закрыли приговором, всем селом согласились так, чтобы не пить, — не такое время. Мужик теперь должен быть постоянно трезвый, потому что пьяный он не вытерпит, разгорячится и выболтает что-нибудь секретное... У нас только один раз и отпирали казенку, когда намедни исправник приезжал и с похмелья был...

Мирон стоял посреди комнаты, широко расставив ноги, и, потрясая поднятой кверху рукой, ораторствовал перед учителем:

— Протрезвились мужики! Проспались! Призадумались. Помяните мое слово: будут теперь дела у нас!..

И как бы вспомнив что-то, Мирон развеселился и прервал самого себя.

— А поп-то наш!.. — весело вскрикнул он. — Слышали, как он проповедь сказал про нашу забастовку?

— Нет, я не был, — сказал учитель.

— Не были? Скандал вышел в церкви! Пошли мы с отцом моим певчих послушать в воскресенье к обедне... Ладно. Вот поп вышел проповедовать. «Горе вам, — говорит, — братие. Ефто все внешние и внутренние враги устраивают у вас ваши окаянные забастовки. Все, говорит, будьте довольны тем, что у вас есть, а лишнее — ближнему. А кто ближний? Начальники». Тут мой отец не вытерпел, протолкался к нему поближе да как заорет ему на всю церкву, проповедь перебил: «Батюшка! У нас вот земли нехватка, а у помещиков много ее. Что же они с нами не поделятся?»

Голос Мирона опять дрогнул уже знакомой учителю струнной дрожью, лицо преобразилось, на глазах сверкнули слезы. И опять волна сильного чувства охватила обоих, а жгучая искра, рожденная одним сердцем, вновь зажгла другое. Слово «земля» гремело в душе Мирона, оно потрясало ее, жалило в нем сердце.

— Остановился поп и отвечает строго: «А это, говорит, кому сколько дадено свыше; овому талант, овому два». Тут вся церква так и загудела: «А! хорошо попу

говорить! Он сыт!» Отец мой подступил к нему совсем близко, головой мотает, длинную бороду вперед выставил, весь дрожит со зла, лысина светится, кафтан распахнул, уперся в боки, да и говорит ему: «Эх ты, поп, поп ты и есть! Пустозвон ты, пустосвят! Все-то ты врешь, да еще и писания не знаешь! Понимаешь ли ты, что значит талант, в каком смысле и к чему про талант в писании сказано?» и пошел, и пошел чесать... А народ галдит, никто никого не слушает, скандал! Поп — тягу в алтарь, а народ весь из церкви разошелся с руганью, с гвалтом, со злостью...

Мирон выпрямился и воскликнул, смеясь:

— Вот так обедня была!

Он жестикулировал перед учителем, в лицах изображая попа, своего отца и мужиков, а учитель, не спуская с него глаз и съежившись на стуле, жадно слушал его рассказы. Он думал о попе и о том, что такое талант... И талант казался ему то могучей волной любви одного человека к другим людям, то жгучей искрой, рожденной сильным сердцем и зажигающей слабые души. В голове его смутно мелькала мысль, что, пожалуй, не стоит уже уходить в дьяконы, потому что тогда Мирон, наверно, лишит его дружбы, прекратит свои интересные посещения и что надо как-нибудь так жить, чтобы возвыситься во мнении Мирона. Но как же? Что нужно делать?

— Приходи ужо на курган! — как бы отвечая на его мысли, сказал Мирон и взялся за картуз.

— А что? — спросил вдруг учитель.

— Будет собрание трезвенников, всего нашего кружка сознательных мужиков.

— Приду, непременно приду! — радостно забормотал учитель, вставая во весь свой длинный рост и возбужденно махая руками. — Я теперь — вот что: я прямо — ваш! Да, поверь мне, Мирон, милый ты человек, ей-богу!.. Примите меня, пожалуйста, в этот ваш мужицкий кружок! А? Может, и я пригожусь вам на что-нибудь? Ну, хоть писарем, что ли...

На глазах юноши сверкнули слезы.

Мирон снисходительно засмеялся.

— Ладно, ладно! — сказал он, протягивая учителю сильную загорелую лапу. — Там видно будет. Парень

ты хороший... только не ходи в дьяконы: не к лицу это учителю!

— Ни за что! — вскричал учитель. — Какие там к черту дьяконы! Я с вами!..

— Ну, то-то...

— Это я так, сдуру болтал, а теперь у меня голова просветлела, ей-богу, голубчик Мирон!

И приняв степенный вид, юноша деловито спросил:

— Насчет чего будет собрание?

— Михайлу Васильевича судить будем! — спокойно ответил Мирон.

— Судить? Агронома? — изумился Дивногорский.— Это за что же?

— А там увидишь... Недовольны им мужики. Начал он назад пятиться, как рак... А мужики на уме держат много... Вот теперь леса горят, — широко махнул он рукой, — а придет осень, усадьбы запылают! Да!

Глаза Мирона сверкнули ненавистью.

Озадаченный учитель немножко попятился от мужика.

— У меня в аккурат есть книжечка для вас по этому самому, как бы сказать, вопросу, — продолжал с прежним спокойствием Мирон и полез в карман штанов; он вытащил оттуда маленькую, сложенную вчетверо книжечку и молча сунул ее учителю.

— Это что? — спросил тот, с любопытством перелистывая тонкую бумагу.

Тогда Мирон оглянулся по сторонам, близко наклонился к плечу учителя и, понижая голос почти до шепота, сказал сильно, многозначительно и любовно:

— Не-ля-га-шка.

Учитель вздрогнул и застыл на месте с «нелегашкой» в руке. Рот его раскрылся, сердце горело.

— Ничего, ничего, — успокаивал его Мирон, уходя, — займись.

Глаза их встретились, и оба они почувствовали, что теперь уже заключен между ними прочный, важный союз, как будто за время разговора души их наконец соприкоснулись, и одна из них, горящая, победила другую — темную.

III

На затылке кургана, там, где по отлогому зеленому склону росла кудрявая роща, собралось на поляне человек двадцать — тридцать мужиков. Немного пониже горной дороги, в тени деревьев, на горбе кургана, пестрели они своими разноцветными рубахами.

Тут были пожилые кудластые головы, густые черные и рыжие бороды, лапти, сапоги, босые ноги. Молодые парни были в блузах и брюках и носили длинные волосы, закинутые назад.

В центре всей группы, в позах противников, сидели друг против друга Мирон и земский агроном Михайло Васильевич, давнишний друг и руководитель буяновцев. Рядом с Мироном сидел учитель.

Агроном и Мирон спорили.

Все слушали.

Михайло Васильевич был худенький, маленький человечек, в пиджаке, косоворотке и высоких сапогах. Бледное нервное лицо его с подстриженной остренькой бородкой, в которой уже пробивалась кое-где седина, казалось измученным.

Он полулежал на траве, нервно комкал и кусал сорванный стебель и внимательно, враждебно слушал. Говорил Мирон.

— Пятнадцать лет! — звучал его грудной голос. — Пятнадцать лет ты шептал нам каждому поодиночке, а которым чуть ли не сызмальства: «поднимайтесь», а мы спали, ходили впотьмах, боялись, как маленькие ребятишки. Мы тогда, правду сказать, мало что у тебя понимали. А все-таки мы думали: ежели придет это время, то уже никто, как он, пойдет у нас впереди.

Мирон сидел в центре всей толпы, поджав под себя ноги, нервно возясь на месте и сдвинув картуз на затылок. Лицо его было серьезно, брови нахмурены, плотная грудь глубоко дышала — что-то сильное хотел он сказать и не находил подходящих слов. Он перевел дух, отер пот со лба и хмуро задумался. Учитель подобострастно смотрел ему в лицо. Толпа молчала.

По густым сочным ветвям берез, лип и вязов скользил теплый весенний ветерок, и листья тихо, задумчиво

шелестели. Сквозь темно-зеленую листву мелкими бликами пробивалось золото солнечного света и падало пятнами на густой зеленый ковер травы. Солнце садилось за потемневшие горы. С кургана раскрывался громадный горизонт: была видна Волга, вся гряда Жигулевских гор и безграничная ровная степь. Темные горы разостлали по Волге свои черные, как тучи, тени, а вдали, в матовой дымке вечернего тумана, гасли на солнце золотые главы церквей большого каменного города. С грустью задумалась Волга, все мрачнее и мрачнее становились тени.

Над лесом стоял дым.

Нежною, печальною грезой, восточной сказкой веяло кругом.

Вся страна была как мучительно-грустная песня о скованной силе, о задавленном гневе...

— Выслушай ты нас, пойми ты нас! — нервно звенел голос Мирона. — Мы терпели, и отцы наши терпели, и деды и прадеды терпели... Мы сотни лет терпели... А когда мы спрашивали, где правда, нас усмиряли, секли, сажали в остроги, и мы опять терпели. Конца не было нашему терпению... Будь оно проклято — мужицкое терпение! Кровавыми слезами мы поливали вот эту каменистую землю, костями своими удобряли ее. И — терпели...

Толпа беспокойно зашевелилась и глухо, невнятно застонала: не было слов и не было ясных восклицаний— был только стон и вздох одной общей груди.

— Но вот пришел конец терпению... мы пришли к тебе и сказали: «Веди нас, указывай, что нам делать; мы согласны». А ты что нам сказал? Ты испугался первый! Ты не ведешь нас и прочь не отходишь, и даже — мешаешь нам! Зачем же ты нам столько лет говорил, коли слов своих не можешь оправдать на деле? Вспомни, как ты нам возвещал о правде и учил, как надо стоять за нее, жертвовать всем, что только есть у тебя, оставить все, что дорого сердцу, — жену, отца и мать, — и идти. И когда у нас открылись глаза — вспомни, легко ли нам было исполнить то, что ты требовал? Мы по ночам ходили к тебе, а наши жены не знали, куда мы ходим, допытывались, плакали... Эх! Бывало, сердце переворачивается, когда воротишься домой под утро, а

жена-то на крыльце сидит, и все ждет, и все плачет, и не понимает ничего. Да как начнет молить, чтобы сказал, кто ее разлучница, да головой об землю биться, да обмирать, — так света божьего не взвидишь! Я свою-то жену тогда под навесом с вожжей снял, да целый год она, бедная, не в своем уме была — вот до чего доходило!.. А рассказать, открыть — нельзя было: страшную клятву взял ты с нас, ты учил нас тайну свято хранить! И мы сохраняли. А старики воевали с нами из-за бога, из-за церкви, из-за постных дней!.. Что только было в семьях, — какой содом!.. какая распря! Но для нас твои речи были как новая вера, за которую мы все с радостью готовы пострадать!..

Ты посмотри-ка теперь на село, — что с ним стало? Все ходят со светлым лицом. А у тебя, скажи-ка, признайся, что на душе? Кажется нам теперь, что один только страх у тебя там, страхом полна вся твоя душа!.. Ну, так что же? Ступай куда-нибудь от нас подальше, на спокой, мы тебя не неволим, только хоть не мешай ты нам. Кончилось время, когда по задворкам-то шептались, пора громко говорить... Настал час идти нам всем добывать свое мужицкое счастье...

Слова о мужицком счастье Мирон произнес торжественно, глубоким голосом. Этот крепкий грудной голос дрогнул всем знакомой огненной дрожью, лицо Мирона преобразилось, глаза сверкнули слезами. Он стоял перед изможденной фигурой Михайла Васильевича, словно вылитый из бронзы, сильный, молодой, вдохновенный.

— Не становись на дороге, Михайло Васильевич, уходи, — прошептал он, энергично тряхнув головой.

У Михайла Васильевича дрожали руки, мигали глаза, судорожно подергивались беззвучные бледные губы. Толпа молчала.

Внизу, рядом с курганом, серели крыши изб, тянулась, как лента, дорога, исчезавшая за селом в сосновом лесу.

У берега чернела длинная баржа, от которой были спущены мостки на берег. На берегу виднелись мешки с хлебом. Толпа народа в цветных рубахах усеяла берег. Она все увеличивалась; к ней со всего села

сползались люди. Все внизу уже тонуло в сумерках, и только верх кургана освещался красными лучами солнца.

— Верно ли я сказал? — спросил Мирон, обращаясь к собранию.

Толпа молчала. В ней копилась тяжесть, готовая оторваться и упасть, как нависшая капля.

— Верно! — вдруг резко вымолвил кто-то.

И тогда что-то прорвалось и хлынуло. Все загалдели разом.

— Верно! Верно! Все сказал!

— Пора в отставку! Ха!

— Отобрать доверенность!

— Пусть уходит! Невозможно с ним!.. Не согласны!..

Михайло Васильевич побледнел. Губы его искривились, глаза замигали, левая бровь подергивалась.

— Господа! — шевелил он губами, озираясь на все стороны.

— Уходи! — кричали кругом возбужденные, враждебные лица.

Михайло Васильевич переводил растерянный взгляд с одного лица на другое, желая найти хоть одно сочувствующее, и не находил. Он стоял на бугре один перед бунтовавшей толпой.

— Уходи! — галдели мужики.

Тогда он сделал отчаянный жест, прося слова, и толпа мало-помалу стихла.

Михайло Васильевич заговорил хриплым, дрожащим от волнения голосом. Сначала он заикался и подбирал слова, но потом овладел собою и стал говорить свободнее, горячо жестикулируя и пронизывая мужиков колющим, проницательным взглядом.

— Постойте! — крикнул он. — В чем дело?.. За что вы гоните меня?.. Не за то ли, что я пятнадцать лет воспитывал, развивал, учил вас? Пятнадцать лет шептался с вами по задворкам? Но как бы я мог иначе говорить, если бы не шептался? Я шептал вам великие слова... слова о правде... о человеческом счастье... о том, чтобы вы поднялись когда-нибудь... Я налагал на вас страшные клятвы, и вы держали их, вы повиновались одному моему слову, вы всегда верили мне... И оттого я пробыл с вами так долго и создал вас! Не за то ли

вы гоните меня, что я отдал вам лучшую часть моей жизни, или, может быть, за то, что я любил вас, как своих детей?

Теперь — дальше: вы укоряете меня за то, что вы решили «подниматься», а я не соглашаюсь вместе с вами, не исполняю моих слов на деле... Но как вы поднимаетесь? Стихийно! Вы поджигаете лес, открыто захватываете землю, собираетесь громить помещиков! Мне не жалко леса и не жалко помещиков, мне жалко вас: вас разгромят казаки, вас перебьют, рассажают по тюрьмам! Погибнет мой труд, погибнет все, над чем я трудился пятнадцать лет! Если за это вы гоните меня, то я откровенно заявляю вам: да, я не пойду впереди вас, я буду останавливать вас на этом пути до тех пор, пока не будет обеспечена победа! Я умоляю вас: подождите, готовьтесь понемножку, потихоньку, не вступайте в открытую борьбу... Я всю жизнь боялся, всю жизнь хитрил и говорил шепотом — и теперь уже не могу ничего иначе и не верю еще, что настало время громко говорить!.. Может быть, придет время, когда я решусь и докажу своею смертью, что не смерти я боялся! Послушайтесь меня, как слушались прежде, не выходите под выстрелы, поберегите себя... вы — мужичья интеллигенция, вас мало! Вас перебьют свои же, темные, несознательные односельчане.

Вы подумайте только, что начинается теперь в деревнях: все перемешалось, перепуталось, какая-то всеобщая смута, льется кровь, отнимают землю, лес загорается...

— Будет! — крикнули ему. — Поздно тушить! И не тебе бы за это дело браться! Сказано — уходить!

— Довольно, Михайло Васильевич! Брось вожжи! Теперь мы сами хотим, одни, без тебя! Не хотим постарому!

Мужики размахивали руками и возбужденно шумели:

— Врут, всех не перебьют!

— Чего тут? Уходи домой!

— У нас Мирон будет заместо тебя!

— Не хочешь быть впереди, так останешься сзади!

— Он — ни взад, ни вперед!

— Стара стала — уставать стала!

Краска сдержанного гнева залила бледные щеки агронома.

— Прощайте, больше не о чем говорить! — прерывающимся голосом резко крикнул Михайло Васильевич. Он весь перекосился, безнадежно махнул рукой, повернулся от мужиков и стал спускаться с бугра вниз по откосу. Ноги его скользили по влажной траве, и он, прыгая, побежал вниз, раскинув руки, как подшибленные крылья. На бегу он цеплялся за кусты и камни, падая то в одну, то в другую сторону, и был в то время похож на подстреленную птицу.

Он бежал все быстрее, спотыкаясь и поднимаясь, и наконец пропал из глаз.

Солнце погасло за горами, и только широкое кроваво-золотое зарево весеннего заката великолепно пылало и медленно гасло на причудливых облаках. Закат был гневным: его золотистые краски чуть заметно багровели, сгущались, темнели и блекли. А уже все кругом одевалось мягкими печальными тенями, погружалось в густую теплую тьму. И на все легла печать грусти и величавой, строгой думы: как будто великий гнев и безмолвную смертельную боль затаило в себе могучее, молчаливое сердце.

Вдали задрожали бесчисленные серебристые городские огни. С темнеющего неба одна за другой стали выглядывать любопытные милые звездочки, а над лесом ясно обозначалось грандиозное зарево пожара. Угасающий закат перелился в грозное, живое пламя.

Казалось, что за гребнем темных, угрюмо-задумчивых гор бушует огненно-кровавое море, что оно идет все ближе и ближе, охватывая лес.

Алые волны рдели, вздымались и падали, и опять вздымались, а над ними пылало небо.

Свет колоссального пожара озарял весь курган от подошвы до вершины фантастическим красноватым сиянием, и оно возбуждало людей, раздражало и звало куда-то.

Внизу, около подошвы кургана, отблески огня освещали огромную черную толпу народа, — она копошилась и сердито ворчала.

От околицы села скакал к ней отряд казаков; с кургана было видно, как болтались за их спинами ружья,

Мужики на кургане все обернулись лицом к Мирону.

Освещенный красным заревом, в рубахе, с шапкой на затылке, приставивши щитом ладонь одной руки к глазам, а другой отстраняя от себя учителя, который хотел ему что-то сказать, он стоял выше всех, на бугре, откуда только что сошел Михайло Васильевич.

Лицо Мирона выражало напряженное, сумрачное внимание, глаза стали острыми и, словно впиваясь во что-то, грозно смотрели из-под густых, сдвинутых бровей поверх их голов, туда, где готовилась битва.

В воздухе пахло дымом.

Лес разгорался...

1905

ПОЛЕВОЙ СУД

За Жигулевскими горами прячется маленькая речка Уса. Начинается она в лесу, около села Переволоки, в полуверсте от берега Волги, течет меж гор навстречу ей, похожая на ее отросток или «ус», и, перерезая наискось Самарскую луку, впадает в Волгу верст на двести выше, около Молодецкого кургана.

Если от Переволок ехать по этой реке, а не вверх по Волге, то можно через несколько часов очутиться по другую сторону луки и таким образом, плывя по течению, впятеро сократить расстояние.

В старину Усой пользовались волжские разбойники: они нападали на караваны около Переволок; если суда убегали от них, то переволакивали свои челноки на Усу, обгоняли суда и вновь грабили их у Молодецкого кургана.

И река Уса до сих пор сохраняет свой прежний разбойничий вид: она течет в Жигулевских дебрях, меж скал и ущелий, дикая, безлюдная, то исчезая в лесу, то снова внезапно появляясь, то широкая и спокойная, то как бурный поток мчится по зубчатым порогам. Высокие крутые берега ее покрывает старый сосновый бор, и ни разу нигде не встречается жилья человеческого. И тихо бывает кругом, когда плывешь по ней на челноке с косым волжским парусом. Места здесь все заповедные, леса — дремучие, и стоят заросшие лесом горы все такими же дикими, как и сотни лет назад. Что ни дальше плывешь по Усе, — берега идут все выше и угрюмее: река бежит под висящими скалами по темному ущелью на дне пропасти; высоко в небе громоздятся скалистые вер-

хушки гор, похожие на зубчатые хребты сказочных чудовищ или развалины замков, а старые сосны, качаясь от ветра, гулко поют буйные песни или угрюмо шепчут друг другу жуткие разбойничьи сказки. Ветер в этом ущелье ежеминутно меняется, из-под каменных берегов звенят подземные ключи и чернеют пещеры, полные темной воды.

Стоит на Усе высокая обрывистая «Девичья гора»; по преданиям, с нее когда-то, сотни лет назад, сбросили девушку в Волгу, невинную чистую девушку; и с тех пор каждую весну горит село Девичье, горит весеннею ночью, а на горе, в зареве пожара, видят будто бы люди ее огненный, мстительный образ. Уже позабыто теперь, за что ее сбросили...

Есть тут урочище «Воеводино»: стоял над Волгой красный терем с высоким окном, воеводин терем, и любила жена воеводы удалого разбойника, на легкой лодочке приплывал он к ней, свистал по-соловьиному, в терему отворялось окно, и по веревке она принимала к себе атамана. Но в последний раз не воротился он из терема: только лодка плыла без него по течению, а за нею — молодецкая шапка с красным верхом, с золотой кистью...

. . . .

А вот мрачная Кудеярова гора. Кровожаден, жесток и мстителен был Кудеяр. Лил, как воду, кровь человеческую, любил похищенную красавицу и держал ее взаперти на вершине горы. Кончил жизнь свою Кудеяр монашеством: стал грехи свои замаливать.

Есть на Усе двенадцать малых курганов — могилы двенадцати братьев. Позабыто уже, что это были за братья.

Все кругом обвеяно поэтической песней, седой легендой. И начинает казаться, что между стволами старого бора, что всходит прямыми рядами на вершины гор, мелькает кто-то безмолвный, кто-то величаво-печальный, могучий, в златоверхой шапке, в дорогом кафтане с оторочкой.

И так жутко становится в этой мрачной тишине, что хочется крикнуть, хочется слышать обычный человеческий голос. Но этого только и надо горам: волшебное

эхо подхватит несколько слов и долго будет повторять их громовым, нечеловечески мощным голосом.

Тени далекого прошлого обитают здесь. Воинственные, смелые, сильные люди когда-то жили здесь, и жизнь их была вольной, и гибли они в борьбе за волю...

Давно уже нет их.

И хочется знать, кто живет здесь теперь, где потомки тех сильных людей, настоящих хозяев этой страны, поливавших ее кровью своей.

Как бы в ответ на эти мысли, неожиданно выносится Уса из глубокого ущелья в привольную долину, окруженную подковой гор, задумчиво глядящих на Селитьбу — серое, печальное, нищенски-бедное село, что приютилось в долине на берегу реки, убогое село среди роскошно-величавой природы.

Тут же впадает Уса в широко разлившуюся Волгу, так широко, что чуть виден простым глазом луговой плоский берег ее.

При слиянии рек, выдаваясь вперед, как на страже, стоит грозный Молодецкий курган — сказочная голова гиганта с морщинистым, угрюмо-страдальческим каменным лицом, с нахмуренным лбом и зеленым бором вместо волос. И бьются певучие волны о печальное лицо его, и шевелится под ветром звенящий бор. А угрюмый курган глядит на соседние зелено-кудрявые, ласково-спокойные горы, отраженные в мощной зеркальной реке, и хмурится и вечно думает свои старые разбойничьи думы.

И так хорош, так целомудренно хорош этот благодатный край, столько в нем глубокого покоя, приветливой ласки и нежной грусти, такою дышит он думой и силой, ширью и волей, что хочется позавидовать людям, живущим здесь, что невероятным и невозможным кажется в краю этом горе людское.

I

Более чем сто тридцать лет прошло с тех пор, как весь этот чудный приволжский край — эти реки, земли, леса и горы — стал родовым графским достоянием; в неприкосновенном виде переходит это маленькое царство

из рода в род старой графской фамилии, представители которой никогда не живут здесь. Но Селитьба древнее старого графского рода: в маленькой старой церковке до сих пор хранятся старые летописи, в которых рассказана странная история села.

Еще при царе Иване Васильевиче Грозном пришли сюда вольные люди, новгородские ушкуйники, пришли с пищалями и бердышами, прогнали отсюда какое-то басурманское племя и «окопались около кургана».

Жили они в постоянной борьбе с кочевыми племенами, но утвердились и стали границей царства Московского, стали постоянной угрозой для врагов его.

Подвиги воинственной Селитьбы оценил царь Алексей Михайлович: всю прилегающую к Селитьбе долину даровал он им, и дарственная царская грамота из поколения в поколение сохранялась старейшими людьми Селитьбы.

И долго жили они среди непроходимых дебрей, скрытые от чужой жизни горами и лесами, и долго никто не знал о них. Век проходил за веком, а дети леса жили без перемен, все так же, как и прежде, и знали только свою землю, лес и горы. Потом отыскало их крепостное право, покорило и ввело в колею. А при Екатерине они были подарены вместе с землей, с телом и душой в «майоратное» вечное владение «великолепному» графу и всему его потомству. «Царская грамота» стала ненужной, ее забыли, потеряли. Осталась только глухая, неистребимая, незабываемая легенда о ней. И старики рассказывали внукам сказку «о царской грамоте».

Потом пало крепостное право.

Мужики пошли на малый надел и оказались без клочка земли, окруженные владениями графа.

И превратились они в рабочие руки графских имений, обрабатывая барскую землю после воли так же, как и до воли.

Она, эта «воля», как будто прошла мимо Селитьбы, не коснувшись ее.

Ушла она от них за леса и горы, а они остались, как и прежде, неподвижными, жили покорно и недоуменно страдали.

Только с новою силой стала оживать сказка о про-

павшей царской грамоте, только еще больше украсилась эта сказка бессознательно красивыми вымыслами, невесть когда рожденными поэтической душой народа.

И вечно юным оставалось в этой душе все давнее, легендарное. Смутно жили в ней вековые, забытые воспоминания о земле и воле, о первобытной справедливости, о старой патриархальной жизни. И не знали они, что сделала жизнь там, за этим лесом, за грядой таинственных гор, куда мчалась их старая разбойничья река и куда уносила ее воды могучая Волга...

История железною пятой шагала по их спинам, а они все жили в мире лесных сказок, гремящих ручьев, играющего эхо, и под бессознательными образами и темными, смутными воспоминаниями спящей глубокой души лежала, как сказочный клад, какая-то утраченная великая правда.

И долго бы жили они так в своем покорном и таинственном безмолвии, если бы однажды, во время пожара, когда горела в Селитьбе хижина какой-то столетней одинокой старухи, спасавшие ее добро не выбросили в окно маленький старый сундучок, который при падении разбился и из потайного, никому доселе неизвестного ящика выскочил старый пергаментный сверток, испещренный странными буквами, исписанный малопонятными словами, — удивительный сверток с большой старинной печатью.

В городе эти слова разобрали, прочли и перевели ходокам Селитьбы на жигулевский язык.

В этой полусказочной воскресшей хартии могучий царь брал их под свою высокую царскую руку, миловал за старые вины, а за подвиги ратные щедро жаловал на веки вечные землей и угодьями. К грамоте была приложена тяжелая именная царская печать.

Много снится людям снов золотых, много райских видений проплывает над спящей душой человека, но крестьянский сон всегда один: крестьянину снится земля. И с тех пор двадцать лет ходили ходоки села Селитьбы по судам и палатам больших городов. Они искали все какую-то «подземельную канцелярию» и взамен ее попадали в острог или в сумасшедший дом. Они казались

выходцами из шестнадцатого века. Современный век не понимал их, и они не понимали его.

А они хотели — суда.

Всюду подавали странные прошения, в которых рассказывалась сказочная история, и отовсюду прошения им возвращали и суда начинать не хотели.

Многим казались интересными эти самобытные оригинальные люди в живописном национальном наряде, с заветной кожаной сумкой, с волшебной сказочной грамотой чуть ли не сказочного царя. И смотрели на них с любопытством, как на действующих лиц волшебной сказки или оперы, смотрели у них грамоту и отсылали от одной канцелярии к другой, от одного адвоката к другому.

Тогда они шли к царю, но дойти не удавалось, и ни с чем возвращались ходоки в родную свою Селитьбу.

На некоторое время мечты их о земле как бы замирали, но потом опять возрождались с новой силой. Стоило кому-нибудь уверить их, что дело их правое, что землю высудить можно, — и опять собирался сход, галдел, составлял «приговор», выбирал ходоков.

И снова шли ходоки в далекий, не понимавший их город, ходили долго и опять ни с чем возвращались домой. Писали графу — граф жил за границей и ничего не отвечал им; немец-управляющий гнал их, не желая слушать. В последнее время составляли приговоры «об отобрании земли у графа» и вручали их земскому начальнику для представления высшему начальству, но земский грозил и ругался, брал себе приговоры и никому не отсылал их.

Так двадцать лет тянулась эта бесплодная история — бесконечная, старая, обыкновенная, всем надоевшая история мужичьей темноты, задавленности и бесправия.

И никто не мог их убедить, что уже бессилен теперь «добрый московский царь Алексей Михайлович» и бессильно его «могучее царское слово», и никто не мог доказать им, что бессильна теперь та правда, в которую одну они верят, которую ищут и не могут не искать, ибо глубоко заложена жажда ее в темных недрах их измученной молчаливой души.

II

В светлое майское утро, когда разлившаяся Волга и полная бурная Уса были особенно прекрасны, отражая в себе зеленые горы, когда радостное весеннее солнце насквозь пронизывало золотым своим светом прозрачный молочно-синий туман, поднимавшийся над ширью отрадно свежей, исполненной величавой неги, силы и спокойствия гигантской реки, в это дивное утро в чудной изумрудной долине, обрамленной полукругом разодетых в нежную зелень гор, на границе крестьянской и графской земли происходило что-то необыкновенное.

Тысячная толпа с женами и детьми, с целым табором телег, сох и лошадей расположилась в поле.

Вся Селитьба выехала сюда, и, кроме нее, пришли толпы из соседних деревень и маленького городка, который чуть виден был отсюда на горизонте сквозь редеющий золотой туман.

Весь этот народ галдел и копошился, как на ярмарке. Лошади из телег были выпряжены и паслись рядом. Оглобли подняты кверху. Почти у каждой телеги пылал костер, на котором женщины готовили пищу, и эти бесчисленные огни придавали колоссальному табору нечто древне-дикое. Говор мужчин и женщин, писк и плач ребят, ржание лошадей — все это создавало настроение чего-то необычного. А вдоль межи на целую версту растянулись цепью триста или четыреста сох с запряженными в них лошадьми. И вся эта картина удивительно гармонировала с могучими горами, курганами, огромной сверкающей рекой и лесом, бесконечным лесом, что покрыл собою весь горный хребет, отразился в реке и ушел до края нежно-голубого неба.

Около межи, в центре всего табора, стояло два больших стола, накрытых скатертью.

На одном из них лежали предметы и церковная утварь для молебна.

На другом столе были приготовлены письменные принадлежности — перо, чернила, бумага, и лежала знаменитая кожаная сумка с «царской грамотой».

Маленький, старенький селитьбенский попик уже надел ризу и выправлял из-под нее жидкие седые волосы.

Толпа, стихая, тяжело и плотно сгрудилась к столам и обнажила головы. Впереди всех стояли старшины, сотские и несколько самых старых крестьян с длинными седыми бородами.

Начался молебен.

В тишине издалека доносился густым, чуть слышным струнным звуком шум леса и волн...

Накануне этого дня крестьяне села Селитьбы собрались на сходе и составили приговор о «полевом суде».

Решили они выехать в поле, созвать туда со всей округи окольных людей, пригласить графского управляющего, уведомить об этом исправника и земского начальника и в присутствии окольных людей, пред лицом начальства, показать управляющему «царскую грамоту», а затем потребовать, чтобы и он положил на стол рядом с ней те документы, по которым граф владеет землей. И тогда как решат окольные люди, так и будет: коли присудят землю графу — покориться и разойтись, а присудят мужикам — то запахать ее тут же, торжественно, всем селом: пусть тогда граф судится и сам доказывает свое право.

Но если при запашке графские люди или городская полиция будет препятствовать, то ни в каком случае не сопротивляться и не прибегать к насилию, а чтобы не оклеветал кто-нибудь крестьян в сопротивлении властям, то не брать с собой никому ни палки, ни прутика, ни даже кнута для лошади: пусть не смешивают их поступок с разбоем, насилием и захватом чужой собственности, — они хотят добиться правды, законности и вынуждены после двадцати лет бесплодных страданий обратиться к «полевому суду».

Густо вздыхала толпа, и ровною певучей волной доносилась музыка соснового бора.

Вдали, с горы, со стороны графской усадьбы, спускался по дороге экипаж и несколько всадников.

Молебен кончился.

Толпа опять загудела. Выделялись отдельные восклицания:

— Исправник едет!

— А верхами-то — урядники!

— Управитель-то! Рядом с исправником.

— И земский с ними!

— И все — на графских лошадях! Ха-ха!

Послышался презрительный смех.

Скоро к табору подкатила щегольская коляска, запряженная парой вороных лошадей. Коляску сопровождал наряд конных урядников.

Мужики стихли и сняли шапки.

Из коляски медленно вышло начальство.

Пожилой исправник походил на червонного короля: борода его, длинная, волнистая, слегка разделенная внизу на две половины, почти уже седая, ниспадала на высокую грудь.

Земским начальником был мешковатый, неуклюжий господин медвежьего телосложения, рыжий, сутулый, со взглядом исподлобья, с тупой жестокостью и злой ограниченностью в выражении угрюмого, грубого лица. Даже фуражка с красным околышем сидела на его круглой стриженой голове как-то слишком определенно и бесповоротно, а широкий плоский затылок внушал безотчетный страх.

За ними из коляски выпрыгнул управляющий—немец с черной бородой, в соломенной шляпе и парусиновом костюме. Он смотрел на толпу брезгливо, не скрывая своего презрения.

Старшина и один из стариков поднесли исправнику «хлеб-соль». Над толпой невнятно звучали отрывочные фразы короткой речи, которую сказал старшина:

— ...Хлебом живем — хлеб и подносим... не обессудь... не за худом собрались... изволь выслушать...

Исправник движением руки велел положить хлеб обратно на стол и сам подошел к столу вместе с земским, управляющим и урядниками. Толпа раздалась, приняла их в себя и затем опять сомкнулась вокруг них густым широким кольцом.

Исправник быстрым взглядом окинул море голов, табор, костры и сохи и спросил мягким, хриповатым басом:

— В чем дело? Зачем собрались?

Вся толпа заговорила разом. Даже бабы что-то кричали, волнуясь и поднимая руки к небу.

Исправник замахал рукой:

— Тише! Молчите! Говори кто-нибудь один... выборные!

Выступили вперед опять старшина, несколько стариков и молодых.

— Мы — выборные!

— Пусть кто-нибудь один!

Раздались голоса из толпы:

— Епанешников, говори! Или ты, Башаев!

Стал говорить Башаев, молодой, лет тридцати, живой, энергичный мужик небольшого роста, с курчавой светлой бородкой.

— Ваше благородие!—взволнованно, смело, звонким голосом крикнул он. — Мы не воровать приехали! Мы приехали свою землю пахать! Свою! Будьте свидетели! Вот здесь налицо господин управляющий, а вот окольные, посторонние люди — мы сами их призвали! Пусть нас здесь рассудят, будем в поле судиться, как наши прадеды судились! Ваше благородие! Посмотрите: вот на этом столе лежит царская грамота, царская! Дарственная! От самого царя Алексея Михайловича. Наша земля! Почему же ей владеет граф? Пускай господин управляющий положит на другой стол графскую грамоту! Може, его грамота сильнее — тогда мы уедем, там уже окольные люди будут судить! Мы требуем, нам желательно, чтобы показал, положил... Мы двадцать лет... Пусть положит!

Звонкий голос его разносился по всему полю.

— Пусть положит! — густо откликнулась толпа.

Исправник затряс бородой, и толпа, погалдев, стихла. Вперед выступил управляющий, желая что-то говорить.

Он говорил тихо, спокойным голосом, и его речь плохо была слышна в задних рядах.

— Я не понимайт... — доносились ломаные слова. — Какой такой полевой суд?.. Зачем суд? Какое имеет право? Я не обязан... ничего не покажу...

Толпа заглушила его враждебным рычаньем:

— Ага! не показывает, немчура! Харя!

— Видно, и показать-то нечего!

— Слышали? Не показывает!

— Не показывает!

Толпа гудела.

Исправник замахал платком.

Когда гул затих, он выпрямился, тряхнул волнистой бородой и закричал, напрягая грудь:

— Предупреждаю!.. Вы затеваете противозаконное! Никакого полевого суда нет и быть не должно! Убеждаю вас разойтись по домам!

— Не разойдемся! — загремело кругом.

Начался всеобщий говор. Толпа начинала возбуждаться, жестикулировать... Мелькали руки, • бороды, оживленные, негодующие физиономии. Тысяча голосов на разные лады кричала:

— Мы требуем! Пусть прочитают! Двадцать лет!.. Документ! Управитель! Правда!.. Закон!..

Земский начальник давно уже весь трясся от злости. Бледный, с потемневшими горячими глазами, он протолкался вперед и что-то кричал рыкающим голосом, грозя кому-то кулаком.

Рев толпы стал затихать.

— Запрещаю!.. — услышала она грозный окрик. — Уйдите!.. Бунт!

При этом слове все сразу стихло. Словно разом вспомнили все уговор не давать повода к обвинению их в насилии. Толпа словно подавила в себе что-то. Только где-то позади опущенных долу голов вынырнула черная хохлатая голова с дерзкими острыми глазами, и среди внезапной тишины прозвучал насмешливый спокойный голос:

— Эй, ваше благородие! Ваше дело — только запрещать! Все вы закуплены графом! Мы ляжем костьми, а не уйдем! Так и знайте!

— Не уйдем! — опять загудела толпа. — Бунтовать мы не станем: мы по закону! Кабы захотели, давно бы..., как пыль с лубка стряхнули!

Толпа оскорбленно рычала.

— Господа окольные люди! — нараспев зазвенел голос Башаева.

Он показался на столе, видный всем, и, протягивая народу развернутую хартию, не то кричал, не то пел:

— О-коль-ны-е лю-ди-и! Видели вы нашу царскую грамоту? Вот она-а! Глядитя! Во-от! Видели?

— Видели! — ухнула тысяча голосов.

— А управитель... своей графской грамоты... не показа-ал?

— Не показал! — прокатилось по всему полю.

— Стало быть — чья земля?

— Ваша! — в один голос грянули окольные люди.

— А коли на-ша-а, — торжествующе продолжал Башаев, все повышая и повышая свой звонкий голос и возбуждением своим заражая толпу, — коли она, матушка, на-аша, то как же повелите вы сделать нам, господа окольные люди? Па-ахать?

— Пашите! — загрохотало поле.

Исправник, земский и управляющий устремились в коляску. Старшина помогал им.

— Я еду к губернатору, — взволнованно сказал ему исправник, — наблюдайте по крайней мере, чтобы не вышло столкновения. Я дал урядникам инструкции — не раздражать!..

— Слушаю, ваше благородие! Прощенья просим!

Коляска покатилась.

А четыреста пахарей уже приступили к делу. И в первой сохе пошел девяностолетний Епанешников, красивый старик, подносивший вместе со старшиной хлебсоль исправнику, бессменный ходок по делам села Селитьбы. Высокий, внушительный, с длинной седой бородой, в лаптях и длинном кафтане, он встал на меже, выпрямился, как-то вдруг помолодел, ожил, словно загорелся весь и, махнув шапкой остальным, глухо крикнул:

— С богом, пашите!..

Потом широко перекрестился, вытер рукавом слезы и взялся за соху.

— Господи благослови! — шептали его шамкающие губы.

Урядник встал на борозде, загораживая ему дорогу.

Тогда Епанешников объехал его, как объзжают пень, и повел борозду дальше, где опять молча стоял полицейский чин.

И другим пахарям другие урядники тоже молча становились поперек борозды, и они, как и Епанешников, объезжали их, и в руках у всех не было кнутьев.

И стало покрываться обширное поле кривыми, вычурными бороздами, похожими на какие-то никому не-

ведомые письмена, в которых словно скрыт был глубокий смысл и ключ к пониманию души народа.

Гигантскими буквами начертали они на родимой земле свою правду, свой крик о справедливости. И казалось им, что этот крик пронесется могучим набатом и разбудит Россию.

Три дня и три ночи, всем табором и не отпуская от себя окольных людей, жили они в поле, дожидаясь губернатора.

На четвертый день он явился к ним — все с тем же исправником, с земским начальником, окруженный конной стражей, с возом свежих розог, нарезанных в графском лесу.

Грозным, взбешенным, неистовым предстал губернатор. Высокий он был, здоровый, женоподобный, с бритым румяным лицом и стриженой седой головой.

И, завидя его, старшина и Епанешников поднесли хлеб-соль.

Но ударил он по хлебу и рассыпал соль.

Не говорил — визжал губернатор... Клейкая слюна брызгала изо рта его на золотое шитье мундира.

Начал он речь свою словами: «бездельники», «разбойники», а кончил криком: «Будете наказаны!»

И велел схватить «зачинщиков».

Было их схвачено сорок три, самых старых, самых почтенных, самых уважаемых, лучших людей Селитьбы.

Тут же, на захваченной земле, положили их.

Лежали они на родной земле, окруженные густым кольцом губернаторской стражи, и слышно было, как свистели в воздухе длинные прутья да раздавались глухие, сдержанные, словно подземные, стоны.

Толпа безмолвно и неподвижно стояла здесь же, и слезы текли по лицам ее.

Земский начальник радовался и наслаждался. Под свист розог неумолимо, непреклонно и ненасытно звучал его грубый, рыкающий голос:

— Крепче! Кр-репче!

По сто ударов получили они.

На мужицкие же телеги замертво положили их, окровавленных, и повезли, как везут с бойни освежеванное мясо.

Кровавая лужа осталась на месте казни.

И когда везли их медленным зловещим обозом в село, то кровь текла сквозь окровавленные телеги и сочилась на землю большими тяжелыми каплями, и кровавый путь шел к селу от мрачного места «полевого суда».

По сто ударов получили они.

III

Целый год они сидели в тюрьме в ожидании суда, того настоящего суда, которого так долго добивались. Крепкие натуры вынесли жестокую пытку.

Через год их судили в том самом маленьком городке, который в дымке волжского тумана был виден из Селитьбы, откуда призвали они окольных людей.

В маленьком убогом зале уездного суда они сидели, все сорок три, занимая скамьи, приготовленные в обычное время для публики, и казалось, что не их судят, а они пришли судить.

Лица их не были печальными, но были исполнены торжества и уверенности в своей правоте.

Судили их тупые «добросовестные» чинуши, равнодушные «порядочные» люди, старались отнестись к ним «справедливо» и — осудили.

Когда после этого вели их к Волге, на пристань, чтоб отправить в губернский город и снова посадить в тюрьму, был опять сияющий весенний день.

Двигалась вслед за ними огромная толпа народа: вся Селитьба была тут и вся округа, и все жители городка, жадного до зрелищ.

А они шли, понурив головы, ни на кого не глядя, и было что-то недоумевающее в их согбенных спинах и тяжелых движениях. Казалось, что они все еще не верят в подлинность произведенного над ними суда и уносят в своей разочарованной душе неистребимые древние фантазии о какой-то божеской и царской правде.

Пароход медленно отходил. А они стояли все в ряд, у борта парохода, бледные, с крепко стиснутыми челюстями, судорожно схватившись напряженно вытянутыми руками за перила.

Стояли неподвижно, словно окаменелые, впиваясь остановившимися глазами в родную толпу, в родные горы. И в этой каменной неподвижности их чувствовалось тяжкое напряжение огромной силы, и каменными казались крупные лица их, и железными казались вцепившиеся скрюченные пальцы.

Долго уходил пароход, уплывая все быстрее и дальше, становясь все меньше.

Долго стояла толпа на берегу и все смотрела в блестящую речную даль, где в сиянии весеннего дня черной точкой потонул пароход.

Зеленые кудрявые горы целиком отражаются в зеркальной глубине, чуть виден вдали плоский луговой берег, да Молодецкий курган—богатырская голова с мощным выражением каменного терпения и таинственной печали на морщинистом тысячелетнем лице — угрюмо смотрит на окружающую ширь, и хмурится, и вечно думает свои старые разбойничьи думы.

1905

ДУЭТ

...Гостиная маленькой квартирки на первый взгляд кажется уютной и комфортной: мягкая мебель, обитая малиновым плюшем, трюмо, изящные круглые столики по углам, этажерка с красивыми безделушками, на овальном столе, покрытом вязаной скатертью, — большая столовая лампа с бумажным абажуром. Окна завешены темными гардинами, а вся комната освещается с потолка голубым фонариком. Со стен смотрят фотографии и две-три гравюры в рамах. Свет от фонарика слабый, бледный, похожий на свет луны, создает настроение тихого уюта, и только спустя некоторое время является смутное ощущение пустоты и грусти. Кажется, что хозяева давно уж не живут здесь, хотя и оставили вещи на прежних местах, но нет уже в них смысла и не хватает чего-то самого главного.

В странно-печальной тишине комнаты, освещенной мертвенным светом, чувствуется безмолвное умирание чего-то...

В углу чернеет открытый рояль с развернутой тетрадью нот.

За ним неподвижно сидит печальная молодая дама в черном. Голова ее похожа на голову Медузы: обильные черные волосы свились тяжелыми жгутами, открывая высокий мужской лоб и бледное лицо с резко очерченным сильным подбородком. Углы плотно сжатых тонких губ чуть опущены книзу, между бровей складка боли. Слабый бледно-голубой свет падает прямо на это лицо, слегка приподнятое кверху, и оно кажется почти каменным, с безжизненными серыми глазами, с застывшим

выражением внутренней затаенной силы. Она вся ушла в себя и словно прислушивается к тому, что творится в душе.

Она ненавидит мужа, ненавидит остро, до безумия, до бешенства, не может равнодушно видеть его лицо, его затылок, не может слышать голос мужа, шаги... Его послеобеденный храп приводит ее в ярость: хочется схватить подушку, заткнуть ею эту противную красную рожу и навалиться грудью... Утром она, чтобы не видеться с ним, уходит одна из дому, и он пьет чай один. Уйдет на службу — тогда она возвращается, перед обедом опять уходит, и он обедает один, появляется домой к вечеру, когда он уезжает в клуб. И так они живут в одной квартире, у потухшего очага, заботясь только об одном: чтобы как-нибудь не встретиться наедине, без посторонних.

А ведь семь лет тому назад она убежала тайком от отца к нему и вышла замуж наперекор отцовской воле. Ей тогда было только семнадцать лет.

В морозную зимнюю ночь бежала десять верст по степной дороге среди занесенных снегом русских полей — до почтовой станции, а там взяла лошадей. Как хорошо помнит она эту ночь, ее торжественную тишину, свет синих звезд, пение морозного снега и трепет собственного сердца. Любила ли она тогда «его»? Нет, и тогда не любила. Она только верила в него, думала, что он уведет ее в какой-то новый, светлый мир, приобщит к живой жизни. Ведь он тогда был «герой», бывший ссыльный, только что вернувшийся из того сказочно-страшного края, где он долго томился и страдал за людей, как Христос. Она прибежала к нему, чтобы он спрятал ее, защитил, указал путь... Назад, к прежней сытой, но подневольной жизни вернуться ни за что не хотела: там низменная сытость, жестокость и спячка. Он же и разбудил в ней стремление уйти «в стан погибающих», туда, где борются и страдают «за других». Он предложил ей «фиктивный брак». Сказал, что так нужно. «У них» такие бумажные браки не редкость. Ей было все равно... брак так брак, если нельзя добыть свободу иначе!.. Обвенчались. А потом как-то вышло, что «фиктивный» брак обратился в настоящий.

И стали они жить обыкновенно, как живут все. Она ждала, когда начнется та интересная, деятельная «жизнь для других», вся из подвигов, полная волнений и опасностей, о которой она мечтала. Ее имя должно блестеть в ряду замечательнейших имен страны, она будет помогать и служить этим людям, а потом слава, почести, поклонение.

Но шел год за годом, а в их жизни еще тянулись будни. Сначала она ждала. Потом стала приглядываться к мужу. Он мало-помалу тускнел и уменьшался в ее глазах. Незаметно, день за днем, год за годом, он что-то терял у нее, изменялся к худшему, спускался по какому-то наклонному пути. Утратил пыл души, умственные интересы, скучал, когда другие горячились и спорили о высоких материях. Появилось равнодушие ко всему, что прежде волновало и возвышало душу. И люди около них появились другие: шикарные дамы из общества, сытенькие, холеные мужчины, а хохлатые студенты и молодые поэты куда-то исчезли, суровые партийные люди тоже отдалились. Так прошло целых семь лет. За это время муж ее потолстел и полысел, хотя он еще молод. Стал завсегдатаем клуба, откуда возвращается поздно и в подпитии.

Потом она словно сразу выросла, словно очнулась от тяжелого сна, открыла глаза и увидала, что ей как будто подменили мужа: «тот», прежний, был худой, симпатичный, с лицом Христа, отзывчивый, волнующийся, вдохновенный, говоривший пылкие, благородные речи. А «этот» — лысый, толстый, краснолицый, пьяный и ко всему на свете равнодушный обыватель! Как произошла такая перемена? И почему она только теперь разглядела его, только теперь перестала «ждать» и надеяться? Ах! Убежать бы теперь и от мужа, как убежала когда-то от родного отца! Но куда бежать? Ведь у нее нет «героя», за которым она могла бы идти! Она все-таки не представляет себе, чтобы можно было обойтись без «него». «Он» должен быть, должен откуда-то явиться и смелым, пламенным голосом позвать ее за собой. На вершине горы должен появиться кто-то высокий, сильный, знающий пути, и оттуда запеть призывную песнь, как это бывает в опере...

Она качнула головой, вздохнула и улыбнулась, пой-

мав себя на мечтах о каком-то фантастическом возлюбленном.

«Будто бы так уже и нельзя взять да и уйти одной?..» Чем и как жить? Что делать? Не поступить ли на сцену? Она училась музыке и пению, у нее хороший голос... Даже и теперь ее часто приглашают участвовать в благотворительных концертах... Вот на днях она будет петь в Благородном собрании... И, конечно, она могла бы прогнать от себя мужа, пойти в актрисы... но — не тянет ее туда... Тайный голос говорит ей, что она не талантлива, что на сцене она не выдвинется из ряда второстепенных, а это будет обидно. Да и что там за жизнь? Ведь, кроме любви к искусству, у нее есть еще и другие запросы, более сильные... Мерещится какая-то общественная роль; жизнь «для других», но жизнь выдающаяся, блестящая, в созвездии светил и вождей, хочется славы, но не мишурной, актерской, а какой-то другой...

В передней задребезжал звонок.

Вздрогнула.

Вошли гости — мужчина и дама; низенький, толстенький брюнет с закрученными кверху усами и черненькой, подстриженной по моде бородкой. Выражение его красивого лица с мелкими чертами томно, слащаво и ничтожно, маленькие, пухлые ручки в перстнях, а брюшко, облеченное в белый жилет, украшено золотой цепью с брелоками.

Вслед за ним вошла хорошенькая, пухленькая дамочка с розовыми щеками, в розовой кофточке, вся розовая, похожая на какую-то птичку.

Мужчина мягкими шагами подошел к хозяйке и ловко расшаркался, целуя ее длинную, белую руку.

Дамы поцеловались.

— Елена Николаевна, дорогая, простите! — томным тенорком сказал гость, сладко улыбаясь. — Мы немножко опоздали репетировать, заставили ждать...

— Полноте, — перебила Елена Николаевна и засмеялась грудным девичьим смехом, — перестаньте, пожалуйста! Как вам не стыдно? Во-первых, вы не опоздали, а во-вторых, я всегда рада живым людям! Вы знаете, какое у нас безлюдье!

Она говорила и смеялась своим глубоким, низким, слегка вибрирующим голосом и, овладев собой, уже не

была похожа на Медузу. Она сразу вошла в привычную роль благовоспитанной дамы, приветливая улыбка не сходила с ее губ, а смех звучал так искренне, что посторонним не могло и в голову прийти, какие кошки скребли у нее на душе.

— Вы сами виноваты, милая! — возразила ей гостья, как-то боком, по-птичьи вскидывая на нее свои черные глазки. — Если бы вы только захотели, около вас всегда была бы толпа! В большом городе — безлюдье?! Уж вы скажете!

Она всплеснула маленькими ручками и с лукавой гримаской покачала хорошенькой головкой.

Елена Николаевна несколько свысока взглянула на нее.

— Да, вы правы, но, знаете, такие все шаблонные, чересчур обыкновенные люди, такая серенькая жизнь, что — скучно! Право, — продолжала она, смеясь, — как-то не встречается у нас человека, у которого было бы за душой что-нибудь свое... А так — чужие мысли, чужие слова, готовые фразы, а за фразами, право же, нет ничего! И, знаете... как-то нечего делать... Чувствуешь себя лишним человеком, ни к чему не приспособленным, всем как будто в тягость, право!

Она вдруг остановилась, как бы спохватившись, что сказала лишнее, и опять засмеялась.

— Право, — добавила она, весело улыбаясь, — я очень рада, что вы, господа, затеяли хоть этот благотворительный вечер: все-таки как будто дело.

— Ах! — притворно застонал гость, повертываясь на коренастых ножках от одной дамы к другой и делая вид, что ломает руки. — Я совсем не знаю, что мне петь на этом вечере: все так избито, так всем надоело, да я и не в голосе!

— Что-о вы?! — неискренне испугалась Елена Николаевна, — вы так дивно поете, у вас такая художественная передача! Спойте вы, право, это... ваше... как, бишь, оно начинается?..

— «Ах, зачем вы не прочли?» — вежливо подсказал гость.

— Да, да! «Ах, зачем вы не прочли?» — прелестный романс! Вот и ноты! Пройдемте его сейчас! Я вам буду аккомпанировать!

— Хорошо, попробуем! — пожав плечами, жеманно согласился гость. Он боязливо кашлянул и пощупал свое горло.

Елена Николаевна раскрыла ноты и взяла на рояле певучий аккорд.

Певец откашлялся, выждал несколько аккордов и запел крохотным баритончиком:

Ах, з-зачем вы н-не пр-рачл-ли-и...,
Маей души невинай изл-лиянья...

Голос у него был ничтожный, и пел он, манерничая, с притворным чувством, плохо подражая оперным певцам. Ни капли истинного увлечения не было в его пении. Он пускал нежные ноты, старался придать им слезливость, но все это было фальшиво. Наконец он отчаянно взял финальную высокую ноту, чуть не подавился и замер, поднявшись на цыпочки, как это делают на высоких нотах настоящие оперные тенора...

— Очень мило! — воскликнула Елена Николаевна, ударив заключительный аккорд и посмотрев на певца холодным взглядом в то время, как губы ее улыбались. — Я не нахожу, чтобы вы были не в голосе! По-моему, голос у вас звучит, как всегда... прекрасно!

— Ах, нет! — опять стал жеманничать баритон. — Гвоздем вечера будете вы, Елена Николаевна! Что вы поете?

Елена Николаевна рассмеялась и махнула рукой.

— И не говорите лучше! Я выступаю в дуэте и сама не знаю с кем, ей-богу! Милоголовкин обещался прислать ко мне сегодня какого-то тенора из музыкального кружка, жду с часу на час, еще ни разу не спевались, а дуэт серьезный. Вот послушайте, я пропою кусочек... очень трудный дуэт...

Она набросила на переносье темное пенсне, развернула ноты и взяла несколько беглых и блестящих пассажей... Потом запела сильным грудным голосом:

Приди, мой друг, я жду тебя!

Она невольно любовалась своим большим голосом, созданным для сцены, гибким и блестящим, как чешуя змеи, прислушивалась, так ли направляется звук, как ее

учили, и думала, что если бы не муж, так она, может быть, пожинала бы лавры на сцене, и жизнь ее, полная блеска и шума, неслась бы широким потоком. Занятая своими мыслями, она равнодушно пела страстные слова любви, как будто не понимала их, и казалось, что эта великолепная скучающая дама никого не любит и, может быть, никогда не любила...

Она не допела до конца: в передней опять затрещал звонок, и в комнату впустили какого-то плохо одетого человека с физиономией рабочего или денщика. Он робко поклонился и, не отходя от порога, протянул хозяйке какую-то записку.

— Ты от кого, любезный? — спросила певица, рассматривая адрес.

— От Милоголовкина! — почтительно ответил посланный.

— Ах, боже мой! Ведь вот какой противный этот Милоголовкин, право! Наверное, опять оправдания, опять не прислал тенора.

Она распечатала записку и, пробежав ее, покраснела.

— Так это вы тот тенор? Ах, раздевайтесь, пожалуйста... извините... я не знала...

Елена Николаевна немножко смешалась. Румяная дама и господин с брелоками чуть-чуть переглянулись.

Тенор снял в передней свое порыжелое пальто и встал у порога в поношенном пиджаке и косоворотке.

Фигура у него была коренастая, крепкая, лицо некрасивое, корявое, с каким-то деревянным, бесстрастным выражением. Он стоял прямо, вытянув по швам большие красные руки.

Чтобы замять неловкость, господин с брелоками заговорил о чем попало.

— Вот, Елена Николаевна, вы только жаловались, что вам как-то нечего делать в жизни... Вы, конечно, подразумевали дело общественного характера, такое, которое могло бы захватить вас всю, которому не жаль было бы отдать жизнь, все ваши способности, ваши знания, ведь так? По-моему, это очень важный, мучительный вопрос, больной вопрос для каждой интеллигентной женщины, которую не удовлетворяют рамки семьи... В самом деле, куда ей идти? Что делать в современных ус-

ловиях? А? Как вы думаете? — вежливо, но внезапно обратился он к стоявшему у порога.

Тот вспыхнул от неожиданности, потупился и, на момент задумавшись, ответил, заикаясь:

— Если вы спрашиваете... то позвольте вам ответить... вот, например... голодающие мужики?..

И умолк смущенно.

Наступила еще большая неловкость. Господин в брелоках, в свою очередь, не ожидал такого ответа, ничего не нашелся сказать и пожал плечами.

Елена Николаевна заинтересовалась этим, по-видимому простым, человеком и заговорила с ним серьезным, искренним тоном, как с равным:

— Мужики! — задумчиво протянула она, прищуренными глазами рассматривая нового человека. — Откровенно вам скажу, — обратилась она прямо к нему, — ничего я не представляю себе при этих словах! Для меня голодающие мужики все равно, что голодающие индусы! Ведь вы войдите в мое положение, — она повернулась к господину в брелоках и румяной даме, — если бы я хоть стояла близко к их жизни, может быть, меня захватили бы их страдания, и я пошла бы на все! Но ведь я никогда и близко-то не видала мужиков, не знаю их совершенно, воспитана в четырех стенах! Для меня их жизнь так же далека и чужда, как жизнь каких-нибудь индусов! Конечно, — продолжала она, обращаясь уже ко всем вместе,—я могу сочувствовать им, как всякому, про кого мне скажут, что он страдает, но это не трогает меня, не захватывает душу...

— Да, да! — смущенно пробормотал пришедший, все еще стоя у порога, — так, так!.. — Лицо его опять приняло деревянно-почтительное выражение. Он вытащил из кармана серебряные часы.

— Вы, кажется, торопитесь? — спросила Елена Николаевна.

— Да-с! — виновато признался певец. — Мне еще нужно поспеть на хоровую спевку.

— Вы занимаетесь в музыкальном обществе?

— Да-с!.. И еще пою в кафедральном соборе... Давно уж!..

В голосе его чувствовалось нетерпение.

— Ну что ж, пройдемте наш дуэт! Милоголовкин пишет, что вы уже разучили его?..

— Не извольте беспокоиться! Я эту вещь наизусть пою!..

Елена Николаевна раскрыла ноты и начала аккомпанемент. Зазвучали печальные, нежные трели.

«Тенор» по-прежнему стоял у порога: его позабыли пригласить подойти поближе.

Он стоял около двери, у портьеры, вытянув по швам большие красные руки и склонив набок голову. Лицо его по-прежнему казалось лишенным выражения, а вся фигура была смиренная, робкая...

И, стоя у порога, в своей униженной позе, он запел.

Хрустально чистый, звучный и необыкновенно сильный тенор зазвенел в комнате. В самом тембре этого яркого, металлического голоса было что-то драматическое, страстное.

Плавно и нежно лились, один за другим, грудные, горячие, трепещущие звуки. Они лились свободно, с благородной сдержанностью, звучали просто и скромно, словно он не хотел обнаружить глубины чувства, а оно, как пламя, само прорывалось и било из груди певца, переполненной горячими, страстными звуками.

Он пел о тоске любви. Негой, огнем и слезами дышали эти звуки:

Как страстно я люблю тебя, Эльвира! —

пел он, опустив полузакрытые глаза, ни на кого не глядя и слегка краснея от пения.

Деревянное лицо его мало-помалу начало изменяться, сквозь корявые черты проглянуло вдруг что-то живое, милое, трогательное и прекрасное.

А певица, сама аккомпанируя, ответила ему уже иначе, не так, когда пела одна; ее мертвые, бездушно-красивые звуки ожили:

Приди, мой друг, я жду тебя! —

отозвалась она.

О Эльвира! —

зазвенела от порога страстная нота.

О мой Артур! —

заражаясь его огненным чувством, восторженно замирала она.

О Эльвира! —

обжигал он ее каждым звуком и звенел, и умолял, и уносил куда-то, захватывая дух...

На момент он унес ее в иной мир: она забыла, где она и кто это поет.

Ей казалось, что наконец она слышит голос того, кого она тщетно искала в толпе чересчур обыкновенных людей, что это «он», необыкновенный, зовущий куда-то ввысь, к светлому и героическому, он, полный огня и силы.

И с неожиданным для самой себя порывом бешеной чувственности, изнемогающая от поднявшейся в ней волны страсти, она, побежденная, зачарованная, страстно замерла вместе с ним на высокой, тающей ноте:

Люблю... твоя!..
Моя! —

замирал тенор.

Дуэт был кончен.

Ошеломленные слушатели пришли в себя и удивленно смотрели на вдохновенного певца.

А он, уже с прежним деревянным лицом, по-прежнему стоял у порога, вытянув по швам красные, узловатые руки.

Потом, засуетясь, смущенно стал прощаться, как бы стыдясь чего-то, оделся и, не подавая никому руки, униженно вышел.

По уход[illegible], Елена Николаевна со стоном заломила руки, так, что хрустнули ее бледные пальцы, и почти упала на диван в бессознательно-драматической позе.

Она словно замерла, сжимая ладонями виски и устремив туманный взгляд в одну точку. Углы плотно сжатого тонкого рта опустились еще больше, каменный, твердо очерченный подбородок выдвинулся вперед, между бровей опять легла складка, и все бледное лицо ее под синеватым светом фонаря снова стало похоже на лицо Медузы.

Так она сидела долго и не замечала времени.

Была уже глубокая ночь, когда задребезжал звонок, внезапный, громкий и долгий, звонок хозяина. Она ненавидела эту манеру звонить. Вскочила и бросилась в свою комнату.

Но он уже появился на пороге.

Это был приземистый, грузный мужчина средних лет, с широким красным лицом и короткой окладистой бородой.

Войдя, он пошатнулся, выронил палку и засмеялся. Он увидел только кончик ее платья, мелькнувший за дверью, и что-то сказал.

Долго пыхтел и возился в передней, снимая калоши, поднял палку и опять уронил ее. Прошел в кабинет. Потом опять вернулся к дверям жениной комнаты. Долго и тяжело дышал.

Наконец, осторожно стукнул в дверь.

Молчание.

— Елена, ты спишь?

Его хриплый голос звучал неуверенно, робко.

— Отопри, Елена... одну минуту!

— Я сплю! — отвечал ее дрогнувший голос. — Нельзя! Завтра!

— Одну минуту, Елена! Нельзя же так...

Помолчав, она отперла.

Он вошел без пиджака, тяжело дыша, толстый, с набухшими веками, посоловелыми глазами. От него пахло водкой.

Половину крохотной комнатки занимала ее кровать. У окна стояли маленький столик с зеркалом и мягкое кресло, в котором, насторожившись, сидела жена, одетая.

Стула не было, он сел на кровать. Напряженно и тяжело молчал, потирая широкой ладонью лысину на своей круглой, коротко остриженной голове.

— Надо поговорить! — наконец сказал он. — Так нельзя жить!

— Да, нельзя! — как эхо повторила она.

— Ты хочешь бросить меня?

— Да, Александр! Нужно разойтись! Но мы поговорим об этом завтра. У тебя язык заплетается.

— Это ничего... язык... Голова у меня трезва... А не

пить в моем положении невозможно... Так, значит, решено?

— Да.

Она сказала это короткое слово, не глядя на него, с каменным лицом, холодно и твердо.

— За что? — спросил он, и злоба мелькнула в его маленьких, заплывших глазках.

— Александр! Вспомни, чем ты был прежде и до чего дошел теперь. Ты живешь в одном мире, я — в другом. Ты потерял интерес ко всему, кроме себя. Ты — эгоист.

Он перебил с желчным смехом.

— Ха! Как я низко пал в самом деле. Эгоист! Живем в разных мирах. Да-а, я одинок, это правда!

Голос его задрожал.

— Но кто виноват в моем падении, в том, что я выдохся, устал, отупел, стал ко всему, как ты говоришь, равнодушен? Да, было время, когда я горел и кипе[illegible] Я никогда не был героем, я заурядный человек, но когда была юность и когда поднималась волна и все шумели, тогда шумел и я... мы шумели! И, шумя, мы катились все дальше и дальше, вплоть до ссылки... Вернулись оттуда тихими... Тише воды... Не все, правда, да и не все вернулись-то... А вот такие, как я... средние... они затихли... и я затих... погас. И так рано еще погас-то, в тридцать два года... Ну что ж! Сознаюсь. У меня сплин хандра веры нет ни во что...

Он схватился за голову и качал ею, сидя на кровати, повторяя хрипло:

— Нет веры!

Жена возразила холодно и спокойно, с чуть заметным оттенком презрения в голосе:

— Александр, напрасно ты все еще продолжаешь считать себя одним из борцов; ты никогда им не был... Ты был увлечен слу[illegible] по натуре — ты поверхностный, неглубокий, слабый человек. Тебя ничто и прежде-то не задевало до глубины... За эти годы я поняла тебя. Я шла вперед, а ты — назад или в сторону, вот между нами и образовалась пропасть... Мне нужно настоящего, сильного человека, а ты не настоящий. Сильные не падают духом, не выдыхаются, как выдохся ты... Они продолжают борьбу, по-прежнему любят и ненавидят...

живут. А я... я не могу быть сиделкой около тебя... я тоже... хочу жить!

— С ними? Ха! А помнишь, в прошлом году Краснощеков предлагал тебе: хотите — пустим вас в дело, в самый огонь? Ты стушевалась, не могла... Почему? Да просто потому, что собой-то жертвовать ты — благодарю покорно — не желаешь... Ха! С какой стати? Пусть другие идут в огонь и в воду за идею! Но тебя-то я тоже знаю: ты не пойдешь! Тебе нужна только поза. Красивая поза! Вот из-за позы-то, пожалуй, ты можешь и жизнь свою на карту поставить. Страсть как хочется разыграть героиню, но только так, чтобы непременно все это видели. Тебе ведь в сущности нет никакого дела ни до народа, ни до революции, тебе роль нужна! По натуре ты авантюристка. О! Все твое несчастие и вся твоя неудовлетворенность в том и состоят, что ты никогда не жила сердцем. Что тебе страдания народа? Ведь ты до мозга костей барыня, буржуазная дама! И тоска твоя и недовольство твое — все это барское! Ты чувствуешь, что тебе чего-то не хватает и сама не знаешь чего. А я знаю: сердца! Немножко сердца! Ты любишь только тех, кто тебе нужен. И только до тех пор, пока нужен. Ха! А для чего тебе всегда были нужны люди? Только для того, чтобы они тебе кланялись, только для того, чтобы было перед кем показать себя. Этим я и объясняю, почему ты никогда дня [illegible] прожить без поклонников. Если бы даже ты и любила меня, то все равно! Муж—особь статья, а поклонники — особь статья! Такая у тебя натура. Ты действительно не создана для семьи! Есть такие люди. Оттого что ты никого и ничего не можешь любить, кроме себя, ты — плохая жена, непременно плохая мать, плохой товарищ и вообще плохой человек! Да и в общественной деятельности при одном-то себялюбии далеко не уйдешь! Что у тебя есть за душой? Одно только непомерное тщеславие.

Ты всегда любила окр[illegible]ь себя людьми, которые хоть чем-нибудь выдавались: это придавало в твоих глазах значение и тебе. Как же! Кругом интересные, талантливые люди, а в центре их... ты! Ха! Ха! Выходило, что как будто бы вся суть-то была в тебе! Знаешь ли? Ты не честолюбива, нет, для этого ты просто мелка, но ты чертовски тщеславна, ты всегда мечтала прилепиться к

какому-нибудь удачнику, замечательному человеку и вместе с ним играть какую-нибудь роль, промчаться яркой кометой над людскими головами и при этом еще обобрать и его, и присвоить исключительно себе все его лавры, забрать в свои руки власть и над ним, действовать и ломаться над людьми от его имени! О, я прекрасно знаю, что ты хочешь! Ты и меня обобрала, взяла все, что можно было взять, а потом унизила, отогнала на задний план, чтобы не мешал. Что я теперь такое в глазах твоих друзей? Муж Елены Николаевны, не более! К тебе приходят, а не ко мне. В мой дом собираются люди, ничего общего со мной не имеющие...

Он желчно засмеялся.

— Если у меня муж лысый, то не могу же я приглашать к себе в гости одних лысых! — ледяным тоном ответила Елена Николаевна. Она молча и с достоинством слушала злую речь мужа, огромным усилием воли сдерживая клокотавшую в ее груди ненависть. Она решила выслушать его спокойно и презрительно, не унижаясь до накипавшей ссоры. Ее спокойствие и удачная острота, которой она ответила на его длинную обвинительную речь, выводили его из себя. Он сам разжигал в себе злобу, почти отрезвел от нее и понесся вперед, уже ничего не видя перед собой, кроме желания как можно более оскорбить ее.

— Острить изволите? — язвительно осведомился он. — Гляди, плешивый? Да-а, вы умны тем умом, который не идет дальше каламбуров в гостиной. Ваш ум блистает, как алмаз, но душа-то бесплодна-с, бесплодна, как Аравийская пустыня-с. И в сердце вашем беззвездная ночь, а сами вы бездарны и злы. Да-с! Вы стремитесь к выдающимся людям, но ведь вы же им тайно завидуете. В душе вы ненавидите их, потому что чувствуете свою-то ненужность и ничтожество свое. Да, да, ничтожество, потому что у вас нет способности что-нибудь создавать и творить в жизни! Вы, как плющ, как орхидея, как всякое чужеядное и хищное, можете только похищать чужое, высасывать жизнь из других! Заметьте, вы приносите несчастье всем, кто имеет дело с вами! Это, конечно, случайность, но все-таки, к чему бы вы ни присосались — все гибнет и умирает! Я уже не говорю о себе, но вспомните ваших поклонников... того скульптора... и того певца...

и еще одного нелегального... Ага? Бледнеете? Вы — черная пантера, но вы же и нищая духом, и вы всегда будете бедной и алчущей! Вы всегда будете мятущейся душой — клянусь вам! И пусть это будет проклятием, с которым я вас от себя отпускаю. Всю вашу жизнь оно будет тяготеть над вами, и виноваты в этом не люди, не жизнь, не судьба и не я, а — поймите — вы сами. У вас бесплодная душа. Вы никогда не умели любить, ни для кого ничем не жертвовали и только от других требовали жертвы себе. И вы еще смеете толковать о жизни для других? Да ведь вам другие-то всегда были нужны как пьедестал! Вот и я, когда не вывез вас и задохся на полдороге, стал ненужен и ненавистен и вот — прогнан, как заезженная кляча! А ведь когда-то — ха-ха-ха! Любила! Когда-то!.. Ха-ха-ха!

Лысый муж истерически хохотал. Елена вскочила, сверкая глазами. Она была бледна как смерть, губы дергались, руки дрожали. Грудь дышала глубоко и прерывисто.

— Никогда! — дрожащим грудным голосом закричала она ему прямо в лицо. — Это ложь! Никогда я тебя не любила! Слышишь ты, ничтожный? Никогда! Никогда!

Он тоже стоял против нее и, весь красный, кричал высоким, срывающимся фальцетом:

— А честно было выходить замуж, не любя? Как это называется?

— Никогда не любила! — пел ее голос, рыдающий, как виолончель. — И никогда не говорила, что люблю! Ты забыл?

— Я не забыл!

— Ты обманул меня!

— Ты обманула!

Не слушая друг друга, они кричали вместе, бросая один другому жестокие, грубые слова. Два голоса — один мужской, истерически-визгливый, другой женский — грудной и низкий, как струна, словно пели что-то и боролись между собой, и звучало в них такое несходство, такое взаимное отрицание, непонимание и рознь, что, повышаясь и возрастая, они скрещивались, как удары, и неизбежно должны были чем-то разрешиться.

Он схватил ее за руки. Она рвалась. Оба задыхались.

— Елена!

— Александр...
— Ненавижу! — взвизгивал он.
— Подлец! — рыдала она.
И оба в отчаянной борьбе упали на кровать.
Он душил ее.
Вдруг с непонятной силой и змеиной гибкостью она выскользнула из его объятий и, растрепанная, мертвенно-бледная, с безумными глазами и расцарапанным в кровь лицом, кинулась к двери.
Задыхаясь, он поднялся, хотел было погнаться за женой, но хмель всколыхнулся в нем, ударил в голову; пошатнувшись, он с размаху грохнулся на пол лицом прямо в ковер.
Хмель навалился и придавил его.

1910

ОТЧЕГО?

Город Астрахань далеко,
Я заехал по пути...
Волжская песня.

Случайно застрял я в большом университетском, но каком-то пустынном, безжизненном городе. По крайней мере, внешние признаки жизни были здесь очень слабы: ни уличной толпы, ни движения, ни новых построек, ни переполненных бойко торгующих ресторанов — ничего подобного не замечалось. Общее впечатление от этого большого, старого, грязного и запущенного города было такое, словно здесь когда-то кипела шумная жизнь, но потом ушла куда-то в другое место, и вот остались большие пустынные улицы с мрачными, старыми домами, с магазинами, гостиницами и гостиным двором в екатерининском и николаевском стиле, с почерневшими старыми церквами, с казенным старым университетом, в котором не хватает студентов, и не менее старинным городским театром, где до сих пор ставится «Кин», «Коварство и любовь» и тому подобные новинки.

Был октябрь месяц, театральный сезон только что открылся, кроме театра, других разумных развлечений в городе не было, но я так боялся «классического» репертуара на провинциальной сцене, что предпочитал просиживать свои вечера в номере старой громадной и грязной гостиницы, почему-то носившей название «подворье». Это были меблированные комнаты без буфета, и поэтому питаться я ходил в «Китай» — самый первоклассный ресторан города, где играл дамский «венский» оркестр,

где я часто бывал единственным посетителем и слушателем, до того пустынен был этот скучный, несчастный «Китай». Лакеи там уже успели привыкнуть ко мне, перестали дивиться моему вечному одиночеству, добродетельные венские барышни в беленьких платьицах, сначала смотревшие на меня с любопытством, потом с насмешливостью, в конце концов тоже привыкли ко мне. Я стал в «Китае» как бы завсегдатаем, своим человеком. Невольно приходилось наблюдать скучные беседы хозяина гостиницы с его приятелями за чаем или ужин купца, прибывшего по какому-нибудь из ряда вон выходящему случаю в «Китай» со всей семьей, с женатыми сыновьями, со снохами, свахами, женой и бедными, забитыми племянниками. Иногда кутила холостая компания, и тогда посылали немкам на эстраду шампанское и, наконец, приглашали к себе за стол сначала мужчин из оркестра, а потом и барышень, но с барышнями никакого разговору не выходило, потому что они не понимали русского языка или, может быть, из осторожности только притворялись непонимающими. Находчивые и более живые могли бы в этом положении придумать поводы для шуток и веселья, но «китайские» умы неповоротливы, тяжеловесны. Получается нудная, неловкая сцена, из которой все рады как-нибудь поскорее выпутаться.

В такие моменты я обыкновенно вставал из-за своего стола и выходил из ресторана.

Деваться больше некуда. Можно было гулять по главной улице, рассматривать окна магазинов, читать афиши. Я так и делал после обеда.

И вот однажды, читая афиши, я наконец-таки узнал, что в театре идет новая хорошая пьеса.

Решил, наконец, пойти в театр. Хорошо потолкаться в незнакомой толпе, в антракте зайти в буфет, выпить рюмку водки и чувствовать себя свободным наблюдателем человеческой жизни, быть как бы в шапке-невидимке и отдаваться в толпе своим мечтам и мыслям. Хорошо натолкнуться на нечаянную встречу, попасть в какое-нибудь неожиданное приключение.

Кто долго жил бродячей жизнью, у того часто происходят эти встречи с давно забытыми друзьями прошлых лет.

Поэтому я нисколько не удивился, когда во время

антракта в буфете театра кто-то схватил меня сзади за рукав и произнес мое имя.

Оглядываюсь — какой-то не очень молодой человек, бритый, с подстриженными усами и морщинистым, лысеющим лбом.

— Да, — отозвался я, — вы угадали, но, извините, что-то не могу вспомнить вас!

— А помните Синицкого? — возразил он звучным, густым голосом.

Я вспомнил, что лет почти двадцать тому назад, когда я и сам был юным, знавал во дни исканий и скитаний восемнадцатилетнего беленького и тоненького студентика Синицкого, который, помнится, пел на вечеринках нежным, еще неокрепшим баритончиком. Между тем юношеским образом и этим плотным, плечистым и немолодым человеком было мало общего, и, если бы он не назвал себя, я бы никогда не узнал его.

— Какими судьбами вы здесь? — спросил он.

— Проездом. А вы? Служите, что ли?

— Да нет, — замялся друг моей юности, — я давно уж по театральной части пошел: оперный певец я, да вот теперь мы оба с женой без сезона остались и тоже временно здесь проживаем.

— Вот как! — удивился я. — Помню, вы пели тогда таким серебряным баритончиком...

— Теперь у меня бас, — солидно возразил певец, — и большой: служу всегда на первых партиях...

— Как же вы без сезона-то?

— Да замешкались в летней поездке и никуда не попали на зиму вместе-то, а врозь служить не хотим...

— Ваша жена тоже на первых партиях? — спросил я, когда мы у буфета выпили по рюмке водки.

— О, да! — воодушевился Синицкий. — Жена моя большая певица, лучше меня, да вот, может быть, сами услышите нас... Слушайте! — вдруг перебил он самого себя. — Давайте устроим концерт: я слышал, что вы с успехом читали в Петербурге...

— Да, но я не умею устраивать концертов! — возразил я.

— Все хлопоты беру на себя! — воскликнул Синицкий. — Уж я-то умею это дело делать.., и уверен, что мы с вами возьмем здесь полный сбор!

— Надо подумать.

— А вот мы сегодня же после спектакля и подумаем: зайдем в «Китай», я вас познакомлю с женой, — она здесь же, со мной в театре.

Я согласился.

Был уже последний антракт, и по окончании спектакля, когда я одевался в шинельной, мой товарищ, в верхнем платье, представил свою жену.

Это была маленькая, молодая женщина, одетая более чем скромно, какого-то запуганного вида, похожая на затравленного зверька, с лицом монгольского типа, некрасивая и в довершение всего — рябая.

Впечатление было не в ее пользу: в робкой, скромненькой и застенчивой фигурке этой трудно было допустить оперную певицу, да еще на первые партии.

Наоборот, в товарище моем чувствовался важный актер, знающий себе цену: самоуверенная осанка, драповое пальто модного покроя, манера носить котелок и говорить низким басом с внушительной оттяжкой.

В «Китае» была обычная скучища: перед пустым залом на эстраде барышни в беленьких платьицах выводили на скрипках что-то безучастное, какой-то пьяный тянулся к ним через перила, желая попасть пальцем в клавиши пианино, хозяин, похожий на черемиса, сидел с приятелями за чаем и говорил о «плохих делах».

— Прежде кто давал торговать нашему брату? Помещик! Приезжал из деревни и пил, задавал званые обеды, оставлял большие деньги... А теперь он здесь же, бывает каждый день, но... только питается, а не пьет ничего! Ни-ни! Не те времена! Теперь я только и дышу кабинетами! Слов нет, кабинеты у меня работают...

— Это действительно! — соглашались приятели, дули на чайное блюдечко, обтирали лысины и тянули нудный разговор.

Звучал какой-то пустой немецкий вальс, бесполезно сияло электричество, белели пустые столы.

Мы поместились за столиком в углу, близко от оркестра, но скоро забыли и о нем, и о хозяине «Китая», и об одиноких скучных посетителях его.

Мы с Синицким вспоминали о том, что было двадцать лет назад, как жилось голодно, но почему-то весело и ярко, хотя и тогда было беспросветное безвременье

на Руси, но какое было хорошее студенчество, не теперешнему чета, как молоды мы были и не туда стремились, куда надо было стремиться, как он хотел сделаться врачом, долго учился и не выучился, а попал, не учась, в оперные певцы. Я же мечтал быть певцом и остался поэтом...

Марья Ивановна (конечно, ее звали Марьей Ивановной, иначе и быть не могло) молча и, по-видимому, с большим интересом слушала наши разговоры. У нее были прекрасные, густые светло-каштановые волосы, вьющиеся от природы, и серые глаза, блестевшие каким-то стальным и твердым блеском, и в них как бы навсегда осталось суровое и пугливо-настороженное выражение загнанного и озлобленного маленького зверька.

Не прошло и часу в разговорах, как мне стало ясно, что я имею дело с четой неудачников сцены. Марья Ивановна проговорилась, как ее муж страдает от гордости, от самолюбия, от неспособности унижаться, просить, заискивать и от этого не получает хороших ангажементов, а он рассказал про нее, что без него бы ее совсем запинали на сцене за ее безмерную скромность и незнание цены самой себе. Наконец они заспорили.

— А помнишь, — говорил ей Синицкий, — как тебя штукатур изругал? — И, невольно улыбаясь, он стал рассказывать не ей, а мне. — Жили мы в гостинице, а на лестнице ремонт был, штукатуры работали. Вот она бежит по лестнице, с репетиции возвращалась, одета кое в чем, шляпенка на ней дешевенькая, представительности в ней, сам видишь, никакой, штукатур и подумал, что это черт знает кто: ты что, говорит, сволочь, тут шляешься? Прибежала она ко мне—лица на ней нет, губы дрожат, слезы текут... Что такое? Рассказывает. «Пойдем, говорю, укажи мне его». Вышли. «Этот?» — «Е-то-т!»—и ревет. Я засучил рукава, развернулся, бац его, не говоря слова, в ухо, да так неловко, что он инда на мостовую вылетел. Даже испугался я, не слишком ли сильно ударил, да тут подошли другие рабочие и похвалили меня: его бы, говорят, и не так еще надо, барин...

— Если бы я была сильная, я бы его сама тогда побила! — неожиданно заявила Марья Ивановна.

Мы засмеялись.

— Ну зачем же вам самой драться? — возразил я. — У вас такой сильный защитник!

— Очень уж я разозлилась! И так все обижают... Заставляют петь большие партии, пою много, без отдыха, публика меня любит, а вот не везет и не везет...

— В чем же не везет-то?

— Трудно попасть в хорошую труппу. Не принимают антрепренеры... Других, которые хуже меня, принимают, а меня не хотят и слушать... и неизвестно отчего...

Она задумалась.

Я молча смотрел на нее и в душе сомневался в ее талантах.

Синицкий заговорил о нашем предстоящем концерте.

— Соберемся завтра у одного моего знакомого студента, у него есть пианино, и он может хорошо аккомпанировать...

Из любопытства и от нечего делать я согласился.

На другой день вечером я пришел по указанному адресу в маленькую квартирку на антресолях. Мои друзья были уже там. Синицкий представил меня хозяину студенту и его молоденькой жене, красавице-еврейке. Очевидно, это были молодожены, судя по их молодости, нежным отношениям и новенькой уютной обстановке только что устроенного гнездышка.

Студент, высокий, красивый брюнет с молодой бородкой, оказался славным, симпатичным парнем, любителем и знатоком музыки, а его женой невозможно было бы не залюбоваться: это была как бы сама мадонна, ожившая и сошедшая с полотна Мурильо: редкостная, замечательная красавица! Рядом с ней бедная Марья Ивановна, одетая в коротенькое скромное платьице и в какой-то пиджачок, казалась еще более дурнушкой, чем прежде, и невольно чувствовалась обида несправедливой природы, так неравномерно распределяющей свои дары. Красавица-еврейка казалась олицетворением музыки, поэзии, красоты, и совершенно затмевала серенькую Марью Ивановну, такую некрасивую, скромненькую, забитую, жалкую...

— Начнемте! Без лишних разговоров, — сказал хозяин, садясь за пианино и взяв несколько звучных аккордов.

Синицкий развернул ноты и запел.

У него действительно был хороший звучный и очень высокий бас, почти баритон; он пел «Пролог» из «Паяцев». В маленькой комнате с низким потолком голос не помещался, казался слишком металлическим, резким и причинял боль барабанной перепонке. Было неприятно слушать эту массу звука, звона и треска, но в театре голос Синицкого, вероятно, казался иным: это, наверное, приличный оперный бас, дающий правильные, хорошо стоящие и крепко держащиеся звуки, обыкновенный мастер пения со школой и техникой, каких много. Ничего выдающегося в его пении не было, да я и не ждал от него большего; с удовольствием слушал, когда после «Пролога» он спел еще несколько романсов.

Наконец, певец почувствовал, что надоел нам.

— Будет! — коротко сказал он, отходя в сторону.

Стали просить спеть Марью Ивановну, которую ни студент, ни его жена еще не слышали. По правде говоря, я не люблю сопрано, и меня вообще мало трогает женское пение, от Марьи же Ивановны, бедной неудачницы, не ожидал ничего, кроме обыкновенного писка.

Она покорно встала около пианино, когда студент дал ей вступительный аккорд.

И вдруг зазвучал прелестный, задушевный, искренний голос, сразу взял за сердце и повел за собой, властно и безраздельно завладел вниманием и уже не отпускал никуда: не стало ни меня, ни студента, ни его красивой жены, раздвинулись и уплыли куда-то тесные стены с низким потолком, вместо них звенело высокое хрустальное голубое небо, лились горячие золотые лучи и царил небесный, чистый, чарующий голос, полный смятения, тревоги и мольбы, страдающий, жуткий, непонятно трогательный голос, словно птица, потерявшая птенцов и мятущаяся в звонком небе, словно чья-то горестная душа, не нашедшая своего места в мире...

Отчего это, скажи мне, Марта?
Отчего? Отчего?

Нарастали и все повышались пламенные, трепещущие звуки, и вдруг откуда-то явились теплые слезы, согрели и омыли душу, прихлынули и сдавили горло.

Брошенный в высоту, прозвенел самый высокий, самый отчаянный и трагический звук.

Певица умолкла.

Никто не аплодировал.

В наступившей тишине все сидели, опустив головы и не двигаясь с места.

Красавица-еврейка тихо плакала, вытирая глаза маленьким батистовым платочком, и казалась она теперь такой бедной, такой серенькой и несчастной, бескрасочной и неинтересной!

Я опять увидел эти тесные стены и низкий потолок, студента за пианино, Синицкого лицом к темному окну и только теперь почувствовал самого себя, как бы очнувшись от наваждения, глубоко перевел занявшийся дух, вытер ладонью мокрые глаза и изумленно, со страхом и уважением посмотрел на певицу.

Талант «божиею милостью», она снова как бы угасла и робко сидела в уголку дивана, сжавшись в комочек с прежним забитым и затравленным видом: казалось, она не понимала произведенного ею впечатления, не понимала, «отчего» она не нужна на сцене и осталась «без сезона».

1910

Воспоминания

(встречи)

УЛЬЯНОВ-ЛЕНИН

Было это в конце восьмидесятых годов прошлого столетия в Самаре. Старая Самара, ныне Куйбышев, была тогда типично провинциальным городом, славившимся грязью и пылью.

В то же время это был как бы пересыльный пункт для высылаемых из столиц «политических», вносивших единственное оживление в умственную жизнь скучного, сонного города.

Это оживление было особенно заметным, когда в столичных университетах ввели новый, жестокий устав, уничтожавший остатки вольностей для учащейся молодежи. Самара наводнилась высланными по случаю студенческих «беспорядков».

Незадолго до этого произошло неудачное покушение на жизнь царя Александра III.

На нелегальных, но многолюдных вечеринках революционной молодежи выступали иногда крупные люди того времени, посидевшие в «Крестах», отбывшие почетную ссылку или бежавшие из ссылки. Многих через Самару высылали дальше — в Сибирь.

К весне 1887 года весь этот шум, внесенный политическими, куда-то схлынул, почти все приезжие «уехали».

Я был тогда очень юным человеком, только что окунувшимся в эту кипучую жизнь и вдруг оставшимся «без среды».

На таком же положении оказался и друг моего детства, мой однодеревенец, крестьянин моей родной деревни Бестужевки — Марк Елизаров, получивший образова-

ние в Петербургском университете и «вышибленный» оттуда во время «беспорядков».

Мы ежедневно виделись. Марку было двадцать пять, мне — восемнадцать лет. Нас связывали деревенское детство в нашей Бестужевке, среди красивой природы, на берегу Волги, стремление обоих к образованию и революционное настроение.

Однажды под вечер теплого майского дня я зашел к Елизарову. У него оказался гость — юноша моего возраста, крепыш среднего роста, с большим лбом и длинными до плеч, густыми, светло-каштановыми, вьющимися волосами, закинутыми назад. Веснушчатое, с первым золотистым пушком на подбородке, лицо его, с веселой усмешкой на пухлых, но крепко сжатых губах, еще носило следы юношеской мягкости. В небольших голубоватых глазах светился быстрый и острый ум. Говорил он усмехаясь, негромким, слегка грассирующим голосом.

— Ульянов! — отрекомендовался он, крепко сжимая мне руку.

О семье Ульяновых, с которой Елизаров познакомился в Петербурге, я много слышал от него и прежде. По его словам, все они были способные люди. Старший брат, Александр, был казнен за участие в покушении на жизнь царя, после чего вся семья очутилась под надзором полиции. Передо мной был младший Ульянов — Владимир. Он ехал в Казань с целью поступить в Казанский университет.

Начался обычный разговор учащейся молодежи того времени: о том, как и где сдать экзамены «вышибленному» человеку и как, наконец, при всей любви к науке, может она в таких скитаниях осточертеть.

— Прежде я был не в ладах с математикой! — посмеиваясь и запуская руки в карманы брюк, говорил Ульянов. — Рассуждал так: если назначен урок по математике — значит, я свободен! Хе-хе! Но теперь, когда вник, люблю ее! Но все-таки, если мыкаться из города в город с мешком толстых учебников, то, кажется, так бы и спихнул их в Волгу!

— Ну, при твоей-то башке, с такой памятью, — возразил Марк, — как не сдать!

— Сдам, конечно! Да вся эта казенная учеба давно в

зубах навязла! Надоела! Меня теперь совсем не это занимает.

Внезапно загоревшись, расхаживая по комнате большими шагами, юноша заговорил об истории революционного движения в России.

Он не говорил звонких слов, — говорил просто, понятно, поэтому сразу захватывал убедительностью своих суждений. Видно было, что этот почти еще мальчик хорошо, основательно знает тот предмет, о котором говорит. Центральной областью его интересов и познаний как тогда, так и во всю последующую жизнь была революция.

Елизаров на первых порах пытался было вставлять в его речь краткие реплики, но вскоре умолк: Ульянов сыпал датами, цитатами, цифрами, историческими подробностями, иногда отвлекаясь далеко в сторону от своей основной мысли и как бы теряя связь с ней, но потом оказывалось, что он нисколько не забывал о ней, подтверждал ее, развивая сложное и строго построенное мировоззрение. Спорить с ним не приходило в голову ни мне, ни Елизарову: под конец его обширной, содержательной речи мы оба должны были только слушать, а юный ученый, по-видимому, чувствовал себя в любимой стихии. Ульянов, засунув руки в карманы и потряхивая длинными золотистыми кудрями, большими шагами как бы вымерял комнату, говорил с увлечением математика, доказывающего совершенно ясную для него теорему. В эти минуты юноша словно вырос перед нами, казался много старше своих лет. Было ясно, что даже по своей теоретической вооруженности Владимир Ульянов представляет незаурядное явление.

Иногда он останавливался у окна и, оборотясь к нам, продолжал говорить.

Заходящее весеннее солнце косыми лучами освещало его оживленное, сделавшееся чрезвычайно интересным лицо. Небольшие, искрящиеся лукавым торжеством глаза светились в это время голубым, сияющим светом.

Таким на всю жизнь остался в памяти моей юношеский образ Ульянова-Ленина при первой моей встрече с ним в 1887 году.

На другой день он уехал и, конечно, сдал экзамены в

Казани. Вскоре Елизаров женился на Анне Ильиничне, старшей сестре Владимира Ильича.

В 1893 году я уехал из Самары. В это же время, исключенный из Казанского университета, Ленин уехал в Петербург. Марк с женой переселился туда же, поступив снова в студенты, несмотря на свой более чем тридцатилетний возраст.

Мы расстались на многие годы, встретившись уже возмужавшими людьми в обстановке надвигавшейся революции 1905 года.

В 1903 году, будучи уже профессиональным писателем, я в первый раз в жизни поехал за границу посмотреть европейские страны и кстати побывать в гостях у зарубежной революционной эмиграции, среди которой выделялось имя Владимира Ильича Ленина, уже известное тогда всей России.

На летние месяцы попал в Женеву, остановился в гостинице и тотчас же вышел пройтись по городу; но едва вышел, как столкнулся со знакомым московским студентом — партийцем. Он окликнул меня:

— Давно ли на сей земле?

— Только что. Еще и города не видал!

— Пойдемте сейчас на эмигрантское собрание, вот в этом доме, здесь же на площади. Я думал, что и вы туда идете. Вероятно, знакомых своих, вроде меня, многих встретите. Жаль, немножко запоздали!

Мы вошли во второй этаж, в довольно большой зал собрания, наполненный русскими эмигрантами. Оказалось, собрание кончилось, публика расходилась.

Мы спустились по лестнице обратно, невольно остановившись у подъезда.

— Знаете что? — сказал мой спутник в раздумье. — Давайте завернем сейчас к Ленину! Наверное, он дома теперь.

— Пожалуй! Мы встречались с ним когда-то давно, в юные годы.

— Да, он говорил мне. Ленин помнит вас, и ему, конечно, будет приятно повидаться с вами. Ведь ваше «Знание» гремит теперь!

Через несколько минут ходьбы мы нашли квартиру,

Ленина; это был отдельный маленький флигелек или, скорее, избушка, во дворе большого дома, в саду. Обстановка жизни Ленина в Женеве выглядела аскетически: через прихожую мы вошли в небольшую комнату, которая казалась голой от скудной мебели; вместо письменного — простой, некрашеный стол, несколько венских стульев и этажерка с книгами.

В момент нашего прихода сам хозяин быстро шагал по своей комнате, по-видимому о чем-то думая.

Я сразу узнал Ленина, хотя за пятнадцать лет после нашей встречи наружность его значительно изменилась. В это время ему было тридцать два — тридцать три года. Но вместо прежних золотистых кудрей на макушке светилась небольшая лысинка, поредевшие волосы коротко острижены, отросла маленькая бородка. По-прежнему крепко сложенный, казался он худее, сутуловатее и одет был неважно: потертый коричневый пиджак, надетый на косоворотку, коротковатые брюки.

Увидев меня, он не особенно удивился, словно давно поджидал писателя из России.

На первых порах отдали дань воспоминаниям.

— Отлично помню нашу с вами встречу у Елизарова. Вы и тогда, кажется, неплохо стихи пописывали. Марк показывал. Он чудак: почти сорока лет опять в студенты поступил, в технологический, но, конечно, от политики не мог отстать, — влопался, в тюрьму попал, выслали. Пропало инженерство!

Он стал с интересом расспрашивать меня о России, о литературе и литературных наших делах.

Мне удивительно было видеть огромную мощь духа, заключенную в человеке маленького роста, с огромным лысеющим лбом, непрестанно работающим над тем, чтобы из-под семи замков могли вырваться скованные силы революции.

Во время революции 1905 года Ленин появился в Петербурге и начал руководить газетой большевистского направления «Новая жизнь». Статьи Ленина поражали рядового читателя новым, широким масштабом.

Я жил в то время в Петербурге.

Когда появился царский «манифест» с подозритель-

ными «свободами», ко мне в то же утро прибежал мой приятель, сотрудничавший в газете большевиков «Новая жизнь».

— Можно в вашей квартире сделать экстренное собрание? — запыхавшись, спросил он меня.

— Можно. А что это за собрание?

— Наша газета только что закрыта, явилась полиция. Нужно немедленно обсудить положение.

— Хорошо, собирайтесь.

Через полчаса моя квартира стала наполняться сотрудниками закрытой газеты, руководимой Лениным. Собралось человек сорок. После всех приехали вместе Ленин и Горький.

Ленин выглядел почти весело в противоположность всем: о закрытии газеты говорил с той же спокойной усмешкой, с какой говорил прежде о «пропавшем инженерстве» Елизарова.

Я предоставил собранию самую большую комнату в квартире — мой кабинет, и они, не садясь и не раздеваясь, тотчас же начали дебаты.

Говорили спешно, возбужденно. Ленин все время молчал, руки у него были засунуты в карманы.

Я ушел в другую комнату.

Через час все разбежались с такой же быстротой, с какой собрались.

После всех остался у меня посидеть Горький.

— Вы сами-то как думаете: чего теперь можно ждать?

— Вероятно, реакции.

— Да! — со вздохом подтвердил он, уходя. — Идет реакция.

Ленин после этого собрания исчез из Петербурга.

1939

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

I

В начале 1897 года, вернувшись из пятилетних скитаний по России в родной мой город Самару, я впервые в качестве постоянного сотрудника, в возрасте двадцати шести лет, начал печататься в «Самарской газете», откуда только что, за несколько месяцев до моего приезда, выбыл и уехал из Самары молодой беллетрист Алексей Пешков, подписывавшийся под газетными фельетонами «Иегудиил Хламида», а под рассказами — «Максим Горький».

Имя и произведения «Хламиды» были у всех на языке в Самаре. В это время он уже начал печататься в журналах, и я читал его «Челкаш», находя этот рассказ мастерски написанным. Отдельного издания его произведений тогда еще не было, но я судил о них по «Челкашу».

Рассказывали мне мои самарские знакомые, что и человек он интересный, оригинальный: высокий такой, в крылатке и широкой шляпе ходил, как и ты прежде, тоже плащ носил, демоном тогда кричал — «проклятый мир» с крыши по ночам пел!..

В Самаре у «Хламиды» — Горького было много почитателей и друзей, поклонников и поклонниц.

Его прежде всех оценила читательская масса — трудовая интеллигенция, учащаяся молодежь, трудящийся люд — рабочие, которые называли его «наш Максим». Так

называемое «высшее общество» отзывалось о новом писателе враждебно.

К этому обществу в большинстве примыкала и фешенебельная буржуазная интеллигенция.

Как сотруднику «Самарской газеты» эта интеллигенция открыла свои двери и для меня. Вот там-то однажды подошел ко мне человек, отрекомендовавшийся «другом Горького», некто С.

Принадлежа к состоятельному кругу буржуазной интеллигенции, он был гласным городской думы, имел доходные дома, доходную контору, но тяготел, по его словам, к литературной богеме.

С фешенебельным обществом я не сошелся, зато с «другом Горького» завязалось знакомство из-за любви его к литературе и к Горькому. Правда, любовь эта у эстетствующего состоятельного «рантье» казалась мне вытекающей главным образом из тщеславия.

Однажды он принес мне свежую книжку толстого журнала, в котором было напечатано большое стихотворение Горького под заглавием «Песня о Соколе».

— Прочтите, — сказал С., — и скажите ваше мнение... Вот талант! Жаль, что вы, кроме «Челкаша», ничего у него не читали. Какая прелесть «Старуха Изергиль» или «На плотах», и это печаталось у нас, в «Самарской газете»!

Продолжая разговор, мы пошли гулять по городу.

Когда проходили мимо старого, мрачного, облезлого дома с подвальным этажом ниже тротуара, он сказал мне:

— Обратите внимание: в прошлом году здесь в подвале жил Горький. И как подумаешь, что в этой обстановке была написана такая вещь, как «Изергиль», — прямо удивляешься, откуда у вашего брата берется фантазия?!

Потом стал рассказывать о Горьком как о человеке:

— Это необыкновенная фигура! Во-первых — силач! Мы как-то компанией на пикник за Волгу ездили, так он там такой огромный камень по берегу катал, который мы вчетвером не могли сдвинуть с места. Во-вторых, вся его жизнь — фантастическая. Был крючником на Волге, молотобойцем в кузнице, калачником в пекарне (пешком исходил всю Россию). Вам надо непременно с ним

познакомиться: вы одного с ним духа. Когда-нибудь поедемте к нему в Нижний, он в Нижнем теперь живет.

Однако случай познакомиться с Горьким представился мне только года через два после начала моей работы в «Самарской газете», а именно весной 1899 года, когда только что вышло в свет издание первых двух томов Горького.

В Самаре они были расхватаны на лету. В надежде, что С. их уже имеет, я в погожий весенний день отправился к нему за город, на его дачу на берегу Волги, где проживал он с семьей каждое лето.

Застал его в саду, в крытой беседке за чаем, в обществе небольшой компании наших общих знакомых.

— Вы явились очень кстати, — торжественно сказал С., — только что приехал Горький и сейчас будет здесь!

За эти два года Горький быстро сделался всероссийской известностью. О «Фоме Гордееве», печатавшемся в «Жизни», уже писал Н. К. Михайловский, толковала критика, вся читающая Россия встретила его произведение с большим интересом и сочувствием. Наконец, только что вышли его книги. Этих книг я еще не видел, не было их и у С., и вдруг оказалось, что к нам в беседку ожидается сам автор.

Я все поглядывал на калитку, представляя себе, какая должна быть наружность у Горького.

Вдруг калитка отворилась, и вошел высокий молодой человек в длинном крылатом плаще, какие тогда уже вышли из моды, в широкополой шляпе и голубой косоворотке, широкоплечий, но очень худой, с бледным лицом и небольшими светлыми усами. В этом неправильном, словно топором вырубленном лице при первом взгляде было какое-то мрачно-суровое выражение, как бы никого близко к себе не допускающее.

Хозяин пошел ему навстречу, гость улыбнулся неожиданно добродушной улыбкой и снял шляпу, обнаружив густые, длинные, прямые волосы.

Это и был Максим Горький в 1899 году — лет тридцати от роду, молодой, начинающий тогда писатель.

Войдя вместе с хозяином к нам в беседку, он поздоровался со всеми за руку. Рука у него была большая, длинная, и чувствовалась в ней значительная физическая

сила. Помнится, что суровое выражение его лица через несколько минут разговора заменилось чрезвычайной симпатичностью.

Горький с первых же слов оказался живым, остроумным собеседником, простодушным и задушевным человеком. Говорил с подкупающим добродушием, рассказывал с природным артистическим талантом, а главное, с какой-то внутренней сочностью, с той игрой «изюминки», о которой говорится где-то у Толстого; человека этого как бы распирало от бродивших в нем образов, мыслей и свежих, ярких впечатлений. Казалось, что он может заворожить, затопить слушателей своими неистощимыми рассказами, которым не виделось конца.

И это без всякого литературного красноречия, разговорным, простым языком, короткими, грубоватыми фразами, глуховатым баском с заметным нижегородским ударением на «о».

— Большинство современных писателей — буржуазны. Вот! — говорил он с юмористической миной своего живого, выразительного лица. — Они всегда стараются вызвать жалость в читателе. Они, лешие, всегда прощают и оправдывают грешников, а этого не нужно, это — лишнее, это — к черту! Зачем? И бога они ему выдумывают кроткого, прощающего мерзавцев, ибо такой именно бог нужен буржую. Буржуй прочтет своего писателя, щекочущего ему нервы, растрогается и почувствует себя человеком. «Должно быть, я еще не совсем свинья!» — подумает он, опять станет уважать себя и успокоится. Писатель для этого и нужен ему, подлецу. А это лишнее. Зачем услужать буржую? Не давать ему бога! Не давать! Пусть живет без бога, пусть он чувствует себя свиньей перед господом, пусть живет, не уважая себя! Вот!

Это была как бы увертюра к определенному, выработанному миросозерцанию. Говорил это не трафаретный, холодный мозговик-интеллигент, а много выстрадавший новый человек «из народа», говорил страстно, убежденно, и чувствовалось, что за этими словами может последовать действие, что в душе этого оригинального человека горит большой костер выстраданной ненависти.

Когда разговор затянулся и С., говоря о писателях из народа, упомянул о Шевченко, Горький сказал усмехаясь:

— Ну, что же Шевченко? Не вполне проявил себя,

остался только поэтом, а ведь по-настоящему-то ему бы гетманом надо быть!

Мне показалось, что этот новый наблюдатель народной жизни вынес оттуда тоже что-то новое, бодрое, что под рубахой длинноволосого странника нет-нет иногда нечаянно звякнет железная кольчуга бойца. Боец, несомненно, чувствовался и тогда в скромном бытописателе «низов», протестующих натур «люмпен-пролетариата», оригинальном мстителе, проникнутом стремлением судить верхние классы с заранее приготовленным приговором: «Нет прощения!»

Говорили о книге Ницше «Так говорил Заратустра», и опять мне показалось, что увлечение Горького «ницшеанством» было не то что «приятием» идей Ницше, но являлось соприкосновением с ним в той части, которая касалась «суда» над европейской культурой. В результате длинной и увлекательной беседы получилось, что главным образом говорил Горький, а все собравшиеся с большим интересом слушали.

Не все были согласны с ним, в особенности С., стремившийся оправдать буржуазию, но речи молодого писателя были своеобразны, смелы и ярки, тем более что пересыпал он их еще более яркими, образными, художественными иллюстрациями из своих еще свежих тогда впечатлений, наблюдений и приключений пешехода. Говоря об изменившихся понятиях в толще народной, рассказал маленький эпизод, происшедший за время его пешего путешествия через землю войска Донского.

— Зашел я ночевать в одну станицу... большая станица и богатые казаки, хорошо живут. Посмотрели на меня, пустили. Стал я разговаривать. Заинтересовались. Стали и мне свои нужды и обиды выкладывать. Жалуются на всякие земельные утеснения, «москалей» ругают. Я им и сказал: «Ведь у вас есть сабли?» — «Есть!» — «Так что же вы?» — «А як же царь?» — возразили мне. Ну, тут я про царя им немножко поговорил. Наутро прислали за мной от станичного атамана, и слушателей моих — казаков — позвали тоже, в качестве свидетелей. Вышел атаман, посмотрел на меня, сморщился, ничего не спросил, а прямо к свидетелям: «Правда ли, что проходящий насчет сабель и тому подобное и про царя говорил?» Тут один из них, бравый такой усач, при-

щелкнул каблуками, ус закрутил и за всех отрапортовал: «Никак нет, не говорил и про царя не казав! Да неужели ж мы позвслили бы ему, голодрапанцю, такое про царя говорить?»

И так это внушительно сказал «не позволили бы», что у атамана сразу от сердца отлегло.

Все-таки посадили меня в телегу и молча повезли за село. Я уже начал думать, что тут мне и конец будет, однако провезли версты за три по дороге в степь, высадили и отпустили.

Горький рассказывал все это мастерски, в лицах, изображая действующих лиц с украинским акцентом.

Скитания свои по Кавказу с политическим каторжанином — человеком, по его словам, «почти гениальным» — передавал не менее интересно.

О нелегальном «человеке вне общества» Горький не раз потом говорил мне: по-видимому, этот экономист, философ, мыслитель, широкообразованный человек и большой природный ум произвел тогда на талантливого юношу сильное впечатление и, так сказать, наложил свою печать, дал его мыслям определенное направление. О нем в ранних своих произведениях Горький несколько раз упоминал с большой теплотой и благодарностью.

Не его ли образ, кажется мне иногда, послужил Горькому прототипом для создания одной из самых живых и рельефных фигур в пьесе «На дне» — Луки?

Сквозившее в каждом слове рассказчика, а также и в его художественных произведениях, лежавших на столе перед нами, бодрое, жадно-оптимистическое отношение к жизни, неудержимо смелый порыв к свободе — все это с неожиданной силой действовало на его слушателей и читателей. Все, что говорил и писал тогда Горький, звучало как бы сплошной «песнью о соколе», и сам он появился, как сокол, как давно желанный и долгожданный гость — вовремя.

Его жгучие песни показались жаждавшим свободы подлинным, реально существующим новым миром, ярким, солнечным, широким и радостным, откуда лилась волшебная музыка новой жизни.

При этом первом знакомстве Горький пригласил меня побывать у него в Васильсурске, где проводил он тогдашнее лето.

II

Маленький городок Васильсурск приютился над Волгой, на верхушке остроконечной, крутой и зеленой горы при впадении Суры в Волгу. Это одно из красивейших мест на великой русской реке. Сура и Волга, сливаясь, образуют огромную водную равнину, а над ней, как в сказке, возвышается конусообразная, зеленая, вся в садах, высокая гора; на гору с трудом взбираются бревенчатые избы, вьются тропинки, ползут, подпираясь кольями, покосившиеся плетни и частоколы, высоко-высоко, под самой вершиной, выделяется прилепившийся к ней, как ласточкино гнездо, хорошенький бревенчатый одинокий домик в три окна, с тесовой крышей «коньком», с расписными крашеными ставнями и резьбой по карнизу. Этот домик было видно издалека, когда, бывало, подплывешь на пароходе к Васильсурску; я помню его с детства, когда он был еще новенький, золотом горевший под лучами обильного волжского солнца, потом посерел, а за последние годы покосился набок и скоро упадет, если не упал. Видел его на фотографиях и на полотнах картин.

От калитки вьется вниз к Волге желтая, золотистая тропинка, а по тропинке иногда спускается румяная волжская девица с ведрами на коромысле, в ярком платочке, в цветистом, пестром платье, вся красочная, гармонирующая с золотистым домиком и зеленой горой, с голубой Волгой и широким синим горизонтом, сияющим под лучами щедрого, пышущего солнца. И кажется эта картинная, зеленая гора, домик над Волгой, «красная девица» с ведрами на коромысле и сказочная ширь кругом какой-то старинной русской песней в лицах, волжской былиной, красивой легендой, созданной эпическим баяном с развевающейся под ветром седой бородищей; будто бы едет он на старом коне среди зеленой, богатырской степи и «бряцает» на червонных гуслях с гулкими на всю степь струнами, на великанских гуслях, которые положил поперек холки тихо идущего коня с длинной, до земли, косматой гривой, и плывут по всей земле густые струнные аккорды.

Вот такие странные, яркие образы являются в воображении, когда встанешь на вершину васильсурской горы

и окинешь с невольной гордостью грандиозный горизонт Заволжья, что лежит на сотни верст кругом.

Васильсурск оставался, вероятно, все таким же старинным приволжским городком, каким был издревле, только вместо прежних «барок с хлебушкой», влекомых тяжко идущими по берегу бурлаками с разносящейся над Волгой заунывной «Дубинушкой», и расписных разбойничьих стругов плыли по ней буксирные пароходы с караванами чудовищных барж, пробегали двухтрубные «самолеты» и белые, как лебеди, двухэтажные «меркурии». Кипела жизнь на великой реке, но по-прежнему стоял бревенчатый приволжский городок и даже звучала над ней все та же бурлацкая песня:

Дубинушка... иде-идет!
Зеленая, сама пойдет!

И казалось, что не великая река плывет, а сдвинулось с места и «идет» куда-то за горизонты что-то огромное, чего никто остановить не может.

Где край всему этому? Нет края. Что возможно и чего нельзя? Все можно, все безгранично, как безграничны эти волжские горизонты!

«Все возьму! Все покорю, все опрокину! Шире дорогу, великая страна сдвинулась с места! Идет!»

Эти мысли и чувства сами собой являются благодаря необъятным волжским горизонтам.

Недаром и Горький, писавший тогда волжскую поэму «Фома Гордеев», весь во власти волжских горизонтов, весь обвеян певучими сказками Волги, забрался тогда на самую верхушку, на самый шпиц васильсурской остроконечной горы, где под вечным ветром гудели старые великаны-осокори, закрывшие могучими ветвями маленький серенький домик, в котором он жил тогдашнее лето. Это было как бы орлиное гнездо, да, кажется, так и называлось это место в Васильсурске. И, вероятно, когда выходил он на край этой сказочной горы и охватывал взором с высоты ее колдующие, покоряющие, гордые горизонты, то чувствовал в себе необъятные силы, и такими близкими, такими возможными и естественными казались грандиозные фантазии о мировом счастье, какими насыщены были они, эти волжские горизонты!

И я тоже был опьянен ими, когда, наконец, добрался до вершины горы и постучался в маленький домик.

Что-то расширилось, выросло в душе: казалось, сказочный клубок с бесконечно разматывающейся путеводной нитью жизни привел меня через дикие дебри к пещере дружественного волшебника.

Я застал Горького в столовой маленькой квартирки с низенькими потолками и тусклыми окнами сидящим на полу и заколачивающим в ящик детские игрушки. Тут же стояла красивая молодая женщина южного типа — его жена и бегал шустрый шестилетний мальчик.

Увидя меня, бросил молоток и поднялся на ноги, улыбаясь своей привлекательной улыбкой.

— Вот это здорово!.. — сказал он, крепко сжимая мне руку. — Наконец-то вы собрались ко мне. А я все ждал вас, черт побери мою душу! Скучно здесь без людей. Вот видите, чем занимаюсь? Завтра с пароходом возвращаемся в Нижний.

— Я тоже туда еду, а по дороге завернул к вам.

— И отлично сделали. Пообедаем, переночуем, и завтра — айда! Ну, садитесь, рассказывайте, — я последний гвоздь заколочу.

Познакомившись с Катериной Павловной, я начал рассказывать о знакомых нашего города. Он слушал, продолжая возиться с ящиком. Гвоздь попался капризный, не слушался, сгибался под молотком. Терпеливо, настойчиво расправлял его и опять заколачивал, а гвоздь снова сгибался.

Я смотрел с улыбкой и думал, что в числе различных свойств этого замечательного человека были, несомненно, терпение и настойчивость.

— Ты сгибаешься, — разговаривал он с гвоздем, как с человеком, — а я опять тебя выпрямляю!

Наконец, удачным ударом вогнал гвоздь и закончил упаковку.

Катерина Павловна говорила мало, но приветливо: от нее веяло искренностью, простотой, чем-то очень хорошим; с этими людьми я сразу почувствовал себя просто, весело и задушевно.

За обедом они расспрашивали меня о моем прошлом. Рассказывали о своих приключениях; я особенно заинте-

ресовал их сценами из жизни певчих: этот интересный мир бедных артистов, утешавших грешные души своих богатых хозяев, мир талантливых людей, жизнь которых проходила между церковью и кабаком, Горькому был совершенно неизвестен. Слушали они с увлечением, многозначительно переглядываясь во время рассказа.

Наконец, Горький не выдержал, стукнул кулаком и воскликнул с волнением:

— Черт возьми, как все это хорошо можно написать!

— Да я уже писал! — возразил я. — В «Самарской газете» напечатано довольно много моих рассказов из этой области.

— Я не все их читал! Вы не захватили с собой?

— Захватил... некоторые...

— Чего же вы молчите? Давайте сюда, я хорошенько прочту их сейчас же. Это же, черт побери мою душу, как интересно! Новый быт!

Обед был окончен, я вынул из кармана несколько моих рассказов, вырезанных из газеты, и отдал ему.

— Ну, вы отдохните с дороги, а я почитаю. Катерина, устрой его в угловой комнате.

Горький удалился из столовой, унося мои рассказы и озабоченно приговаривая: «Черт побери мою душу!»

Как опытный литератор и чуткий художник, он почувствовал, что у меня есть интересный литературный материал. Угадал в моих рассказах тот «дух», которым сам дышал, а начинающих писателей, подходящих ему по духу, как я после убедился, усиленно высматривал тогда повсюду не только по доброте душевной, но и по деловым соображениям: Горький был уже главной силой и руководителем журнала «Жизнь», стремился придать журналу свое, «горьковское» направление; ему, как вдохновителю журнала, хотелось привлечь туда «подходящих» сотрудников, более или менее талантливых, и он искал их среди «начинающих».

К чаю вышел с чрезвычайно довольным лицом.

— Ну, я прочел... — заявил Горький, возвращая мне вырезки. — Мне говорили многие о вас, я даже читал в газете кое-что ваше: знал, что вы пишете интересно, но все-таки эти вот рассказы неожиданно хорошо написаны. Вам нужно обрабатывать ваши произведения — тогда вы будете писать в журналах.

Я был чрезвычайно обрадован таким для меня оборотом дела.

— Соберем ваши рассказы, прибавим к ним ваши стихи, а потом и книжку издадим. Надо бы вам еще что-нибудь покрупнее написать.

Тогда я поведал ему, что давно собираюсь написать повесть, но газетная работа сильно отвлекает: хочу бросить газету, уехать куда-нибудь, найти службу и писать.

— А какая тема вашей повести?

Я рассказал содержание, и опять Горький слушал с увлечением.

— Черт побери, это можно великолепно написать и это до зарезу нужно! Это очень важно! Понимаете ли вы, что такие писатели теперь необходимы? Вы — интеллигент, вы — из народа, и у вас, по-видимому, столько накопилось здесь, — стукнул он себя в грудь. — Знаете что? — вдруг перебил он сам себя. — Бросьте газету, переезжайте ко мне в Нижний, найдете себе комнату за восемь рублей. Обедать будете у меня — и за милую душу напишете вашу повесть. Тогда и деньги появятся, а?

Я подумал — и отказался от этого задушевного предложения.

— Нет, — сказал я, — бросить газету пока не могу, но через год разрешите воспользоваться вашим любезным приглашением. На будущее лето я бы охотно приехал к вам дней на десять, где бы вы ни были.

— На десять? — удивился Горький. — Но в десять дней вы не напишете повесть!

— Ну, недели на две?

Он рассмеялся.

— Положим, вы будете писать ее месяц или два, но это не важно.

Он подумал, покручивая ус.

— Вот что: если теперь вам мешают ваши обстоятельства, то непременно приезжайте ко мне писать на будущее лето. Я говорю вам серьезно. Вы непременно должны написать эту повесть. Будущей весной я напомню вам письменно и сообщу свой адрес, тогда приезжайте немедленно. Боюсь, не лентяй ли вы? И что за дикая мысль найти службу и писать? Конечно, не напишете, а

так и будете валандаться! Лучше приезжайте ко мне: уж я-то заставлю вас написать!

Так мы и условились.

Он настроил меня говорить, и я говорил. Когда рассказывал ему о своих внутренних переживаниях, о душевной близости к простым, трудящимся людям и неистребимой отчужденности, которую чувствовал, когда попадал в так называемое «высшее общество», такое пустое, такое лживое и мещанское, которым тяготились даже некоторые его представители, вроде С., и когда говорил о ненависти, невольно скопившейся и затвердевшей в глубине души в течение всей жизни, Горький прерывал меня с волнением:

— Вот видите, видите, как вы все это чувствуете! А ведь этого «они» не могут чувствовать. Для этого нужно пережить то, что мы с вами пережили. С одной стороны — мы, с другой — они. И эти «мы» и «они» никогда не сольются. Мы должны сказать свое слово в литературе, в этом наша миссия, наша судьба. В настоящее время для литературы нужны именно мы. Пока нас только двое, но потом будет много. Вам теперь, после того, что вы видели, выстрадали, пережили, нужно выпеть душу. Нужно, пока не остыло, вылить все это в звонко-бронзовую такую форму.

Понимаете ли вы сами себя? Сумрачная фигура, вылезающая откуда-то со дна жизни, из нижних недр земли нашей! Вот и нужно, чтобы «они» увидали, наконец, ее, эту фигуру, не обещающую им ничего хорошего. Понимаете? «Они» все ждут от народа благодарности, сладостей всяких, пряников каких-то.

Он помолчал, покрутил ус и продолжал:

— А народ озлоблен и ненавидит их всех — вы это знаете. Так вот — будьте в литературе этим первым криком снизу, из глубины, из пропасти этой проклятой, из вулкана, на котором они так легкомысленно танцуют! Нужно грянуть предупреждающим набатом, который, может быть, заставит их вздрогнуть и оглянуться. Понимаете вы меня?

Я, конечно, понимал. О, как я понимал и горячо чувствовал тогда эти его жгучие, пламенные тирады, какой гулкий отклик находили они в моем сердце!

Там, «внизу», мы не только побывали, но родились и

выросли, а главное, вышли оттуда и принесли в сердце все отзвуки «страшной жизни», страшной по своей тьме, тяжести, чудовищности и веками накопившейся лаве, уже расплавленной и клокотавшей пока глубоко внизу.

Горький и сам переживал такое состояние, когда нужно было «выпеть душу», претворить в звуки все, что запечатлелось в ней там, «на дне».

III

На следующее лето с перепиской у нас вышла какая-то путаница, и я долго не знал, куда он уехал из Нижнего. Решив все-таки оставить газету и написать задуманную повесть, я уехал из Самары в Москву, где один книгоиздатель, случайно узнав, что я знаком с Горьким, обратился ко мне с просьбой съездить к нему с поручением от издательства, предлагая мне денег на дорогу.

Оказалось, что на лето 1900 года Горький, ведший всегда фантастическую жизнь, забрался в село Мануйловку вблизи Харькова, около местечка Голтвы, еще до этого описанного им в рассказе «Ярмарка в Голтве»; очевидно, он уже и прежде бывал в этих местах.

Я с величайшим удовольствием принял предложение издательства и в начале августа выехал в Мануйловку. Ехал от какой-то маленькой станции двадцать пять верст на лошадях и всю дорогу беспокоился: а вдруг не застану там Горького? Но едва я подъехал к маленькому, обмазанному глиной и выбеленному домику, крытому соломой и стоявшему в саду запущенной усадьбы, как он уже выбежал ко мне навстречу и без лишних слов заключил меня в дружеские объятия.

Я начал было говорить, что приехал с деловым поручением, но он и слушать не стал:

— К черту! Ерунда! Никуда не отпущу! Садитесь и пишите повесть!

Кроме членов его семьи, гостила у него еще какая-то рослая и толстая пожилая женщина в очках, «идейного» типа, которую все звали «тетушкой», не называя ее по имени, и ежедневно заходил приятель — сосед-химик из Киева, тоже демократической наружности.

Жили мы в сущности в заброшенной усадьбе какой-то

престарелой и разорившейся княгини, которая здесь же доживала свой век, вынужденная сдавать несколько домиков усадьбы «под дачников», землю давно продала крестьянам, а сама помещалась тоже в одном из маленьких домиков около заколоченного большого помещичьего дома: похоже было на известную картину «Все в прошлом». Старую княгиню никто никогда не видел; она никого не принимала; на наших глазах был уголок помещичьего строя, который умирал сам собою, чуть дыша перед смертью, а кругом складывалась новая жизнь; крестьянское село рядом с усадьбой жило бедной, но крепкой мужичьей жизнью, а в тенистом старом княжеском парке, веявшем воспоминаниями прошлого, завелись «дачники»: городская интеллигенция, писатели, химики, люди с идейными, демократическими наружностями, с книжками и книжными разговорами.

Вероятно, тут только что кончилась какая-нибудь помещичья драма, похожая на «Вишневый сад», вскоре написанный Чеховым.

Домик, в котором жили мы, служивший прежде больницей, был уютный, в пять маленьких комнат, с крытою, опрятною террасой, окруженный фруктовыми деревьями и подсолнышками.

Мне отвели комнату с окном в сад, смежную с кабинетом хозяина; когда по вечерам мы оба сидели каждый в своей комнате и писали, нас разъединяла только притворенная боковая дверь.

Горький работал, «как сапожник» — с ремешком вокруг головы, чтобы не сваливались на бумагу длинные волосы.

Работал усидчиво, часов до двух ночи, и когда я видел, что в его комнате еще светится огонь, то, несмотря на утомление, тянулся за ним, не оставляя работы раньше, чем он не гасил своей лампы. Таким образом, он как бы впряг меня в работу, и я должен был писать с некоторым соревнованием.

В девять часов утра дверь из кабинета Горького слегка приотворялась и в нее просовывалась его длинноволосая голова с юмористически нахмуренной физиономией.

— Вставать! — рычал он на меня басом.

Я вставал, одевался и немедленно выходил в столо-

вую к чаю. Там уже все были в сборе: Катерина Павловна, мать ее — Марья Александровна, маленький Максим с бонной и толстая «тетушка»; Алексей Максимович председательствовал за столом и уже что-то рассказывал, по своему обычаю, из неисчерпаемых воспоминаний и необычайных приключений, происходивших с ним когда-то.

Чего только не случалось с ним: он и тонул, и в огне сгорал, вися на мускулах над пылающим овином, но в конце повествования непременно из воды сух выходил, и из пепла, как феникс, возрождался для новых ужасных опасностей и невероятных приключений.

Однажды, по его словам, он так был избит в каком-то селе мужиками в качестве бродяги за оскорбление попа, руководившего публичным истязанием женщины, провинившейся перед мужем, что был как мертвое тело выброшен в овраг.

В другой раз, когда путешествовал по Кавказу с «человеком вне общества», их обоих придавила внезапно обвалившаяся часть горы, но так счастливо, что головы и руки у них остались на свободе, и так они лежали, наполовину заживо похороненные, ожидая, когда их откопают.

Все это в другом изложении могло бы показаться голым вымыслом, но Горький рассказывал с таким художественным мастерством, с таким обилием описаний и всевозможных реальных подробностей, что получалось впечатление полной правдоподобности.

Мне кажется, что, занимая нас рассказами, он сознательно упражнял свою способность к фантазированию, а может быть, незаметно давал и мне уроки творчества, как из самого обыкновенного материала можно создать художественное произведение.

Однажды он даже пропел перед нами в лицах шуточную оперетку неизвестного автора в одном действии, будто бы где-то напечатанную и поставленную в каком-то театре, до такой степени забавную, что все мы хохотали до слез. Впоследствии я убедился, что такой оперетки никто никогда не писал и даже сам рассказчик не мог вспомнить ее содержания, созданного, по-видимому, экспромтом.

Горький был от природы чрезвычайно музыкален, об-

ладал большим музыкальным чутьем. Мне однажды пришлось быть в числе слушателей его разговора о музыке с знаменитыми музыкантами и композиторами мирового масштаба, разговора, затянувшегося на несколько часов, в котором Горький обнаружил серьезное понимание и знание истории классической музыки; возможно, что, кроме природной музыкальности, он обладал и литературными знаниями в этой области.

Не имея певучего голоса, он все-таки попутно своим изумительным рассказам иногда пел нам интересные бытовые песни разных народностей, по всей вероятности действительно слышанные им во время скитаний по Кавказу, Крыму и Прикаспийскому краю. Так, например, он признался, что известный его фантастический рассказ-поэма «Хан и его сын» сделан из песни, которую он слышал на Кавказе от бродячих базарных певцов; кто-то не поленился ему перевести ее. Он действительно спел нам эту речитативную восточную песню на татарском языке, известном ему только в рамках этой песни.

После такого, всегда интересного, чаепития мы оба удалялись в наши комнаты и работали до обеда. Насколько мне было известно, Горький писал в это время свой роман «Трое», последовавший за напечатанием «Фомы Гордеева».

За обедом Горький острил, критикуя кушанья, изощряясь в юмористических сравнениях, большей частью метких, образных и забавных: настроение у него было неизменно веселое и бодрое.

К вечеру приходил химик — добродушно-молчаливый человек в ситцевой рубашке с поясом, в высоких сапогах, в очках, с желтоватой небольшой бородкой.

Горький говорил о нем как о большой силе в научном мире. Фамилию его я теперь не помню. Через год он умер в Киеве, отравившись во время химических опытов.

Приходили еще какие-то молодые люди, проживавшие у химика, и начиналась игра в городки, которой Горький очень увлекался: он все еще, несмотря на подтачивавшую его здоровье болезнь, обладал большой физической силой, отличаясь при этом ловкостью и верностью удара.

По праздникам приходили принимать участие в этой

игре деревенские парни — друзья Горького, и тогда от здоровенных ударов ломались палки, а куски дерева, из которых строился «городок», летели в небо. Горький серьезно завидовал им, а за меня огорчался, что удары мои, несмотря на силу, никогда не отличались меткостью. В этой атлетической игре проходило время до вечернего чая.

За километр от нашего дома протекала река Псел. Туда перед вечером я отправлялся купаться. Иногда присоединялся и Горький, но я предпочитал ходить один, обдумывая в это время мою работу и любуясь красотой окружающей природы. Тропинка к реке шла через широкий луг, за которым бежал чрезвычайно быстрый Псел с твердым, песчаным дном, чистой, как слеза, водой и гористым берегом на другой стороне. По дороге к селу, которая вела через луг, иногда медленно проезжала арба, запряженная двумя волами, с идущим рядом тяжеловесным мужиком в широких шароварах и холщовой сорочке. Все это меня занимало, и я просиживал до темной ночи на берегу Псла, созерцая новый для меня уголок юга.

Работа у меня двигалась быстро, повесть была выношена, продумана, отдельными пятнами написана прежде, оставалось только все переработать.

Горький иногда заглядывал ко мне и спрашивал:

— Ну, как идет работа? Боюсь я, как бы не пришлось вам ее потом переделывать, возиться! Вы картинами пишите: картинами выйдет!

Однако я не показывал ему рукопись, пока не кончил.

Через десять дней, или скорее ночей, напряженного труда я принес Горькому оконченную повесть.

Он запер дверь своей комнаты и, оставшись вдвоем со мной, начал читать вслух. Сначала, попутно чтению, подчеркивал карандашом неудачные выражения или «лишние» слова, приговаривая: «Это к черту!» или: «Это лишнее!», но потом, по мере увлечения чтением, подчеркивал все меньше и почти перестал приговаривать. Наконец, стал читать уже с явным пафосом: повесть увлекла его.

— Ну, вас можно поздравить: вы написали удачную вещь.

Общество, собиравшееся за чайным столом, давно уже было заинтересовано, зачем я приехал и что делаю, почти не выходя эти дни из маленькой комнаты. «Катерина», конечно, догадывалась, но по своему обыкновению молчала. «Тётушка» же за это время вся извелась от неудовлетворенного любопытства.

Теперь Алексей Максимович торжественно объявил за столом обо всем. Фурор был необычайный. У «тетушки» свалилась гора с плеч. Все искренне радовались. Горький решил, однако, не спускать с меня глаз, а всем вместе ехать в Нижний, где я еще буду отделывать повесть для печати, а потом поселюсь в Нижнем, чтобы писать только в журналах.

Ему казалось, что он «призвал» меня к большой литературе, «поймал» в море жизни, «выудил» наверх из низов провинциальной прессы

И действительно — его ласка, пылкая дружба, возгоревшаяся с этих пор между нами, его похвалы моему первому серьезному труду значительно подняли мой дух, ободрили, воодушевили, вызвали к жизни все мои силы. В этом было главное, чем он поддержал меня при первых моих шагах в литературе. Благодаря ему повесть была направлена в «Жизнь» — лучший тогдашний журнал. Заглавие ее было «Октава».

Горький не ко мне одному так относился: он вообще искал тогда молодых писателей с целью набрать из их числа свою «литературную дружину», что вскоре и удалось ему, когда появились сторонники «Знания» и блестящая группа «знаньевцев».

Однажды он снял с полки маленькую переплетенную книжечку, подал мне и сказал:

— А вот еще один начинающий. Прочтите, а потом скажите мне ваше мнение.

Я развернул книжку: там были вырезанные из газет рассказы, тщательно и аккуратно наклеенные на хорошую бумагу. Все это было сделано с любовью, переплетено в хороший переплет с золотым обрезом, чувствовалась нежность автора к этой маленькой книжечке и заветная мечта выпустить ее когда-нибудь в свет. На корешке книжечки было оттиснуто золотыми буквами: «Сочинения Леонида Андреева».

Я прочел ее, и у меня осталось впечатление, что это не начинающий, а совсем готовый беллетрист, опытный мастер слова, несомненный талант. Так я и сказал Горькому.

— Это не просто талант, — возразил Горький. — Это талантище! И вот — работает в московском «Курьере», пишет фельетоны, получает гроши, кормит большую семью и, говорят, пьет. Вы с ним познакомьтесь, когда будете в Москве: интересный парень — молодой, красивый такой. Вот и товарищ вам!

IV

В конце августа 1900 года Горький с семьей по окончании дачной жизни в селе Мануйловке возвращался в Нижний, но по дороге решил завернуть в Москву.

— Там начинается новый театр, — говорил он мне. — Художественный! Замечательный театр, которому предстоит огромное будущее. Вот приедем — пойдем к ним на репетицию — поглядим. Талантливая молодежь, черт побери мою душу! Там есть, например, Москвин — мальчишка лет двадцати трех, но как играет! Непременно надо поглядеть.

В Москву мы приехали как раз 1 сентября и прямо с вокзала отправились на Тверскую, в булочную Филиппова. Пока подавали утренний кофе, Горький отправился к телефону.

— Сейчас приедет Вишневский! — сказал он, возвращаясь.

Минут через десять в кафе оживленно вбежал смуглый, бритый человек средних лет, еще издали махавший шляпой и сиявший почтительно-радостной улыбкой.

— Вишневский! — отрекомендовался он.

— Где бы мне устроиться переночевать, — спросил его Горький, — собственно, моей семье?

— Да у меня же! — воскликнул артист. — Катерина Павловна, — обратился он к жене Горького, — пожалуйста, едемте!

— Вот и отлично! Поезжайте и устройте их, а мы с ним, — махнул Горький на меня, — поедем сейчас же

к вам в театр репетицию смотреть. Что у вас готовится?

— Снегурочка. Заканчиваем. На днях открываем сезон. О, вы будете поражены!

Только что входивший в известность молодой, начинающий Художественный театр помещался тогда в «Эрмитаже», но репетиции происходили в так называемой «Романовке», около студенческих кварталов Пушкинского бульвара. Театр внутри переделывали плотники и столяры. На сцене шла репетиция. С Горьким почтительно и радостно встречались актеры.

Подошел высокий, стройный юноша с великолепными пепельными густыми кудрями до плеч, «с благородным» лицом, заговоривший красивым, бархатным, струнным баритоном — Качалов!

Подбежал совсем простецкий молодой человек с прямыми волосами, с московской физиономией и мягким говорком — Москвин.

— Где Немирович? — спрашивал Горький.— Мне бы его повидать...

— В конторе! — радуясь чему-то, отвечали все.

Мы пошли по закоулкам коридора.

— Тут есть у них певчий, Баранов, — на ходу говорил мне Горький, — басище, как из бочки, из ваших типов. Вас надо познакомить: актер он на выходных ролях, но... А вот и он!.. Баранов, идите сюда.

Жирная, бритая физиономия крупной фигуры высокого, толстого и неуклюжего молодого человека поразила меня своим «простоватым», чтобы не сказать более, выражением. Никогда бы я не заинтересовался Барановым, судя по первому впечатлению, если бы не познакомил меня с ним Горький.

— Ну, вы тут оба посидите, потолкуйте, а я пойду к Немировичу.

Горький интересовался певческой средой до того, что впоследствии в Нижнем ходил в моем сопровождении на спевки хорового пения.

Я много рассказывал ему о замечательных «самородках» — певцах, о талантливых людях с выдающимися способностями, с исключительными голосами, неизменно погибавших в этой темной, засасывающей среде,

откуда очень немногим удавалось выдвинуться на широкую артистическую дорогу.

Беседуя с Барановым, я с первых же слов убедился, что имею дело с малограмотным, наивным и вместе с тем страшно самоуверенным человеком ограниченного ума, с тридцатилетним младенцем атлетического телосложения и огромным, могучим голосом, гудевшим, как труба.

Глупость этого природного резонера была так же фундаментальна, тяжела и подавляюща, как и его голос. Что-то глубокое, импонирующее было в этой солидной, великолепной глупости, которая минутами казалась как бы изнанкой мудрости: иногда он огорашивал изречениями своеобразно глубокими по своей безнадежной парадоксальности. На вид это — человекообразное, сухопутное чудовище, состоявшее из груды мяса, жира, мамонтовых костей и оглушающей глотки.

Казалось, что оно ни к какому умственному развитию не было способно по самой природе своей, что какая угодно учеба разбилась бы вдребезги об эту быкообразную голову.

Поговорив с гудевшей, ревущей и грохочущей глоткой, я начал чувствовать головную боль, тошноту, безнадежность и недоумение: почему меня с ней познакомили? Пока я понял только одно, что Художественный театр ждет от знаменитого писателя пьесы и поэтому ухаживает за ним. Понял я и то, что театр этот действительно хороший.

Вечером мы пришли на вечернюю репетицию, происходившую в костюмах.

В пустой ложе сидел скромно одетый человек с небольшой бородкой. Горький познакомил меня с ним. Это был Чехов.

До сих пор не могу забыть Качалова в роли сказочного царя Берендея, молодого Качалова с его бархатным, звучавшим, как музыка, голосом, и эту его великолепную фразу, когда благородный эстет и художник, собственноручно расписывающий свой дворец, патриархальный царь Берендей милостиво говорит двоим своим шутам: «Подите вон!», уверенный, что осчастливил их этими ласковыми словами, сказанными в низком, бархатном регистре.

На другой день Горький решил на несколько дней остаться в Москве. Я поехал сначала в Самару, а потом по Волге в Нижний.

Еще в дороге из газет я узнал, что в Художественном театре на представлении пьесы Чехова у Алексея Максимовича произошло неприятное объяснение с публикой. В некоторых газетах промелькнуло резкое осуждение по адресу Горького за грубый будто бы тон, в котором он говорил.

Дело изображалось так.

Шла пьеса Чехова «Дядя Ваня». В директорской ложе присутствовал сам автор и вместе с ним Горький.

Когда публике стало известно, что сидевший с Чеховым длинноволосый человек в суконной блузе не кто иной, как знаменитый Горький, она стала выражать восторг от охвативших ее чувств к модному писателю, возбуждавшему прежде всего любопытство.

В антракте толпа прихлынула к ложе, ворвалась туда и стала аплодировать с криками: «Браво, Горький!»

Писали, что Горький упрекал публику в грубых выражениях и даже «ругался».

На самом деле все это было не так, как описывали некоторые газеты, писавшие понаслышке или с умыслом дискредитировать «зазнавшегося» писателя.

Из письма присутствовавшего на спектакле писателя Телешова, напечатанного в московской газете «Курьер» 17 ноября 1900 года, видно, что в этот вечер шла пьеса Чехова «Чайка», а не «Дядя Ваня», что Чехов во время спектакля находился за кулисами и выходил только на сцену по вызову публики, а Горький сидел с двумя друзьями в директорской ложе и в антрактах поспешно уходил в закрытую для посторонних гостиную при ложе. После второго действия, когда публика несколько раз вызывала на сцену Чехова, некоторая часть публики устремилась к гостиной и начала выражать желание видеть Горького. Возгласы за дверью становились все энергичнее, все настойчивее. Наконец, двери начали приотворять и кое-кто даже заглядывал в комнату, выкрикивая: «Горького! Горького!»

В третьем антракте вызовы перешли уже в громкий рев: «Горького!»

Дверь насильно распахнули. Вместо овации получилось впечатление провокации или травли. Весь коридор был полон народа. Загремели аплодисменты, но Горький решительно вышел из гостиной в толпу и сказал буквально следующее:

«Что вам от меня нужно? Чего вы пришли смотреть на меня? Что я вам — Венера Медицейская, балерина или утопленник? Нехорошо, господа! Вы ставите меня в неловкое положение перед Антоном Павловичем: ведь идет его пьеса, а не моя. И притом такая прекрасная пьеса! И сам Антон Павлович находится в театре. Стыдно! Очень стыдно, господа!»

Эта речь была обращена не к публике театра, а только к той части ее, которая в течение двух антрактов шумела в коридоре, аплодировала и вызывала Горького на «чеховском» спектакле.

Так писал об этом писатель Телешов, очевидец происшествия.

Вернувшись в Нижний, Горький только отмахивался, не желая даже разговаривать о неприятном случае, и, засев на несколько дней в кабинете, чертыхаясь, написал по этому поводу великолепный памфлет «О писателе, который зазнался».

Газеты из желания создать модную сенсацию, а может быть и из других побуждений, подхватили этот эпизод, перепутали факты, бранили и оскорбляли Горького за то, чего вовсе не было.

Горький в частном письме благодарил Телешова, а на газетные нападки ответил письмом в редакцию «Русских ведомостей», утверждая, что он вовсе не ругался, а только сказал: «я не утопленник и не балерина!», что в свою очередь вызвало забавный фельетон популярного тогда фельетониста Власа Дорошевича.

«До письма в редакцию, — писал Дорошевич, — мы думали, что газеты многое переврали, преувеличили, но теперь оказывается, что «утопленник» и «балерина» все-таки были. Что делать! Говорят, Лев Толстой сти-

хов писать не может, а вот у Горького письма в редакцию не вытанцовываются!»

Долго еще — в течение года или двух — в реакционных изданиях помещались карикатуры на Горького в виде Венеры, балерины или утопленника.

Исчерпав этот «инцидент», Горький засел за серьезную работу.

Я действительно, как советовал Горький, снял себе в Нижнем комнату за восемь рублей, недалеко от его квартиры, в тихом семействе пожилой вдовы. Это была чрезвычайно маленькая комната, в которой едва помещались железная кровать, два стула и дамский письменный столик. Но в ней было уютно. Светлая лампа с зеленым абажуром тепло горела по долгим зимним вечерам, и далеко за́ полночь светилось мое единственное маленькое окошечко, завешенное коленкоровой занавеской.

Обедать я ходил к Горькому и поэтому видался с ним ежедневно. Он закончил роман «Трое» и тотчас же принялся за свою первую пьесу.

Однажды вечером увлек меня в кабинет, запер дверь и сказал:

— Я хочу почитать вам мою пьесу.

Пьеса называлась «Мещане», и, к моему удивлению, там был выведен певчий — бас, в ярких монологах исповедующий излюбленные идеи Горького.

Тут я понял интерес знаменитого писателя к такому примитивному человеку, как Баранов: именно его он имел в виду в качестве незаменимого исполнителя этой выигрышной роли, для которой нужны были только импозантная фигура и громовой голос.

Наслушавшись моих устных «певческих» рассказов, большая часть которых так и осталась ненаписанной, он, по-видимому, находился под влиянием невольной симпатии к этому интересному миру.

Яркая и красивая роль, написанная специально для Баранова, была, конечно, внезапно свалившимся счастьем для этого бедняги, не подававшего надежд, не пошедшего дальше выходных ролей и одновременно продолжавшего гудеть в церковных московских хорах. Чтобы использовать счастливый случай выдвинуться на сцене, Баранову достаточно было иметь если не

талант, то хотя бы некоторую долю ума и трудоспособности.

С большим увлечением мы обсуждали предстоящую постановку пьесы.

Жизнь наша была замкнутая, вся внутри, вся в литературном труде, и это было так красиво в тихом, старинном, романтического вида городе, стоявшем на высокой горе в серебряных сугробах, с золотыми куполами художественных старых церквей, со сказочными зубчатыми стенами древнего кремля, все еще стоявшего со времен удельной Руси.

Это был медовый месяц нашей литературно-творческой дружбы, когда мы оба работали с чрезвычайным воодушевлением, веря в близкое и радостное будущее нашей страны, когда нам казалось, что она уже на пороге красивой и светлой, свободной жизни.

В небольшой, скромной, сорокарублевой квартирке Горького весь день с утра до вечера толпился всевозможный народ, приходивший к нему со всякими просьбами, за помощью не только общественного, но и частного, личного характера.

Я знаю, что он из своих — не очень больших тогда — средств давал стипендии бедным студентам, помогал нуждающимся рабочим и не отказывал в подачках попрошайкам босяцкого вида.

От этого имя его с необычайной быстротой сделалось популярным и любимым в нижегородских «низах», среди всякой городской бедноты и голи, которая вряд ли даже могла читать его литературные произведения. Имя его гремело, как имя человека, близко принимающего к сердцу всякое горе, в особенности горе бедных и простых людей.

В то же время к нему непрерывно наезжали из столицы для свиданий и каких-то дел всевозможные знаменитости: художники, скульпторы, артисты, редактора, общественные деятели, появились и люди подпольно-партийного вида. Посетители, которым Горький отдавал свои дни, не всегда были симпатичны ему, но всегда интересны; так, например, однажды я застал у него уже собравшегося уходить после, вероятно, длинного разговора не кого другого, как известного нижегородского миллионера — купца Бугрова; он был в длинной

дорогой шубе, в бобровой шапке, с умным лицом в окладистой бороде—осанистая, властная фигура. Ему принадлежала чуть ли не вся земля нижегородская. Одевшись, он, по-видимому, опять воротился: стояли друг против друга в кабинете, у письменного стола. Входя, я слышал, как Бугров сказал:

— И чего вы этой самой конституции хотите, Алексей Максимыч? Мы тоже ее хотим: при конституции мы вас всех вот как прижмем! — и сделал жест, будто ногтем придавил что-то к дереву стола.

Когда он ушел, Горький сказал мне, кивнув в его сторону:

— А ведь буржуй верно оценил конституцию. Умный мужик этот удельный князь нижегородский!

Горький пока еще ни разу не бывал в Петербурге, но Петербург уже присылал к нему своих людей по всевозможным литературно-общественным делам: нижегородская квартира Горького издалека многим казалась воинственной ставкой, где около пролетарского писателя зачиналось вольнолюбивое, все нараставшее общественное движение.

Чувствовалось, что к писателю уже близко подходит настоящая, большая слава, не только литературная. Имя его становилось легендарным, и легенды повторялись уже в таких широких массах, где его писательское лицо было менее известно, чем политическое. За ним, его квартирой и посетителями была установлена для всех заметная жандармская слежка. Тайные агенты в переодетом виде иногда являлись к нему даже на квартиру, чаще всего под видом «начинающих писателей». Алексей Максимович имел терпение с ними беседовать, хотя прекрасно знал, с кем имеет дело.

Моя «Октава» появилась в октябрьской книжке «Жизни» в 1900 году, и тотчас же о ней стали писать в газетах: мое имя замелькало в газетных статьях, повесть хвалили, ожидая от автора дальнейших трудов.

Когда была получена книжка журнала с напечатанной повестью, Горький радовался больше меня: перелистывал ее, читал вслух отдельные места, хлопал по плечу, радостно смеялся и все спрашивал:

— Ну, что? Приятно, небось, видеть в журнале первую вещь? А? — И потом серьезно добавлял: — Теперь

вы должны написать вторую повесть — лучше первой, третью — лучше второй и так далее. Тогда публика поставит вас на пьедестал и будет перед вами преклоняться. Когда вы после всего этого напишете вещь хуже прежних, то эта же публика столкнет вас с пьедестала к чертовой матери!

И тут же кстати рассказал про одного молодого писателя, не называя его имени, который после удачного дебюта выступил с неудачной вещью, провалился и, заболев нервным расстройством, вылежал три месяца в больнице.

После таких предупреждений мне, конечно, особенно радоваться не приходилось; наоборот, я впервые почувствовал ту страшную и нескончаемую ответственность, которая делает путь даже прославленного писателя усеянным не столько розами, сколько терниями, большею частью невидимыми публике. Тем не менее я тотчас же засел за новый рассказ и, кроме того, почти ежедневно писал стихи.

Стихи эти являлись невольным отражением переживавшихся настроений, новых впечатлений, прочитанных книг и ежедневных, чрезвычайно содержательных разговоров с Алексеем Максимычем: он всегда был полон ярких, оригинальных мыслей и образов, которые, как искры, рассыпал вокруг себя с беззаботной щедростью. Каждый день, поджидая меня к обеду, он сам отпирал мне дверь и нетерпеливо спрашивал:

— Стихи есть?

— Есть! — смеясь отвечал я и вынимал из кармана листки исписанной бумаги.

Он поспешно выхватывал их у меня и тотчас же вслух начинал декламировать, плохо, но с чувством и увлечением. В этих стихах, действительно проникнутых нашим с ним общим тогдашним настроением, он видел что-то, чего не видел я и его семейные, довольно спокойно слушавшие его страстную декламацию.

— Хорошо, черт побери мою душу! — иногда со слезами на глазах заканчивал он свою ежедневную предобеденную декламацию.— Будто шампанского выпил. Да вы сами-то понимаете ли, как нужно теперь то, что вы пишете? Никогда еще наша страна не переживала такого всестороннего подъема, который потом будет

источником величайших вдохновений. Теперь, как никогда, нужно здоровое, бодрое, творческое, на какое способны в данном случае вы. Нарождается новый читатель, массовый, для него литература не забава сытых людей, а хлеб насущный. Помните, что у вас есть огромный и серьезный читатель, и он-то поймет и почувствует ваши произведения так, как, вы видите, чувствую их я. Не будьте только лентяем — пишите!

Само собой разумеется, что подобные разговоры сообщали и мне ту необыкновенную бодрость, веру и энергию, которыми так полон был он.

Жизнь этого действительно необыкновенного человека, всегда горевшего как на костре, была необыкновенна даже в той замкнутой, трудовой обстановке, в какой протекало наше с ним творчество.

Иногда после обеда мы с ним ходили гулять на «откос» или на окраины города, стараясь сворачивать в сторону, если завидим, бывало, высокую длиннобородую фигуру доктора Золотницкого, запрещавшего своему постоянному пациенту выходить из квартиры в холодную погоду. Обманув таким образом врача, мы свободно разгуливали по таким окраинам, как, например, «Ярило», самое название которой свидетельствует о ее солнечности и первобытности. Ходили мы и по Миллионной — обиталищу босяков и всякого рода «бывших людей», где когда-то Горький наблюдал своих героев.

Однажды рассказал, как в ранней юности, живя в Казани, и должно быть в слишком тяжелую минуту, зайдя на казанский «откос», выстрелил себе в грудь из допотопного «пистолета», купленного «на толчке».

На мой вопрос о причине, застенчиво ответил:

— Причины особой не было... Так, все вместе подошло... Хорошенько и сам теперь не вспомню... Помню только — купил за три рубля музейную пищаль... зарядил... надел чистое белье... встал на самый край обрыва, спиной к оврагу: думал, что упаду назад, а упал вперед... Тут меня и нашли... Девятнадцать лет мне было...

Мне вспомнилось тогда его маленькое стихотворение, включенное в один из рассказов, относящихся к периоду «пешеходных» переживаний и, быть может, еще самим им мало осознанных исканий:

К земле родной припал я грудью:
— Скажи, родная, куда идти?
И слышал сердцем глубокий шепот:
— Сюда иди!

— С тех пор и завелось вот что-то в груди... Кабы не это, я бы теперь, наверное, в цирке с Фоссом боролся...

Опасаясь, что «есть что-то в груди», он, мало доверяя Золотницкому, по временам сам проверял состояние своего здоровья. При мне однажды привезли с почты шестипудовый ящик с книгами; Горький попросил меня и еще кого-то вдвоем поднять эту тяжесть ему на спину, после чего пронес ее по всем комнатам своей квартиры, укоряя нас, что неправильно положили.

Ежегодно на Новый год Горький устраивал публичную елку для беднейших внешкольных детей города с раздачей подарков. Задолго до 1 января собирали пожертвования деньгами и вещами, шили мешки для вещей, нумеровали, раскладывали по мешкам. Вся подготовительная работа организована была Екатериной Павловной и происходила в их квартире, превращая ее как бы в швейную мастерскую. Елочное торжество открывалось, наконец, в грандиозном здании городского манежа; участвовало в нем более тысячи детей бедноты, не имевших возможности учиться в городских школах.

Чтобы организовать такое огромное дело, требовалось немало людей, их труд и энергия. К делу привлекались местные дамы, барышни, студенты, курсистки. Город разбивали на участки, и устроители, по двое на каждый участок, обходили беднейшие квартиры: один спрашивал, другой записывал положение семьи, количество детей и те вещи, в которых наиболее нуждались дети. Главе семьи выдавался билет за номером.

Душой и руководителем этого хорошего дела был, конечно, Алексей Максимыч. Сам он, наряду со всеми участвуя в обходе квартир, взял себе труднейший участок, где ютилась самая вопиющая нищета, грязнейшие подонки города, а помощником взял меня, вооруженного записной книжкой и карандашом.

С утра до позднего вечера обходя жилища бедноты, напоминающие звериные берлоги или заброшенные развалины, попадая в землянки или темные трущобы, мы

насмотрелись потрясающих картин одичания. Это была та самая обстановка, в которой протекало его собственное детство и отрочество внешкольного ребенка: здесь, в этом городе, на этих «миллионных» улицах, в тех самых кварталах, по которым ходили мы, отыскивая детей без отцов и матерей, прошли «в людях» его тяжелые, сиротские, печальные годы детства. Вид одичавших, забытых и брошенных всеми детей так остро волновал Алексея Максимыча, что он не мог удержаться от слез.

В день Нового года тысяча детей с сопровождавшими их родными явилась в манеж с «номером» на груди. Им выдавались полушубки, шапки, теплые сапоги, рубахи, чулки и прочее, а для всех — узелки с конфетами. Когда дети выстроились попарно с подарками в руках и под звуки духового оркестра стройной колонной двинулись из манежа, трудно было не растрогаться.

Однажды Горький позвал меня в свой кабинет и предложил помочь ему «размножить», запечатать в конверты и разбросать по почтовым ящикам города небольшую прокламацию, составленную им и адресованную многочисленным адресатам города.

Анонимное воззвание «к обществу» было написано здорово, в сильных выражениях, особенно удававшихся ему в тех случаях, когда его пером водил благородный гнев возмущенного сердца.

Провожая меня до дверей, он сказал:

— Само собой разумеется, что все это должно остаться между нами: будьте осторожны, и, пожалуйста, об авторе ни звука!

Наутро, гордый удачно завершенным предприятием, я шел к нему известить, что все сделано аккуратно и благополучно.

Но едва я вышел, как мне навстречу попались две знакомые курсистки. Они остановили меня словами:

— Читали?

— Что именно?

— Прокламацию Горького.

— ?!

— Ну так знайте, Горький выпустил прокламацию! — и тут же показали мне ее, написанную моим измененным почерком.

— Почему вы думаете, что это сочинил Горький?

— Вот чудак! По языку же видно: кто, кроме него, мог бы написать так? Ни у кого нет таких слов.

— Никто и не думает сомневаться, кроме вас. Даже странно, что вы, его друг, ничего не знаете!

— Ничего не знаю, — повторил я, уходя.

Прежде чем я дошел до квартиры писателя, мне встречались еще знакомые и все говорили о «прокламации Горького».

Когда я пришел, он, волнуясь, спросил:

— Что же это такое? Ведь я же просил вас никому не говорить! Весь город трубит, писал я, а ведь посвящены в это дело только вы.

В ответ я рассказал о моих утренних встречах с жителями провинции, обнаружившими необычайную психологическую прозорливость.

— Они говорят, — добавил я, — что узнали в выпущенном смелом воззвании ваш слог, вашу душу.

Горький задумался, потом улыбнулся и, махнув рукой, проворчал:

— Черт побери мою душу! Никогда не буду больше в Нижнем прокламации выпускать!

V

В сумрачное февральское утро 1901 года мы с Горьким вдвоем приехали в Петербург. Я в первый раз в жизни увидел этот мировой город.

Приезд Горького был событием для Петербурга. В литературном мире его имя уже стояло в ряду крупнейших имен, оно было у всех на устах, всех привлекало, всех интересовало, но сам он до этого момента все еще продолжал оставаться в провинции, невольно разжигая всеобщее нетерпение.

Петербургский литературный мир жаждал видеть эту легендарную, романтическую фигуру, внезапно поднятую на высоту.

Настал неизбежный момент личного появления Горького в Петербурге: маленькое книгоиздательское товарищество «Знание», издавшее четыре томика сочинений Горького, сразу сделалось большим книгоиздательством

благодаря небывалому, бешеному тиражу этих книг; естественным стало его влияние в этом товариществе. Журнал «Жизнь» тоже не мыслил себя без его руководства.

Художественный театр впервые гастролировал в это время в Петербурге, и там предполагалась постановка первой пьесы Горького «Мещане».

Кроме того, у Горького с этого времени уже началась определенная связь с серьезными революционными кружками в Петербурге.

В воздухе без всякой видимой причины как бы чувствовалась тревога и возбуждение, наэлектризованность: все чего-то ждали, и не хватало только какого-то звука, крика, слова, чтобы началось катастрофическое движение, как это бывает в горах при снежных обвалах; всем казалось, что этим условным зовом будет имя всеобщего любимца широких кругов народа.

Приехали мы очень скромно, в самое серое, будничное петербургское зимнее утро. Никто нас не встретил. Плелись на плохоньком извозчике, слезли где-то на Надеждинской у ворот и, пройдя во двор, похожий на дно чудовищного колодца, полезли на четвертый этаж по узкой темной лестнице.

Дверь отворил мужчина атлетического сложения, среднего роста и возраста, с небольшой рыжеватой бородой, в очках. Это был Константин Петрович Пятницкий, бывший учитель гимназии, человек усидчивый, трудолюбивый и тяжелый, сумевший создать первоначальное «товарищество», использовать успех и влияние Горького.

Квартирка состояла из двух или трех маленьких комнат, из которых одна служила Пятницкому кабинетом, столовой и спальней. Это было первоначальное помещение «Знания», когда оно еще было бедное. Впоследствии разбогатевшее «Знание» имело отдельную контору на Невском, а Пятницкий — одинокий холостяк — занимал большую квартиру, роскошно обставленную.

Горький кратко представил меня, и тот крепко пожал мне руку, как человеку, которого он уже знает.

— Провинциальные писатели приехали! — со скромностью, посмеиваясь, сказал Горький. — Принимайте-ка гостей да расскажите, что у вас тут делается?

— Новостей много, — отвечал Пятницкий, проводя нас в кабинет-столовую, которая вся была завалена связками неразрезанных книг. На столе валялись корректуры, рукописи, письма, счета. — Да, новостей много, — озабоченно повторял он. — Садитесь, сейчас принесут кофе. Вы приехали к самому разгару событий: Толстого отлучили от церкви, готовится грандиозная демонстрация, и, говорят, будут применены суровые меры. Весь город волнуется. Сегодня в Союзе писателей назначено чрезвычайное собрание по этому поводу. Соберутся все наши светила и вообще вся литература. Вам обоим тоже надо быть.

— Придем! — взволнованно сказал Горький. — Я сейчас пойду в редакцию «Жизнь», а вы оба приходите туда позднее.

Выпив кофе, Горький ушел.

Пятницкий заговорил со мной о делах «Знания».

— Работа у нас кипит, — начал он. — До выхода книг Горького наше издательство, как известно, было маленькое, издавали больше учебники. Но колоссальный тираж его книг даст нам возможность расширить дело. Мы хотим издать целый ряд новых беллетристов. Пишите и вы скорее книгу — издадим.

Разговаривая, мы тоже отправились в редакцию «Жизнь».

Петербургский Союз писателей, в результате последовавших событий вскоре закрытый, находился на Невском, вблизи Надеждинской улицы, и занимал несколько небольших, скромных комнат, в одной из которых была эстрада для литературных и артистических выступлений.

В тот вечер все комнаты Союза были полны народа: преобладали длинноволосые писательские головы, но были и бритые актерские лица, много дам и молодежи. Зал гудел от общего говора: предполагались доклады, речи... Всюду упоминалось имя Толстого.

Прошел в толпе прямо державшийся, красивый старик с молодыми глазами, с закинутыми назад седеющими, но густыми волосами, с благообразной, окладистой бородой — известный тогда публицист и социолог Николай Константинович Михайловский; толпа невольно расступилась: в ту эпоху забытый теперь кри-

тик считался в широких кругах народнической интеллигенции «властителем дум».

Вот кудрявый Короленко — тогда еще без единого седого волоса, с густой, слегка вьющейся, «бобровой» боярской бородой. Мамин-Сибиряк — крепыш монгольского типа с горячими глазами, с вечно дымящейся коротенькой трубкой в зубах. Елпатьевский — старый народник, писатель и врач, не раз лечивший Толстого. Горнфельд — критик из «Русского богатства» и Миролюбов — редактор «Журнала для всех» — статный, красивый великан, на голову выше толпы, почти саженного роста, всегда в длиннополом сюртуке, с иконописной бородой медно-красного цвета и вьющимися пепельными кудрями до плеч, похожий на протодьякона: рокочет литавроподобным басом — бывший оперный певец Большого театра.

А вот еще замечательная фигура: высокий, стройный, не ниже Миролюбова, совершенно седой человек с черными усами и бровями, с молодым, замечательно располагающим к себе лицом — создатель Художественного театра Станиславский, и рядом — полная противоположность ему — приземистый, с раздвоенной бородой, безукоризненно одетый, весь корректность — Владимир Иванович Немирович-Данченко.

И много, много еще других известных фигур проплывает в калейдоскопе движущейся толпы.

Но вот общий гул ее почему-то сразу стих: головы всех с любопытством повернулись к входной двери, даже полуседая голова Михайловского поднялась над головами толпы, и тревожный взор его внимательно впился во что-то, сверкнув из-под сдвинутых бровей.

Длинноволосые головы повернулись в одну сторону, дамы и девицы приставили лорнетки к глазам, вытягивая шеи через плечи мужчин, и глубокая тишина внезапно заменила гул шумного, набитого людьми длинного зала собрания.

У входной двери появилась только что вошедшая группа редакции сотрудников журнала «Жизнь» с его редактором Поссе, но впереди всех шел оригинальный человек в черной широкой суконной рубахе, высокий, худой, с длинными густыми волосами до плеч, с блед-

ным лицом и голубыми, светящимися, глубоко сидящими замечательными глазами.

— Горький! — послышалось в невнятном, приглушенном говоре как бы очнувшейся толпы.

Горький выпрямился во весь свой рост и, быстро окинув зал зорким, памятливым, смекалистым взглядом «простолюдина», уверенно и прямо, легкими шагами мускулистого человека направился к Михайловскому, как бы поджидавшему его.

Толпа почтительно расступилась, и они, как два рыцаря, с достоинством встретились. Встреча вышла церемониальная, как на сцене: если один в непроницаемой броне, то и другой — в кольчуге, не с открытой грудью встретились эти два влиятельных человека различных политических воззрений, из которых одно уже падало, а другое быстро поднималось. Они обменялись официальным рукопожатием, несколькими тихими словами — и разошлись.

Так произошло первое появление Горького в холодном, замкнутом кругу большой литературы каменного Петербурга.

На эстраде молодая поэтесса декламировала свои стихи, в которых заключались всем понятные намеки на готовящуюся демонстрацию молодежи по поводу «отлучения» Толстого:

Лес рубят! Молодой, зеленый лес! —

с чувством звучал ее голос.

Писатель Пешехонов выступил с докладом «О Толстом и молодежи», о наступающем замечательном моменте в жизни русского общества, о надвигающемся небывалом подъеме его сил.

Настроение публики постепенно повышалось. Пешехонова сменил другой оратор, другого — третий.

Речи полились рекой.

Еще задолго до конца публичных речей в большом эстрадном зале — в малом начался интимный писательский ужин для избранных, в числе которых были и мы; ужин состоялся, собственно, в честь приезда Горького.

Приветствовали его появление в Петербурге в такой исключительный и тревожный момент, отдавали долж-

ное его литературному таланту. Говорили о России, о начинающейся новой эпохе.

Горький ответил очень скромно и коротко:

— На безрыбье и рак рыба! На безлюдье и Фома дворянин!

Несколько дней после этого вечера Горький ходил с чрезвычайно мрачным и печальным лицом, что бывало с ним редко. Ходили слухи, что молодежи предстояло стать жертвой кровавых репрессий. По-видимому, именно в это время Горьким было написано стихотворение «Буревестник».

В Петербурге первая постановка пьесы Горького ожидалась публикой с большим интересом и всеобщим волнением.

Внезапный приезд Горького сильно обеспокоил жандармские сферы: к Горькому было отношение, как к революционеру, имевшему огромное влияние на массы. Были приняты меры не только для предупреждения «беспорядков» в городе, но и в театре во время представления пьесы. Большого труда стоило руководителям театра отстоять постановку ее. Зато вместо билетеров театра поставлены были переодетые городовые и, кроме того, «на случай беспорядков в театре» спрятан был целый взвод городовых под сценой. При таких предупредительных мерах состоялась постановка «Мещан» в чрезвычайно острый момент, в весьма накаленной атмосфере.

Дирекция прислала Горькому билет в ложу и приглашение после спектакля на ужин и встречу с артистами театра в отдельном кабинете ресторана Палкина.

Автор пьесы тоже беспокоился за благополучный исход постановки.

Гастроли Художественного театра происходили в небольшом театре Суворина.

В театр пришла фешенебельная, чопорная публика премьеры, придворная аристократия, высшее чиновничье мещанство, которое трудно было вывести из ледяного равнодушия.

Первые сцены серой, мещанской жизни публика приняла с подозрительной холодностью. Пьеса ударяла

не в бровь, а в глаз слушателей. Являлось опасение за пьесу, бичующую именно собравшуюся публику.

Но вот вышел на сцену Баранов, исполнявший роль певчего Тетерева. Его мощная, взбудораженная фигура, произносившая громовые речи, в которые автор вложил свои излюбленные мысли, и потрясающий, необыкновенной силы бас спасли положение.

Публика была ошарашена появлением на сцене настоящего, живого певчего.

Ей показалось, что это новый Сальвини или второй Шаляпин в драме.

К Палкину было идти недалеко. Я пошел туда с группой актеров. Баранов был в длинной лисьей шубе.

— Шуба-то богатая какая! — шутили над ним.

— Д-да-а!.. — грудной октавой рычал он. — Содержание приличное получаю — сто рублей да в хоре пятьдесят... Жить можно, только не в этом дело: на душе тяжело!

— Почему? Ведь, кажется, успех и деньги?

— Э, что этот успех? Ведь у меня данные для гениального артиста! Недавно с Шаляпиным в трактире чуть не подрались. Сцепились, как два буйвола. Он-то здоров, да и я тоже. Как эдаких разнять? Отшвырнем всякого!.. Он гений, а я-то нешто хуже его? Станиславский и Немирович не согласны с моим толкованием ролей, потому и затирают. Закулисные дрязги! Не могу выносить, когда унижают человека! «Человек — это звучит гордо!» — говорит Максимыч. «Если кто унизит тебя — опр-рокинь гор-ру на голову его!» Хорошие слова у Максимыча. Подарил мне свою книгу с надписью: «Гуди вовсю, доброгласная труба господня!»

Видно было, что у Баранова развивается мания величия.

В отдельном кабинете был накрыт стол на двадцать пять персон. Приглашенные быстро стекались, наконец приехал Горький вместе с Немировичем и Станиславским.

Но тут произошел любопытный инцидент: швейцар отказался впустить на лестницу Горького, ссылаясь на то, что в таких костюмах, как у него, пускать «не велено». Позвали директора гостиницы, но и директор подтвердил, что действительно получено распоряжение

градоначальства не допускать людей в простонародной одежде, даже в отдельные кабинеты.

Мы всей толпой стояли в вестибюле и тщетно старались убедить его, что находящийся среди нас человек в рабочей блузе есть не кто иной, как знаменитый писатель Горький. Директор сам это знал и только поэтому оказался неумолимым. При попытке собраться в соседнем ресторане повторилось то же самое. Якобы из-за костюма Горького ужин не состоялся, и мы все разъехались в отвратительном настроении.

Наутро все газеты были полны дифирамбов новому выдающемуся таланту, и никто не знал, как удался режиссерам необыкновенный трюк: выпустить на сцену «никакого» артиста, а действительно московского певчего с выдающимся голосом.

Необычайный успех роли, написанной для Баранова, как для громкоговорителя, свел его с ума. Певчий серьезно вообразил себя гением, в труппе начал держаться высокомерно, в жизни продолжая свою роль: от простака Баранова ничего не осталось. Вместо него существовал вымышленный Горьким и воплощенный усилиями режиссеров певчий Тетерев, изрекающий всюду и всегда написанные для него монологи: Баранов на всю жизнь перевоплотился в Тетерева, что уже походило на обыкновенное сумасшествие.

В это именно время Горький говорил о нем: «Был у меня Баранов, нес чепуху. Слушал я, глядел и думал: человек это или олоферна полосатая».

Говорили, что на репетициях Баранов «поучал» самого Немировича, вызывая смех всей труппы. Наконец ему разъяснили, что, кроме роли Тетерева и выходных ролей, он ничего играть не может. Злополучный бас устроил скандал и запил так, что очутился на «Хитровке». Погубившая Баранова роль так на него повлияла, что он, не поднявшись больше, так и остался «на дне».

Через много лет, а именно в восемнадцатом году, в городском театре города Самары, где я присутствовал на репетиции моей пьесы, послышался где-то у входа в зал чудовищный, литавроподобный бас, с кем-то как будто споривший, и, наконец, из-за кулис на сцену вышла исхудалая фигура в живописных лохмотьях, с копной седеющих волос, с испитым, длинным лицом, в глу-

боких морщинах, и, протягивая ко мне обе руки, членораздельно и театрально загрохотала потрясающей октавой:

— Помогите... артисту... Московс-ка-ва... Художественнава... театр-ра... Бар-ра-нову!

4 марта на Невском произошла грандиозная демонстрация, еще небывалая по размерам.

Вся молодежь всех высших учебных заведений запрудила Невский и площадь Казанского собора. На этот раз в уличной демонстрации участвовала не только интеллигенция, но и рабочие, пока еще в меньшинстве.

На ступенях Казанского собора чуть ли не впервые в России взвилось красное знамя с надписью: «Долой самодержавие!»

И все это началось с того, что кому-то зачем-то вздумалось отлучить Толстого от церкви, от которой он сам давно уже «отлучился», но этим было нанесено оскорбление всей стране, сделавшейся чрезвычайно чувствительной и склонной к возмущению. Ощущалось накопление горючего материала, страна как бы требовала не только «будирующей» литературы от писателей, но и революционных поступков от революционеров. Не в одних студентах было дело: за экспансивной, негодующей молодежью стояла пробуждающаяся Россия, что-то назревало в ней посерьезнее интеллигентско-студенческих демонстраций; организовывались рабочие, зашевелился мужик.

С демонстрацией расправились жестоко. Невский очищали при помощи казачьих войск. Все высшие учебные заведения были закрыты до конца учебного года, затем последовали массовые аресты и высылки в места столь и не столь отдаленные.

На другой день после участия в демонстрации я уехал обратно в Нижний, а Горький, все еще озабоченный и мрачный, остался на некоторое время в Петербурге.

VI

Когда я приехал в Нижний, тихая зимняя жизнь старорусского приволжского города была нарушена появлением большого количества студенческой моло-

дежи, высланной сюда и наэлектризованной только что пережитыми событиями.

Студенты были героями дня, возбуждая всеобщее сочувствие. Они волновались и здесь, торжествуя и толпами расхаживая по улицам, каждый вечер устраивая вечеринки с пением студенческих песен, с речами и дебатами: намеревались что-то учинить в Нижнем, но ждали Горького. Он приехал в конце марта, когда уже началась ростепель, солнце светило по-весеннему, а по улицам бежали ручьи. Студенты ежедневно собирались к Горькому, кучей сидели, облепив его, как мухи, чрезвычайно довольные близким общением с писателем, а он говорил с ними тепло и сердечно, как только Горький умел это делать.

Молодежь надеялась привлечь его к устройству в Нижнем новой уличной демонстрации, она горела желанием «пострадать». Горький же почему-то медлил с разрешением ей этого ее желания, и так незаметно прошло время до апреля.

Наконец, он предложил устроить легальное собрание с участием «отцов города», разрешение же на это собрание обещал выхлопотать лично.

— Пусть это собрание и решит большинством голосов: быть уличной демонстрации или не быть, — заявил студентам Горький.

Потолковав, они согласились отложить демонстрацию до собрания, которое предполагалось устроить на ближайших днях в городской думе.

— Это было первое «народное собрание» в России, состоявшееся с разрешения начальства, — говорил потом Горький.

«Отцы города», конечно, говорили «благоразумные» речи. Председательствовал бородатый студент. За председательским столом в числе почетных лиц сидел Горький. Он высказался после всех, и речь его состояла всего из нескольких слов:

— Демонстрации не нужно устраивать по той простой причине, что она уже состоялась — здесь!

Это озадачило молодежь. В пользу уличной демонстрации никто не решился говорить после Горького. Голосовали и большинством голосов постановили демонстрации не устраивать. С тем и разошлись.

После собрания Горького арестовали и посадили в Нижегородскую тюрьму вместе с двадцатью двумя «сообщниками», большинство которых состояло из студентов; был в том числе арестован старший брат Якова Свердлова, юноша Зиновий Свердлов, один рабочий и два интеллигента из земской управы.

Пишущего эти строки тоже после безрезультатного обыска препроводили в тюрьму. Непосредственной причиной арестов было телеграфное распоряжение из Петербурга.

Тюрьма была старая, вековая и походила на сказочный замок с четырьмя круглыми башнями по углам. Обнесенная белой каменной стеной, она тогда стояла за городом.

Меня посадили в одну из четырех угловых башен — на дно круглого каменного колодца с маленьким окошечком в виде узкой щели на высоте около двух сажен от пола.

Горький был посажен в другую такую же башню. К обоим нам применялся очень суровый режим. Через четыре дня меня перевели во второй этаж тюрьмы, в большую грязную камеру с несколькими нарами, служившую, по-видимому, для заключения уголовных.

Близко от моего окна было окно Горького, который одновременно со мной был переведен из башни в обыкновенную камеру.

Мы видели друг друга и разговаривали, когда один выходил на прогулку, происходившую под окнами во дворе тюрьмы, а другой стоял у окна своей камеры.

Остальные сидели в соседних камерах, и таким образом каждый из нас во время прогулки мог видеть своих товарищей, сидевших за железной решеткой.

Иногда в лунные весенние ночи, когда никому не хотелось спать, мы все стояли, раскрыв настежь окна, каждый у своей решетки, и разговаривали по нескольку часов.

Горький был центром внимания и привлекал симпатии всей тюрьмы, включая даже тюремное начальство. Временным начальником тюрьмы был интеллигентный человек — поклонник таланта Горького. Он делал для нас всевозможные поблажки, чтобы облегчить нам наше положение. Как раз в это время, когда Горький сидел

в круглой башне Нижегородской тюрьмы, в «Жизни» появился «Буревестник», «черной молнии подобный», промчавшийся над Россией, как громовой раскат. Журнал тотчас же закрыли — не только за это стихотворение. Тем не менее голос поэта, заключенного в башне, прозвучал оттуда на всю страну с большей силой, чем если бы Горький оставался на свободе. Арест любимца трудящихся масс и трудовой интеллигенции взволновал буквально всю страну и даже вызвал беспокойство за границей за его жизнь; посыпались телеграммы и петиции от европейских писателей в адрес русского правительства: «Не казните Горького».

Когда меня вызвали в тюремную канцелярию на допрос, то предъявили обвинение в соучастии по пропаганде среди рабочих вместе с рабочим малярного цеха Алексеем Пешковым.

— Да ведь это Максим Горький! — возразил я, на что мне сухо отвечали:

— По документам мы знаем только рабочего Пешкова, по нашим сведениям — рецидивиста.

Меня спросили однажды вскользь, не привозил ли я из Петербурга эдакую всем дозволенную штучку, называемую «мимеографом»?

— Черт знает, что такое! — ворчал Горький, возвратясь с допроса в одну из лунных весенних ночей, когда мы все вели у наших окон обычный «ночной» разговор. — В третий раз в тюрьме сижу — никогда не встречал такого отношения!

В тюрьме мы невольно соприкоснулись с миром «отверженных», с обитателями «мертвого дома»: раз попав туда, человек погибал навсегда.

Каждый день в щелку двери моей и его камеры сыпались безграмотные записки с просьбой о покупке табаку, который не разрешено было иметь уголовным.

Однажды я получил особо униженную записку о табаке, заключавшуюся словами: «Пожалейте меня, бедного сиротку!» К записке был приложен подарок — костяная ручка для пера, сделанная в форме мертвой человеческой руки. Рука была вырезана, по-видимому, простым складным ножом, но с поразительным искусством: чувствовалось, что это непременно мертвая рука.

Я показал подарок Горькому, и он, найдя в этой работе признаки скульптурного мастерства, посоветовал мне повидаться с автором записки, потом передать впечатление: что за человек?

На прогулке я спросил знакомых арестантов.

— А, это Могила! — ответили мне с грубым смехом. — Он по ограблению могил, каторжник. Ничего в нем нет для вас интересного, просто дурак. Верит в нечистую силу, в привидения, а сам любит могилы разрывать, и если есть у покойников на пальцах перстни, то прямо так с пальцами и отрубит!

— И ведь честным был человеком всю жизнь, лодочником, что ли, служил, а как утонула у него жена с двумя детьми, так «это» с ним и началось. Какое-то дурацкое любопытство к покойникам.

— А ну, позовите его.

— Могила! — закричало сразу несколько голосов.

Через минуту передо мной стоял красивый атлет с черными, смолистыми усами, падавшими ему на плечи. Это была молодецкая фигура в холщовой рубахе с открытым воротом, обнажавшим волосатую грудь, с маленькой арестантской шапочкой на бритой голове, в ножных звенящих кандалах.

— Вот так сиротинка! — удивился я, озирая его фигуру, словно сорвавшуюся с полотна Репина «Запорожцы».

«Сиротинка» ответил лошадиным ржанием вместо смеха. Я попробовал было поговорить с ним о том, за что он сидит в тюрьме, но Могила отвечал тупо, с видимым нежеланием распространяться и только повторял, отводя глаза в сторону:

— Все равно в каторгу пойду, а этого дела не брошу! В каторгу мне и дорога! — О своем таланте скульптора отозвался пренебрежительно: — Так себе, баловство, от нечего делать. А за табак благодарим!

После меня разговаривал с ним Горький, и тоже безрезультатно: человек осужден в каторгу, а тут к нему «с пустяками пристают!» Горькому он кратко и мрачно рассказал о своем действительном сиротстве: о трагической гибели жены и детей.

Был май месяц, весна в разгаре. Всюду слышалось пение, даже птицы чирикали. Но нигде весной не поют

люди с такой охотой, как в тюрьме, в особенности под вечер, когда наступает вечерняя прохлада.

Я тоже пел каждый вечер, стоя на подоконнике своего раскрытого окна и держась руками за железную решетку. Пел те романсы и песни, в которых говорится о тюрьме.

Пение было слышно в городе, и оттуда на даровые концерты каждый день собиралась толпа слушателей. Концерты мои вошли в обычай, развлекая не только моих товарищей.

Но вот однажды, как бы в ответ на мое пение, из подвального этажа тюрьмы, где сидели уголовные, зазвучал красивый, сильный и обширный бас, певший:

Не шуми ты, мати зелена-дубравушка,
Не мешай мне, молодцу, думу думати,
Что заутра мне, добру молодцу, на допрос идти,
Перед грозного судью, самого царя.

Невидимый певец пел эту разбойничью песню очень хорошо. Мрачным спокойствием прозвучали последние слова «судьи»:

Я за то тебя, детинушка, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной!

— Кто это поет? — спросил Горький.

— Наш уголовный певец! — отвечали снизу. — Татарин Бадиуллин!

На другой день я на прогулке познакомился с ним: это был юноша двадцати одного года, красавец, высокого роста, с густыми кудрями золотистого цвета, отпущенными до плеч.

У него было приятное лицо с нежной, как у девушки, кожей, голубые глаза, говорил по-русски без акцента.

— За что вы сидите?

— За разбой! — последовал неожиданный ответ.

— Давно?

— У него уже пятая отсидка, — пояснили товарищи. — Он подолгу не гуляет. Только выпустят — и уж опять ведут!

— Рост у меня заметный и еще волосы!.. улыбаясь, сказал Бадиуллин: — Через это приметен полиции.

— А не лучше ли вам бросить разбой?..

Я стал говорить о его выдающемся голосе, что ему, если поучиться, можно сделаться оперным певцом.

Разбойник слушал меня с иронической улыбкой.

— А как же документы? — возразил он.

Раздался удар в тюремный колокол, и, головой выше всей толпы, он исчез вместе с нею, спускаясь в подземные казематы острога, где когда-то пытали заключенных.

Горький следил за этим разговором из-за железной решетки своего окна и потом сказал мне:

— Нет уж, если в пятый раз сидит, значит давно лишен всех прав... Ничего не поделаешь! Воскресить этих людей можно будет разве только после революции!

Выходя на прогулку, он прежде всего здоровался за руку с вооруженными часовыми. «Преступник» и тюремная стража мирно усаживались на травке, покрывавшей весь тюремный двор, дружелюбно беседуя. Тут же садился сопровождавший надзиратель. Осторожно, один за другим, подходили уголовные, весь день проводившие на другой стороне двора, и Горький всегда им что-то рассказывал с обычным своим мастерством, убедительностью и юмором.

Была какая-то особенная привлекательность в этом человеке: не прошло и недели, как часовые, надзиратели, уголовные и даже начальник тюрьмы и два помощника его были очарованы необыкновенным арестантом.

В тюрьме он просидел только месяц, но и за это время «что-то в груди» дало знать о себе: здоровье пошатнулось. Горького перевели под домашний арест.

Через несколько дней после того, как был освобожден Горький, оставшихся студентов, земцев и рабочего позвали в контору, откуда они явились прямо к моему окну.

— Прощайте! — кричали мне студенты снизу, со двора тюрьмы.— Нас сегодня выпускают на свободу! Напишите стишок на память!

— А меня — в ссылку, — спокойно добавил рабочий.

Я написал и бросил им в окно «Прощальное слово», коротенькое стихотворение, положенное впоследствии композитором Слоновым на ноты для пения. С этим

оригинальным «романсом» впоследствии часто выступал Шаляпин.

Вскоре мне пришлось познакомиться с «аристократом» уголовных, с «самим Никитиным», знаменитым вором.

О Никитине уголовные говорили почтительно, как о человеке совсем другого масштаба, чем они. Никитин, по их рассказам, был специалистом по части «дерзких краж» и «работал» всегда один. Еще незадолго до своего ареста, среди бела дня, в воскресенье, он ограбил ювелирный магазин на главной улице города: оделся стекольщиком и на глазах гуляющей по тротуару праздничной публики вырезал алмазом зеркальное стекло окна, влез, забрал все драгоценности в корзину, потом, не торопясь, вылез и опять вставил стекло. Арестанты рассказывали об этой «работе» с восхищением.

Незадолго до моей встречи с ним он убежал было из тюрьмы, но сам воротился при следующих обстоятельствах. Задумали они бежать вдвоем с товарищем и, как всегда у Никитина, сделали это днем, когда все уголовные были на тюремном дворе, а около тюрьмы, за городом прогуливалась городская мещанская публика: кругом было людно, шумно, был праздничный день. Внутри двора, примыкая к стене, стояла каменная сторожка для часовых, с растворенной настежь дверью. Дверь прилегала к стене. Встать на скобу двери, со скобы — на дверь ничего не стоило. Полез сначала товарищ Никитина, потом он, и оба спрыгнули за стену с двухсаженной высоты. Никитин сделал это, а товарищ вывихнул ногу. Тем не менее они ушли километра за два, до земляного вала, где и сели. Дальше идти товарищ не мог. Тогда Никитин вместе с ним воротился в тюрьму, так как не хотел бежать, покинув товарища. Это было особое, арестантское благородство.

Арестанты сообщили мне, что Никитин, сидящий в одиночке, желает со мной поговорить на прогулке.

Я согласился.

Свидание это было устроено уголовными при довольно таинственной обстановке: часовые и надзиратели куда-то исчезли с тюремного двора, уголовные тоже — весь двор опустел. Я ходил несколько минут по земляному тротуару, устроенному вдоль внутренней сторо-

ны тюремной стены, удивленный внезапной тишиной и как бы безлюдием тюрьмы, в обыкновенное время кипевшей голосами, пением и «играми» уголовных.

Наконец, из-за угла тюрьмы показалась фигура арестанта в обычном холщовом костюме и маленькой шапочке. Он быстро подошел ко мне и, протягивая руку, отрекомендовался:

— Никитин!

Это был юноша лет двадцати пяти, небольшого роста, смуглый брюнет, с маленькими черными усиками, красивый, с карими, блестящими глазами. В этих глазах было что-то особенное: что именно, я сразу определить не мог, но несомненно это были воровские глаза, быстрые, бегающие, настороженные, полные жизни, могущие быть дерзкими, но не дерзкие, а даже как будто печальные — замечательные глаза.

Заговорил он неожиданно тихим, печальным голосом; нельзя было и подумать, что этот с виду скромный, симпатичный юноша и есть знаменитый на всю Россию дерзкий вор, одно появление которого на свободе поднимает на ноги полицию.

Мы пошли рядом по тротуару вдоль стены и долго ходили так взад и вперед, разговаривая. До самого конца разговора никто не появлялся на тюремном дворе.

Никитин приступил прямо к делу.

— Видите ли, — заговорил он робко и печально, — я сейчас скажу, о чем мне хочется с вами поговорить. Я, как вы знаете, известный вор, моя специальность — дерзкие кражи. Я и сейчас, сидя в тюрьме, уже разработал план ограбления кафедрального собора здесь, — добавил он еще скромнее и застенчивее, опуская глаза в землю и как бы слегка конфузясь, — но, видите ли, когда мне пришлось два года просидеть в одиночке, в Петербургской тюрьме, я много читал и очень много думал... Вы знаете... как получается профессиональный вор? Это — случайность, так сложится жизнь, а потом вам уж нет выхода из заколдованного круга, вы — как затравленный зверь.

Долго рассказывать, почему я сделался вором, но, клянусь, я не хотел быть им!

А теперь, когда круг над моей головой давно замкнулся, я совершаю кражи, иногда очень крупные, вовсе

не из-за корысти — деньгами я не дорожу, но я мщу обществу! Понимаете вы меня? Я мщу! Я люблю не только украсть, но еще и посмеяться, поиздеваться, оставить какую-нибудь юмористическую записку за моей подписью, да и самую кражу сделать как-нибудь поостроумней, чтобы «они» почувствовали себя одураченными, чтобы знали, что я смеюсь над ними, над всей их жизнью, их лицемерием, над их порядками, полицией, попами и соборами! Я мщу! Но, видите ли, после того как я два года просидел в одиночке и все думал, теперь моя прежняя жизнь меня не удовлетворяет. Ведь это же не достигает цели. Это, что называется, паллиативы! Я хотел бы мстить иначе: разумнее, вернее.

Никитин в нерешительности остановился, потупил глаза, покраснел.

— Как же? — спросил я, внимательно слушая.

Никитин совсем сконфузился и прошептал тихо и застенчиво:

— Я хотел бы перейти на политическое!

Я не сдержал невольной улыбки.

— Разве это смешно? — чуть-чуть обидевшись, продолжал он, укоризненно вскинув на меня своими горячими глазами. — Разве я не мог бы приносить пользу вам всем... ну, хоть при переправе литературы из-за границы? Ведь я знаю, как это делается у вас неумело, сколько проваливается литературы и гибнет хороших людей, а у меня бы не было провалов, я бы каждую прокламацию губернатору на спину наклеил, и он долго бы ходил с нею! Ведь это такие пустяки! — презрительно пожав плечами, закончил знаменитый вор.

— Чего же вы, собственно, от меня хотите?

— А вот чего: очень немногого—я на днях выхожу на свободу и хочу предложить свои услуги революционерам через Алексея Максимыча. Но он, пожалуй, не примет меня из-за моей известности. Вот я и хочу попросить вас: напишите ему небольшое письмецо или просто записочку... Не обо мне! Нет! Обо мне ничего не пишите, напишите о себе, а я передам... Это мне нужно только для того, чтобы он меня принял. Можете вы это?

Я согласился переслать с ним письмо Алексею Максимычу, и Никитин горячо и благодарно пожал мне

руку. Затем мы расстались. Я остался на тротуаре, а Никитин быстрыми и легкими шагами направился в тюрьму. Я долго смотрел ему вслед и обратил внимание на его походку; видно было, что, несмотря на небольшой рост и сухощавость, был он силен и ловок как бес.

По выходе из тюрьмы я спросил Горького:

— Никитина видели?

— Нет, — отвечал он с сожалением. — Не довелось — он был в тот же день опять арестован и отправлен в Московскую тюрьму по совокупности с другими его делами. А жаль! Я много слышал о Никитине: незаурядный человек, достойный лучшей судьбы.

В это время я столкнулся у Горького с одним талантливым человеком, о котором Катерина Павловна рассказывала:

— Вижу, на толчке оратор появился, оборванный, с бочки говорил речи на заказ... экспромтом... По гривеннику за речь! На любую тему! Так хорошо говорит, что о нем по городу слух пошел. Наконец явился к Алексею для разговоров. Не знаю, о чем они говорили... Алексей, кажется, помог ему одеться. Теперь иногда бывает у нас... Совсем приличный стал!..

— Что же у него, талант?

— Несомненный! — подтвердил Горький. — Главное, не из мягкотелых... Твердый парень...

«Твердый парень» был еще совсем молодой человек — лет двадцати двух, умевший свободно держаться в обществе, хорошо говорить. Босяцкое положение, из которого его выручил Горький, было для него, вероятно, временной случайностью, моментом тяжело сложившихся обстоятельств. К сцене имел действительно данные: красивую наружность, звучный голос, живой темперамент. Заметно было, что где-то чему-то учился, свободно судил о литературе, о театре. Несмотря на крайнюю свою юность, производил впечатление бывалого во всяких жизненных переделках умного и талантливого парня. В трудные моменты каких-то своих «исканий» попадал в «босую команду», становился чернорабочим. Иногда писал в газетах.

Бывший босяк говорил, что пробовал служить на провинциальной сцене на вторых ролях и убедился, что

ему не хватает школы, учебы. Побывать бы в чьих-нибудь хороших руках!

Горький слушал, чуть улыбаясь и покручивая ус.

— Я, Алексей Максимыч, все-таки в конце концов актер, даже когда публицистикой занимался, критические статьи на произведения писателей писал, и тогда мог приступить к работе только, когда воображу себя, бывало, в гриме и костюме эдакого заядлого старого профессора: в очках, в седенькой бородке. Брюзгу эдакого, который во всяких книгах копается. И как только воображу себя таким, войду в роль, могу статьи писать, а если не войду, ничего не выходит!

— Бывают такие писатели! — усмехнулся Горький.— В Нижнем один народник был: говорят, когда за письменный стол садился, лапти одевал.

— Ну, а я — подобно Мефистофелю в «Фаусте», который надевает мантию Вагнера и дает советы студентам...

— А кем вы себя вообразили, когда речи на базаре говорили?

— Действующим лицом эдакой несуществующей исторической трагедии... Городская площадь... народ... средневековье... может быть, крестьянская война... и я говорю с лобного места... А на самом деле — с бочки! Когда вместе с босяками мостовую кайлом бил, тоже воображал себя проданным в рабство... Тогда и лохмотья носить умеешь ловко, будто век их носил... Актер я, Алексей Максимыч, помогите сделаться актером!

К этому времени Горького выслали в Арзамас под гласный надзор полиции «впредь до окончания дела».

Меня водворили «по месту приписки», как крестьянина, в мое родное село Обшаровка «на тех же условиях».

VII

Встретились мы в Крыму, в 1902 году.

Нам обоим разрешен был отпуск из мест нашей ссылки на полтора месяца для поправления здоровья.

Горький приехал со своей семьей на две недели

раньше меня. Я застал его в Олеизе — прелестном уголке на берегу моря, верстах в двенадцати от Ялты.

21 февраля 1902 года закрытой баллотировкой Горький был избран в члены Академии наук, но по негласному требованию царя исключен из состава академии. В виде протеста против его исключения демонстративно вышли из академии писатели Чехов и Короленко.

Дача «Нюра», в которой поселился Горький, стояла всего в нескольких шагах от берега и представляла из себя бревенчатый, выкрашенный белой краской дом затейливой архитектуры.

Было начало апреля с его нежной и радостной крымской весной, деревья цвели и одевались нежными листьями, а ярко-синее море с гармоничным шумом шевелилось перед самыми глазами.

Слава Горького росла не по дням, а по часам. Тюрьма, ссылка и исключение из академии только повысили интерес и сочувствие к Горькому широких масс: своих читателей он мог уже и тогда считать миллионами, да и в литературе к этому времени был далеко не одинок — в возглавляемом им «Знании» сплотился цвет тогдашней художественной литературы. Все книги «знаньевцев» с небывалой быстротой расходились в таком колоссальном количестве, что об истинных размерах их тиража Пятницкий, как оказалось после, долго и скромно умалчивал, боясь, как бы у нас «не закружились головы».

В Ялту на дни весеннего сезона съехались чуть ли не все тогдашние знаменитости; артисты, певцы, музыканты, художники, писатели, заслышав о приезде Горького, являлись в Олеиз для выражения своих чувств. Ежедневно приезжали толпы гостей. Шумно и весело стало на «Нюре».

Над Олеизом, в Гаспре — совсем рядом — лежал Лев Толстой, оправляясь от тяжелой болезни. В Ялте жил Чехов на собственной даче — тоже больной — и звал к себе Горького повидаться.

Наконец, приехал Шаляпин — веселый молодой гигант в поддевке и высоких сапогах. Целую неделю, почти не умолкая, пел он под рояль романсы, восхищая всех гениальным талантом, дивным голосом, искристым остроумием, неистощимой веселостью.

В это же время из Ялты торжественно прибыл Станиславский, а с ним — Владимир Иванович Немирович-Данченко.

Неспроста прибыли. Оказалось, что у Горького вчерне готовилась новая пьеса, и они приехали ознакомиться с нею.

Горький в присутствии собравшихся гостей читал свою рукопись.

Когда начал читать, голос иногда срывался, заметно было, что автор волнуется: от этих двух «чародеев» зависела судьба пьесы, за которую он, по-видимому, боялся. И совершенно напрасно.

Пьеса, еще не законченная, произвела, однако, на всех прекрасное впечатление; оригинальность темы, чеканность языка, где, казалось, не было ни одного лишнего слова, рельефность фигур — все это даже в неискушенном чтении взволнованного автора захватывало. Хотелось скорее увидеть ее на сцене.

По выслушании, она была тотчас же принята для постановки в Художественном театре. Называлась — «На дне».

Отпуск Горького кончился 1 мая. Он уехал обратно в Арзамас. Через две недели должен был вернуться и я в Обшаровку.

В августе мне разрешили переехать в Арзамас к Горькому, по просьбе, мотивированной нашими совместными литературно-издательскими делами.

Арзамас оказался живописнейшим древнерусским, страшно захолустным, тишайшим городком, полным художественно красивых старинных церквей.

Горький занимал там за тридцать рублей на все лето бревенчатый дом комнат в шесть, с мезонином и садом.

Завидя меня, подъезжающего к дому на извозчике, он высунулся из окошка, все все еще худой и бледный после «нижегородского сиденья», но радостный и улыбающийся, и закричал нетерпеливо:

— Отпустили?

Прогостил я в Арзамасе не более недели: наконец-то пришла нам обоим бумага, извещавшая, что «дело о мещанине Алексее Пешкове с «товарищи» «за отсутствием состава преступления» производством прекращено.

Освободившись от «отеческой» опеки жандармского управления, Горький поселился в Москве. С зимы 1902/03 года туда на жительство съехалось почти все тогдашнее «Знание»: Серафимович, Бунин, Найденов, не считая коренных москвичей, живших там оседло, — Андреева, Вересаева, Телешова, Белоусова и других.

Поселившись в Москве, ехал я раз на извозчике. Вдруг звучный голос окликнул меня. Гляжу — Я-бов, с запущенной черной бородой, возмужавший красавец.

— Я к вам! — сказал он, влезая в коляску.

Оказалось, служил где-то на юге в труппе, но почему-то ушел.

— Не понравилось?

— Нет, причина романическая... увлекся... Но мной пренебрегли... не мог служить — опять в чернорабочие попал!

Я рассказал Горькому о встрече со старым знакомым.

— Чего-о? — иронически переспросил писатель и затем с весом отчеканил: — Эдаким-то парнем «пренебрегли»? Скажите вы ему, чтобы он по миру-то ходил, а ерунду не городил. Конечно, врет! Если придет, передайте, чтобы зашел ко мне сечься: высеку его!

Когда я передал приглашение, Я-бов просиял:

— Это все равно, что у Тургенева в «Певцах»: «Антропка! Иди домой! — Зачем? — А затем, что тебя тятька высечь хочит!»

Через некоторое время он зашел ко мне, выглядевший престарелым профессором в воображаемых очках.

— Не пишете ли вы уже?

— Совершенно верно! Максимыч велел писать статьи до тех пор, пока не простит за мое вранье про «несчастне коханння»... Просто, загулы у меня бывают...

Зимой 1903 г. по инициативе Горького в Нижнем был построен и функционировал «народный театр», ставивший по воскресеньям пьесы классического репертуара. Труппа состояла из учеников и учениц студии Московского Художественного театра, изображавших как бы его филиал под руководством опытного артиста. В числе «студийцев» оказался и Я-бов.

В окружении этой ученической юной труппы он был «премьером» — единственным исполнителем главных ро-

лей: играл царя Бориса, боярина Грязного в «Царской невесте» и пр. Богатый голос его звучал глубоко и мощно: чувствовались задатки будущего большого артиста.

Но и здесь у него произошел один из его «прорывов», на этот раз, кажется, действительно на романической подкладке: кто-то влюбился в «эдакого парня», а он как будто не хотел этого, любя другую, и ввиду таких переживаний внезапно и горько напился в день «Царской невесты», где некем было его заменить. Пьесу при собравшейся публике пришлось отменить. «Твердый парень» никак не мог этого простить себе, и наутро в местной газете появилось его покаянное письмо, которым он «сам себя изгонял из труппы», после чего снова исчез.

Летом пришлось мне быть в Одессе, где при свидании с одним писателем, жившим там постоянно, я услыхал рассказ о Я-бове.

— Прохожу раз мимо приморского бульвара, вижу, рабочие мостовую чинят... Гляжу, в числе их Я-бов кайлом работает в полном босяцком рубище, так что сквозь прорехи здоровенное, бронзовое тело сверкает, а кругом публика гуляет, раскормленные дамы на эдакого молодца засматриваются, а все-таки гнушаются!

Увидел меня, бросил кайло, подбежал, весь дрожит: «Выручайте меня скорее!.. Денег... денег! Прежде всего одеться!»

Я дал ему денег, и через час он явился ко мне преображенный. Уехал в Москву, там, говорят, Горький устроил его в путешествие за границу с труппой артистки Яворской, под руководством знаменитого режиссера.

Пройдя хорошую школу, он по возвращении превратился в заметного артиста, ставшего желанным для всякой труппы столичных городов.

С этих пор кончились его «срывы» в форме «загулов», прежде доводивших его до босячества — вероятно, в минуты недовольства собой.

В это время Горький с особым успехом выступал в драматургии: его пьеса «На дне», великолепно поставленная в Художественном театре, прозвучала как суровый суд над мрачной русской жизнью. Ряд последующих пьес действовал на публику, как удары бича по натянутым нервам. «Знание» организовало свои «сбор-

ники», где и начали с 1904 года почти периодически появляться все новые произведения «знаньевцев», а потом уже выходить отдельными изданиями.

Громадный успех и тираж этих сборников — в шестьдесят тысяч каждое издание — являлось чем-то небывалым до этого времени в истории русской литературы: книги расхватывались на лету, выходя почти ежемесячно; ни один из существующих тогда толстых журналов, с их тиражами не больше десяти тысяч, не мог конкурировать с ними; причина успеха была не только в том, что каждый из «знаньевских» сборников в зеленой обложке возглавлялся новыми произведениями Горького, но и в том, что он сумел подобрать туда талантливую литературную молодежь, переживавшую необыкновенный душевный подъем; каждый сборник был проникнут будирующим настроением, обещавшим близость радостного утра, восход пышного солнца свободы. Писатели не только заражались бодрым настроением, пламенной верой своего старшего товарища, но и сами черпали из окружающей жизни необычайное воодушевление, выразителями которого невольно становились. Отдельные издания книг почти всех авторов «Знания» печатались и, как фейерверк, разлетались по стране в сотнях тысяч экземпляров: по крайней мере о таком тираже говорил мне впоследствии Горький.

В начавшейся революции 1905 года Горький участвовал в московском восстании и, наконец, вынужден был эмигрировать.

Последнее мое свидание с ним перед переходом границы произошло зимой 1906 года в Гельсингфорсе, куда он меня срочно вызвал из Петербурга телеграммой для участия в русско-финском вечере, которым столица Финляндии приветствовала «большого русского поэта».

VIII

Замечательно красив и симпатичен город Гельсингфорс. Сравнительно с большими столичными городами он кажется маленьким, но более уютным, изящным.

На стройных, чистеньких улицах Гельсингфорса, этого уголка северной Европы, часто встречаются дома из

родного финнам серого камня, представляющие как бы олицетворение старой финской сказки: они сложены из художественно-необделанных циклопических глыб, а из-за каждого камня, сросшись с ним, выглядывает лукавая рожица маленького финского гнома, домашнего доброго духа, приветливо подмигивающего, с немым хихиканьем дразнящего острым язычком. Они как бы гнездятся между камней, одухотворяют их, вышли из них же, как и сами финны. И на умышленно неотесанных каменных воротах тоже сидят на корточках смешливые химеры, смотря друг на дружку, высунув языки, строят лукавые рожи и, неслышно хихикая, показывают пальцами одна на другую.

Когда я в снежное и влажное зимнее утро ехал на быстрой финской лошадке с Гельсингфорского вокзала и глазел по сторонам, мне казалось, что от этого опрятного и европейски стройного города веяло сдержанностью, выдержкой.

Лица встречавшихся финнов, некрасивые, скуластые, неподвижные, серые, словно высеченные из одного и того же финского крепкого камня, говорили об упорной устойчивости людей этой страны.

Я вылез из саней у массивного подъезда первоклассной гостиницы, где жил Горький, и, сопровождаемый отворившим мне дверь молодым человеком в ливрее, поднялся наверх по широкой мраморной лестнице.

— Для вас уже приготовлена комната, — на чистом русском языке сказал мне финн, вводя меня в комфортабельный номер.

— А в каком номере Горький?

— В девятом.

Я отпустил слугу, умылся, переоделся, напился кофе в ресторане, отыскал девятый номер и не без волнения постучался.

— Войдите! — глухо послышался голос Алексея Максимовича.

Я вошел.

Номер состоял из двух смежных больших комнат, почему-то заставленных множеством огромных букетов свежих красных роз: вся комната, в которую я вошел, была в цветах.

За круглым столом сидели Горький, артистка Худо-

жественного театра М. Ф. Андреева, финский художник Аксель Галлен и начальник «красной гвардии», как называлась тогда в Финляндии народная милиция.

Галлен был элегантный, загорелый брюнет лет тридцати, высокий, плечистый, с небольшой черной бородкой, красивый мужественной красотой горного охотника, — таким я представлял себе гамсуновского Глана. С Галленом я был немножко знаком, встретившись летом у Горького в Куоккала в 1905 году.

Начальник гвардии — пожилой человек с большими, свешенными вниз усами и лысеющим лбом — держался по-военному прямо и сухо, говорил по-русски чисто, короткими фразами.

Через плечо у него была одета широкая красная перевязь, напоминавшая генеральскую ленту, в знак принадлежности к народной финской милиции.

— А вот и главный артист приехал! Знакомьтесь! — рекомендовал меня Горький.

— Главный артист — это вы, — возразила Андреева. — В особенности в интимном разговоре.

— Э! Мало ли что! — шутил Горький.— В интимном-то я неотразим, например в разговоре с жандармами! Все засмеялись.

Галлен очень плохо и с трудом говорил по-русски, но русскую речь ему в затруднительных случаях переводила Андреева на французский язык.

Она предупредила меня, что Галлен — европейски известный художник и национальная финская знаменитость. Принесли мне репродукции его картин, и я с наслаждением любовался ими.

Финляндия владела сердцем Галлена, была его любовью, грезой, страстью и безумием: всюду, во всем у него была Финляндия.

Он воспел в могучих красках «Калевалу» — эти северные волшебные сказки, стихийные, как зимняя вьюга, — финский эпос.

Пели краски о современной, живой Финляндии с ее седыми скалами и тихими озерами, с девственными хвойными лесами и угрюмым северным морем: серое, свинцовое финское море с набегающими на плоский берег мелкими волнами и тут же прибитое к берегу мертвое дерево, без коры, насквозь просоленное морем,

крепкое, как камень: ах, это все символы Финляндии, горько и страстно любимой художником ненаглядной и обожаемой им сказочной страны «Калевалы»!

Это была жгучая, острая любовь к своей угнетенной стране, но под этой любовью чувствовалась оборотная сторона: ненависть к русскому самодержавию. Именно эта ненависть сближала нас с тогдашними финнами.

Горький заглянул через мое плечо и с глубоким вздохом сказал:

— Как они любят свою страну! Ах, если бы русские так любили свою родину!

— Переведите, пожалуйста, Акселю,— обратился он к Андреевой, — что я никогда не забуду Финляндии и ее народа, ее художников и счастливейших для меня дней, пережитых в Финляндии. Переведите также, что я никогда не забуду его, Акселя, прекрасного художника, пламенного, любящего свою страну и ее свободу.

Когда Андреева перевела, лицо Галлена, отчасти понимавшего сказанное, просияло радостной детской улыбкой; он протянул писателю большую, замечательно красивую, мужественную руку.

— Сегодня мы с вами выступаем на русско-финском вечере,— сказал, обращаясь ко мне, Горький.— А завтра я уезжаю. Теперь мы, вероятно, не скоро увидимся.

— Не по этому ли случаю у вас здесь столько цветов?

Никто не успел мне ответить. Где-то близко на улице внезапно грянул духовой трубный оркестр. Все кинулись к окнам.

Улица была полна празднично разодетой толпой.

Недалеко от гостиницы виднелся среди маленького сквера небольшой бронзовый памятник, теперь весь сверху донизу убранный цветами; около него-то раздавались торжественные звуки оркестра.

— Что это значит?

— Сегодня финский праздник, — объяснил мне Горький.— Чествование памяти ихнего поэта Руненберга. Он для них все равно, что Пушкин для нас. Вот как умеют чтить своих поэтов финны!

— И не только своих, — возразил тихим голосом молчавший до этих пор начальник гвардии.

— Кроме того, — продолжал Горький, — художники у них прекрасные, архитектура — тоже... Но позвольте... — перебил он себя, встрепенувшись и прислушиваясь.— Они направляются сюда?

Оркестр, сопровождаемый все возраставшей толпой, сверкая медными трубами и сотрясая воздух торжественными волнами звуков, приближался к подъезду гостиницы. Толпа с обнаженными головами запрудила улицу. Великолепный оркестр грянул под нашими окнами. Музыканты были с широкими красными лентами через плечо.

Едва замолк оркестр, как запел густой и стройный хор.

— Это все вас чествуют! — взволнованно говорила Горькому артистка.— Выходите на балкон, скажите им: «Да здравствует Финляндия!» — по-фински.

— Но я не умею говорить по-фински, — возразил Горький.

— Ах, да это же можно написать! Аксель!

Она схватила со стола карандаш и бумагу.

Аксель продиктовал ей несколько финских слов. Андреева написала их русскими буквами. Бумажку дали в руки Горькому.

Пение умолкло. Тотчас же с другой стороны загудел новый хор. Потом опять заревели трубы. Толпа прибывала, и уже не видно было ей конца.

С трудом открыли дверь на балкон, забитую по-зимнему. Горький появился на балконе. Оркестр умолк.

Прерывающимся голосом, медленно выговаривая, Горький крикнул два финских слова: «Элекейнен Суоми!», означавшие: «Да здравствует Финляндия!»

Воздух дрогнул от восторженных криков, вырвавшихся из нескольких тысяч грудей.

Люди с обнаженными головами махали шляпками и шапками, что-то крича.

Суровый финский народ радостно улыбался и бурно приветствовал русского писателя — борца за революцию.

Горький опять повторил свое восклицание и опять вызвал гул криков толпы.

В комнате все волновались. Было что-то трогательное во всем этом происшествии, в таком выражении любви многотысячной толпы к писателю-революционеру,

Подразумевалось, что эти овации происходят в честь Горького не только как большого писателя, но и как политического деятеля. Это была демонстрация, в которой столица Финляндии почти поголовно приветствовала Горького как представителя русской революции: вместе с ее ущербом падали надежды Финляндии.

Горький вбежал в комнату с мокрым от слез лицом. Все окружили его, растроганные. Артистка плакала, вытирая свои слезы платком.

На улице гремел оркестр, чередуясь с хорами певцов. Толпа не расходилась и все прибывала; крыши соседних домов чернели от зрителей.

Зимний северный день угасал. Смеркалось.

Начальник гвардии вдруг торжественно встал перед Алексеем Максимовичем и, обнаружив военную выправку, произнес торжественно-официальным тоном:

— А теперь пожалуйте на спектакль! Экипаж подан.

Мы все оделись и гурьбой спустились вниз по широкой мраморной лестнице.

На улице, с обеих сторон крыльца, двумя живыми стенами стояла тесная толпа, оставляя для нас только узкую дорожку, застланную ковром, которая вела к санкам, убранным гирляндами свежих красных роз.

Но сани были без лошадей: за оглобли держалась толпа.

Кругом стояли тысячи людей с обнаженными головами, девушки бросали на снежную дорогу свежие, сочные розы, красные, как кровь.

— Я не могу, — говорил окружающим Горький, — я пойду пешком. Не хочу, чтобы меня везли люди!

Тогда, слегка раздвинув других, встал перед ним начальник «красной гвардии», серьезный, с седыми усами, в широкой красной ленте через плечо, выпрямился по-военному и сказал официально:

— Народ этого требует!

Горький подчинился народу и сел в сани с открытой головой.

Рядом с ним села М. Ф. Андреева.

Тронулся тихий, торжественный поезд: впереди во всю ширину улицы густо двигалась сплошная, медленная, торжественно-печальная толпа, сзади саней, ведо-

мых людьми, шли десятки тысяч людей с открытыми головами, не было видно конца толпе ни впереди, ни сзади; в демонстрации участвовало не менее сорока тысяч жителей Гельсингфорса. Где-то в этом море людском потерялся затертый и заглушенный гулом движения оркестр, издававший трубные, торжественно-могучие звуки.

А кругом саней в ногу шагала «красная гвардия» в широких красных лентах через плечо.

Шествие двигалось слишком медленно под торжественные звуки медного оркестра.

Толпа устилала путь русского писателя красными цветами, словно кровью орошали они снежную дорогу, и не знал он, что путь, усеянный розами, по которому его влекли с такими почестями, будет путем многолетнего изгнания, страданий и борьбы.

IX

«Знаньевцы» во время этих событий, не успев сорганизоваться в «Товарищество писателей», после отъезда Горького потребовали от Пятницкого отчетности в денежных делах «Знания», так как доверяли только Горькому. Пятницкий им в этом отказал, что и послужило поводом к уходу «знаньевцев» из «Знания».

«Знание», оставшееся под гнетом злейшей правительственной и психологической реакции, по понятным причинам уже не имело сил по-прежнему возвышать свой голос на борьбу с ней: оно осталось не только без вдохновителя, но и без прежних его соратников, замененных новыми, менее интересными для широких кругов читателей. Пятницкий переехал к Горькому на Капри, и сборники, составлявшиеся за границей, уже не вызывали прежнего могучего отклика в сердцах читателей, павших духом, среди общей подавленности, в обстановке реакции. Тираж сборников уменьшился катастрофически, и, постепенно хирея, они, наконец, совсем прекратились. Материальное положение знаменитого писателя за границей значительно ухудшилось, пошатнулось и здоровье — обострился туберкулез, доходили слухи об открывшемся кровотечении горлом. После пре-

кращения издательства «Знания» Горький и Пятницкий разошлись.

В стране безостановочно, подобно бездушной машине, работал военный суд, выносивший задним числом смертные приговоры через повешение, отправлявший людей в ссылку и каторгу. Народный юмор называл повешение «муравьевским галстуком».

Тогда взошла печальная звезда Леонида Андреева, автора «Семи повешенных», большой, но болезненный, всегда имевший уклон к пессимизму талант которого звал теперь не «К звездам», как прежде, а во «Тьму» трагического отчаяния. Андреев встал во главе модернистского «Шиповника», более отвечавшего мрачному «духу времени».

Чувство упадочничества на много лет охватило интеллигенцию.

Всеобщим упадком духа только и можно было объяснить успех пессимистической «арцыбашевщины», интеллигентное мещанство полезло в «санинство» («Санин» — роман Арцыбашева). Начался всероссийский разгул — море по колено.

Из писателей многие надолго замолчали, иные среди всеобщего пьяного угара спились, некоторые морально опустились, психологически жестоко разбитые. Началось «купринское богемство». «Не разбились, а рассмеялись» только обеспеченные либералы, эстетствующие «любители словесности», «ужи» из «Песни о Соколе», переставшие в это время «любить Горького». Теперь они лягали всех и все, что напоминало им революцию, между тем как «Сокол» буквально истекал кровью на скалистом острове Средиземного моря.

Горький чувствовал, что ему нельзя оставаться только писателем, что слава его — слава борца за революцию — дается ему в ожидании дел, подтверждающих его призывные песни.

Покончив с «бывшими людьми», ярко обрисованными в первом фазисе его литературных выступлений, заключительным аккордом которых была пьеса «На дне», он оказался на распутье: тема была исчерпана до «дна», художник «выпел душу» и остыл к своим персонажам. Правда, огромный материал поразивших его когда-то впечатлений далеко не весь был переработан, и всякий

раз, когда впоследствии автор прикасался к старым струнам, они звучали с прежним очарованием, как, например, в прекрасно написанном «Детстве», но видно было, что ему необходимо вступить в какой-то новый фазис литературного развития, не повторяя себя и не возвращаясь вспять.

За границей он впервые берет для своих вдохновений жизнь революционно-рабочей среды — пишет «Мать» и целый ряд художественных произведений, бесповоротно, как по рельсам, ведущих его на вершину мировой известности большого пролетарского писателя, первого в мире.

Я не был у Горького на Капри. Всего только два-три раза обменялись мы письмами, написанными «эзоповским языком». В моих старых тетрадях я случайно нашел экспромтный набросок одного из таких моих писем к Горькому на Капри, относящийся к 1908 году, когда у него гостил Леонид Андреев.

Вот отрывок из этого письма:

Синьор Алексис, сын Макса!
Примите привет необлыжный
За те досточтимые строки,
Что мною получены с Капри!
Привет тебе, остров бессмертных!
Бессмертные, будьте здоровы!
Пускай вас минует простуда,
И насморк, и боль головная!
Да греет вас вечная слава!
Вы там — на причудливом Капри.
Герой Леонид хитроумный (Андреев)
И Пятницкий — в белом костюме
С биноклем и в галстухе красном!
Я вижу вас всех на веранде
За красным вином (вероятно)
По случаю дней карнавала.

У нас же картина другая:
Кутит на Руси Мефистофель,
Ему — «человек» услужает:
— Эй, красного! — крикнет Люцифер,
И «красное» льется рекою.
У нас — карнавал Вельзевула:
Мы в галстуках здесь «муравьевских»
Гуляем и пляшем порою
В беззвучии «красного смеха».

Ведут всюду «красных» куда-то
И бесятся синие черти.

Бессмертные! Будьте бессмертны!
Да здравствует синее небо
Прекрасного острова Капри.

Во время мировой войны, в декабре 1914 года случилось мне быть проездом в Киеве. Остановившись в гостинице, взял газету: оказалось — в городском театре бенефис Марии Федоровны Андреевой, идет пьеса Чехова «Три сестры».

В телефон мне ответил приветливый голос артистки:

— Приезжайте, пожалуйста, билет для вас припасут в кассе. Да загляните ко мне за кулисы в антракте, очень рада буду. Между прочим, могу сообщить вам новость: здесь Алексей Максимыч!

В первом же антракте пошел за кулисы. На мой стук в уборную бенефициантки дверь отворил — Горький.

С тех пор как мы расстались в Гельсингфорсе, внешность его значительно изменилась: уже не было длинных волос и суконной блузы; коротко остриженный, в застегнутой наглухо тужурке, в высоких сапогах, он теперь показался мне похожим на партийца, но лицо, так хорошо мне знакомое, «солдатское», с отросшими, опущенными вниз широкими усами, чем-то стало напоминать известный портрет Шевченко. Видно было, что много пережил и перестрадал этот человек, между нами легли девять лет реакции в России, приведшие к еще более безнадежной и ужасной войне, — годы «каприйского отшельничества» Горького.

В уборной артистки во время краткого антракта были посторонние, незнакомые мне люди, состав которых менялся: одни уходили, другие входили. Все это мешало нашему разговору. Я узнал только, что Горький направляется в Москву. Ответил ему на несколько вопросов о себе, поблагодарил Андрееву, стал прощаться, — затрещал третий звонок.

Горький пошел проводить меня.

В коридоре театра мы пожали друг другу руки и расстались: я повернул в одну сторону, а он в другую. Потом оба оглянулись.

— Редко видимся! — вырвалось у меня.

— Да, редко! — ответил он и вдруг воротился ко мне.

В лице его было какое-то новое, более теплое выражение.

— Приходите завтра часов в шесть к Марье Федоровне — я буду там. Хорошо?

— Хорошо, — ответил я, — если приглашаете, то уж, конечно, приду.

— Ну, так вот. Приходите.

Я ушел из театра, не дождавшись конца пьесы. В душе встало яркое воспоминание о чистоте и непосредственности нашей прежней, почти юношеской дружбы. Теперь мы оба были уже сильно пожившими людьми, много тяжелого пережившими. Горький казался чем-то озабоченным, возвращаясь в Россию в тяжелую годину грандиозной войны. Когда я спросил его, что он думает о войне, Горький кратко ответил:

— Не вылезем мы из нее. Надо же ее прекратить когда-нибудь.

— А зачем «им» ее прекращать-то? Война дело выгодное — для тех, кто любит устраивать войны: так и будут воевать до тех пор, пока...

Дальше разговор оборвался.

Что-то лежало у него камнем на душе. Дирижерскую палочку в литературе как раз подняли наши давнишние, постоянные враги — «любители чистого искусства», от которого рукой подать до церковного благочестия и «ура-патриотизма».

В тогдашнюю реакционную эпоху критика, за которую взялись наши недоброжелатели, любила «хоронить» Горького и «горьковцев». О наших книгах писали: «Прежде это нравилось — теперь не нравится». Неправда! «Мы» «им» никогда не нравились, а теперь был на «их» грязной улице праздник... Никогда еще «мы» и «они» не были так непримиримы: нас травили за то, что наши книги самым своим содержанием возбуждали читателя против «них». Тяжело было тогда в русской литературе!.. И вот — приехал Горький: может быть, он опять соберет нас, поднимет, как прежде, наш падающий дух.

С этими мыслями я пришел на другой день в назначенное время на квартиру артистки. Это была крохот-

ная квартирка из трех маленьких комнат с входом со двора; прежде я не видал столичную артистку, привыкшую к комфорту, в такой мизерной обстановке; должно быть, денежные дела ее были неблестящие.

Горький с интересом расспрашивал меня о литературе и литераторах, о старых «знаньевцах», о Куприне, об Андрееве.

Я должен был нарисовать печальную картину всеобщего разброда, упадка, отчаяния, мрачного разгула, пьянства, расхлябанности одних и торжества того «благочестивого» литературного лагеря, который так любил наши «похороны». Горький внимательно слушал, покручивал ус и ухмылялся.

— А что касается меня, — хоронить еще рано! Я действительно собирался помирать, но ничего не вышло. Одно время совсем было собрался... Врачи предупреждали, чтобы я, значит, того... приготовился... чтобы на всякий случай привел свои дела в порядок. Лежу это я... кровь горлом... весь асфальтовый пол на балконе залил... Вдруг на лестнице поднимается ко мне этот самый бывший земский врач эмигрант Манухин — слышали о нем? — рассказывает о своем изобретении: «Все равно вам помирать-то: давайте я на вас мое новое средство попробую. Двух обезьян уже вылечил. Может быть, вас вылечу».

— Ну, что это? Разве можно так! — со смехом запротестовала артистка.

— А что? — с юмористическим видом обернулся к ней рассказчик. — Ведь действительно вылечил: я сам видел фотографию с моих легких до сеансов с этими самыми рентгеновскими лучами и после. До сеансов — каверны там и прочее, а после совершенно чистые легкие. Он, этот Манухин, с догадкой человек. А теперь совсем — «не хочу я помирать!» Вот приеду в Москву, открою журнал и возьмусь за перо, тогда узнают, что я не только жив, но и здоров, пожалуй! Нет, я не умру, — повторил он.

Страна вступила в преддверие новой эпохи.

Наступил исторический момент, когда в массах скопился горючий материал и ждал только искры, чтобы загореться. Масса хотела иметь «своих» писателей и этими писателями признала прежде всего Горького и удачно собранных им его сподвижников.

Действительно, что-то «от земли» было в их угловатых, насыщенных тяжестью чувства стихах и прозе, в массивном, гулком языке и даже в их «лирике», в которой сквозь увертюру «личных» настроений помимо их сознания как бы слышался доносившийся из глубины могучий голос, подобный стону скованного великана.

Крупнейшим представителем этого яркого течения в русской литературе был сам Горький, отличавшийся от своих соратников тем, что был первым большим пролетарским писателем.

Он был редчайшим самородком в том смысле, что задолго до своего выступления в литературе открыл и совершил путь к сердцу народа среди кошмаров «страшной жизни», при встречах с чудовищами безотрадной жизненной правды. Как новый Рахметов Чернышевского, он с лямкой крючника за спиной шел по глухим деревням, речным и приморским пристаням, всюду встречал «горе сел, дорог и деревень».

И он-таки добыл волшебный цветок человеческого счастья, которое искал для людей, как «Иванов цвет» папоротника, как не дававшийся никому заколдованный клад — и этим кладом оказалась пробудившаяся сила рабочих масс, потребовавшая для всех трудящихся свободы, радости и счастья.

Он явился не только как поэт революции, звавший других на борьбу, но и сам был по натуре своей бойцом. От слов и песен переходил к немедленному действию, подтверждая искренность своих призывов.

Нужно было иметь богатырские силы, чтобы пережить ту фантастически красивую, полную борьбы жизнь, какую пережил Горький.

Эта эпическая, почти легендарная и вместе глубоко народная фигура писателя-борца не всю себя уместила в литературном творчестве, которое было для такого человека, как Горький, оружием в борьбе и песней в трудном пути, сделанном им от бурлацкой лямки к мировому имени выдающегося писателя и политического деятеля. Именно вследствие действенной, активной энергии и большого организаторского ума в соединении с талантом художника он не мог остаться, как многие, «только писателем»: значительная часть дарованных

ему от природы сил ушла в самую жизнь, в «гущу жизни», в которую кинулся он, отдавая ей всего себя с юности и до последнего вздоха.

Я славно пожил! —

мог сказать он в конце своего пути словами из «Песни о Соколе».

Путь его всегда был путем неустанной борьбы, кипучей энергии и вечной погони за той символической, сказочной феей, которая грезилась поэту еще в ранней легенде «о юноше Марко», как олицетворение мечты о великом будущем, в противовес ненавистному для него старому миру...

1937

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

I

Мне вспоминается яркий, солнечный апрель в Крыму, каменистый берег моря в Олеизе, вечный, неугомонный гул прибоя, а на берегу деревянная дача «Нюра» — вычурной архитектуры, вся белая, веселая, кокетливая.

Темно-синей пеленой колыхалось могучее море, освещенное весенним радостным солнцем, кое-где качались надутые ветром паруса рыбацких лодок; иногда вдали на горизонте медленно проплывал черный грузовой пароход.

Это была весна 1902 года.

На даче «Нюра» жил тогда Горький, на рассвете своей славы: вся читательская Россия, жаждавшая обновления и предчувствовавшая близость революции, думала, что у Горького в кармане лежит путь в обетованную страну, текущую млеком и медом, к заветному острову свободы, со всеми угодьями и землями, со всеми благополучиями и воздушно-хрустальными замками.

Все обещало конец тогдашним невзгодам: весеннее небо, весеннее море, теплом веющий южный ветер и весна в сердце.

Шумно и весело было у Горького на «Нюре», наехали гости, приехал Шаляпин.

И когда, наконец, все они схлынули, из гостей остались только двое: Шаляпин и я, приехавший поправлять здоровье, расстроенное тюрьмой.

Тогда Горький сказал Шаляпину:

— А не сходить ли нам сейчас к Толстому?

Оказалось, что Толстой жил тогда в Гаспре, в десяти минутах ходьбы от «Нюры».

— Пойдем! — согласился Шаляпин.

Я попросил их взять меня с собою. Горький, не раз бывавший у Толстого в Ясной Поляне, стал меня отговаривать.

— Не советую! — сказал он. — Неприятно вам будет! Я вот про себя скажу: ведь какой ни на есть, а все-таки я — писатель, но, когда говоришь с Толстым, черт знает отчего, чувствуешь себя каким-то мальчишкой, ей-богу! Не человек говорит, гора говорит!

Шаляпин заступился за меня. Они посоветовались, поспорили и, наконец, решили взять меня с собой в путешествие к Человеку-Горé.

Мы отправились к нему прямиком по тропинке, через какую-то рощу, перелезали через изгороди, карабкались на гору и, наконец, минуя Кореиз, вылезли прямо к сумрачному замку из темного камня, выстроенному в средневековом, рыцарском стиле. Кругом него был большой запущенный парк, широкий зеленый луг с клумбами цветов — и ни души.

II

Пока шли, Горький рассказывал, что Толстой оправляется теперь от только что перенесенной им тяжелой болезни — кажется, воспаления легких.

Хвалил Софью Андреевну.

— Это правильно она говорит: если бы не она, так он бы десять раз себе Голгофу устроил! Умная баба. Я ей говорю в прошлый раз: «Вот — его отлучили от церкви, в случае, если помрет, без попов хоронить придется!» Так она даже кулаком по столу пристукнула, говорит: «Вот увидите, митрополит хоронить будет! Митрополит!»

— Да, с большим характером женщина!

Увы! Через восемь лет после этих слов Толстой устроил-таки себе Голгофу, и не «спасла» его Софья Андреевна, и не хоронил митрополит.

Алексей Максимович рассказывал содержание повести «О. Сергий», только что написанной тогда, которую Тол-

стой читал ему по рукописи. Говорил о том, какой удивительный рассказчик Толстой в живой беседе.

— Он как-то лепит руками из воздуха, как скульптор, и вот видишь перед собой все эти лица и фигуры, как живые! Лепит, лепит, создает все из воздуха, вызывает к жизни из ничего, а потом дунет — и все исчезло! Колдун! В прошлый раз как-то рассказал мне содержание одной новой повести какого-то молодого, неизвестного автора, напечатанной в одном плохоньком журнальчике: ведь он все читает, ничего не упустит! Ну, братец ты мой, так рассказал, что у меня глаза на лоб вылезли. «Батюшки, думаю, новый талантище появился, а я и прозевал!» Пришел домой, отыскал эту повесть, прочел, — только в затылке почесал: конечно, ерунда! Бездарность безнадежная, ничего и похожего-то нет на то, что рассказал Толстой! Ах, если бы тот мог написать так, как этот пересказал им написанное!

Мы взобрались на парадное крыльцо и позвонили.

Огромная дубовая дверь тотчас же отворилась.

Имена Горького и Шаляпина оказали быстрое действие: нас пропустили в зал.

Минут через пять вышла Софья Андреевна. Она в то время производила впечатление бодрой, моложавой женщины. Приняла нас приветливо и завела салонный разговор.

Потом сказала:

— Вы, вероятно, хотите видеть Льва Николаевича? Я уж ему говорила о вас: он очень извиняется, что не может принять вас, и очень сожалеет об этом, но слаб после болезни, ему вредно говорить.

Тут один за другим стали выходить остальные члены многочисленной семьи Толстого: сыновья, дочери и внуки. Мне даже надоело без конца вставать со стула и знакомиться, — так их было много!

III

По внешности, манерам и порядкам в доме чувствовалось, что семья Толстого отнюдь не «толстовцы». Это была обыкновенная, традиционная стародворянская семья, со всеми свойственными таким семьям сословны-

ми понятиями и предрассудками. Мне показалось при одном взгляде на них, что Толстой в мужичьей рубахе со всем миром своих идей должен быть одинок в собственной семье, но что это одиночество, может быть, нужно ему.

Впоследствии я водил дружбу с его сыновьями — Сергеем и Ильей, в особенности с последним, из которого получился «до некоторой степени литератор».

Илья, по наружности похожий на отца, унаследовал от него более других братьев литературную жилку, — но, увы, в очень слабой степени.

Помню, в беседах со мной он всегда проклинал свое происхождение от знаменитого отца; по его словам, отец, сам того не замечая, давит в них наследственную талантливость громадностью своего гения: рядом с ним они всегда с отчаянием убеждались в собственном ничтожестве. Сравнение с великим отцом убивало их энергию.

Может быть, и правда.

Разговор графини с Горьким и Шаляпиным был незначительный, условно-салонный, я с нетерпением ждал момента, когда они подымутся уходить.

Высидев десять минут, мы поспешили уйти.

Опять спустились к морю, вниз, по той же тропинке. Горький и Шаляпин шли впереди меня, рядом. Последний, по своему обыкновению, острил и балагурил, а Горький насупился и молчал.

Внизу шумело вечернее море.

Тени гор уже простирали над ним свою тихую вечернюю печаль. В Олеизе и Кореизе, двух смежных татарских деревушках, кое-где зажигались тусклые огоньки.

На другой день уехал Шаляпин, а недели через две поднялся в отъезд и Горький.

IV

Я нашел себе комнату в Кореизе, у татарского муллы. Домик его, стоявший в полугоре, ближе к верхнему шоссе, чем к морю, был в два этажа, обычной восточной архитектуры; внизу жил мулла со своей семьей, а верх, состоявший из нескольких отдельных комнат с общей

длинной террасой, покрашенной в синюю краску, приспособлен был для сдачи «под приезжих».

Но в начале весны в Крыму приезжих мало, и я был единственным обитателем верхнего этажа. Жил в полном одиночестве и наслаждался этим одиночеством.

С террасы открывался великолепный вид на море. Кругом цвели розы.

Крымская весна была в полном разгаре. Было так много солнца, воздуха и зелени, что каждый день казался торжественным праздником. Каждое утро, напившись чаю, я отправлялся на берег моря купаться. Потом некоторое время гулял по берегу и целыми часами сидел на скале, созерцая море.

Это занятие мне особенно нравилось.

Так проходило мое время день за днем.

Охота видеть Толстого у меня после неудачи совершенно пропала, даже как-то самая мысль об этом ни разу не приходила в голову.

Его тогдашний домашний врач, Никитин, частенько заходил ко мне, чтобы идти вместе купаться, и приносил мне свежие книжки журналов.

Мало-помалу мы подружились с этим симпатичным юношей, каким он тогда был: по внешности Никитин походил больше на студента последних курсов, чем на врача.

Прочитанные книги я ему относил сам, так как в графском замке у него была крохотная комнатка в нижнем этаже, с отдельным ходом, в которую можно было заходить, не встречаясь ни с прислугой, ни с членами семьи графа. Поэтому я ходил к нему запросто, как и он ко мне.

В одно яркое, солнечное, золотистое утро мы с ним сидели в его комнате и весело о чем-то рассуждали. Потом он вышел взять книги для передачи мне.

Через минуту возвратился и сказал, улыбаясь:

— Лев Николаевич зовет вас! Идите!

Я испугался.

Посмотреть на великого Льва из-за чужих спин, не вступая с ним в разговор, я желал когда-то, но, теперь идти к нему самостоятельно и, следовательно, разговаривать — было страшно.

— Зовет? Зачем? Кто ему сказал, что я здесь?

— Я сказал! Ну, он и просит вас на террасу, говорит, что давно желал с вами познакомиться.

Я был ошеломлен: великий Толстой желает познакомиться со мной, молодым тогда, начинающим беллетристом, только что выпустившим первую книжку!

— Послушайте, — в нерешительности протестовал я, — но ведь вы понимаете, что в прошлый раз...

Никитин улыбнулся лукавой улыбкой.

— Это была хитрость Софьи Андреевны: она ему даже и не сказала ничего о вашем визите!

— Ну да, он был тогда очень болен!

— Болен-то он и теперь... поправляется медленно... не в этом причина, а уж это тактика Софьи Андреевны: чтобы чувствовали. А про вас-то я ему сам сказал, да вы еще пока что и не очень знамениты! Хе-хе! Ну, нечего время тянуть, пойдемте, я вас к нему проведу.

V

Долго рассуждать было некогда. Никитин взял меня под руку и потащил в знакомый уже мне зал, затем в смежную комнату, откуда в раскрытое окно виднелась залитая солнцем и обвитая зеленью большая терраса, выходившая в сад.

— Дверь закрыта во избежание сквозняка, лезьте в окно! — скомандовал врач.

Я полез в окно.

Толстой лежал в передвижном кресле-колясочке, в той позе, как он снят в этом виде на портретах того времени: покоящаяся на подушке седая голова с проникновенным, сурово-добрым взглядом из-под густых бровей и бессильно лежащие поверх одеяла изможденные, стариковские руки.

Я заметил, что руки эти были небольшие, узкие, с длинными пальцами, «аристократические».

И лицо его, изможденное от болезни и старости, выражало доброту и величавость. Вдруг я почувствовал себя маленьким-маленьким, пятилетним мальчиком, на глаза почему-то навернулись слезы, щеки мои вспыхну-

ли, и мне захотелось припасть к его руке, поцеловать ее и сказать: «Дедушка, милый дедушка!»

Он подал мне эту руку, сухую, морщинистую, стариковскую, и сказал слабым, болезненным, старческим голосом:

— Здравствуйте! Садитесь вот тут, около меня! Так вот какой вы... молодой!

Он как бы с завистью окинул меня взглядом.

— Высокий какой! Все вы, что ли, там такие, на Волге? Ведь вы волжанин, кажется?

— Да.

— Из крестьян?

— Да.

— Из какого села?

Я сказал. Толстой спросил, есть ли там сектанты. Я ответил, что мое родное село наполовину старообрядческое, а сектантов там нет и что, впрочем, сельскую жизнь я оставил в шестнадцатилетнем возрасте.

— Почему же оставили? Не надо было землю оставлять!

Я отвечал, что мой отец безземельный крестьянин, деревенский столяр, и что стремление учиться и к писательству склонность были у меня с детства.

— Так! Так! Я читал вашу книгу: хорошо, очень хорошо! Вот это, где там у вас мужики в кабаке рукавицами хлопают, — это хорошо!

VI

И Толстой стал говорить мне о мужиках.

Странно говорил он о них.

Говорил с такой любовью, как будто бы они были муравьями и ползали у него на ладони, а он рассматривал их, следил за их работой, беготней, как они двигают головками, шевелят усиками, думают, строят что-то, радовался и как бы приговаривал: «Я их очень люблю! Посмотрите, какие они умные, какие хорошие, как правильна их жизнь! Вот так и нужно жить, как они!»

Казалось, он не замечал, что смотрит на них свысока. Всю жизнь свою стремясь умалиться и опроститься, ве-

ликан ума, вероятно, на весь человеческий род не мог смотреть иначе, как с высоты своего роста. Может быть, этот досадный рост был даже мучением и несчастьем его жизни: печи клал, землю пахал, а муравьем при всем желании так и не мог сделаться.

Насколько же легче и проще быть муравьем! Мне показалось даже, что от Толстого так и ускользнуло в мужике что-то главное, самое интересное, что ему хотелось рассмотреть, но так и не довелось.

Мне думалось, что мужики все-таки лучше знают друг друга, чем знает их Толстой. Я удивился, как он не может знать о них чего-то самого простого, обыкновенного, что знают все обыкновенные люди.

Казалось, что Толстой не видал мужиков по крайней мере лет сорок, и уже неизвестно ему было, о чем они думают.

Мужика он неизменно представлял себе пашущим землю. О том же, что мужики давно хотят быть не только мужиками, но еще и людьми, что надоело быть трудолюбивыми муравьями, божьими пчелками, то есть работать на кого-то неработающего, и тысячу лет попусту хлопать в рукавицы; что там, в многомиллионном их улье, происходит какое-то необыкновенное движение, которое скоро — это и тогда чувствовалось — может разрешиться величайшим потрясением, об этом Толстой как будто не то что не знал, но был твердо убежден, что ничему этому быть не следует.

Когда в маленькой реплике у меня сорвалось выражение «о близости революции», то Толстой с болью на лице и в голосе прервал меня словами: «Не надо желать революции», и тотчас же стал развивать свои дальнейшие мысли.

VII

Я не ручаюсь, верно ли я понял его в краткой, торопливой беседе, тем более что я умышленно не возражал ему, желая как можно более услышать от него. Но у меня навсегда осталось впечатление от Толстого, как от говорящей горы, не сознающей своих размеров. «Безмерный», — сказал кто-то о Толстом, и это слово удиви-

тельно определяет его во всех отношениях: «безмерный», огромный, не знавший наших мер и границ, наших «нельзя» и «невозможно», свысока смотревший даже в смирении своем.

Казалось мне, что и меня он тоже, чтобы лучше слышать и видеть, бережно и осторожно посадил на ладонь и, чтобы я не пугался, похвалил мою книжку, словно мальчишку по головке погладил.

И казалось еще, что его интересовали писатели «из мужиков», впервые в ту пору пришедшие в русскую литературу, и, видимо, хотелось ему, чтобы это были хорошие писатели.

Обильный золотой свет торжественного солнца, пробиваясь сквозь густую зелень свежих весенних листьев, обвивавших террасу, нежными лучами освещал его львиную голову и замечательные руки. Он был до головы закрыт толстым широким пледом, и мне казалось, что я говорю с одной только необычной, сказочной головой, возвышающейся «превыше всех церквей».

Слушая рассказ головы, я смотрел на ее величавое лицо с большим лбом и седою бородой, с добрыми, хитрыми морщинками около глубоких глаз, и перестал бояться Льва.

Напрасно говорили мне о его «пронзительных» глазах, они на этот раз были только «проникновенными», от которых, пожалуй, нельзя прятать мыслей, и очень добрыми.

Возможно, что в иные моменты эти глаза могли быть невыносимыми для смертных, как глаза Моисея.

«Хитрый ты, хитрый дедушка! — думал я. — Учишь непротивлению, а между тем на самом-то деле сам-то ты всегда противился, как никто!»

Не знаю, прочел ли он во мне эти мысли, но как раз в этот момент пристально посмотрел на меня и чуть-чуть улыбнулся, как бы спрятав улыбку в свою седую, библейскую бороду.

На прощание Толстой подарил мне свой портрет, на котором при мне же с трудом написал дрожащей от слабости рукой ласковую надпись.

Портрет этот не сохранился у меня: отобрали при обыске жандармы.

1934

ЧЕХОВ

Весной 1902 года в Ялте, где Чехов жил в это время на своей даче, он позвал к себе на ужин съехавшихся на весенний сезон писателей.

Собралась довольно большая компания: Иван Бунин, Телешов, Белоусов, Найденов, Елпатьевский, поэт Ладыженский и еще кое-кто.

Мы собрались еще засветло, пили чай, гуляли в саду, беседовали в его уютном кабинете, шутили, спорили, острили.

Чехов говорил мало. Как все истинные юмористы, очень редко смеялся, заставляя смеяться других, и лишь улыбались его близорукие глаза, спрятанные за стеклами пенсне. Высокий, со впалой больной грудью, изредка покашливающий сухим кашлем, он говорил низким, приятным басом, благородно звучавшим.

Каждый из собравшихся гостей считал нужным что-то рассказать, о чем-нибудь расспросить Чехова. Говорили о современной литературе, об издателях, о театре, о новых пьесах.

— У меня в этом году не будет пьесы! — с обычным мрачным видом сказал Чехов.

— Почему?

— Лев Николаевич отсоветовал: я его как-то спросил, нравятся ли ему мои пьесы? «Нет, говорит, не нравятся!» Почему? «Еще хуже, чем у Шекспира!»

Все засмеялись и долго острили над «стариком», как они все называли Толстого.

— А не находите ли вы, что Толстой просто ревнив: завидует всем, кто моложе его?

— Это правда! — подтвердил Елпатьевский. — Когда я в первый раз лечил его, он вдруг спросил меня, сколько мне лет? «Сорок!» У него даже глаза засверкали: «Эх! Как я в сорок-то лет писал!»

— Антон Павлович! Почему, когда в прошлый раз у вас был молодой писатель и очень долго говорил, вы его внезапно спросили: «А вы любите граммофон?»

— Ну, ясно почему! — добродушно отмахнулся Чехов с юмористической ноткой в голосе.

Маленький, лысый и красноносый поэт Ладыженский, которого все почему-то называли «пензенским помещиком», подобострастно любивший Чехова, спросил:

— Антон Павлович! Получил ли ты от Академии наук диплом на звание академика?

— Получил! — очень серьезно ответил Чехов. — Хотели и тебя тоже в академики избрать, но когда узнали, что ты пензенский, сказали: «Нет, нам пензенских не надо!» — После взрыва общего смеха Чехов добавил: — Я от этого диплома отказался и отослал обратно; то же сделал и Короленко!

— Отчего?

— Да из-за солидарности: Горького тогда в академики избрали, а он в тюрьме оказался! Академия аннулировала в газетах его избрание, ну, мы и решили отказаться!

— Антон Павлович, ведь это, конечно, вы несерьезно сказали, будто по совету Толстого не написали пьесы?

— Ну, само собой, не по его совету, а по нездоровью: сам-то он за это время «Хаджи Мурата» и «Отца Сергия» успел написать! — Чехов вздохнул. — Нет, писать надо, а то не успеешь! Мне вот недавно в Москве профессора исследование делали, «коховские палочки» нашли! Надо журнал издавать! Хороший, новый журнал, чтобы всем там собраться!

На этот раз Чехов не в шутку, а всерьез заговорил о создании нового журнала или периодически выходящих альманахов. Мысль эта всем понравилась.

— Хорошо бы без буржуя обойтись! Без редактора-издателя!

— Самим дело повести, на паях!

— Товарищество писателей учредить!

— Уж чего лучше — к «Знанию» журнал пристегнуть?

Засидевшись довольно долго за ужином, мы в ожив-

ленных разговорах не заметили, что Чехова давно уже нет за столом. Дежуривший в столовой слуга с улыбкой объяснил, что «Антон Павлович спать пошли, но просили передать, чтобы сидели без него».

Это было очень похоже на Чехова. Никто из нас не знал тогда, насколько серьезно он был болен. Все мы в самом беспечном и жизнерадостном настроении галдели за столом, попивая после ужина крымское вино, обсуждая судьбы России и родной литературы. Некоторые дошли уже до мировых вопросов — «иерархии и сотворения мира», как говорится в чеховском рассказе «Мыслитель».

Когда уже на рассвете расходились по домам, Белоусов вдруг остановился и хлопнул себя ладонью по лбу:

— Послушайте вы, писатели земли русской! Да что же он такое сказал?

— Кто?

— Да Чехов же! Так, между прочим, вскользь упомянул о «коховских палочках», а потом, как ни в чем ни бывало, начал говорить о журнале! Да как же это мы не заметили и даже не поняли, не обратили внимания, что ведь это он про свою близкую смерть говорил?

Была первая постановка новой пьесы Чехова «Вишневый сад».

Антон Павлович к этому времени женился на артистке Художественного театра Книппер и уже не так легко переносил свое многолетнее, вынужденное болезнью, ялтинское отшельничество. Жена по-прежнему с выдающимся успехом играла в Художественном, выступала в главных ролях его пьес, которые давно уже стали любимыми пьесами публики. Теперь дирекция, по-видимому, попросила его приехать в Москву на премьеру новой пьесы, имея в виду устроить публичные овации первоклассному писателю и драматургу, своими пьесами значительно выдвинувшему театр при его первых шагах, когда бесприютная, беспокойная в своих исканиях «чайка» осталась навсегда его трогательной эмблемой.

Это было в конце зимы 1904 года. Стояли солнечные, мягкие дни, пахло талым снежком.

Театр был переполнен сверх всякой меры. «Вишневый сад» поставили и сыграли изумительно, участвовали лучшие, давно уже ставшие знаменитостями артисты этой неповторимой и неподражаемой труппы, в которой нет плохих исполнителей, где каждый на своем месте прекрасен. Выступал «сам» Станиславский, великолепна была Книппер, ярок Москвин.

Наконец, после третьего акта произошло чествование автора. На сцене стояла вся труппа с В. И. Немировичем-Данченко во главе. Вышел Чехов.

Публика почтительно встала.

Трогателен и вместе жалок был Чехов на сцене: вероятно, она ослепила его своими яркими огнями, безжалостно выдала живьем жадной, тысячеликой, глазастой толпе, с невольным разочарованием созерцавшей своего лучшего певца: высокий, худой, не знающий, куда девать руки, слегка горбившийся, с подогнутыми коленками, в куцей визитке и коротковатых брюках, со взъерошенной прической и седеющей бородкой клинышком, в пенсне, окруженный на сцене полукругом актерской толпы, он в этот момент походил на Дон-Кихота перед Альдонсой или на бодлеровского «Альбатроса», очутившегося на палубе среди забавляющихся матросов и волочащего по земле могучие крылья:

Поэт, вот образ твой!

— Сядьте! — с состраданием сказал среди всеобщей тишины раздавшийся как бы с неба низкий, грудной бас, всегда оказывающийся в подобных случаях на галерке. Но, видимо, страдавший душой от встречи с живыми читателями, крупнейший из художников своей эпохи чувствовал себя совершенно растерявшимся, не хотел садиться, да и не на что было сесть, — а следовало бы: вид у него был совсем больной и слабый. Казалось, что единственное, что он сделал бы с удовольствием, — это уйти поскорее со сцены, скрыться от тысяч любопытных глаз.

Но напротив него стоял его друг, великий режиссер театра, всех пьес Чехова и происходящей сцены чествования — Владимир Иванович Немирович-Данченко, с развернутым большим листом в руках: это была речь от

лица труппы и всего Художественного театра, благодарственная, юбилейная и вместе дружеская речь, начинавшаяся интимным обращением:

— Антон!

Через несколько дней Чехов встретился мне за кулисами Художественного театра во время представления «Дяди Вани» и, задержав мою руку в своей, сказал:

— Послушайте, приходите-ка ко мне завтра обедать, часам к двум!

Я был вполне уверен, что Чехов, как и остальные знаменитости, у которых мне доводилось бывать в Москве, затевает у себя званый артистическо-писательский обед, вроде ялтинского ужина, о котором я вспоминал с удовольствием. Правда, Чехов и тогда был серьезно болен, обмолвившись о «коховских палочках», но теперь выглядел много хуже, чем два года назад: значительно исхудал, как-то постарел и осунулся. Говорили, что в Москве у него обострился туберкулез и что московские врачи решили вопрос о поездке его на лето за границу, не удовлетворяясь более его крымским сиденьем, да и самому Чехову, наверное, очень надоела Ялта с русскими почитателями и посетителями, напоминавшими граммофон.

На другой день я аккуратно к двум часам явился на московскую квартиру Чехова — где-то около Каретного ряда, в первом этаже небольшого дома. Вместо многолюдного собрания встретил в гостиной Немировича-Данченко, бывавшего у него ежедневно, и еще двух-трех человек из труппы и администрации театра. Разговор был товарищеский, интимный, отчасти деловой: Чехов указывал на некоторые мелкие, второстепенные недостатки первой постановки «Вишневого сада» и просил их исправить при следующих постановках.

— Это оттого, что актеры нервничают! — возразил Владимир Иванович. — Пройдет несколько спектаклей, и все само собой обойдется.

— Совершенно верно, — подтвердил один из присутствующих. — Обыкновенно бывает так — неровно идут первый спекталь, третий и шестой! После шестого пьеса входит в русло!

Поговорив еще о каких-то мелочах, все ушли, кроме

Владимира Ивановича, с которым у Чехова завязался разговор совсем домашний: полушутя он жаловался другу на жену, которая его не слушается.

— Ведь она еще после болезни не оправилась, а лекарство принимать бросила — капризничает всякий раз!

— Не мешает в таких случаях и прикрикнуть! — посоветовал Владимир Иванович.

В это время вошла Ольга Леонардовна, молодая, красивая, цветущая. С ее приходом как будто и в комнате стало светлее. Пожимая нам руки, она сияла приветливой улыбкой.

Но муж суровым и даже грубоватым тоном «велел» ей сейчас же принять какое-то лекарство.

Улыбка жены, стоявшей перед ним «руки в боки», стала еще более сияющей: видно было, что она и в грош не ставит «строгость» такого мужа, как Чехов, — он органически не был способен «прикрикивать» на кого бы то ни было, тем менее на несомненно обожаемую жену. «Суровый тон» был принят отчасти для нас и во всяком случае очень прозрачно прикрывал бесконечную мягкость и нежную заботливость о любимой женщине в то время, когда он сам более чем кто-либо нуждался в подобных заботах о его преждевременно и безнадежно угасавшей жизни.

Через несколько минут ушел Немирович, ушла и Ольга Леонардовна.

Несколько недоумевающий, я было тоже поднялся уходить.

— Что вы? — возразил Чехов. — Сейчас мы с вами обедать будем — вдвоем!

Действительно, когда мы вошли в столовую, там уже был накрыт обед на два прибора. Кушанья подавал единственный в доме слуга. Из поданного маленького графинчика Антон Павлович собственноручно налил мне рюмку водки.

— Выпил бы и я с вами! — со вздохом сказал он. — Когда был здоров — пил с удовольствием, а теперь не могу! Очень жалею, что нельзя мне водку пить.

— Московский климат вреден вам, на юг поезжайте!

— Да, на юг! — опять вздохнул хозяин. — На днях поеду! Доктора посылают за границу на лето, а мне что-то не хочется! Россию люблю! Мне и Крым не нравится!

В русскую бы деревню, с этакой бы березовой рощей, а они меня в Биарриц!

Я попросил его подарить мне на память какой-нибудь том его рассказов.

Чехов тотчас же послал слугу в ближайший книжный магазин купить книгу. Тот скоро вернулся с томиком «Хмурых людей». Антон Павлович тут же за обеденным столом сделал надпись своим неразборчивым, тонким, женственным почерком.

— Послушайте, — продолжал он, передавая мне книгу, — отчего вы мало пишете? Вам следует больше писать! Я именно это хотел вам сказать на прощанье! У вас теперь могло быть томика четыре, а вы что-то на первом замешкались. Я и сам много лентяйничал, а теперь очень жалею об этом!

— Не знаю, кого слушать! — смеясь, ответил я. — Недавно Лев Николаевич говорил мне: не пишите много, не надо много писать!

Чехов улыбнулся.

— Не верьте хитрому старику! Он это всем говорит, и мне говорил, потому что сам стареть стал! Нет! — Тут Чехов вздохнул печально. — Надо, надо писать! Вы начали вашу песню по-соловьиному, а если остановитесь навсегда на одном томе, выйдет по-воробьиному! Я вам про себя скажу: если бы я остановился на первых рассказах, — меня бы и писателем не считали. Чехонтэ! Маленький томик маленьких смешных анекдотов! Думали, что и весь я тут! Серьезные писатели говорили: чужой он нам, потому что смеется! Как можно смеяться в наше время?

Он помолчал.

— Придется ли еще увидеться — неизвестно! Поговорить с глазу на глаз — хорошо бывает! Послушайте, вы помните, как у вас в одном рассказе сказано: «Протодьякон проклинает сомневающихся в бытии божием, а они стоят на клиросе и поют сами себе «анафему»!

Он откинулся к спинке стула и залился почти беззвучным, но заразительным смехом, вдруг сделавшись похожим на свой молодой портрет, когда Чехов был жизнерадостным, беззаботным «Чехонтэ».

Обед наш в разговорах затянулся часа на два. Вдруг мне вспомнилась его загадочная фраза: «Придется ли еще увидеться — неизвестно!» И меня поразила мысль,

что этот удивительный, очень одинокий, замкнутый, приговоренный к смерти человек думает не о себе, не о своем положении, трагичность которого он, как врач, понимал лучше, чем кто-либо из опекавших его друзей, но находил время заботиться и тревожиться о судьбе начинающих писателей. Я знал о его серьезной болезни, но почему-то думал, что еще увижусь с ним. Увидеться не пришлось.

Летом того же года телеграфная весть о смерти Чехова на чужбине больно ударила по сердцам, изболевшим под гнетом мрачной действительности. Смерть отняла тогда у России последнего нежного друга, печальника «чеховской» эпохи: он был любимым, близким, родным писателем для своего поколения.

Я написал тогда стихи, читанные мной на ряде вечеров, посвященных памяти Чехова:

Памяти Чехова

Неумолимый рок унес его в могилу!
Болезнь тяжелая туда его свела:
Она была в груди и всюду с ним ходила —
Вся жизнь страны родной болезнь его была!

Пророки и вожди, кипя душой мятежной,
Могли быть гневными, могли, любя, карать.
А он любил людей такой любовью нежной,
Как любит женщина, как любит только мать.

Печали жгучей яд он выпил полной чашей,
Впитал в себя всю грусть, глубокий, как родник,
И был отравлен он тоскою жизни нашей,
Терпением рабов и тупостью владык!

Дыханье пошлости ему дышать мешало,
До гроба мучила холодная вражда,
И наконец толпа любовью истерзала —
Но был он одинок повсюду и всегда.

Он жил под темною, загадочною властью
Судьбы насмешливой, бесчувственной и злой,
И капля каждая им выпитого счастья
Была отравлена невидимой рукой.

И, поздно понятый, судимый так напрасно,
Он умер оттого, что слишком жизнь бедна,
Что люди на земле и грубы и несчастны,
Что стонет под ярмом родная сторона.

И, оставляя мир, он звал тебя, свобода!
Последний вздох его уже звучал тобой:
Он чувствовал, что даль таит лучи восхода,
А ночь еще сильна и давит край родной.

О родина моя, ты вознесешь моленья
И тень прекрасную благословишь любя,
Но прокляни же ты проклятием презренья
Бездушных торгашей, что продают тебя!

Пусть смерть его падет на гадов дряхлой злобы.
Чьи руки черствые обагрены в крови,
Кто добивал его, а после был у гроба
И громче всех кричал о дружбе и любви.

Блесни над родиной, могучее светило,
Птиц ночи разгони, пронзи ночную тень
И, возрождая жизнь над темною могилой,
Приди, торжественный, давно желанный день!

1935

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

В конце восьмидесятых годов, в годы ранней юности встретился мне в новой книжке толстого журнала рассказ под красивым заглавием «Лес шумит». Язык рассказа звучал певуче, мелодично, лучше многих стихов; подобно музыке, открывал он то, что казалось невозможным выразить словами. Тогда я еще не читал, не слыхал такого красивого языка, полного струнной звучности.

Залпом прочел я этот чарующий рассказ, один из первых рассказов Короленко.

В голове шумел стройный звон высокого леса, пели нежные струны бандуры, реяли поэтические образы Опанаса и Оксаны, и вся трагическая поэма звучала в моих ушах, как гул приближающейся бури.

Короленко был тогда начинающим писателем. После этого рассказа имя его зашумело повсюду, как лес: о нем заговорили.

Появился «Сон Макара».

Это был сон того собирательного, символического Макара, «на которого все шишки валятся».

На этот раз взята была суровая природа занесенной снегами Сибири. Якуты, олени, юрты, бедная, дикая жизнь, не имеющая радостей, и на этом фоне психология бедного якута, его несложный душевный мир.

В этой поэтической, психологически тонкой, грустно-шутливой фантазии столько чувствовалось любви к человеку и несокрушимой веры в него, любви к символически изображенному в образе бедного Макара темному многомиллионному трудящемуся люду вплоть до вымиравших

якутов, находившихся на низшей ступени развития с их языческими, детскими верованиями, с их жалкой беззащитностью.

Стала ясной литературная физиономия Короленко: это был, прежде всего, гуманист, проникнутый любовью к несправедливо обиженным людям, веривший в творчество справедливости и в искру добра в каждом самом темном или падшем человеке.

Когда возникает судебный процесс по обвинению неких мултанских крестьян в приношении человеческих жертв ради будто бы существовавшего у них языческирелигиозного культа, Короленко страстно вмешивается в это дело, выступает на суде защитником несчастных, темных, оклеветанных людей. Своею изумительною по силе и страстной вере в человека речью делает это дело знаменитым, навсегда оставшимся в истории нашей общественности. Благодаря ему суд оправдал обвиняемых, и Короленко снял с нашей страны позорное, клеветническое обвинение. Для него это было страшно важным — защитить честь «низших» классов народа в возведенном на них кровавом поклепе.

Та же черта любви к человеку и веры в заложенные в нем прекрасные возможности красной нитью проходит и через дальнейшие его произведения.

Появляется удивительный по глубине и психологической тонкости рассказ «Слепой музыкант», ряд мелких рассказов и большая повесть «Без языка».

Центром пристального внимания и психологического изучения писателя становится задавленный бесправием народ. Еще студентом Петровской академии Короленко выступает в депутации студенчества ходатаем за грубо попранные человеческие права учащейся молодежи; в числе «вожаков» движения его отправляют на Север, в ссылку. Там он делается сапожником и, окруженный рабочими людьми, наблюдает их жизнь, характеры, типы.

В большом автобиографическом произведении «История моего современника», посвященном, главным образом, жизни ссыльных, он говорит, шутливо обращаясь к позднейшим сапожникам, превосходившим его в сапожном искусстве:

— Мы, старые сапожники, иронически смотрим на вас, молодых. Мы шьем такие сапоги, чтобы можно было в них

и соломки постелить и чтобы износу им не было: бьем на прочность.

То же самое он мог бы сказать многим «художникам»: все написанное им оказалось той правдой, которая, как золото, не ржавеет.

Восшествие на престол Александра III застает Короленко в ссылке и ставит его, столько видевшего неправды и недостатков тогдашнего строя, перед требованием принять присягу на верность самодержавию. Честность, исключительная прямота совести и мужество характера заставили его отказаться от принятия присяги.

За это писателя отправили в суровую, далекую якутскую ссылку, «куда и ворон костей не заносил». Там-то и были почерпнуты им впечатления, послужившие для создания многочисленных сибирских рассказов, в которых он отразил, как никто из русских писателей, сибирскую природу, жизнь ссыльных, уголовных каторжан, бродяг, суровый быт сибирской тюрьмы, своеобразные и мрачные картины жизни гиблых мест Сибири.

По возвращении из ссылки он поселяется на Волге, в Нижнем Новгороде, принимает деятельное участие в помощи голодающим во время страшного голода 1891 года, в результате чего является его книга «В голодный год».

Около этого замечательного человека невольно группируются общественные круги, и Короленко становится крупным общественным деятелем, вдохновителем в борьбе все с тем же ненавистным ему бесправием в эпоху безвременья.

Вместе с тем он наблюдает народную жизнь: участвует в толпе, идущей на богомолье, идет пешком на Святое озеро, где слушает споры сектантов и легенды о «граде Китеже», по народному поверью, существующем на дне Святого озера. Скитается по горам и лесам Ветлуги, живет одною жизнью с народной толпой. Так создаются очерки: «За иконой», «На затмении», «Река играет».

Героем последнего рассказа изображен перевозчик через реку Тюлин, вечно страдающий «похмельной скорбью», то есть головной болью от неумеренно выпитой водки, и тяготившийся единственною своею обязанностью — перевозить на пароме редких пассажиров с одного берега на другой.

Отвращение к каким-либо действиям происходит у

него не столько от последствий выпивки, сколько от созерцательного характера: Тюлин ко всему окружающему относится как посторонний зритель — безучастно.

Этот образ человека, угнетаемого вечной похмельной скорбью, но обладающего дремлющей в нем богатырской энергией, к сожалению, проявляющейся только стихийно, глубоко схвачен в красивом рассказе, как бы выхвачен из жизни.

Чуткое сердце писателя верило и угадывало, что не может погибнуть вечно погибающий человек нашей страны, что за всею неприглядною корою неустойчивости, лени и неверия в плодотворность действия есть в нем что-то глубоко ценное, что в решительный момент дает ему силу восторжествовать над нескончаемыми бедствиями.

Начав писать в довольно зрелом возрасте, Короленко быстро встал в ряды первоклассных русских писателей.

На его примере, на его неутомимой деятельности, когда от палитры художника слова и струнных звуков поэзии он переходит к перу публициста и борца за общественные идеалы, учились писать и действовать младшие, последовавшие за ним писатели.

— Я ученик Короленко, — говорил о нем Горький. — У него учился я технике литературного мастерства, умению расходовать и располагать слова, ритму и плавности языка, отделке и шлифовке речи; он учил меня.

От Короленко произошли и выросли многие позднейшие писатели, передавая друг другу артистическую тайну музыкальности языка русского, без которой, как без музыкального ключа, нет для поэтов доступа к сердцу людей.

Кроме художественного искусства и мастерства владеть красками и струнами литературного творчества от Короленко, этого солнечного, красочного, музыкального художника, позднейшее поколение литературы воспринимало его бодрое стремление видеть в жизни нашей не мрак пессимизма, но свет огней будущего.

Весной 1902 года, в Крыму, в числе прочих гостей, был я у знакомых на даче около Ялты.

Вдруг в комнату вошел Короленко.

Росту он был среднего, сложен хорошо и крепко. Одет просто, обыкновенно. Обращала внимание его характер-

ная голова: закинутые назад венком лежащие, вьющиеся каштановые волосы, тогда еще без седин, и густая, бобровая «боярская» борода, мягко-волнистая и окладистая. Внимательные серые глаза, привыкшие наблюдать зорко, все замечающие, сразу все видящие, блестели твердым, нервным блеском. Было даже неприятно: хотелось избежать их взгляда.

— Позвольте вас познакомить! — сказала хозяйка.

— Да мы же знакомы! — возразил Короленко.

Мы молча пожали друг другу руки.

Через несколько дней я уехал в Москву. Случайно в вагоне увидал Короленко. Я почтительно поклонился, не сделав шагов к разговору.

На станции Конотоп Короленко подошел ко мне на перроне с маленьким чемоданчиком в руке и сказал, протягивая руку:

— Ну, прощайте, я здесь слезаю!

— Неужели? — вырвалось у меня искреннее огорчение. — А я думал, что вы в Москву едете... Все собирался поговорить с вами, да боялся помешать!

Короленко улыбнулся.

— И мне хотелось поближе познакомиться с вами, но показалось, что вы не хотите!

Я всплеснул руками:

— Какое горестное недоразумение!

— Ну, вот что! — сказал он. — Поговорим, пока стоит поезд!

Мы вошли в буфет вокзала, сели за столик у окна, чтобы видно было поезд.

Четверть часа, проведенные в задушевном разговоре с Короленко, рассеяли последнюю преграду между нами: странным и досадным оказался мой страх; Короленко оставил впечатление человека, не замечающего своего превосходства над людьми, не думающего о своем знаменитом имени.

Разговор наш мог затянуться надолго, но третий звонок прервал его на самом интересном месте. Владимир Галактионович проводил меня до вагона и, когда поезд тронулся, дружески махал мне шляпой.

Чувствовалось, что этот просто державший себя пожилой человек глубоко любил литературу и искренне сочувствовал каждому «начинающему».

Судьба надолго разлучила нас.

Он жил большею частью в своей родной Полтаве, временно по зимам наезжая в Петербург.

Ровно через десять лет, в 1912 году, мы встретились в Петербурге, где я тоже бывал наездом, в традиционных литераторских меблированных комнатах «Пале-Рояль» на Пушкинской.

Однажды утром я еще лежал в постели, как в дверь постучали.

— Войдите!

Вошел Короленко.

Волнистая борода его была теперь с сильной проседью, и венком лежавшие густые кудри перевиты серебром.

Я и обрадовался и сконфузился, что он застал меня в постели.

— Ничего, не вставайте! — успокоил он меня. — Я посижу около вас, так и будем говорить. Я не знал, что вы так долго спите! Вспомнил наш неоконченный разговор десять лет назад: тогда вы были худощавый, руки длинные, ноги длинные, сам поджарый — на комара похож!

Он добродушно и как-то любовно усмехнулся в бороду.

Через десять минут мы уже сидели за самоваром в его номере и вспоминали нашу первую встречу.

Говорил Короленко просто, сжато, но всегда образно, с тонким и серьезным украинским юмором, таившимся где-то в глубине его глаз.

Его интересовало мое происхождение «из народа». Расспрашивал о моей «крестьянской жизни», о том, занимался ли я мужицким трудом.

Много рассказывал и о себе, о своей молодости, как «крестьянствовал»: и пахал, и сеял, и траву косил.

С особенными подробностями описывал свое воспоминание, «как они косили».

Проговорили мы все утро, касаясь и других, чисто литературных тем.

Перед самой войной 1914 года Короленко продал свои сочинения Марксу и купил себе маленький клочок земли в Крыму на берегу моря, около Байдарской долины. До постройки дачи он жил там с семьей во временном дощатом здании.

После закрытия журнала «Русское богатство», в котором Короленко работал несколько десятилетий, он окон-

чательно поселился на Украине в своем родном городе Полтаве.

В это время он уже совсем поседел: кудри и борода были словно вылиты из серебра. Красив он был особенной величавой красотой большого человека, прожившего большую, необычайно чистую и возвышенную жизнь, горевшую благородным огнем любви к человеку и несломленной верой в него.

Грянула война, началась революция.

Голодая с семьей и нуждаясь в самом необходимом, он отдавал всего себя и все свое время ходатайству за невинно осужденных, являясь для населения единственным ходатаем, печальником и заступником «бедных людей», каким он, впрочем, был всегда в жизни и литературе.

За годы революции Короленко написал последнюю часть «Истории моего современника»...

[1922]

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

I

В январе 1901 года, в Нижнем, в одно мягкое зимнее утро я зашел к Горькому и застал у него в гостях молодого человека замечательной наружности: это был редкостный красавец, напоминавший итальянца с Неаполитанского залива или образ гоголевского Андрия, с маленькими черными усиками на свежем, смугловатом лице, с безупречным профилем, с прекрасными карими глазами и чрезвычайно густыми, черными, волнистыми кудрями, отпущенными до плеч. Шея у него была мощная и, в противоположность лицу, ослепительной белизны и нежности. Среднего роста, широкоплечий, хорошо сложенный, с блестящими глазами, он производил поэтическое впечатление.

— А! Вот и он! Кстати! — закричал Горький, завидя меня. — Знакомьтесь!

— Андреев! — отрекомендовался молодой человек, крепко пожимая мне руку.

Мы оба с любопытством осматривали друг друга; наши первые рассказы только что появились одновременно в журнале «Жизнь». Мы были два молодых, начинающих автора, выступивших с успехом в большой литературе.

— Ну, вы поймали настоящего! — кивнул на меня Горькому Андреев. — Хе-хе-хе! Настоящего!..

Говорил он несколько отрывисто, с быстрыми, короткими жестами, посмеиваясь добродушным смешком,

смеялся как бы про себя, с лучистыми морщинками во время смеха около глаз, и в эти минуты казался похожим на Гоголя.

— Вот что, сударь мой, — сказал, обращаясь к нему, Горький, по-видимому, продолжая прерванный моим приходом разговор: — По-моему, книжку выпускать вам рано: вы еще черт знает сколько напишите и черт знает как!

— Я и сам знаю, что рано! — быстро прервал его Андреев. — Но войдите в мое положение: в редакции у меня отношения натянутые, того и гляди, придется уходить, а куда пойдешь? Хе-хе-хе! Имени у меня нет, вот мне и хочется, чтобы за мною было хоть что-нибудь, хоть книжка! Кроме того, я собираюсь жениться!

— Да что вы? — встревожился Горький, считавший женитьбу несчастьем для начинающего писателя.

— Да! — подтвердил, посмеиваясь, Андреев. — Здесь, в Нижнем, живут родственники моей невесты: отчасти по этому делу я приехал сюда. Сейчас пойду к ним.

— Тогда вот что, — провожая его в переднюю, говорил Горький, — приходите к двум часам обедать, тогда и поговорим.

Андреев обещал, простился с нами и ушел, надев старенькую енотовую шубу и высокую каракулевую шапку.

— Талантище! — сказал после его ухода Горький. — И умен при этом. По-моему, настоящий талант всегда бывает немножко глуповат, а этот — умен, знает себе цену, большим писателем будет!

Андреев явился к началу обеда к Горькому, но — увы! — в сильном подпитии.

Тяжко повозившись около вешалки, он вошел в столовую, шатаясь из стороны в сторону. Длинные волосы свалились у него на лицо.

Жена Горького ахнула, выронила ложку и убежала из комнаты; за ней последовали ее мать и бонна с мальчиком.

Андреев, тяжело дыша, хотел опуститься на стул подле меня, но пошатнулся, схватился за скатерть и упал бы, если бы я не подхватил его.

Утвердившись на стуле, он откинул назад свои роскошные кудри, осмотрелся и добродушно рассмеялся.

— Спасибо, милый! Давай, брат, выпьем на брудершафт, не могу иначе: очень уж я тебя полюбил! Только я — водой! Ты — водки, а я — воды.

Я налил ему стакан воды, а себе — рюмку водки, и мы оба выпили.

Горький недовольно молчал.

— Так! — продолжал Андреев. — Извините, господа, что мы пришли к вам вдвоем: я и месье алкоголь! В моей судьбе вообще есть что-то алкоголическое. Отчего иногда не выпить рюмку водки? А если выпил одну, то почему не выпить две, три, десять? Отчего тогда не выпить ведро и весь винный склад? В этом есть нечто алкоголическое! Причин также много, например: «не пришла на свидание»! Ах, господа, переживали ли вы когда-нибудь во всех тонкостях это настроение, когда она «не пришла»? Человек радостно идет на свидание, представляет себе ее костюм, ее лицо, глаза, голос... Но ее нет! И он долго гуляет по аллее, притворяясь беспечным любителем природы, останавливается, что-то рассматривает, свистит, садится, потом опять ходит, потом опять садится... Проходит полчаса, час, полтора, два! «Не пришла!» Тогда он идет к ее дому и ходит по тротуару. Потом садится на тумбу и смотрит на освещенные окна. Но в дом войти нельзя. Он сидит на тумбе и ждет, не выйдет ли она, запоздавшая на свидание? Нет, нет никого! Светятся окна, мелькают там какие-то тени, глухо слышатся звуки рояля. Там весело, тепло, уютно, там чужие люди и она между ними! Ей тоже, должно быть, весело. Она не пришла, она забыла! Хе-хе-хе! «Забыла»! Хе-хе-хе! Человек долго сидит на тумбе, до тех пор, пока не гаснет огонь в окнах дома. Тогда он идет на прежнее место, в темную аллею, посмотреть, не пришла ли она: может быть, она вспомнила и пришла! Но там темно и безлюдно. Никого нет. Он долго сидит на скамейке и плачет. Потом идет в кабак, садится за стол и спрашивает бутылку. И тотчас же к нему подсаживается месье алкоголь. «Они» пьют и размышляют о том, почему она не пришла, нельзя ли забыть ее, чтобы образ ее рассеялся в винных парах. Пары сгущаются и туманным облаком плывут над бутылкой. Но из бутылки, весь из винных паров, появляется ее милый образ. Хе-хе! Долго так сидят они «вдвоем» — человек и месье алкоголь. Вдвоем!

Как только Андреев утвердился на стуле и заговорил, с него словно соскочило опьянение: осталось только возбуждение, вдохновенное состояние, и он говорил долго и увлекательно, словно читал по книге талантливо написанный рассказ.

В состоянии опьянения Андреев казался крупнее и симпатичнее, чем в трезвом виде: трезвый говорил о делах и мелочах, и только теперь, возбужденный алкоголем, вдохновенно импровизируя, он был настоящим Андреевым. Лицо его казалось прекраснее, одухотвореннее, чем прежде; оно было бледно и изможденно, карие глаза горели, белый прекрасный лоб прорезала резкая, страдальческая складка. Замечательно, художественно красив был в этот момент Андреев!

— А ведь ты чертовски красив! — невольно вырвалось у меня. — Прямо красавец!

— Красавец, говоришь? — посмеиваясь, переспросил Андреев. — Думаешь, нравлюсь женщинам? Хе-хе-хе! Нет, брат! Я только произвожу первое впечатление, а потом, когда к моей красоте привыкнут, я очень быстро надоедаю философией; бог, дьявол, человек, природа, вечность и бесконечность — это мои ближайшие друзья, а женщинам в этой компании невыносимая скучища. В этом, брат, есть нечто алкоголическое! Ведь если бы я был чуточку поглупее, как полагается настоящему красавцу, то, пожалуй, разбил бы сердца, а вместо этого женщины помыкают мной. Хе-хе-хе! Еще тем, к которым я равнодушен, я нравлюсь иногда, но есть одна, которую я сам любил, и вот у нее-то никогда не имел успеха: до нее я так и не достиг, она не могла снизойти до меня. Это не та, на которой я хочу жениться, а другая, или, скорее, первая. Да и эта водит меня на цепочке, как обезьяну, и я пляшу, кувыркаясь, показываю штуки. Хе-хе-хе! Милый мой, поверь мне, в этом есть нечто алкоголическое!

Я почти дословно передал эти первые монологи Андреева, услышанные мной, когда он был в ударе.

Впоследствии не раз видел я его в подобном состоянии и должен отметить, что оно не только не унижало его, но всегда проявлялось необычайным подъемом его умственных сил, остроумие било ключом, он словно открывал в эти минуты огромные богатства своего таланта, и без изумления нельзя было видеть бурный и безумно

несущийся водопад острот, ярких образов, необыкновенного обилия мыслей. В этом-то и заключалась трагическая опасность для него в обычном, обывательском недостатке, с которым обыкновенные люди благополучно доживают до глубокой старости, даже почти не расшатывая здоровья.

Необузданная, дикая, мрачная фантазия Андреева под влиянием алкоголя начинала работать с исступленной силой, словно вырывались на волю из глубины души все его необычайные творческие силы; своим могучим напором они могли погубить его. Андреев никогда не был пьяницей в обычном смысле этого слова: пил очень редко, всю жизнь боролся с этим, как он думал, наследственным пороком, проявляя большую силу воли; в разгаре своей огромной литературной работы он по нескольку лет подряд не прикасался к рюмке, но, вследствие несчастливо сложившейся личной жизни, иногда, что называется, срывался, и тогда порок проявлялся грандиозно, болезненно, с красотой душевного пожара.

Не было пошлости в пороке Андреева: что-то трагическое было в этом необыкновенном человеке с такой поэтической наружностью, с его вдохновенным, одухотворенным лицом, с необычайно утонченной, глубокой и сложной душой, с предчувствием ранней гибели, с мучительным вниманием к вопросам жизни и смерти: его «Анатэма» и теперь уже неотступно следовал за ним в маске «месье алкоголя».

За обедом Андреев говорил удивительно красиво и вдохновенно, фантазия его бушевала. Горький, сам никогда не пивший спиртного, не любил встречаться с подвыпившими людьми, но Андреев, в подпитии, молодой, красивый, блещущий остроумием, вдохновенный, глубокий и яркий, представлял собой слишком интересное зрелище.

Мы влюбились тогда в этого разгульного, необыкновенного юношу — Леонида Андреева. Он гостил в Нижнем четыре дня, все время ходил с нами «навеселе», в таком же состоянии и уехал, нескончаемо занимая нас до самого отхода поезда своими остротами и вдохновенными яркими рассказами.

Со мною он быстро подружился и просил заглянуть к нему, если буду в Москве.

Месяца через полтора, в Петербурге, в редакции «Жизни», мне показали рукопись нового рассказа Андреева «Жили-были», написанного в клинике, куда он попал на излечение после «веселой» поездки в Нижний. Рассказ этот с новой силой и ужасной яркостью трактовал, по-видимому, излюбленную тему молодого автора «о смерти».

Я возвращался в Нижний и, остановившись проездом на несколько дней в Москве, зашел проведать Андреева.

Он жил на Плющихе, во дворе, в тесной, бедной и довольно мрачной квартире. Все четыре комнаты этой квартиры были заставлены кроватями для его многочисленной семьи: юноша Андреев содержал мать, двух подростков-братьев и двух сестер, еще очень молоденьких. Все это была учащаяся зеленая молодежь, на содержание и учение которой требовались расходы, довольно тяжелые для фельетониста газеты «Курьер» Джемса Линча — псевдоним, под которым писал воскресные фельетоны Леонид Андреев.

Я не помню, чтобы он тяготился этой семьей: своих братьев и сестер любил с необычайной нежностью. Один из братьев, Павел, сделался впоследствии художником, довольно заурядным; младший писал юношеские стихи. Сестры были красивые девушки, в особенности вторая, блондинка, больше всех похожая на Леонида. Вообще же никто из братьев и сестер Андреева не проявлял ни особой талантливости, ни каких-либо выдающихся способностей. Даже наружной исключительной своей красотой он всех их затмевал.

Андреев был любимцем в своей семье и, в особенности, любимчиком матери.

О матери Леонида Андреева, симпатичнейшей Настасье Николаевне, мне хочется сказать здесь несколько слов.

Это была совершенно простая, едва грамотная женщина деревенского склада, с очень приятным, добродушным лицом, от которого как бы проливались на всех людей, без разбора, бесконечная доброжелательность, душевная чистота и неистребимое незлобие.

Она всегда одевалась просто, в широкую, старомодную кофту, в широкую юбку. Волосы у нее тогда были светлые, а потом седые: обыкновенный, но всегда трогатель-

ный тип русской простой женщины. Андреев своим красивым лицом только отчасти походил на нее; вероятно, он больше был похож на отца, рано умершего, о котором сын мало говорил мне, вероятно, плохо и помнил его, но отзывался о нем как о провинциальной «душе общества» и широкой натуре. Отец его был землемером в городе Орле.

Андреев искренне обрадовался моему приходу и посвятил мне почти весь день. Рассказывал темы еще не написанных своих рассказов; рассказывал прекрасно и при этом, конечно, жаловался на свою бедность.

— Последний мой рассказ, напечатанный в «Курьере», — между прочим сказал он, — в редакции называют шедевром, но, чтобы как-нибудь жить с моей семьей, мне нужно писать по крайней мере шедевров восемь в месяц. Хе-хе-хе! Трудновато! Трудновато, брат!

На стене висел очень хорошо нарисованный тушью его собственный портрет, сильно идеализированный: на портрете Андреев был еще красивее, чем в натуре.

— Когда это ты был таким сверхкрасавцем? — спросил я его.

— Да никогда не был! — смеясь, ответил Андреев. — Это я сам себя рисовал. Я когда-то усиленно занимался живописью, в художники стремился, да бросил теперь... так, для себя иногда рисую!

Андреев вытащил откуда-то свои рисунки и стал показывать.

Я не знаток в живописи, но мне кажется, что Андреев был хотя и далеко технически незаконченным, но незаурядным портретистом-художником. Посвяти он себя живописи, — он и в ней, вероятно, проявился бы не менее крупно, чем в литературе. Из всех портретов, написанных с Андреева различными художниками, в том числе и Репиным, самый лучший все-таки автопортрет самого Андреева, известный всем и написанный много позднее.

Андреев проводил меня на вокзал, все время с изумительным мастерством импровизировал свои будущие рассказы. Многие из этих устных рассказов так и остались ненаписанными. Андреев напоминал собой как бы кипящий котел творчества.

Таким он был до конца своих дней.

II

Мы встретились в Москве в 1902 году.

Андреев за это время успел выпустить книгу своих рассказов и жениться. Жил с женой и матерью в маленькой уютной квартирке, где-то далеко от центра, кажется, на Пресне. Он продолжал еще сотрудничать в «Курьере», но большой тираж книги значительно улучшил его благосостояние. Жену его звали Александрой Михайловной.

Это была молоденькая, маленькая, худенькая женщина, хорошенькая, но далеко не красавица. Как человек Александра Михайловна была самой обыкновенной русской женщиной, типичной московской мещаночкой среднего ума, среднего образования. Тем не менее влияние ее на Леонида Николаевича было огромно и в высокой степени благотворно. Влияние это заключалось в том, что она любила его искренне и наивно, трогательно, самоотверженно, не за талант, не за успех, а за него самого. Любя его до обожания, она по логике любви стала любить и его мрачный, трагический талант, никакой другой литературой не интересовалась, кроме литературы Леонида Андреева. Каждую только что написанную страницу своих произведений Андреев прежде всего читал ей одной, не допуская при этом священнодействии никого более.

Не думаю, чтобы Александра Михайловна понимала всю глубину и сложность замысловатого таланта, когда сама русская критика многого в нем не понимала, ломала из-за этого перья, но, вероятно, многое говорило ему ее любящее сердце преданного, единственно близкого друга; не критика была нужна ему, слишком много Андреев возбуждал критики в литературе и при повышенной чувствительности своей много выстрадал от нее, но ему нужна была тайная поддержка верного друга, беззаветно верящего в его звезду, в его мрачный гений. Жена его была самой ревностнейшей, несомненно, искренней поклонницей его таланта и его самого — его Магдалиной: вот что было дорого, редкостно и имело незаменимую ценность для мятущейся души писателя-трагика, боровшегося и с богом, и с Анатэмой души, не отступавшей перед разрешением ужасов жизни и смерти. Благодаря большой любви маленькой женщины, любя ее сам тоже большой и сильной любовью, Андреев воспрянул духом,

талант его быстро вырос, расцвел, развернулся. Он сам говорил мне впоследствии, после преждевременной ее смерти, что все его излюбленные произведения, все лучшее и крупное было задумано вместе с ней, во время их недолгой, но счастливой совместной жизни. Пока она была жива, Андреев не прикасался к рюмке и работал с большим воодушевлением.

В эту зиму каждый его рассказ, неизменно появлявшийся в «Курьере», производил шум в прессе и волнение в читательской массе.

Маленький рассказ «Бездна» и потом «Стена» создали вокруг себя большую критическую литературу. Газетная критика занималась ими чуть ли не весь зимний сезон. О вопросах, поднятых этими произведениями, писали, читали, спорили. Все говорили о новом крупном таланте, о новой яркой звезде, взошедшей на мрачном горизонте русской литературы, — о Леониде Андрееве.

В то же время в Москве образовался литературный кружок, собиравшийся интимно по средам у писателя Телешова и известный под названием «Среды».

Было такое время, что отовсюду как бы выпирало молодую русскую талантливость, все расцветало: сцена — с Художественным театром, Комиссаржевской, Шаляпиным и Собиновым; живопись — с Васнецовым, Врубелем, Малявиным; музыка — с Рахманиновым, Скрябиным и Глазуновым; литература — с Горьким, Андреевым, Буниным.

В воздухе веяло обновлением, и казалось, вся Россия пробуждалась, грезила сказочными, радужными снами. Хоры поэтов пели о заре, публицисты писали о близком и прекрасном будущем России, и только Андреев, в противоположность общему оптимизму, с болезненно обостренной чуткостью всматривался в близкое и отдаленное русской жизни, всматривался в самую душу ее, и взор его навсегда приковался к зловещему призраку, вставшему перед ним: имя этому призраку было — ужас.

III

Ранней весной 1903 года я уехал из Москвы на все лето, а осенью остался работать в Нижнем. Зимой ненадолго приезжал в Москву и виделся с Андреевым почти ежедневно.

Андреев жил теперь в большой квартире, много писал; у него постоянно толпились писатели, жаждущие так или иначе использовать знаменитого писателя. Началась японская война, и вся интеллигенция волновалась за исход ее. Преобладало пораженческое настроение.

На лето я собирался уехать в Крым; туда же намеревался отправиться и Андреев. Условились — весной встретиться в Крыму.

Действительно, мы приехали туда почти одновременно и случайно поселились недалеко друг от друга, на берегу моря, верстах в четырех от Ялты, где-то около Никитинского сада.

Андреев с женой, матерью и ребенком занимал маленькую саклю, состоявшую из двух комнат. Тем не менее у них часто собирались гости из Ялты: ялтинский старожил писатель Елпатьевский с семьей, приехавший в Ялту Миролюбов и разные ялтинские интеллигенты.

Чехова, до этого времени безвыездно жившего на своей даче в Ялте, теперь как раз не было: еще зимой он переехал в Москву на постановку своей последней пьесы «Вишневый сад», от перемены климата у него обострился туберкулез, давно уже подточивший его здоровье, и больного писателя отправили за границу, откуда доходили тревожные слухи о безнадежном состоянии его здоровья.

В скором времени пришла печальная телеграмма: «Чехов скончался».

Это известие поразило и взволновало всех; смерть Чехова показалась неожиданной, несмотря на то, что все знали о его роковой болезни. Россия лишилась родного, близкого, любимого писателя, а те, кто были с ним знакомы лично, любили его не только как писателя, но и как на редкость доброго и чуткого человека.

В Ялте решили устроить публичный вечер, посвященный памяти Чехова.

Вечер этот прошел очень удачно, при переполненном публикой зале. Большую и прочувственную речь о Чехове сказал Елпатьевский. Андреев читал довольно большой рассказ Чехова. Он не был хорошим чтецом, но публика стеклась «посмотреть на Андреева». Потом начался целый ряд вечеров, посвященных Чехову. В Крыму было

много приезжей учащейся молодежи — студентов, курсисток; настроение у них было, конечно, революционное, и в чтении ловили и подхватывали на лету хотя бы одни только намеки на революцию. Это был 1904 год, война протекала позорно, и в воздухе уже накапливалась гроза 1905 года.

Наступила нестерпимая жара крымского лета. Случилось так, что какой-то знакомый Андреева, приехавший в Крым впервые для отдыха из Сибири, внезапно сошел с ума, по объяснению врачей — от перемены климата. Почти в это же время умерла от солнечного удара наша прислуга, молодая девушка.

На впечатлительного, мнительного Андреева, плохо переносившего крымскую жару, это подействовало так, что он немедленно покинул Крым и еще до наступления августа возвратился вместе с семьей в Москву.

Молодой, цветущий, с виду полный жизненных сил, Андреев постоянно боялся внезапной смерти, был болезненно мнителен, часто воображал у себя необъяснимые болезни и страдал от них.

Впрочем, у него почти ежемесячно бывали припадки невыносимой головной боли, продолжавшейся несколько дней, тоже, казалось бы, беспричинной. Может быть, это была действительно наследственная болезнь на почве наследственного алкоголизма, который он у себя подозревал: на мозгу его как бы лежал какой-то черный налет. Может быть, даже самый талант его, вечно погружавшийся в «страшное», должен был, в конце концов, погубить его. В сущности, у него была натура настоящего, большого поэта: каждое впечатление он воспринимал в сильно отраженном, увеличенном виде, как отражается свет обыкновенной лампы в зеркальном фонаре автомобиля: маленькая, тусклая лампочка дает ослепительный, мощный, невыносимый свет. Так и печальные явления серого русского бытия, проходя через зеркало андреевского зрения, становились страшно яркими.

Уже и тогда он задумал пьесу «Жизнь человека». Не берусь судить, насколько эта пьеса изображает жизнь человека вообще, но для жизни самого Андреева она оказалась жутко пророческой — над ним самим сбылась вся жуть этой кошмарной фантазии: была «любовь и бедность», потом «слава и богатство», фантастический дом

«в пятнадцать комнат», смерть жены, гибель покинутого дома, в котором «мыши скребутся», и внезапная страшная «смерть человека».

Все сбылось.

На предстоящую зиму 1905 года я поселился тоже в Москве, приехав туда значительно позднее Андреева.

Устроившись и принявшись за литературную работу, я часто бывал у Андреева. Такой установлен был порядок, чтобы каждую субботу, после бани, я заезжал к нему пить вино, которое он в этот день заботливо припасал для меня.

Однажды, «во едину от суббот», под вечер мягкого зимнего дня, подъезжая на извозчике к квартире Андреева, я с некоторым недоумением заметил у крыльца несколько человек, как на подбор здоровенных, похожих на дворников, и небольшую толпу зевак на противоположной стороне улицы, с любопытством глазевших на них.

Слегка удивившись, я слез с саней, но, едва отворил дверь подъезда, как дворники захлопнули ее за мной, и я очутился в руках рослых полицейских, которые крепко схватили меня под руки, вырвав узелок с бельем. Я стал вырываться, но меня держали как в железных тисках.

— Да пустите же! — кричал я. — Что вы меня держите? В чем дело?

— Успокойтесь, успокойтесь! — вежливо сказал мне подошедший околоточный надзиратель, бережно и с каким-то опасением принимая мой узелок. — Пожалуйте в квартиру, здесь производится обыск!

Тогда только я понял, в чем дело.

Гостиная была полна полицейскими и жандармскими чинами. За большим столом посреди комнаты сидел ротмистр, разбиравший ворох рукописей и бумаг всякого рода.

Надзиратель бережно положил перед ним мой узелок и со страхом развернул его. Невольная улыбка засветилась на всех лицах, когда обнаружилось содержимое узелка.

Тем не менее меня пригласили войти в затворенную столовую, большую комнату, и там «обождать». Столовая была полна народа; там же был и Андреев с семьей. Оказалось, что в этот день он предоставил партийным людям для собрания свою квартиру, но собрание высле-

дила охранка и, нагрянув с обыском, стала задерживать в квартире всех приходящих и приезжающих к Андрееву, а так как к знаменитому писателю ежедневно приходило очень много всяких людей, то постепенно в столовой образовался «ноев ковчег»; кого только тут не было: партийные люди, деловые, литераторы, старики и молодые, студенты, курсистки, генералы и дамы общества. Обыск продолжался до поздней ночи. Наконец отправили куда-то, вероятно в тюрьму, партийных людей, а затем понемногу стали выпускать из столовой остальных задержанных.

К полночи столовая опустела: в ней остались только я и Андреев. Думали, что вся эта история кончилась, когда вошел жандармский ротмистр, заявивший, что мы оба арестованы и препровождаемся немедленно в тюрьму.

Подивились, пожали плечами, развели руками, но, конечно, должны были подчиниться; оделись и вышли в сопровождении двух жандармов. У подъезда стояли два дрянных московских извозчика; на этих клячах нас тихо, не торопясь, как-тоераннично, мирно и долго везли в Таганскую тюрьму.

Обращались с нами в тюрьме почтительно. Приходил начальник тюрьмы, как-то заискивал и обронил такую фразу: «Время тревожное, кто знает, может быть, скоро вы будете правительством!» Посаженные в тюрьму в качестве будущего правительства, мы пользовались неслыханными привилегиями: нам из дому приносили самую лучшую провизию, тюремный повар, оказавшийся прекрасным мастером своего дела, готовил нам шикарные обеды. Имели какие нам угодно книги, чернила, бумагу, а на прогулку нас выпускали вместе.

В тюрьме было необычайно шумно, свободно; арестованная молодежь — студенты и курсистки — гуляли без надзора, ходили по камерам в гости, чуть ли не тюремные митинги устраивали!

«Должно быть, там, наверху, что-то неладно!» — думали мы.

Но недолго чествовали нас в тюрьме: вероятно, явилось сомнение, что вряд ли писатели смогут сделаться когда-либо правительством. Через две недели нас выпустили. На вопрос наш, в качестве кого же мы сидели в тюрьме без допроса и обвинения, нам ответили кратко:

— В качестве свидетелей.

По выходе из тюрьмы Андреев скоро закончил великолепный рассказ о войне — «Красный смех». Японская война закончилась скверно.

Всюду нарастало возмущение. Правительство растерялось и впервые воззвало «к доверию». Начался памятный сезон «банкетов». В публичных помещениях, в театрах и больших гостиницах происходили многочисленные собрания с волнующими, необычайными речами.

То же происходило в провинции, по всей России.

Вся страна ждала чего-то.

Это было в начале 1905 года. Наша «Среда» в полном составе собралась у Телешова.

Ожидали, что Андреев прочтет свой новый рассказ, но настроение было у всех повышенное, тревожное: всем хотелось говорить.

Вдруг в комнату вбежал художник Первухин, непременный, давнишний член «Среды». Он был бледен, казался крайне взволнованным.

— Господа, — закричал он, — новость получена сейчас по телефону из Петербурга! Бойня перед царским дворцом! Масса крови!

Все повскакали с мест, загремели стулья, послышались восклицания. Толпой окружили вестника.

— Погодите, дайте отдышаться! — продолжал запыхавшийся Первухин. — Десять тысяч рабочих двинулись ко дворцу с иконами, с хоругвями, под предводительством какого-то священника Гапона. В них стреляли! Масса убитых и раненых! Гапон убит! Подробности еще неизвестны, телефон прерван!

Известие о смерти Гапона было неверно, но тогда этот неизвестный и необыкновенный священник показался нам каким-то героическим мифом.

— Господи! Да что же это такое начинается? — истерически кричал пришедший, потрясая руками в воздухе и хватаясь за голову. — Открыто стреляют в людей перед дворцом царя! Что же это?

Все молчали.

— Это революция! — спокойно прозвучал в наступившей тишине голос Андреева.

И вдруг — словно всех прорвало: все возбужденно заговорили разом, почти не слушая друг друга.

В общем гуле тревожного говора ничего нельзя было разобрать, только все чаще и громче всех других слов повторялось не звучавшее в России так громко, еще невероятное тогда слово «революция».

IV

Лето 1905 года Андреев жил в Финляндии, в местечке Ваммельсу, в семи верстах от станции Райвола, где впоследствии построил собственную дачу и жил в ней безвыездно несколько лет.

В воздухе веяло революцией.

Андреев ходил тогда в поддевке, высоких сапогах и красной рубашке. В этом костюме он и позировал Репину, написавшему с него известный портрет.

Андреев хотя и был, как все, захвачен революционным настроением, но поговаривал, что собирается на зиму за границу, чтобы не видеть «всего этого», что, по его мнению, нам предстояло увидеть.

Действительно, в конце лета он как-то незаметно вполне легально уехал в Берлин вместе с женой.

Во время революции 1905 года это чуть ли не единственный писатель, «бежавший от революции».

Ужасы не замедлили своим пришествием. Первая Дума была разогнана, виднейшие члены ее бежали, вышел царский манифест, после которого начались всероссийские погромы под руководством «Союза русского народа».

Еще до разгона Думы мне пришлось уехать из Петербурга в Крым. Обстоятельства задержали меня там надолго. Только из газет узнал я о скоропостижной смерти жены Андреева, Александры Михайловны. Она умерла в Берлине, после родов, от заражения крови. Тело ее привезли в Москву и похоронили на Ваганьковском кладбище.

Андреев не сопровождал ее гроба; он еще на некоторое время остался за границей, поехал искать душевной поддержки к другу своему, Горькому, на Капри.

Все пять лет счастливой семейной жизни с Александрой Михайловной Андреев, верный раз принятому решению, не прикасался к рюмке. Светлая любовь горячо лю-

бимой женщины оберегала его: возлюбленная и любящая, она словно обвела вокруг себя с ним вместе заклятый круг, и «черные маски» не смели переступить за черту его.

Но не стало ее, и мрачный дух, с которым он всю жизнь свою боролся, снова овладел ослабевшей душой.

Андреев тяжко запил.

И все-таки, пережив тяжелый удар судьбы, он усилием воли взял себя в руки и там же, на Капри, написал два прекрасных рассказа: «Проклятие зверя», посвященный памяти А. М., проникнутый чувством глубокой любви, и нашумевший тогда рассказ «Иуда Искариот».

Отныне творчество сделалось для Андреева единственным убежищем от тоски и ужаса жизни. Он пишет, уже почти не отрываясь от работы; удар за ударом, почти без промаха, как из гранита, высекает он свои дальнейшие произведения. Кроме нескольких значительных повестей и рассказов, как «Семь повешенных», «Тьма», «Мои записки», появляются новые андреевские пьесы: «Черные маски», «Океан», «Дни нашей жизни», «Тот, кто получает пощечины».

По возвращении из-за границы Андреев поселился в Петербурге на Каменноостровском.

Увиделись мы с ним после долгой разлуки зимой 1908 года, в Петербурге.

Как-то в сумерках туманного петербургского зимнего дня, когда на улицах только что зажглось электричество, я, идя по Морской, столкнулся на мокром тротуаре с хорошо одетым широкоплечим человеком в собольей шапке того покроя, какие носили при Иване Грозном опричники и сокольничие.

Человек, столкнувшись со мною, окликнул меня и, засмеявшись, раскрыл руки для объятия, — тогда я тоже узнал его: это был Леонид Андреев. Мы очень обрадовались друг другу и пошли вместе. Андреев позвал меня к себе.

На Каменноостровском была у него в одном из шикарных «небоскребов» квартира, в которой он жил с матерью и одной из сестер. Настасья Николаевна, по старой памяти, встретила меня тоже радостно и сейчас же стала хлопотать о чаепитии. Хотя сын ее зарабатывал теперь очень много и жил большим барином, Настасья Нико-

лаевна оставалась все той же, как и прежде, в дни бедности: простодушной, радушной старушкой, в широкой старомодной кофте. Говорила все тем же «орловским» говором: «идеть», «пьеть»...

Когда сын зачем-то вышел из столовой, она не удержалась, чтобы не поговорить со мной «по душе», как со старым товарищем Леонида, все о нем же, о своем любимце.

— Хоть бы женился поскорее! — начала она, наливая мне чаю. — Дал бы бог! А то мечется от одной к другой, от другой к третьей, покою себе не находит. Такой же он был и прежде, когда холостой был: мечется-мечется то к одной, то к другой, то к десятой! Ну, а женился на Шурочке, и жили хорошо, успокоился! Бывало, как напишет страничку, так сейчас запрутся в кабинет и читают вместе: вот ведь как жили-то!.. Как похоронили мы Шурочку, он и тоскует. Зашибать стал опять частенько. А ведь ему нельзя пить, не простой это человек, — особенный!

Я возразил, что такому «особенному» человеку, да еще знаменитому, нелегко найти себе подходящую жену.

— В том-то и дело! — согласилась Настасья Николаевна. — Была у него прежняя любовь, еще до Шурочки, которая тогда отвергла его, что ли, и вышла за другого. Ну, а теперь разошлась с мужем, приезжала к нам. Так что ж? Ничего не вышло! Не такой уж она стала, какой ему прежде казалась. Так и уехала ни с чем.

Тут принесли пакет с вырезками из газет: существовало тогда «Бюро рецензий», и Андреев получал оттуда ежедневно все рецензии о его произведениях, какие только печатались по всей России. Пакет был толстый: только ленивый не писал тогда «об Андрееве». В большинстве все это была ерунда, болтовня и зачастую завистливая ругань, с грязцой и клеветой.

И всю эту дрянь Андреев зачем-то читал, ежедневно отравляя себе настроение.

Настасья Николаевна надела старинные очки в никелевой оправе и принялась шепотом читать «рецензии» на Леонида. Трогательно-забавна была мать Леонида Андреева за этим серьезным, трудным для нее занятием.

— Что пишут! Что пишут-то! — повторяла она, качая седой головой и откладывая в сторону рецензии какого-то «Тургайского вестника». — Ругаются, да врут все, да

клевещут! Вот начитается Леонид этих вырезок и расстроится на целый день. Уж я сама сначала читаю: которые похуже, то отбираю да прячу, ему не показываю.

Вошел Леонид и, увидав рецензии, нахмурился.

— Вот! — сказал он мне, кивнув на пакет. — Обливают меня грязью и называют это критикой!

— А ты не читай! — посоветовал я. — Какая польза? Чему могут научить тебя «Тургайский вестник» или «Приазовский край»?

— Нельзя не читать! — возразил Андреев. — Из их же писаний я должен знать их психологию. Ведь все эти писаки ежедневно долбят по головам читающей России.

Говорят, у меня слава, — с усмешкой продолжал он, — а по-моему, это не слава, а скорее бесславие. Рецензенты всех газет всей России словно сговорились утопить меня в трясине злословия. А ведь они — сила! Нужды нет, что все они пигмеи. Ведь лилипуты связали же Гулливера, и не канатами, а тоненькими ниточками! Они задушат, если не бороться с ними! Но как бороться? Во всех газетах они! У нас, беллетристов, до сих пор нет своей газеты, где можно было бы ответить на весь этот град пощечин, которыми осыпают писателя на протяжении всего его пути, до могилы. Мы беззащитны — и это ужасно!

Говоря так, Андреев волновался. Когда он говорил о рецензентах, в глазах его отражался мистический ужас. Избалованный вначале всеобщими гимнами прессы, когда дух его произведений, в которых мощный талант вскрывал наболевшие вопросы общественности, совпадал с нарастающей волной революции, Андреев чувствовал теперь нарастание реакции, нового безвременья. Литература повернулась лицом к «проблемам пола», взошла звезда Арцыбашева, в произведениях которого читателей привлекал главным образом половой натурализм. Героем эпохи сделался его «Санин». Появились «санинцы». Мелькнула скандальная слава Анатолия Каменского, добровольно убившего свой скромный талант в погоне за «половым» успехом. Нравился только что появившийся тогда весельчак Аверченко и вся забубенная компания «Сатирикона». Свирепствовало всероссийское пьянство, когда Петербург и Москва утопали в тумане горького русского разгула, почти открыто поощряемого сверху, когда процветал кошмарный правительственный ресторан «Мак-

сим» и работали шикарные «дома свиданий», игорные до-
ма и рулетка.

В это время гнетущий, мрачный талант Андреева с его «Тьмой», «Семью повешенными» и «Черными масками» стал тяготить читателя. За «Тьму» на Андреева определенно обиделись.

Революционер-террорист, скрывавшийся ночью от ловившей его полиции в публичном доме, встречает там озлобленную против всех «хороших» людей проститутку. «Стыдно быть хорошим, когда я плохая!» — говорит она аскету от революции. Это был голос самых низких низов, тех низов, где пребывали «раздавленные жизнью» проститутки, воры, сутенеры, подлецы, мерзавцы, трусы. Они хотели равенства по-своему, и Андреев указал на пламенную ненависть этих низов ко всем «хорошим», даже к хорошим революционерам, указал на ужас этой безнадежной «тьмы», которая разобьет в черепки и втопчет в грязь все, что было выше их, даже революцию, если когда-нибудь эта «тьма» будет призвана действовать.

Но герой Андреева, потрясенный грозным видом неизбежной русской «тьмы», теряет веру в революцию: она никого не спасет, пока существует «тьма слепых от рождения». Действительно, после неудавшейся революции рядовая интеллигенция полезла в «тьму».

В особенности ударил по больному месту девиз «темноты»: «стыдно быть хорошим», который приписали самому автору.

В разговорах о литературе мы провели весь вечер до поздней ночи, и я остался у него ночевать.

Помню, я уже лежал в постели, а он все еще сидел подле меня на моей кровати, продолжая говорить.

Рассказывал о смерти жены, о ее последних минутах.

— Чуть ли не последние ее слова были: «Ты должен жить! Ты должен жить! У тебя большой талант! Ты не имеешь права умереть!»

И вот почему я тогда не покончил с собой! Я остался писать! Она сделала мне знак, чтобы я наклонился к ней. Я наклонился, и на ухо она прошептала мне: «Когда я умру, разрешаю тебе жениться!», а уже губы у нее почернели и холодели пальцы, я поцеловал ее, она улыбнулась мне и умерла.

Невозможно было слушать этот рассказ без слез.

— А! Ты плачешь? — продолжал Андреев. — Ты еще можешь плакать? Но есть предел и для страдания, когда нет слез, нет слов, когда ничего нет. Понимаешь: ничего! Так вот — я дошел до предела страдания!

V

В этом настроении человека, дошедшего «до предела страдания», Андреев поехал в Москву, где жили родные его покойной жены и там же временно находились дети. Семья была разбита, литература травила Андреева, а жизнь отравила душу «тьмой» и ужасом своим, который всюду был виден ему.

В Москве я зашел к его родственникам, у которых он остановился, и нашел их в большой тревоге: Андреев «пропал», уже четыре дня его искали по Москве; тревога усилилась тем, что прошел слух, будто кто-то видел, как на каком-то вокзале в поздний час ночи на Андреева было вооруженное нападение.

Явилось опасение, что он сделался жертвою черносотенцев, о «нападении» кто-то напечатал в газетах, там же появилось письмо в редакцию от имени московского студенчества, предлагавшего отныне свою добровольную охрану любимого писателя.

Меня пригласили участвовать в организации друзей, разыскивавших Андреева, но сколько мы ни искали, его нигде не было. Прошел еще день, когда Леонид неожиданно явился к родственникам — живой, невредимый и даже слегка под хмельком.

В забавной и остроумной форме он рассказал нам о «нападении».

— Это действительно было! Вы знаете мой недостаток: у меня бывают дни, когда не сплю по нескольку суток подряд; тогда я должен прибегать к помощи алкоголя и должен в эти дни всюду бродить, где бодрствуют люди; сначала в театр, потом в ресторан, потом в извозчичий трактир, а когда все закрывается, остается вокзал, который никогда не закрывается. Ну, вот третьего дня, что ли, часа в четыре или пять утра, я пошел на Николаевский вокзал выпить рюмку коньяку и скоротать там остаток ночи. Прихожу, буфет открыт, но публики в буфете

в такой час, конечно, ни души. Подхожу к буфету, спрашиваю рюмку коньяку, и понравился мне буфетчик, хочется приятное что-нибудь ему сказать.

«Только мы с вами, господин буфетчик, и бодрствуем теперь, — говорю ему. — Только и есть в Москве порядочных людей, что мы с вами, господин буфетчик, а остальные все, — тут я сделал широкий жест в сторону, — спят, подлецы!»

Но тут из темного угла, куда случайно был направлен мой жест, неожиданно поднялся пьяный человек, подошел ко мне и, сказавши: «Как вы смеете называть меня подлецом?», развернулся и засветил мне здоровенную пощечину. Хе-хе-хе! Здорово засветил, так что я даже покачнулся, но устоял на ногах: я никогда в подобных случаях не падаю с ног. «В подобных случаях»! Хе-хе-хе! Спокойно вынимаю карточку и подаю ему. Он прочел, остолбенел.

«Вы... Леонид Андреев?»

«Леонид Андреев!.. Позвольте, — говорю, — и мне вашу карточку! За что вы меня ударили?»

«Но вы показали на меня и назвали подлецом!»

«Я даже не видал вас!»

Тут пьяный упал передо мною на колени.

«Боже! Что я наделал? Леонид Андреев! Да ведь это мой бог, моя святыня! Кого я только любил, кого уважал, перед кем благоговел и того так оскорбил! Я не достоин жить после этого!» — и так далее.

Вынимает револьвер, сует мне в руки.

«Убей меня!»

Ввиду торжественности момента и нетрезвого состояния нас обоих на «ты» со мной перешел.

Одним словом, отчаянию и самобичеванию этого человека, от которого я только что получил пощечину, не было границ; горе его, что называется, не поддавалось описанию. Он плакал, бил себя в грудь...

Через пять минут мы с ним, конечно, уже мирно выпивали за столиком, и он рассказал мне свою жизнь. Оказался — неудачник, композитор, несчастный, прекраснейший человек, гонимый судьбой. Хе-хе-хе!

Мне потому вспомнился только случай этот, что после него Андреев задумал новую пьесу под странным заглавием: «Тот, который получает пощечины».

Конечно, не эту смешную пощечину пьяного человека имел в виду Андреев, его унижали другие: литературные пощечины литературных шутов в литературных балаганах, — и вот туда-то, на эту арену литературного цирка, он хотел наконец выйти в качестве «Того, который получает пощечины».

На этот раз у Андреева был «малый выход»; путешествие «вдвоем с месье алкоголем» было окончено, но заснуть он все еще не мог.

— Пойдем со мною в какой-нибудь театр! — предложил он мне. — Хочется сегодня говорить с тобой. И ничего не будем пить, кроме чая!

Сопровождая Андреева в качестве няньки, я сам ничего не пил и его удерживал от соблазна, заставляя что-нибудь рассказывать. А рассказывал он, когда находился в приподнятом настроении, удивительно. В эти минуты он как бы снимал маску с себя самого, и можно было видеть его настоящее лицо — лицо необыкновенного человека с проникновенным умом и талантом.

Пьеса в театре нам не понравилась, поехали в другой — там тоже показалось скучно; так мы путешествовали по всем театрикам и наконец закончили вечер в каком-то чуждом для нас клубе, где предались разговорам, выпив неимоверное количество кофе.

Андреев, как всегда, был полон новых литературных замыслов. Много из рассказанного, конечно, осталось ненаписанным, как, например, пьеса «Навуходоносор», но даже в устном пересказе ее чувствовалось что-то яркое, глубокое. Рассказал свою, еще только задуманную пьесу «Океан» и замысел «Получающего пощечины». Наконец небрежно заметил:

— Все это большие вещи. Пока я еще только обдумываю их! Но как-нибудь на днях напишу маленькую, пустяковую пьеску, думаю, что недели в две напишу, почти что на заказ, очень просят у меня такую пьесу в один второстепенный театрик. Называться она будет «Любовь студента»!

И Андреев рассказал мне содержание «Дней нашей жизни», как уже впоследствии была переименована «Любовь студента». Пьесу эту Андреев написал, действительно, в две недели, и она в том же сезоне была поставлена.

Колоссальный успех, выпавший на долю именно этой

пьесы, удивил даже Андреева; до конца «дней своей жизни» он продолжал считать ее самой слабой из всех написанных им пьес и впоследствии с горечью отзывался о «вкусах нашей публики». В самом деле: большинство его драм и трагедий, в которых столько было вложено андреевского, столько идей, излюбленных и выношенных им, не были поняты ни публикой, ни критикой, а самая любимая его пьеса «Океан», написанная вдохновенно, которую Андреев мог читать наизусть, совсем не имела успеха. И вдруг маленькая реалистическая пьеска «Дни нашей жизни» неожиданно пришлась по вкусу, ударила по сердцам всей России!

Дело в том, что «Дни нашей жизни» и на самом деле не лучшая пьеса Леонида Андреева, не характерная для него, но она оказалась близкой, родной для его поколения, в ней отразилась огромная эпоха русского безверия, и публика, увидавши океан в одной капле, не захотела спускаться в глубину того «океана», в который потом Андреев приглашал ее за собой.

Между прочим, по той же причине из всех пьес Горького наиболее жизнеспособной оказалась пьеса «На дне», отражающая ту же эпоху «лишних людей», которыми зачастую оказывались лучшие люди. Между студенческой «богемой» «Дней нашей жизни» и «бывшими людьми» горьковского «Дна» есть внутренняя связь, родство: обе эти пьесы выросли из одной почвы, из одних же исторических условий и сделались нерукотворными памятниками большой, печальной эпохи в жизни нашей страны. Тут неважно стало, «как» написаны эти пьесы: сценично или не сценично, есть ли там «действие» или нет действия, есть «выигрышные» «входы», «выходы» для актеров или нет их; на «Дне» жизни смотрели Луку и Сатина и ходили на «Дни жизни» смотреть милого, симпатичного Онуфрия — «Онушу» — собирательное лицо, как бы на приятное свидание с этими «родными» русскими людьми.

Не важны стали когда-то модные, а теперь уже устаревшие «идеи», большею частью воспринятые авторами этих пьес от других авторов; все это давно истлело и умерло, но бессмертной оказалась «жизнь», до сих пор горящая в этих пьесах, как горит вечный пламень в самоцветных камнях.

Известно, что многие из больших писателей иногда

глубоко заблуждались в самооценке некоторых своих произведений, недооценивая или переоценивая достоинства их. Так и Андреев совершенно не оценил значения своей самой популярной пьесы, единственной из всех его пьес, долго державшейся на сцене и доставившей ему славу истинного драматурга. Драматизм был в его характере, драма в большой, кипучей, но несчастливой жизни, и трагедия в смерти. В эти дни моих встреч с Андреевым он, с разбитой личной жизнью, травимый сворой литературных врагов и завистников, но обуреваемый напором огромных творческих сил, видимо, не находил себе места от глубокого одиночества и неизбывной тоски.

Расставаясь, он сказал мне на прощание:

— Нет, я так не могу жить! Вероятно, скоро женюсь во второй раз; ведь я жить-то остался только затем, чтобы написать все то, что давно задумано! Найду себе такую жену, чтобы по восьми часов в день могла барабанить на пишущей машинке, не вставая.

Андреев по обыкновению загадочно засмеялся: «Хе-хехе!» Можно было подумать, что он шутит, но за грустной шуткой чувствовались скрытое страдание, серьезная мысль.

Вскоре я уехал из столицы.

Обстоятельства закинули меня надолго за границу, а потом пришлось жить в провинции, и с Андреевым я встречался только во время моих наездов в Петербург.

VI

Когда после долгих скитаний я вернулся в Петербург, имя Андреева было у всех на устах: говорили о его «Океане», писали о новых альманахах «Шиповника», заменивших увядшее «Знание», во главе которых встал Андреев, газеты были полны статьями о нем и его произведениях, имя Андреева звучало всюду, но сам он, как король, не показывался.

Андреев почти безвыездно жил в это время в Финляндии, в Ваммельсу, на собственной фантастической даче в пятнадцать комнат, о которой тоже много говорили. Пьесы Андреева шли в нескольких театрах Петербурга и Москвы, ставились всюду в провинции и давали ему

большие деньги. Кроме того, он продал полное собрание своих сочинений тогдашней «Ниве» и вырученные деньги ухлопал на постройку своей странной дачи, где жил с семьей одиноко, никуда не выезжая и почти никого не принимая. Видеть Андреева можно было только по неотложному, важному делу, и для этого приходилось ехать в Финляндию сначала по железной дороге, потом на лошадях, чтобы, наконец, где-то в дикой местности, среди финских скал и лесов, найти его мрачный замок, одиноко стоящий на берегу Черной реки, при впадении ее в угрюмое море. Говорили, что женился он на замечательной красавице, которая тоже никуда не выезжает из заколдованнюго андреевского замка, что у них никогда не бывает ни гостей, ни празднеств, что оба они только и делают, что круглый год пишут мрачные андреевские фантазии.

Когда общие наши литературные знакомые спрашивали меня, не хочу ли поехать к Андрееву повидаться, я ответил, что без особого приглашения с его стороны ехать не собираюсь. Ему это немедленно передали, и я получил шутливое, дружеское письмо, упрекавшее меня в «чопорности». Андреев звал приехать к нему, так как сам он в Петербурге не бывает. Письмо привез и передал мне симпатичный студент «добролюбовского» типа — домашний учитель его детей. Вместе с этим студентом я поехал в Ваммельсу.

На станции Райвола нас ожидал экипаж Андреева, маленькие санки, запряженные быстрой шведской лошадкой. Пролетев семь верст, мы подъехали в морозный зимний вечер к андреевскому «замку». Это был большой бревенчатый дом в два этажа, странной архитектуры, с бревенчатой башней. Двойные зеркальные окна дома, несимметрично расположенные, различной величины, больше в ширину, чем в вышину, были ярко освещены электричеством. Вошли в маленькую, низенькую дверь парадного входа и очутились в тепло натопленном вестибюле. Дальше была столовая, потолок которой поддерживался колоссальной толщины балкой, топился фантастического вида камин, во всей этой большой комнате — только одно зеркальное окно — сажени в две ширины и не больше аршина вышины. Странная какая-то мебель, сделанная по особому заказу. Внутренний стиль комнат — древнескандинавский. Вероятно, все это было хорошо и красиво на ри-

сунке, но жить в таком «стильном» доме, по-моему, было неудобно. Из столовой наверх вела широкая дубовая лестница, по которой тотчас же при нашем входе быстрыми шагами сбежал Леонид.

Казалось, он был все тот же, со своими могучими черными отпущенными до плеч кудрями, с небольшой подстриженной бородкой, в черной бархатной блузе, с горящими, нервными, возбужденными карими глазами: ему было тогда, вероятно, лет сорок или около того.

Автопортрет, написанный им в это время, прекрасно передает «внутреннее» содержание замечательного лица крупнейшего представителя художественной литературы нашего поколения. Лицо прежнего, беспечного красавца-юноши с оттенком юной удали и некоторой рисовки своей красотой теперь поражало необычайной содержательностью, словно внутри души его было выжжено все лишнее, наносное, малоценное. Между бровей уже не разглаживалась глубокая складка, тонкие губы крепко сжались, карие глаза, в которых всегда было некое мистическое выражение, сверкали не прежним, внешним блеском молодости, но горели отблеском скрытого, внутреннего огня.

К внешней красоте возмужавшего Андреева прибавилась духовная, страдальческая красота.

Увидев меня, он просветлел и засмеялся прежним, юношеским смехом. По московской привычке обнялись, расцеловались.

— Как тебе не стыдно было требовать особого приглашения! — попрекнул он меня. — Неужели ты мог подумать, что я забываю старых друзей? Хе-хе-хе!

— Очень уж ты знаменит стал! — отшучивался я.

— Да! Вот горе! Хе-хе! И живу, видишь, как? Как пышно, как богато! А смерть-то? Сторожит, брат, сторожит! Ну ладно, пойдем ко мне наверх, поговорим, давно не видались.

Мы пошли наверх, в его рабочий кабинет. Это была большая длинная комната, застланная мягким серым сукном, отчего шаги наши сделались неслышными. Здесь тоже уютно пылал изразцовый камин, стояли мягкие кожаные кресла, большой письменный стол. К кабинету примыкала библиотека, помещавшаяся в маленькой комнате, устроенной наподобие фонаря. Стены около входа были украшены копиями с кошмарных картин Гойи, работы

самого хозяина. Все в доме Андреева было необычайно, замысловато, сложно, как и он сам.

— Какой большой, странный дом у тебя! — сказал я, усаживаясь в кресло.

— Хе-хе-хе! Пятнадцать комнат! Даже есть потайная комната. Завтра я покажу тебе их все. Я сам этот дом выдумал, это — моя фантазия! Но зато пишу здесь непрерывно день и ночь. День и ночь! Никого не вижу, никуда не выезжаю! Весело здесь! Хе-хе-хе! Весело! Недавно написал рассказ «Семь повешенных». Я, брат, теперь сразу по семи человек вешаю. Хе-хе! Диктую жене, а она барабанит за мной на пишущей машинке. Она по семи часов, не вставая из-за машинки, может барабанить! Вот, брат, какую выискал я себе супругу! Трагедию «Океан» мы с ней в две недели написали! Бегаю вот здесь из угла в угол, как сумасшедший, и диктую, а она пишет. И тебе советую диктовать: это, брат, очень весело, честь-честью, за милую душу! Хе-хе-хе!

Вскоре вошла жена Леонида — Анна Ильинична, действительно очень красивая молодая женщина, яркого южного типа. Она произвела на меня впечатление женщины серьезной, умной, уравновешенной. Говорили о недавно написанной ими пьесе «Океан».

Я выразил удивление, как такая большая, сильная вещь была написана так быстро — в две недели.

— А по-моему, — возразила Анна Ильинична, — только так и можно было написать, по вдохновению: бегает по кабинету как исступленный, волосы дыбом, глаза горят. С ума можно сойти, если такие безумные фантазии долго писать!

Я представлял себе необыкновенный процесс андреевского творчества: еще года за три до написания «Океана» Андреев почти целиком импровизировал передо мной эту пьесу, она давно существовала в мозгу его, а теперь вылилась вдохновенно в момент наивысшего экстаза.

И я представил его в этом кабинете, целые ночи бегающего в исступлении, с горящими, пламенными глазами, с развевающейся черной гривой, не диктующего, но дико и страстно извергающего свои мучительные, выстраданные импровизации.

Мне казалось, что, действительно, страшно быть таким писателем.

Слуга, изящный молодой человек, принес нам крепкого чаю, какой пил теперь Андреев, снова и, кажется, навсегда расставшийся с обществом «месье алкоголя»:

> Но уже таял воск, съедаемый огнем!
> Но уже таял воск!

Как всегда при наших встречах, Андреев принялся рассказывать темы новых, замышляемых им произведений.

— Понимаешь ты, сидит этакий большой, гениальный ученый, вроде Спинозы, что ли! Никогда из своей обсерватории не выходит. О земле забыл, звездами и небом занят, вопросы мироздания решает. Но вдруг ему мешает шум какой-то: шумят где-то люди. Наконец толпа врывается к нему в обсерваторию. В чем дело? Кричат, грозят, сердятся. Оказывается, пришли убить его за то, что он еврей! «Какой еврей?» Ах, да! «У них» там все еще «национальности» существуют. Опять убивают друг друга. Во имя любви, равенства и братства! И опять как раз тех-то и убивают, которые этого самого равенства и братства хотят. Хе-хе-хе!

Андреев и сам был таким Спинозой, вечно сидел в своей «обсерватории» и бился над разрешением сложных задач, которые казались ему важными для всего человечества.

Он поднимался «к звездам», вечно парил над жизнью, чувствовал себя «сверху» всех политических партий, церквей и религий.

Жутким показалось мне андреевское «веселье».

Не понравился фантастический, мрачный замок его, откуда вышли «Семь повешенных» и открылся безотрадный, пустынный «Океан».

VII

Последнее мое свидание с Андреевым было зимой семнадцатого года, вскоре после убийства Распутина, накануне февральских дней.

Я приехал в Петербург из провинции ненадолго.

Андреев работал теперь в новой газете «Русская воля».

О выступлении своем во главе большой и богатой

газеты, спешно затеянной в чрезвычайно тревожное время, Андреев писал мне незадолго до этого.

«Наконец, я решился, — писал он, — или пан, или пропал: или противники мои вдребезги, или я пополам! Я, наконец, принял командование боевым кораблем и на всех парусах выхожу в открытое море!»

Действительно: в это время Андреев покинул свой уединенный замок среди финских скал и поселился в Петербурге, на одной из центральных улиц, в каком-то старинном доме, где, по преданию, жил в свое время Пушкин.

Я застал его в обширном кабинете, в котором, кроме огромного письменного стола и двух кожаных кресел около него, не было никакой другой мебели.

Андреев бегал по этой комнате в чрезвычайном возбуждении.

Он был в обычном своем костюме — в черной блузе; еще не было ни одного седого волоса в его густой, буйной шевелюре, но осунувшееся лицо казалось постаревшим; следы каких-то жгучих дум, пламенных волнений носило оно: как прежде, так и теперь он оставлял впечатление кипящего котла.

Встретил меня с радостью старого друга, но уже не рассказывал новых тем ненаписанных произведений, которыми был полон всегда: теперь он кипел чем-то новым, другим!

С этого времени он окончательно разошелся с Горьким, который начал издавать газету «Новая жизнь», тяготевшую к большевизму: прежние друзья стояли теперь во всеоружии друг против друга.

Как раз в эти дни моей последней встречи с ним шла в Александринке последняя пьеса Андреева «Милые призраки», где были выведены на сцену тени Белинского, Некрасова и Достоевского.

Я был на первом представлении этой действительно нежной, элегической пьесы. Героем ее был юноша — Достоевский, безвестный бедняк, написавший «Бедных людей», так потрясших Белинского.

За историческим сюжетом литературной пьесы мне почудилось личное, грустное настроение автора, словно сожалевшего о том времени, когда была у него юность, бедность и любовь, вдохновение не оставляло, а муза пела могучие песни. Теперь же, когда как будто есть и деньги

и слава, отлетает вдохновение, умолкает муза! «Суета» борьбы и славы, похвал и брани отгоняли в прошлое светлую, чистую юность, а с нею вместе — вдохновение. «Служенье муз не терпит суеты!»

Не нужны стали теперь «Милые призраки»: не до них!

Давно уже кровь проливалась, пушки гремели.

Я чувствовал, что публика равнодушно принимает эту хорошую, но чуждую моменту пьесу, не ко времени поданную.

«Друзья и почитатели» устроили ей неистинный, фальшивый успех.

Заготовили много лавровых венков огромного размера, вызывали на сцену автора и все их подали ему. Хлопали и кричали «браво», но чувствовалась холодная атмосфера равнодушия, и сам Андреев, в своей черной блузе, осунувшийся, измученный, казалось, чувствовал это, когда с грустным, недоверчивым видом стоял среди этих как бы похоронных венков на ярко освещенной сцене, стоял неподвижным, тоже «милым призраком» ушедшего прошлого, пока не опустился занавес над ним.

1923

ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

Однажды, зайдя в редакцию «Самарской газеты», в Самаре, в конце девятидесятых годов, я встретил там незнакомого мне седого человека барской наружности, разговаривавшего с редактором и при моем появлении вскинувшего на меня красивые и совершенно молодые, горячие глаза.

Редактор познакомил нас.

Седой человек с какой-то особенной непринужденностью отрекомендовался, пожимая мою руку своей маленькой холеной рукой.

— Гарин! — сказал он кратко.

Это был известный писатель Гарин-Михайловский, произведения которого тогда часто появлялись в «Русском богатстве» и других толстых журналах. Его «Деревенские очерки» с большим вниманием и похвалой разбирала серьезная критика, а блестящая повесть «Детство Темы» признана была первоклассной.

Встреча в провинциальном городе с настоящим писателем, приехавшим из столицы, для меня была неожиданной.

Гарин был замечательно красив: среднего роста, хорошо сложенный, с густыми, слегка вьющимися седыми волосами, с такой же седой, курчавой бородкой, с пожилым, уже тронутым временем, но выразительным и энергичным лицом, с красивым, породистым профилем, он производил впечатление незабываемое.

«Как красив он был в молодости!» — невольно подумалось мне.

Необыкновенный старик хорош был и теперь — с седы-

ми волосами и огромными юношески пламенными глазами, с живым, подвижным лицом. Это лицо много пожившего и все еще полного жизни человека, поседевшего и все еще юного, — именно вследствие этих контрастов — обращало на себя внимание и было красиво не только внешней красотой, но и сквозившей в его чертах целой гаммой каких-то неукротимых и больших переживаний.

Гарин скоро ушел, а в редакции еще долго о нем говорили.

Оказалось, он затевал в городском театре постановку своей только что написанной пьесы, еще нигде не напечатанной и не поставленной.

Говорили, что пьеса — автобиографического содержания, и в ней Гарин выводит себя и своих двух жен: первую, с которой давно развелся, и вторую — молодую. От обеих у Гарина куча детей, а жены, в противность обыкновению, знакомы между собой и очень дружны, ездят одна к другой в гости, а на представлении пьесы будут сидеть в одной ложе вместе с Гариным и детьми — всей семьей.

Пьесе по этому случаю предрекали успех скандала и полный сбор.

Я не помню теперь заглавия этой пьесы: в собрании сочинений Гарина ее не оказалось, больше она нигде не ставилась, но в Самаре тогда была поставлена и прошла с большим успехом при переполненном театре. Гарин с семейством демонстративно сидел в литерной ложе между двумя своими женами, как бы не замечая пикантности своего положения, представляя из себя главнейший интерес для собравшейся публики. В пьесе ставилась проблема мирного разрешения семейной драмы, пережитой, как всем было известно, самим автором, присутствовавшим на представлении вместе с живыми главными персонажами ее.

Зачем Гарин сделал этот оригинальный опыт, не знаю, но он был в его духе. Это был каприз чудака: с Гариным всю его жизнь происходили странные эпизоды.

Он путешествовал вокруг света, гостил в Корее и Японии. В России занимался главным образом инженерством: был опытным инженером-строителем, построил один железнодорожный путь не очень большой величины; был одним из претендентов на несостоявшуюся постройку

южнобережной дороги в Крыму; по временам ненадолго делался помещиком и дивил опытных людей фантастичностью своих сельскохозяйственных предприятий. Так, например, засеял однажды чуть ли не тысячу десятин маком и когда, конечно, прогорел на этом, то все-таки с восхищением вспоминал о красоте полей, покрытых «красными цветами».

Занимался лесным делом, арендовал имения, брал казенные подряды. Иногда становился богатым человеком, но тотчас же затевал что-либо безнадежно фантастическое и вновь оказывался без копейки. В дни богатства всех сбивал с толку бесцельной щедростью: если курица в обыкновенное время стоила в деревне пятнадцать копеек, то, покупая провизию для своих служащих, он приказывал платить за курицу не полтинник и не рубль, что было бы хоть с чем-нибудь сообразно, а примерно пять рублей, и это перевертывало в головах населения всякие представления о дешевизне и дороговизне. В моменты своих кипучих предприятий Гарин сорил деньгами, разбрасывая золото буквально горстями, не считая, как будто главной его целью было доставлять этой безумной щедростью удовольствие и людям и себе. Все коммерческие предприятия Гарина, задуманные широко и талантливо, большею частью прогорали от его равнодушия к деньгам и детской доверчивости к обкрадывавшим его людям. Что его обкрадывают, он знал прекрасно, но находил это естественным, лишь бы дело было сделано. И действительно: дела делались, потом лопались, но Гарина это не смущало — он тотчас же начинал пылать каким-нибудь новым замыслом, казавшимся ему «красивым».

Был случай, когда его имение продавалось с аукциона в уплату долгов. К третьему удару молотка вдруг явился Гарин и внес деньги, которые ему только что удалось у кого-то занять.

Кредиторы Гарина рассказывали мне, что однажды они, утомленные бесконечными отсрочками, пригласили его на собрание, твердо решившись поступить с ним беспощадно. Но явившийся Гарин так их околдовал, что они, сами не зная как, снова поддались очарованию его личности: слушая гаринское красноречие, вновь уверовали в явные фантазии.

Гарин как будто несерьезно относился к своим делам,

словно играл с жизнью, почти всегда ставил на карту все, что имел.

Он всегда «танцевал на вулкане», вся его деловая деятельность походила на отчаянную скачку с препятствиями.

И Гарин действительно всю свою жизнь мыкался по свету в вечном угаре своих рискованных предприятий: то он плыл на океанском пароходе через Атлантический океан, совершая зачем-то кругосветное путешествие, по пути заинтересовываясь жизнью островитян или «корейскими сказками», то летел в Париж, то оказывался на юге России, откуда спешно, с «курьерским» мчался на Волгу или Урал.

Писал большею частью в дороге, в вагоне, в каюте парохода или номере гостиницы: редакции часто получали его рукописи, написанные с какой-нибудь случайной станции с пути его следования.

Писал не для славы и не для денег, а так, как птица поет, так и Гарин писал — из внутренней потребности. Случайно оказалось, что повести и рассказы, очерки и карандашные наброски, которыми он иногда тешил себя, обнаруживают незаурядный талант, но Гарин и к таланту своему не мог отнестись серьезно и написал разве десятую часть того, что должен был написать, не проявив и сотой части того богатства, которое лежало в его душе. Для него главное было — сама жизнь, игра с препятствиями, волнения риска, воплощение красивых фантазий в действительность, постоянная бешеная скачка над краем пропасти.

Гарин до седых волос остался пылким юношей.

«Детство Темы» — лучшее его произведение, написано ясно, густо, блестящим и крепким языком, где, кажется, не найдешь ни одного лишнего или не на своем месте поставленного слова.

Вскоре после первой встречи мне пришлось познакомиться с Гариным ближе: в Самару проездом он заглядывал часто, так как у него были какие-то «дела» на Волге.

Помню, я как-то порекомендовал ему одного моего друга-машиниста, так как Гарин искал такого мастера в свое симбирское имение заведовать сельскохозяйственными машинами.

Через два-три месяца машинист вернулся в Самару, от должности отказался.

— Отчего же? — спросил я. — Не понравилось, что ли?

— Сердце не выдержало! Не мог я видеть равнодушно, как погибает там все на моих глазах — прекрасные английские машины ржавеют под открытым небом, занесенные снегом; великолепный конский завод — какие матки, какие породистые лошади! — падают, околевают одна за другой.

— С чего же падают?

— Да с голоду! Николай Георгиевич не распорядился о заготовке корма на зиму. С голоду все и передохли — смотреть было больно, не выдержал я и ушел, не потому, что жалованье получал неаккуратно, это бы ничего, обойтись можно, а так!

Оказалось, что Гарин, увлекшись какими-то новыми фантазиями и переживая какой-то горячий «ажиотаж», «забыл» о своем имении, — и все пошло прахом.

Позднее, а именно в 1901 году, когда я жил в Самаре «под надзором» и не имел права выезда за черту города, мне захотелось устроить на службу к Гарину, тоже в имение, другого моего знакомого — техника.

Гарин, как всегда, будучи в городе «проездом» и обремененный тысячей «дел», назначил свидание на пристани парохода, на котором он уезжал: разговор должен был произойти в несколько минут, во время посадки Гарина на пароход.

Когда я и мой знакомый подъехали на извозчике к пристани, раздался третий свисток, и пароход начал медленно отделяться от берега: были уже сняты сходни, Гарин в дорожном костюме, с сумкой через плечо, кричал нам с верхней площадки парохода:

— Скорее! Скорее! Прыгайте на пароход!

Колебаться и размышлять было некогда: мы оба перемахнули саженное расстояние над водой и очутились на отплывающем пароходе.

— Вот и отлично! — сказал Гарин моему приятелю. — Я уже решил пригласить вас на мои работы — в имение около Симбирска, и мы теперь вместе едем туда.

— А как же мне-то быть? — размышлял я вслух. — Надо с первой же остановки возвратиться!

— Пустяки! — сказал Гарин. — Семь бед — один от-

вет: все равно будет суд у мирового, я выйду свидетелем, что вы уехали нечаянно, заплатим штраф, и больше никаких! Поедемте ко мне в гости, в Тургеневку!

Гарин ехал не один, а с целой компанией: оказался еще какой-то молодой художник и еще какой-то чертежник, и кто-то вроде секретаря при Гарине. Скоро наступила ночь; мы сели в рубке первого класса ужинать.

За ужином Гарин был в ударе и много рассказывал; рассказывать он умел артистически, обнаруживая заразительный юмор, тонкую наблюдательность и природную способность художника несколькими словами набрасывать целые картины.

Помню, рассказывал он различные эпизоды из своих путешествий вокруг света.

— Знаете, когда я увидел океан? Когда с неделю проплыл на этом чудовище, четырехэтажном океанском пароходе! Это целый город. Люди там живут, пьют, едят, танцуют, флиртуют, играют в шахматы и никакого океана не видят, забыли о нем: какая бы ни была волна, ничего не заметно! Мы сидели у большого зеркального окна на четвертом этаже, я играл с кем-то в шахматы. Вдруг пароход заметно накренился, и на один только момент я увидел до самого горизонта вздымающиеся горы вспененных, косматых, чудовищных волн, на меня глянул океан — седой, взбешенный старик!

Внезапно он сделал образное сравнение с русской жизнью и государственным кораблем, на котором люди плывут, играя в шахматы и не видя, что делается в океане.

— Говорят, новая волна идет, новая заря занимается! — со вздохом добавил он. — А как вспомнишь, сколько раз эта заря занималась и ни разу не взошла, сколько раз новая волна поднималась, а потом обращалась в затишье, что, право же, не знаешь, куда бы уйти подальше и от этой намалеванной зари и от этих самых волн!

Увы! Заря скоро погасла. Занималась и погасала несколько раз и после Гарина, а «волны» вскоре забросали его до смерти.

Вся публика рубки, сидевшая за другими столами, с необычайным вниманием прислушивалась к блестящим рассказам Гарина. Наконец, когда он вышел, меня остановил человек почтенной наружности, по виду — купец.

— Скажите, пожалуйста, кто этот красивый старик, который сидит с вами?

— Это писатель Гарин! — ответил я.

— А-а! — с еще большей почтительностью воскликнул он. — Гарин!.. Знаю, читал! Ах, какой красивый человек!

Такое впечатление производил Гарин даже на тех людей, которые не знали, что это известный писатель Гарин-Михайловский.

Барский дом в Тургеневке, отдельно стоявший от села на берегу Волги, на вершине горы, поросшей строевым, дремучим бором, был интересным, старинным зданием, уцелевшим чуть ли не с пушкинских времен. Когда мы вошли в огромный, высокий зал с целым рядом саженных венецианских окон, меня поразил необычайных размеров камин, в котором, казалось, можно было жечь не поленья, а целые бревна. По стенам висели старинные гравюры; одна из них представляла взбесившуюся тройку, которая мчалась прямо на зрителя, в пропасть.

— Вот моя жизнь! — сказал между прочим Гарин, со смехом указывая на картину. — Только это я и люблю!

Он переоделся, вышел к нам в высоких сапогах, синих рейтузах в обтяжку, в венгерке со шнурками, и в этом костюме был чрезвычайно подходящ ко всей обстановке старинного замка в стиле рыцарских времен; вероятно, не без кокетства перед самим собой оделся он так, особым художественным чутьем угадывая гармонию обстановки и костюма, а может быть, чувствовал это бессознательно.

Гарин не был собственником имения, он только арендовал его у настоящих хозяев, по-видимому, медленно, но верно приближавшихся к разорению и давно уже не заглядывавших в родовое «дворянское гнездо». У Гарина было здесь «лесное дело». Он снял великолепный сосновый бор «на сруб» и сплавлял лес по Волге.

После чая пошли смотреть «лесное дело».

— Я сейчас покажу вам «деревянную железную дорогу»! — заявил нам хозяин.

Конечно, это была одна из гаринских «фантазий»: для подвоза бревен к обрыву горы были проложены деревянные рельсы, по которым лошадьми ходили дроги на осо-

бых, вагонного устройства, деревянных колесах. Хотя колеса эти часто сходили с рельсов, вызывая остановки, тем не менее остроумная выдумка облегчала тяжесть перевозки. С обрыва бревна спускали прямо к берегу Волги по особо устроенному желобу, по которому проведена была вода, чтобы бревна не загорались.

Августовский день был ясный, солнечный. Волга сверкала как зеркало. Зеленый бор звонко гудел под теплым ветром. Постояли над обрывом, полюбовались величавой картиной Заволжья: с вершины горы горизонт был виден на сто верст кругом.

Приставив к делу всех приехавших с нами молодых людей, Гарин к вечеру вдвоем со мной уехал на лошадях в Симбирск. Нам подали рессорную коляску с открытым верхом, запряженную тройкой прекрасных вороных лошадей: Гарин любил езду. Всю ночь ехали мы с ним по звонкой ровной степной дороге.

Ночь была светлая, лунная, зачарованная безмолвием безграничных русских полей.

И мне казалось, что неугомонный человек, у которого давно уже образовалась страсть к вечному мыканию с места на место, никогда более не захочет и не сможет изменить свою тревожную жизнь, полную вечной смены впечатлений, на спокойную, кабинетную работу, какая нужна была ему, если бы он захотел сделаться «серьезным» писателем.

На рассвете подъехали мы к Симбирску с противоположного берега, переправились на лодке прямо на пароходную пристань, где уже стоял пароход, отправлявшийся в Нижний, куда, собственно, и ехал Гарин.

Здесь я намеревался расстаться с ним и, дождавшись парохода сверху, возвратиться в Самару, но чудак стал уговаривать отправиться с ним в Нижний.

Гарин умел очаровывать людей, и, очарованный, я уступил: очень уж это был интересный и «красивый» человек, как метко выразился о нем купец, восхитившийся им на пароходе.

Путешествие кончилось тем, что по возвращении из Нижнего я был вежливо приглашен жандармским ротмистром, зашедшим ко мне тихим летним вечером, в самарскую тюрьму, где и отсидел месяц, пока разбирали дело о моей «таинственной» отлучке.

В день выхода моего из тюрьмы Гарин опять оказался «проездом» в Самаре и, считая себя отчасти виновником моего «сидения», явился ко мне с компанией и с кульком разнообразных бутылок. При входе в квартиру он передал кулек моей матери.

Старушка поставила на стол две бутылки белого вина, и мы выпили.

По уходе Гарина она сообщила мне, что в кульке есть еще какая-то большая бутылка, оставшаяся неподанной: оказалось — шампанское лучшей марки, которым Гарин хотел приветствовать мое освобождение, но по недоразумению бутылка так и осталась нераскупоренной.

Года через два, проживая в Москве, я ехал на святки в приволжское село и в вагоне случайно встретился с Гариным. Он был, по своему обычаю, бодр и весел, шутил.

— Вы теперь переживаете эпоху литературной славы! — сказал он мне. — Сочувствую и очень рад за вас! Я тоже был когда-то в славе и «первоклассным» был и все такое! Всякое бывало!

— Почему же были? — возразил я. — Вы были и есть и будете одним из лучших русских писателей!

— Нет, уж мое время прошло, наступает чье-нибудь еще! Так было... так будет! А я вот недавно имение купил без гроша в кармане — вот это штука! Даже расходы по купчей бывшая владелица за меня заплатила!

— Как же это так?

— А так! Почтенная женщина, давно меня знает, встретились вот так же, как мы сейчас с вами. «Вам, говорит, непременно надо купить мое имение, оно вам подходит, и вам я бы продала». — «Да у меня денег нет!» — «Пустяки. Не надо никаких денег!» Ну, купил вот, сам не знаю зачем, имение-то с переводом долга — еду теперь туда; говорят, хорошее имение, красивое, «Белый Ключ» называется, совсем близко оттуда, куда вы едете! Ба! — вскричал вдруг Гарин, как бы осененный внезапной мыслью: — Непременно приезжайте ко мне под Новый год! Всего двадцать верст от станции, я и лошадей пошлю! Непременно! У меня там вся семья: и жена, и дети, везу вот всякие финтифлюшки для елки. Будем Новый год встречать вместе.

Я, конечно, согласился приехать в «Белый Ключ» и свое обещание исполнил. Это была встреча 1903 года.

Когда под Новый год я высадился на указанной станции, меня действительно ожидала гаринская пара вороных, запряженная цугом или, как говорят на Волге, гусем; кругом лежали глубокие снега, трещал сильнейший мороз, как и полагается в России под Новый год.

С холоду, что ли, кровные кони мчались, как бешеные, и ямщик всю дорогу, что называется, висел на вожжах, а черные, злые, взмыленные лошади в серебряной сбруе неслись, как в сказке, обдавая меня пеной со своих удил, смешанной с кровью, и целым облаком серебристой снежной пыли. Двадцать верст мы пролетели в час — никогда я не испытывал такой быстрой езды на лошадях!

Темной ночью подъехали к ярким огням барского дома. Там уже сияла елка, и сквозь морозные окна было видно, как в комнате двигались тени. Около дома был пруд, теперь замерзший и покрытый снегом, осененный старыми ветлами в кружевной парче морозного инея. Должно быть, красивое место!

Дом был полон гостей, елка сверкала огнями, кто-то играл на рояле, собирались петь хором.

Тут я впервые познакомился с женой Гарина — Верой Александровной Садовской, и их детьми, тогда еще школьного возраста и ниже.

Старшую дочь звали Верой, среднюю — Никой, а маленькую девочку — Вероникой. Родители тоже были Вера и Ника! Вера и Ника в итоге давали Веронику. Даже при наречении имен своим детям неунывающий родитель «играл» красивыми словами.

Вера Александровна происходила из семьи миллионеров Садовских, выросла буквально во дворцах и, соединяя свою судьбу с бурной судьбой Гарина, имела, говорят, значительный капитал, который, конечно, и был ею скоро истрачен на широкие фантазии беззаветно любимого супруга.

В юности она была красавицей, но теперь — в возрасте тридцати с лишком лет — преждевременно располнела, хотя все еще была хороша; в особенности красивы были ее глаза и длинные, чуть не до земли, золотистые, пышные волосы, которые в распущенном виде могли покрыть всю ее фигуру.

Наконец-таки Гарин «отдыхал» в кругу любящей семьи, дети обожали его, жена сияла от счастья: ведь большую часть года они только скучали и мечтали о нем, вечном путешественнике, и настоящее свидание было редким праздником для них.

Наутро после завтрака Гарин с семьей и я гуляли по имению, катались на лыжах, а после обеда пошел снег, задула метель, к подъезду подкатили новые сани, запряженные цугом, черные, злобные, пышущие кони взвились, как черти, и опять понесли нас с ним куда-то.

Весной 1905 года, незадолго до внезапного окончания войны России с Японией, Гарину удалось получить миллионный государственный подряд на поставку сена для русской армии.

Я жил тогда недалеко от Петербурга, в Финляндии, в дачной местности Куоккала: в тех местах проживали многие писатели и художники.

В Куоккала же поселился с семьей и Гарин.

Получение миллионного аванса окрылило его в высшей степени, и началось чисто гаринское разбрасывание денег. Прежде всего он на специальном поезде (чего это стоило!) «на минутку» слетал из Куоккала в Париж, привез оттуда свежих фруктов для предполагаемой приятельской пирушки и дорогое бриллиантовое колье для супруги. На пирушке в его маленькой временной дачке мы ели настоящие французские груши, а Вера Александровна, в сверкающем крупными бриллиантами колье, сидела, как невеста, рядом с обожаемым супругом и в ответ на его шутки кокетливо опускала свои все еще прекрасные глаза.

Это был последний луч счастья в их жизни, полной превратностей.

Уже с самого начала запахло плохими предчувствиями: пошли слухи, что Гарина окружили ненадежные люди, что вряд ли он справится с делом, что его оберут и подведут под суд.

Авансы раздавал он, конечно, полными горстями, не заглядывая в будущее, не разбираясь в людях, да он и знал по своему огромному опыту, что около такого огромного казенного костра без воровства не обойдется.

— Поедемте со мной! — пригласил он меня. — Будете у меня получать пятьсот рублей в месяц.

— Зачем я вам? — удивился я. — Ведь сенное дело мне, вы знаете, совсем незнакомо!

— Мне и не нужно, чтобы вы знали сенное дело! — возразил Гарин. — Знающие люди у меня есть, но они все — воры и мошенники! Вот я и хочу к ним приставить хоть одного честного человека, чтобы он мешал им.

Я рассмеялся, но, подумав, отказался от рискованного предприятия.

Гарин набрал массу людей для грандиозной организации сенокоса в полях Сибири и Маньчжурии.

Вскоре спешно уехал.

Как и следовало ожидать, поставку не сделали к сроку: помешали дожди и еще какие-то неудачи, а в начале июля война неожиданно кончилась.

Казенные миллионы были истрачены, поставка осталась незаконченной. Предстоял скандальный процесс.

Осенью Гарин вернулся в Петербург.

Надвигалось тревожное время — революция 1905 года.

Гарин опять оказался без денег, измученный мыканием по Сибири, расстроенный провалом предприятия, но не унывающий и уже воспылавший новым увлечением — революцией.

Не давая себе ни отдыху, ни сроку, принялся за организацию журнала, который сам хотел издавать.

На редакционном заседании Гарин вдруг почувствовал себя дурно, схватился за сердце и, вскрикнув: «Подкатило!» — упал мертвым.

До утра лежал он на редакционном столе, накрытый простыней, седой и страшный. Писатель Гарин-Михайловский, через руки которого прошли миллионы рублей, умер, не оставив после себя ни копейки денег. Хоронить было не на что. На похороны его была сделана подписка.

1925

РЕКА ЗАБВЕНЬЯ

Писатели старой Москвы. Литературная «Среда»

В предреволюционную эпоху 1905 года в старой Москве исключительной популярностью пользовался интимный кружок молодых писателей, из числа которых быстро выдвинулось несколько крупных имен.

Вначале кружок, аккуратно собиравшийся по средам, представлял из себя тесно-приятельскую компанию молодых, начинающих писателей, присоединившихся к ним пожилых неудачников, любителей литературы, двух-трех художников и тому подобной богемы, не знавшей, где ей голову приклонить. Там был далеко не знаменитый художник Первухин (брат писателя), Голоушев (художник, художественный критик и врач), «поэт из народа» Белоусов — переводчик «Кобзаря» Шевченко, портной по профессии; выделялся красноречием Юлий Бунин (брат писателя)—редактор «Вестника воспитания»; был еще старик Гославский, похожий на Саваофа и Саваофом же прозванный, с иконописной шевелюрой и бородой (хотя на этом и кончалось сходство, так как после третьей рюмки Саваоф впадал в транс и неудержимо сквернословил в бессознательном состоянии); он что-то писал в уличных газетах, влача полунищенское существование. Был хороший такой старичок — Хитрово, где-то служивший и ничего не писавший, но не пропускавший ни одной «Среды».

С этой разношерстной компанией сошелся писатель Николай Телешов.

Сблизившись с Телешовым, кружок стал собираться каждую среду в его большой квартире на Чистых прудах. Зачитывали новые рукописи, обсуждали их. После полуночи подавался хлебосольный старомосковский ужин с умеренной выпивкой.

«Среда» старалась привлекать к себе начинающих литераторов, сколько-нибудь талантливых; таким образом в телешовскую эпоху в кружке появились сотрудники московской газеты «Курьер» — сорокалетний Серафимович, только что возвратившийся из ссылки, совсем молодой человек Андреев, окончивший Московский университет по юридическому факультету, но вместо адвокатуры избравший карьеру судебного репортера. Потом он стал писать в «Курьере» фельетоны под псевдонимом «Джемс Линч» и рассказы под настоящей фамилией.

Таково было первоначальное «ядро» скромного литературного кружка, в скором времени сделавшегося центром литературно-художественных сил Москвы, правда, на короткое, но яркое время, предшествовавшее революции 1905 года.

Горький, безвыездно проживавший тогда в Нижнем, приехал в Москву ставить в Художественном театре свою первую пьесу «Мещане» и неспроста появился на одной из «Сред», выступив с чтением своей пьесы: его давно интересовали Серафимович и Андреев, намеченные им в сотрудники журнала «Жизнь», которым он руководил из Нижнего и где сотрудничал сам.

Особенное внимание обратил он на Андреева. Новый рассказ молодого писателя «Смерть Сергея Петровича» после визита Горького появился в ближайшей книжке «Жизни», рядом с произведениями других, тоже «начинающих» тогда писателей, приглашенных Горьким из провинциальных газет.

Произведения молодых писателей, доселе почти неизвестных, появились в видном журнале и имели неожиданно крупный успех у публики: ее не столько интересовали серьезные статьи журнала, сколько свежая беллетристика, написанная с искренним подъемом молодости, насыщенная тем «духом времени», который уже бродил тогда в широких массах: литературная молодежь непосредственно и интуитивно коснулась чего-то давно

назревшего и наболевшего в большой, коллективной душе миллионных масс.

Литература, как всегда отражавшая жизнь, приковала тогда к себе взоры всей читающей и мыслящей России. Она расцвела, но цветы ее были ядовиты, распространяли горький и тяжелый аромат: она свидетельствовала о глубоком неблагополучии, и чего бы ни касались ее пышно зловещие краски, — все вызывало боль, мучило душу, приводило к тяжкому сознанию, что «так дальше жить нельзя», что жизнь властно требует новых форм.

От нее ожидали все новых и новых ударов по наболевшим местам, изображения все новых очагов разложения, трагических диссонансов жизни, и это не могло не захватывать за душу, не могло не привлечь внимания всей читающей России да и не могло быть неудачно написанным; всем удавалось писать сильно, ярко, выпукло, ибо все уже было выношено, выстрадано.

«Жизнь» вскоре была закрыта, но новые писатели во главе с Горьким вошли в книгоиздательство «Знание» и были изданы каждый отдельной книжкой: почти одновременно вышли книги рассказов Андреева, Телешова, Серафимовича и других участников «Среды». Все эти авторы оказались в центре внимания «большого читателя».

Собрания «Среды» сделались как бы чистилищем, через которое проходило каждое новое произведение ее участников, прежде чем попадало в печать.

Не без волнения и даже внутреннего трепета выступали там авторы с чтением своих новых рукописей перед интимным собранием беспощадных друзей. После чтения происходил тщательный критический разбор произведения: авторское самолюбие ни во что не ставилось, снисхождения не оказывалось никому. Часто случалось, что по окончании чтения раздавался голос Юлия Бунина: «Ну, и ерунду написал!» — и начинался «разнос», последствием чего было, что авторы коренным образом перерабатывали написанную «ерунду», которая по напечатании оказывалась удачным и значительным произведением, имевшим большой успех.

Но именно этим выдающимся успехом, выпавшим на долю участников «Среды». и объяснялась ее суровая

требовательность к самой себе, чего прежде за ней не водилось: богема любила писать «сплеча и наспех».

Главным и жестоким критиком «Среды» оказался Юлий Бунин или Бонза, как его метко прозвали участники ее. Сам он даже в собственном журнале никогда ничего не писал, но хорошо знал и любил художественную литературу и в своих замечательных «критических речах» на собраниях «Среды» обнаружил большой аналитический ум.

Всю жизнь свою этот интересный человек старой Москвы, старый холостяк, без гроша за душой, прожил не только в качестве редактора узкоспециального журнала, но главным образом участника и оратора многих общественных организаций, неся, таким образом, несомненно прогрессивное знамя. Участие в «Среде» было только одним из многих выступлений этого общественника старой складки.

Особенно процветала полюдневшая «Среда» начиная с зимы 1903 года. В Москву переселились все те ее участники, которые раньше появлялись из провинции только на короткое время, наездом... На весь зимний сезон приехал Горький по случаю постановки в Художественном театре его второй пьесы — «На дне», которую он предварительно читал на собрании «Среды». Приехали из Ялты Елпатьевский, Найденов — пьеса последнего шла в Москве поистине с колоссальным успехом; явился, как всегда, из-за границы Петр Боборыкин, а редактор «Русской мысли» Гольцев встретил его на «Среде» приветственной речью.

Приехал из северной столицы редактор «Журнала для всех» В. С. Миролюбов, и, наконец, завсегдатаем и членом «Среды» сделался Шаляпин, выступавший со своим удивительным пением. Скромная когда-то «Среда» вошла в почет и славу. Попасть туда обыкновенным людям без имени и популярности не было никакой возможности.

С чтением новых рукописей чаще всех выступал Леонид Андреев, вдруг выросший из недавнего репортера и фельетониста в крупного писателя: каждое новое произведение Андреева вызывало шумный успех. Он продолжал сотрудничать в «Курьере», где один за другим появлялись его короткие, но сильно написанные рассказы — «Жили-были», «Бездна», «Стена» — всегда после

предварительного чтения и критической оценки на «Среде». Рассказы эти сделались гвоздем сезона, всю зиму о них писали и рассуждали.

Андреев писал тогда под искренним влиянием нарастающего революционного настроения и только после провала движения 1905 года ушел в модернизм и мистически-мрачные психологические глубины, которые завели его в чисто мозговые лабиринты нарочитой выдумки.

Чехов в одном из своих частных писем с удивительной чуткостью даже в первой книге Андреева уловил элементы будущей «деланности», назвав его не совсем справедливо «искусственным соловьем». Он, действительно, пел соловьем, и не все в этом пении было искусственным.

А. С. Серафимович

«Однокашником» Андреева по «Курьеру» был Александр Серафимович, который, несмотря на связывавшие их дружеские чувства и более скромный, совершенно реалистический талант, не поддался влиянию нарядного, прославленного друга, сохранил свое лицо. Бывший ссыльный и революционер черпал свои темы непосредственно из действительности, из собственных наблюдений и переживаний.

Литературой Серафимович занимался профессионально. Но писал скупо, сжато и коротко, поэтому даже после выхода своей книжки часто страдал безденежьем, обремененный семьей. Несмотря на большую требовательность к себе, он все-таки вынужден бывал иногда прибегать к «скорописи», но живой талант выручал его и в таких случаях: даже в спешно написанных его вещах всегда чувствовалась рука мастера.

Все же на «Средах» он выступал только с серьезными вещами, тщательно отделанными, а «скорописные» рассказы в случаях экстренной нужды печатал тайно от «Среды». Обыкновенно это был традиционный рассказ из народного быта, на котором Серафимович набил руку, — о старичке с посохом и котомкой, который куда-то идет.

— И старичок-то хороший, а идет! — не без юмора

рассказывал о своем экстренном творчестве сам автор.— Куда идет и зачем — сам не знаю, и куда придет в конце рассказа — неизвестно мне!

В конце концов «хороший старичок» благополучно попадал в редакцию и, право же, выглядел не плохо.

Однажды, в момент острой нужды во время отъезда на дачу, Серафимович смог написать только начало и конец рассказа, середину же писать не стал за недостатком времени: в нумерации листов рукописи за двадцатой страницей следовала сороковая. Редакция приняла рукопись, не читая, выдала аванс, и только недели через две автор получил на даче тревожную телеграмму: «Затерялась середина рукописи с 20 по 40-ю страницу, извиняемся, просим возобновить».

К этому времени автор уже успел «возобновить» и немедленно выслал «затерянные» листки.

Когда к нему обращались за рассказом для «праздничных» номеров провинциальных газет о традиционном «замерзающем мальчике», писатель принимал вид заядлого ремесленника и, зная, что с ним будут торговаться, назначал гонорар « с запросом». «Заказчики» ужасались:

— Александр Серафимович, уступите! Нельзя ли подешевле?

— Можно! — охотно соглашался «мастер».—Но только уж, конечно, работа будет не та! — Он вздыхал, качал круглой головой. — Д-да-с! Предупреждаю: по цене и работа будет!

— Хуже?

— А как же? Не та отделка! Полировки не будет!

Заказчики мялись, крякали, чесали затылок и чаще всего соглашались.

— Ну, что делать! Валяй с полировкой!

Так жил и работал известный и талантливый писатель Серафимович. Так жили почти все писатели за исключением лишь немногих избранных.

Тяжелое прошлое, неволя ссылки и постоянная необеспеченность нисколько не испортили добродушный характер Серафимовича: он всегда был известен постоянной наклонностью к безобидной шутке.

На одной из «Сред» за чайным столом он заявил неожиданно:

— Никогда я не писал стихов, а вот на днях попро-

бовал и написал стихотворение! Хочется мне узнать мнение «Среды». Разрешите прочесть!

Поэт вынул измятый листок бумаги и вразумительно, качая головой, начал:

Русалка плыла по реке голубой...

Всех поразила первоклассность стихов Серафимовича. Только большой поэт мог написать так образно, сильным языком, с богатыми, звучными рифмами.

При чтении присутствовали поэты «Среды» и почти весь кружок, за исключением Бонзы.

Все хвалили стихи и советовали автору развивать вдруг открывшийся стихотворный талант.

Потом забыли этот случай. Через месяц или два он опять попросил прослушать новый плод его вдохновения:

Ночи мои, ночи, как вы молчаливы!

Стихотворение всем понравилось, но один из поэтов «Среды», зачем-то подсказывавший чтецу в тех местах, когда он запинался, сказал по окончании чтения:

— Это мое стихотворение из моей книги, всем известное и даже в «Чтеце-декламаторе» помещено!.. Как же это так! Мы, очевидно, не читаем друг друга?

Все засмеялись и удивились: как это у всех захлестнуло?

Кстати, вспомнили и о первом стихотворении:

Русалка плыла по реке голубой...

— Да ведь это же Лермонтова! — напомнил Бонза.

Тут уж всем стало хотя и смешно, но отчасти и неловко. Начали стыдить «шутника». Он качал головой, хлопал о полы руками и, ахая, говорил:

— Ах, ах, как же это мы? Я давно заметил: время хлопотное, шумное, впору каждому только свои корректуры читать! Ну, Лермонтова забыть — так сяк! Но своего товарища, который тут с нами сидит?

С тех пор никто на собраниях «Среды» не хотел слушать «стихов Серафимовича».

Ведь была же когда-то вторично напечатана «Капитанская дочка» как совершенно новая вещь!

Значение московского кружка «Среда» в предреволюционную эпоху. Литературные вечера. Эпоха «банкетов». Роль 9 января в истории литературы. Конец «Среды»

Зимний сезон 1902/03 года в Москве отличался особенным обилием публичных вечеров с участием популярных писателей. Всюду в витринах были выставлены их портреты как отдельно каждого, так и группой, в полном составе «Среды». Их имена и книги сделались «модными», каждое новое произведение каждого из них встречалось публикой и критикой как событие.

В особенности гремели имена Горького и Андреева. Молодежь бесновалась, когда который-нибудь из них появлялся на эстраде, хотя как раз они оба были плохими чтецами; их почти не слышно было с эстрады, но публика удовлетворялась лицезрением любимых писателей, чтобы коллективно устраивать им овации не только за выдающийся талант, но главным образом за содержание их произведений. В этих произведениях она многое подразумевала между строк, что возбуждало надежды на близость лучшего будущего. В постоянных демонстративных овациях новым писателям чувствовалось начало большого общественного подъема.

Как всегда, впереди этого движения шла учащаяся молодежь, которая при одном виде своих кумиров приходила в состояние экстаза. Нередко шумное поведение молодежи в театрах приводило к вмешательству полиции...

Образчиком таких вечеров был большой музыкально-вокально-литературный вечер, окончившийся несколько печально благодаря слишком экспансивному поведению собравшейся в огромном количестве публики.

Молодой писатель С.[1] жил скромно и одиноко, по-студенчески, занятый своей работой, но сезон «вечеров» окончательно выбил его из колеи, сделал на это время почти профессиональным, хотя и бесплатным, чтецом.

Однажды с утра к нему забежал композитор Сахновский, писавший в «Курьере» музыкально-вокальные

[1] Скиталец.

рецензии и таким образом немножко примыкавший к литературе.

Это был природный москвич, говоривший красочным московским языком со всякими «словечками», богема, ведший разгульно-путаный образ жизни и со всеми своими знакомыми с первой же встречи переходивший на «ты». Круглолицый, широкоплечий здоровяк лет тридцати, он всегда мешал дело с бездельем, но мог после бессонной ночи, проведенной у «Яра» или в «Стрельне», совершенно отрезвевший и свежий, мыкаться по Москве по литературно-театральным делам как ни в чем не бывало.

И на этот раз, несмотря на грузность своей атлетической фигуры, Сахновский бомбой влетел к писателю и еще от порога заговорил:

— Енот! Я к тебе по экстренному делу!

«Енот» было его любимым, ходовым словечком.

— Так что, енот, не сердись! Видал афишу?

— Какую афишу?

— Вот, енот! Да ты газет не читаешь? Сегодня в Благородном собрании состоится литературный вечер в пользу Высших курсов с участием знаменитых артистов, а также и всей «Среды»! Ответственным устроителем под афишей подписан Леонид Андреев, а в числе почетных распорядителей — я! Будут читать свои произведения Андреев, Телешов, Найденов, Бунин, и, конечно, твое имя также поставлено в программе.

Писатель нисколько не удивился, что его извещают о собственном выступлении всего за несколько часов до спектакля: случалось в один вечер выступать сразу в нескольких местах. Он спросил только, что же именно придется читать.

— В программе просто поставлено «чтение». Что хочешь, то и читай! Но, конечно, рукопись в цензуру представить необходимо. Имей в виду, что участвующих двадцать человек. Выбери какое-нибудь боевое стихотворение покороче. Зато уж на «бис» надо непременно новое.

— Но у меня нет новых стихов!

— Ах, енот! Неужто так-таки ничего?

— Есть одно, начерно написано.

Поэт показал листок, испещренный помарками.

— Давай сюда!

Сахновский схватил стихи, не глядя сунул в карман и убежал. Вечером сам приехал за чтецом в наемной карете.

Колонный зал московского Благородного собрания был переполнен до отказа вместе с хорами и балконами. Люди висели на колоннах, сплошной массой стояли за колоннами и в проходах партера. Преобладала учащаяся молодежь, но в первых рядах сидела фешенебельная публика.

С эстрады под гром аплодисментов только что сошла Нежданова.

Шло второе отделение.

Приехавшие едва пробились к двери артистической комнаты, где и встретили почти всю литературную «Среду».

Вечер заканчивали: оставалось выступление Бунина, Телешова и С.

— Боялся я — цензура не пропустит твой новый стих, — отдуваясь, сказал Сахновский, — но устроил так: театральному цензору, еноту, сказал, что стих твой уже разрешён цензурой и завтра выйдет в газете, а в редакции правильно сообщил, что стих разрешен театральной цензурой. Ну, и в шляпе дело!

— Не вышло бы чего? — возразил поэт.

Но Сахновский только рукой махнул:

— Еноты!

— Боюсь! Брр! — нервничал Иван Бунин, одетый в парадный костюм с какими-то особенными манжетами. — Сейчас мой выход, но столько публики, что страх берет!

— Шесть тысяч человек! — вставил Сахновский.

— Выходи лучше ты, а я после тебя! — попросил Бунин С.

— Напрасно боишься, — шутил тот. — Вот, посмотри, какие я сорву аплодисменты!

И вышел.

Сначала все шло как по маслу. Поэта встретили дружные аплодисменты. Голос чтеца гремел. Прочитанное коротенькое стихотворение вызвало взрыв несмолкаемых аплодисментов. Публика не отпускала чтеца, требуя «биса».

На «бис» поэт прочел стихотворение «Гусляр», которое буквально ошеломило публику: раздались не аплодисменты, а оглушительный грохот, от которого, казалось, сотряслись стены Колонного зала. Стук, крик, рев — все слилось в страшный гул двинувшейся куда-то шеститысячной толпы.

А она ринулась к эстраде, на которой давно уже не было чтеца. Происходило что-то небывалое в Благородном собрании, нечто близкое к междоусобию и «беспорядкам».

Ни устроители вечера, ни сам автор и чтец никак ничего подобного не ожидали и не учитывали. Никто не предвидел, что у тогдашней публики могло быть такое настроение, что разрешенные цензурой стихи, ничего «политического» в себе не заключавшие, могли, однако, подействовать как искра, брошенная в порох.

В зале погасили все люстры за исключением нескольких лампочек. Вошел наряд полиции. Вечер был прекращен.

Наутро, как бы в насмешку, в «Курьере» появились опять те же стихи, которые накануне причинили столько неприятных хлопот московской полиции. Раздраженное и отчасти напуганное градоначальство навсегда закрыло эту, до тех пор вполне лояльную газету.

Таков был конец московского «Курьера».

Андреев, как официальный устроитель вечера, был привлечен к суду. Но даже судьи в этом случае тайно сочувствовали публике, прочитанным стихам, автору их и ни в чем неповинному ответственному устроителю: его присудили всего к штрафу в 25 рублей «за нарушение общественной тишины». Чтеца и автора стихов как будто забыли, также Сахновского никто не попрекнул за плутовскую проделку с цензурой. Погибшая по этому поводу газета, по-видимому, считала стоящим закрыться «ради повышения общественного настроения».

В 1904 году общественное настроение приняло настолько широкие размеры, что между властью и обществом установился нескрываемый антагонизм: «Союз русского народа» с одной стороны и подпольные организации — с другой начали проявлять заметную активность.

Нелегальные собрания настолько стали обычными,

что устраивались обыкновенно днем, в «буржуазных» квартирах «умеренных» общественных деятелей.

Вскоре начался памятный «сезон банкетов».

Всюду в Москве происходили многолюдные собрания, напоминавшие скорее митинги, чем банкеты, с волнующими, повышенного тона речами известных и неизвестных ораторов.

Неизвестно, чем бы кончилась «эпоха банкетов», если бы в Петербурге 9 января не произошли события, давшие сигнал к стихийному движению 1905 года.

«Среда», усердно посещавшая ежедневные банкеты, в этот вечер собралась у Телешова. Собрание было прервано прибежавшим откуда-то художником Первухиным, еще с порога закричавшим:

— Новость! Получена сейчас по телефону из Петербурга!

Несвязно, едва переводя дыхание, чахоточный Первухин стал рассказывать подробности потрясающего исторического события.

Предполагавшееся чтение нового рассказа Андреева было отменено.

Этот момент был гранью, после которой начался естественный развал старой телешовской «Среды».

Дальнейшие общественные и политические события вихрем закрутили всех участников «Среды», изменив и спутав как личную жизнь каждого из них, так и их целеустремления. Невозможным стало аполитическое объединение писателей, разницу в мировоззрениях которых вскрыла сама жизнь.

Горький и Серафимович переживали в Москве «московское восстание». Андреев еще до начала событий уехал в Берлин. Остальных наступившие события разбросали в разные стороны.

Имя «Среды» было впоследствии узурпировано известным публичным клубом на Дмитровке, занимавшим громадный особняк с шикарным рестораном, залом для концертов и открытой, большой картежной игрой, которая одна и давала богатые средства на содержание этого игорного дома. Правда, там была отдельная комната для собраний «Среды», но это была уже новая «Среда», враждебная прежней, не создавшая ни одного нового литературного имени.

Северная столица — Петербург. Отлучение Льва Толстого

Отлучение Льва Толстого от православной церкви, официально объявленное синодом в конце февраля 1901 года, взволновало как вызов стране не только интеллигенцию, но и широкие рабочие и крестьянские массы: имя Льва Толстого было слишком известно даже в темных, почти безграмотных деревнях, где почти не знали о существовании изящной литературы, но о книге «Война и мир» все-таки многие слышали. Более того, интересовались «запрещенными» сочинениями Толстого на религиозные темы, о которых сельские священники с осуждением с амвона народу толковали.

«Церковь и государство», «В чем моя вера» и «Евангелие» раскольники и сектанты в рукописях церковным шрифтом в народе распространяли: в глазах крестьян по отношению к церкви Толстой был раскольником.

Влияние этих последних «раскольнических» произведений великого писателя в низах народных было несомненно революционным независимо от того, хотел этого Толстой или не хотел.

Момент для демонстративного «отлучения» Толстого был выбран чрезвычайно неудачно, а главное, поздно: страна стояла у входа в новый век и органически нуждалась в радикальных переменах в своей слишком застоявшейся жизни. Нарастал небывало широкий подъем пробуждающихся массовых сил.

«Сдвиг» деревни, долго незамечаемый и незримый для столичных бюрократических кабинетов, наконец стал ощутимым и для них: в деревню помимо казенных путей пошла совсем новая, неожиданная и нежелательная для правящих сфер литература, вкус к которой, пожалуй, прежде всех привил Толстой: он подменил традиционные «лубочные сказки» и «жития святых» *своими* сказками и *своими* религиозными сочинениями, написанными с громадной силой анализа. Тем временем в деревню пошли двухкопеечные издания «Посредника» и других просветительных фирм, расходившиеся в небывалом количестве.

Наконец, чего прежде никогда не случалось, в деревню стали проникать книги вроде «Журнала для всех» и сборников «Знания» благодаря их дешевизне и заправскому литературному содержанию с участием лучших современных писателей, приобщивших и деревню к «настоящей литературе».

К «отлучению» Толстого, быть может, прибегли с целью дискредитировать его имя в глазах все же религиозно воспитанных масс. Хотели остановить уже начавшееся грозное движение, но результат получился обратный: когда в «неделю православия» по всей стране во всех кафедральных соборах чудовищные протодьяконы громоподобно предавали *анафеме* рядом с именами Гришки Отрепьева и Стеньки Разина имя великого писателя, которым гордилась страна, массы определенно обиделись, оскорбленные в лучших чувствах к лучшему и умнейшему человеку страны.

И не только религиозно воспитанные массы, но и безрелигиозная интеллигенция, литература и учащаяся молодежь — весь цвет страны — приняли «отлучение» Толстого почти как личное оскорбление.

Правда, казенная часть печати «разъясняла», что в этом отлучении неверующего Толстого от церкви верующих со стороны последней нет ничего враждебного или несправедливого, ибо Толстой сам «откололся», и что поэтому церковь невольно должна подтвердить совершенный им самим акт собственного «раскольничества».

Но страна подобные смягчающие «разъяснения», несмотря на их очевидную логичность, приняла за лицемерие и была охвачена таким давно назревшим и справедливым чувством недоверия, антипатии и протеста, что с особенной надеждой приветствовала в литературе прежде всего протест, раскольничество и идейный бунт против всего, что исходило от правителей и «разъяснителей».

Кроме могучего толстовского таланта, гордого даже в смирении и сопротивляющегося даже в «непротивлении» своем, она избрала еще второго любимца, тоже идейного бунтовщика и раскольника, появившегося, подобно Пугачеву, где-то за Волгой: его голос давно раздавался в столичной литературе, но сам он, как бы возглавляя «движение низов», был еще незримым в столи-

це, хотя и предшествовала ему большая и шумная слава: то был Горький.

В самый день «отлучения» Толстого, вследствие случайного совпадения фактов, внезапно впервые появился в Петербурге и он.

Эти два совпавшие события — «отлучение» Толстого и первое личное появление Горького в столице — вдвойне волновали учащуюся молодежь, интеллигенцию и журнальную литературу, в которой еще сияло тогда созвездие старых ее корифеев.

К этому, как нарочно, ирибавились еще первые гастроли в Петербурге Художественного театра с пьесами Чехова и Горького: приехали главные персонажи труппы с Немировичем-Данченко и Станиславским во главе.

Об отлучении Толстого все они узнали лишь по приезде в северную столицу.

Эти и многие другие известные и знаменитые деятели встретились в день «отлучения» на собрании «Союза писателей», посвященном Льву Толстому.

Златовратский

Зимой 1897 года мне случайно пришлось встретиться в Москве с одним почти пожилым студентом типа «вечных», еще существовавших в тогдашней России. Это был хохол-украинофил с длинными, свешенными вниз усами, горбоносый, с гайдамацкого типа физиономией, с лысеющим лбом и умышленно отпущенным чубом на макушке. Товарищи звали его «Гетманом», и он, по-видимому, давно привык к этому прозвищу: действительно напоминал портрет Богдана Хмельницкого и прозвище свое носил с удовольствием.

Встретившись на студенческой пирушке, он стал меня расспрашивать об Украине, откуда я только что приехал. Выслушав вынесенные мною впечатления, стал говорить о своей ненависти к цивилизации, к четырем русским факультетам, им оконченным, о нежелании быть ничем, кроме «вечного студента», а для Украины пожелал, чтобы ее города с русским влиянием были уничтожены, а вместо них были бы опять степи и гайдамаки

Его речи напоминали только что напечатанный рас-

сказ Златовратского «Гетман»[1]. Там выводился студент, похожий на моего собеседника.

— Позвольте, Гетман! Да вы все это из рассказа Златовратского наизусть читаете, или, быть может, это он вас описал?

— Да, — спокойно подтвердил вечный студент, — в рассказе «Гетман» описан я: я знаком с Златовратским и часто бываю у него. Могу и вас познакомить, если захотите.

Я уехал, не воспользовавшись возможностью познакомиться с большим писателем, а рассказ «Гетман» оказался последним произведением Златовратского, появившимся в периодической печати.

В конце восьмидесятых годов, в эпоху народничества, как крупнейший писатель-народник, Златовратский был «модным» писателем, любимцем молодежи. Его «Золотые сердца» печатались в «Отечественных записках». Позднее его произведения появлялись на первом плане «Русской мысли» и «Русского богатства». Имя его тогда гремело не меньше, чем впоследствии имена Короленко, Чехова, Горького.

На публичных литературных вечерах в Москве или Петербурге одно только появление его на эстраде встречалось громом аплодисментов; тысячи людей привлекало на эти вечера имя Златовратского.

Время шло. Златовратский писал не хуже, но все реже.

Для революционно настроенной интеллигенции, в особенности для молодежи, к концу девятидесятых годов наступило неизбежное разочарование в «народе», под которым подразумевалось крестьянство, а следовательно, и в народничестве.

Звезда Златовратского к этому времени тускнела: ведь он когда-то превознесен был за идеализацию многомиллионных масс, так долго остававшихся неведомыми тонкому слою интеллигенции, а он, этот тонкий слой, в свою очередь никогда не был понятен или хотя бы ощутим там, в низах, так долго остававшихся таинственны-

---

[1] Очевидная ошибка автора: события, о которых идет речь, Скиталец относит к 1897 году, а рассказ Н. Н. Златовратского «Гетман» написан в 1888 году. (*Прим. ред.*)

ми. Новому поколению нужно было, чтобы кто-нибудь осветил мир пролетариата, и не только осветил, но возжег перед ним лампаду новых надежд на обновление устарелого государственного строя им, пролетариатом, согласно идеям марксизма.

Надвигалась новая полоса увлечений и верований вечно мятущейся интеллигенции. Народничество все более уходило в прошлое, а на освещенную арену литературы вылетели новые птицы, зазвучали новые песни. Умолк в литературе знаменитый старый народник, так долго и, казалось, незыблемо утверждавший «устои».

В 1903 году уже в качестве писателя я поселился в Москве недалеко от Пушкинского бульвара — в студенческом районе, в «Гиршах».

По странной случайности в одном подъезде со мной, выше этажом, жил Златовратский.

В то время как мы, тогдашняя литературная молодежь, печатались в лучших журналах, объединились в альманахах, расходившихся в небывалом количестве, когда наши книги затопили читающую Россию, а мы все, в свою очередь, сделались «модными» писателями, собирались на литературных «средах», Златовратский тут же, рядом с моей квартирой, жил никому не нужный и не интересный, несправедливо оставленный той самой публикой, которая еще так недавно преклонялась перед ним и переживала пафос при одном его появлении на эстраде. Теперь мы заслонили в глазах толпы старую гвардию писателей.

Это было наглядным доказательством тщеты и мимолетности всякой славы, капризной Фортуны, случайно возвеличивающей своих любимцев и потом безжалостно оставляющей их.

Бывавший у него и у меня писатель Белоусов — «поэт из народа», «суриковец» — часто укорял меня, почему я не бываю у Златовратского. Он решил собрать к нему «нашу компанию».

Действительно, как-то под вечер зимнего московского дня Белоусов пришел с целой дружественной для меня компанией: тут были Вересаев, Найденов, Федоров. Мы поднялись из моей квартиры во второй этаж.

Златовратский жил с семьей в очень скромной квартирке из четырех комнат.

Наше посещение в таком количестве оказалось неожиданным и заметно взволновало его. В доме засуетились, а сам хозяин, встретивший нас в передней, торопливо зазвал в кабинет.

Кабинет находился в задней комнате с мрачными окнами, выходившими во двор. Большой, базарной работы письменный стол на точеных ножках, и ни одной книги, ни одной бумажки на столе. Впрочем, в комнате стоял большой книжный шкаф с книгами, и больше никакой мебели.

Златовратскому было лет шестьдесят восемь. Это был коренастый, сутуловатый, ширококостный старик с седоватой окладистой бородой и жидкими длинными волосами, заглаженными назад, делавшими его похожим на деревенского дьячка. Недаром он происходил из духовного звания, о чем свидетельствовала сама наружность и «духовная» фамилия. Лицо его было крупно, аляповато, неправильно, с суровым взглядом из глубоких орбит, почти мужицкое лицо.

Я и раньше знал, что Златовратский с семьей живет небогато, что тираж его книг упал и он вынужден служить где-то на грошовой должности, но при взгляде на обстановку бедной, неуютной квартиры убедился в этом.

Мне казалось странным, почему этот большой писатель, написавший столько значительных, крупных вещей, бросил писать. Что послужило причиной? Разочарование в народничестве? Но ведь тогда это литературное течение еще не умерло, также существовало «Русское богатство», было где печататься.

В ответ на это Белоусов еще до нашего визита говорил: Златовратский не может писать по болезни, страдает головокружениями и какой-то «боязнью пространства», не может долго сидеть за письменным столом, даже не может ходить по улицам без провожатого.

Уже этого одного достаточно, чтобы потерять значительную долю литературной работоспособности. Как же он мог еще где-то служить?

Вскоре нас позвали в столовую, где был подан чай и собрана скромная закуска.

Разговор шел общий и, конечно, о литературе. Закуски на шесть-семь человек не хватило, и вероятно

по этой невысказанной причине хозяин поднял вопрос о переселении компании в ресторан «Прага», где через несколько минут мы и очутились в отдельном кабинете.

Злобой дня в тогдашней литературе был непомерный и не вполне объяснимый успех Горького и молниеносная слава Леонида Андреева, первая книжка которого только что вышла.

Казалось недостаточным объяснить их быструю и громкую славу только большой талантливостью: центр тяжести находили в «ударности» проблем, которые они ставили, в повышенной «революционности» их настроения.

Помню, говорил Вересаев:

— Качественно с Андреевым никто из нас сравниться не может, это художник исключительный. Но ведь бывают книги совершенно не художественного содержания, вызывающие большой успех, как, например, «Записки врача», и бывают произведения высокохудожественные, даже гениальные, не имеющие никакого успеха у современников. Следовательно, условием исключительного успеха некоторых писателей, как, например, успех давно забытого Марлинского, часто бывает общность настроения писателя и публики, созвучность эпохе.

Но успех бывает даже при отсутствии талантливости. Например, мимолетный успех одного литературного фигляра, предтечи Бальмонта. Я говорю о быстро забытом Емельянове-Коханском, которого вряд ли и вспомнит грядущее поколение...

Все засмеялись. Но не смеялся Златовратский.

На речь Вересаева со всех сторон посыпались реплики.

Златовратский, опустив свою большую с лысеющим лбом голову, слушал с напряженным вниманием, волнуясь. Вопрос об успехе и забвении, видимо, больно задевал его.

В присутствии большого писателя, книги которого когда-то увлекали меня, мне не хотелось говорить, но друзья спросили также и мое мнение.

Я высказал мысль, казавшуюся мне общепризнанной:

— Большинство русских писателей до сих пор были гуманистами и являлись выразителями буржуазной гуманности, в которой главным образом нуждается буржуазия для получения отпущения своих грехов; что все здесь собравшиеся писатели тоже буржуазны, а Горький и Андреев по их мировоззрению не буржуазны. Они требуют не прощения грехов, а наказания и отмщения, и в этом их мировоззрении и заключается их созвучие с «духом времени», в этом главная причина их успеха, помимо яркой талантливости.

Слова мои о «буржуазности» писателей произвели впечатление разорвавшейся бомбы.

Начался всеобщий гвалт. Все возмутились. Я понял, что гуманные мои друзья ничуть не желали «угождать буржуазии», так как считали себя сторонниками будущей революции.

Златовратский с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами крепко стучал увесистой ладонью по столу, желая быть услышанным.

Все замолчали.

— Русская литература произошла от гоголевской «Шинели»! — начал он взволнованно и резко.— Из этой «Шинели» вышли Достоевский и Толстой, возвышавшие голос в защиту униженных и оскорбленных. А кто же был более унижен и более оскорблен, как не бесправный класс крестьян?

Русская литература была выражением души народа: вот откуда происходит и кого имеет в виду наш гуманизм! Из-за того, что за гуманизм прячется буржуазная идеология, русская литература не изменит великим идеям гуманизма, ибо мы не буржуазию защищаем, а требуем человеческих прав для тех, кого она унижает и давит!

Старый писатель говорил горячо и убежденно, с пылающим лицом и загоревшимися глазами, в которых внезапно вспыхнул таившийся под седым пеплом былой могучий темперамент.

Время нанесло народничеству и народникам сокрушительный удар: секира давно уже лежала у корня этого когда-то всеобщего увлечения интеллигенции.

Пережив революцию 1905 года, Златовратский умер в полном и несправедливом забвении.

В. С. Миролюбов

В романе Амфитеатрова «Восьмидесятники» при описании тогдашних студенческих волнений эпизодически описан под настоящим именем студент Московского университета Виктор Сергеевич Миролюбов.

Того же Миролюбова под вымышленным именем в девятидесятых годах в одном из своих романов тоже эпизодически портретно описал Боборыкин в качестве начинающего певца.

Несколько позднее в одном из видных толстых журналов печатался роман под заглавием «Человек с планом». В герое романа многие узнавали видоизмененную, но слишком оригинальную миролюбовскую фигуру.

Еще будучи студентом, Миролюбов водил близкое знакомство с большими писателями: с Михайловским, Златовратским, Глебом Успенским и в особенности с Плещеевым, имевшим тогда особенное влияние в литературных кругах.

На публичных студенческих вечерах, где главным «гвоздем» было «златовратское» чтение, не меньшим «гвоздем» было и «миролюбовское» пение: студента с замечательным голосом все прочили в будущие оперные певцы, а молодежь на студенческих вечерах встречала бурей аплодисментов. Выдавался он еще как студенческий оратор и один из «вожаков» всяких общественных выступлений молодежи. Самая наружность его была импонирующая: почти гигантская фигура, статность, кудри до плеч, красивое, иконописное лицо.

По многим из этих причин был он вхож к знаменитым писателям, пользовался и, можно сказать, с юности сложился под влиянием этих больших и интересных людей.

Университета за свою «заметность» и «политическую неблагонадежность» он, конечно, не кончил и после наиболее громких студенческих «беспорядков» был выслан из столицы.

После этого Миролюбов очутился в земледельческой колонии «толстовцев» на Волге, вблизи Самары. Колонию эту организовал популярный тогда сибирский богач и промышленник Сибиряков, известный в столицах просвещенным либерализмом и дружбой со всеми писателями, начиная с Льва Толстого.

Писатели, вероятно, и направили многообещающего молодого человека в эту колонию.

Осенью 1887 года Миролюбов, уже в тридцатилетнем возрасте, приезжает в Самару, снимает ватный пиджак и валенки, с которыми не расставался в деревне, и, одетый барином, всегда в сюртуке, сразу попадает в круг местной интеллигенции.

Этот человек без всякого общественного положения, находящийся под негласным надзором, без средств, живет уроками, но обращает на себя внимание интересной внешностью, красноречием, пением и обаятельностью.

Наступившей зимой 1887 года в столицах снова произошли грандиозные студенческие беспорядки по поводу введения нового университетского устава, отнимавшего у студенчества все его прежние вольности. Беспорядки закончились массовой высылкой студентов в провинциальные города.

Всюду в интеллигентских квартирах собирались студенты, устраивали нелегальные вечеринки. Как на закрытых собраниях, так и на многолюдных вечеринках выступал в качестве оратора Миролюбов: бывший студент старшего поколения, он играл роль вожака и организатора.

То было время, когда еще писал Надсон, вскоре умерший, которым страстно увлекалась молодежь.

Миролюбов возился с молодыми поэтами, читал и разбирал их стихи, обнаруживая развитой литературный вкус.

На музыкально-вокальные концерты в местном «благородном собрании» молодежь, интеллигенция и прочая публика валом валила из-за участия Миролюбова в числе местных артистических сил.

Но вот к концу зимы схлынула молодежь, волнами гонимая в ссылку, и наступила длительная эпоха реакции, безвременья и уныния.

Миролюбов тоже исчез из опустевшей провинциальной жизни, в которой он мелькнул вместе с волной краткого оживления.

Кто-то из меценатов обратил внимание на его выдающийся голос и отправил в Италию учиться пению. Наступило время, когда молодежь толпами устремилась на сцену, к артистической деятельности, как к единственной

отдушине в царстве всеобщего удушения, но, конечно, удача на этом поприще выпадала для очень немногих.

Через пять лет учения Миролюбов вернулся в Москву уже с обработанным голосом и был принят на сцену Большого театра.

Даже в Европе немного было таких голосов, каким обладал Миролюбов.

Дирекция радовалась, что нашла такого «Марселя» для «Гугенотов», какого еще не было на мировой сцене, но ее ожидало большое разочарование.

Миролюбов (на сцене Миров), выступавший в течение нескольких лет в Большом театре, не решался выступить ни в одной из главных партий басового репертуара, ограничиваясь вторыми ролями вроде царя в «Аиде», слуги в «Демоне», Гремина в «Евгении Онегине» и т. п.

Новый певец с феноменальным голосом необычайной красоты и силы, с безграничным диапазоном оказался мало музыкален от природы и, кроме того, совершенно лишенным артистических способностей: на сцене в каком угодно костюме и гриме он продолжал чувствовать себя русским интеллигентом Виктором Миролюбовым.

Но и это было бы с полбеды, если бы героического вида великан не терял присутствия духа на сцене, не трусил так, что со страху не слышал оркестра, не видел дирижера, пел не в такт, то отставая от оркестра, то опережая его и теряя способность не только «играть», но хотя бы сколько-нибудь сносно держаться на сцене.

Выступление на сцене стало для него ужасом и мукой: он еще дома начинал дрожать и волноваться, увидев свое имя на афишах.

Понятно, что в день спектакля на сцену выходил совершенно больной человек и проваливал самую простую, второстепенную роль.

Наконец он стал по полгода сказываться больным и действительно болел от одних только терзавших его страшных мыслей, от болезненной мнительности.

Кроме того, за ним числилась «политическая неблагонадежность», и в торжественные дни, когда за кулисы приходили высокопоставленные персоны, дирекция спроваживала Мирова подальше с глаз начальства. Интеллигент, тяготевший больше к общественной деятельно-

сти, чем к сцене, чувствовал себя безнадежно чужим в узкочиновничьей среде казенного театра.

Промучившись таким образом пять лет на казенной сцене, обладатель мирового голоса решил, наконец, «сойти со сцены», вернуть себе прежнюю фамилию и заняться журнальной деятельностью.

Миролюбов открыл в Петербурге небольшой ежемесячный журнальчик, назвав его «Журналом для всех», назначив баснословно дешевую цену — всего рубль в год.

Миролюбовскому начинанию улыбнулся необыкновенный успех: годовая подписка сразу же выразилась в неслыханной цифре в сто тысяч экземпляров.

Ничто не бывает случайно или беспричинно: мысль о хорошем литературном журнале, двинутом в массы, прежде всего пришла в голову не коммерсанту, а человеку революционной закваски, с юных лет тяготевшему к литературе.

Искания и блуждания молодого Миролюбова, толкавшие его то в земледельческую колонию народников, то на сцену, привели, наконец, к его истинному призванию.

Колоссальная подписка была признаком того, что народился новый, «массовый» читатель, требующий доброкачественной умственной пищи, но эту пищу до Миролюбова не могли и не хотели дать коммерческо-литературные предприниматели, проглядевшие перемену, происходившую в массах.

Недаром Миролюбов провел свою юность около больших писателей, воспитывался около них: от них он воспринял любовь и вкус к литературе и строгую требовательность к ней.

Недаром он в свою очередь был хорошим воспитателем молодежи, которая всегда любила с виду сурового, а на самом деле доброго человека.

Недаром он и прежде так близко к сердцу принимал искания и первые шаги начинающих писателей и поэтов: в нем зрел природный талант литературного руководителя, идеального редактора.

Для своего детища — журнала — этот оставшийся на всю жизнь холостяком сурово-одинокий человек не гонялся за известными и знаменитыми именами: он имел чутье к начинающим писателям с задатками талан-

та, и они органически тянулись к нему: Миролюбов привлек к своему начинанию литературную молодежь без имени и известности, но с верно угаданной талантливостью.

Как-то сам собою около Миролюбова образовался кружок поэтов и беллетристов, которых он, сам ничего не писавший, «учил» писать. Незаметно около «Журнала для всех» рос литературный молодняк, параллельно горьковской группе «знаньевцев», уже распустившейся пышным цветом.

В миролюбовском журнале впервые начали печататься дотоле никому не известные молодые авторы, в числе которых оказались Муйжель, Арцыбашев, Башкин, Лазаревский, Сургучев...

«Журнал для всех» выписывали действительно «все»: трудовая интеллигенция, сельские учителя и учительницы, земские люди, мелкие чиновники, школьные библиотечки, рабочие и крестьяне.

Миролюбов сделался близким другом всех лучших писателей, как это было с ним и прежде, в годы молодости: часто бывал по делам журнала у Льва Толстого в Ясной Поляне, у Горького в Нижнем, у Андреева в Москве и на собраниях «Среды». Охотнее всего собирал у себя в редакции и дома своих собственных «выучеников».

Характерным для Миролюбова был один необыкновенный поступок, на который не всякий редактор решился бы: когда во время разгона I Думы Лев Толстой прислал в «Журнал для всех» большую статью, написанную в духе «непротивления злу насилием», Миролюбов признал ее непригодной для напечатания и возвратил великому автору, а вместо нее напечатал выборгское воззвание депутатов Думы, за что, конечно, «Журнал для всех» был закрыт тотчас же, а редактор его эмигрировал за границу, где и оставался многие годы.

В эпоху наступившей реакции предприимчивые люди коммерческого типа, как водится, не один раз пытались использовать популярное название «Журнал для всех», прибавляя к нему словечко «Новый» мелким, еле заметным петитом и выпуская журнал в прежней обложке.

Последняя подделка под знаменитый журнал была

сделана темным издательством грубо реакционного направления, но публика ни разу не поддалась на обман, и поддельные «Журналы для всех» заметного успеха не имели.

Сергеев-Ценский

Первой вещью, сразу сделавшей Ценскому литературное имя, была поэма в прозе «Лесная топь».

На торфяных работах, в глуши непроходимых лесов и болот, вдали от всякого жилья человеческого, одичавшая от невозможных условий труда артель чернорабочих досмерти насилует случайно проходившую женщину, а потом бросает ее тело в бездонную лесную топь. Ужасный случай описан с потрясающим реализмом и вместе с тем звучит как поэма благодаря мастерским описаниям дикой природы, тонким и сложным, как кружево. Манера письма, ударная меткость кисти, яркость контуров оставляют впечатление скорее живописи, чем литературы.

Появление этой яркой вещи в тогдашней беллетристике, богатой талантами, совпало с эпохой, когда только что схлынул краткий подъем 1905 года. Реалистические «знаньевцы» отходили на второй план, и тоже кратковременно расцветал модернизм в лице «Шиповника» с Андреевым во главе. К модернистам примкнул и новый молодой писатель.

Я встретился с ним в Петербурге, в традиционном гнезде писателей — в меблированном доме «Пале-Рояль». По преданию, там еще Пушкин живал, долго жил Н. Михайловский, жило несколько поколений позднейших писателей, вплоть до революции. Там было тихо, семейственно, комнаты просторны и сумрачно-уютны, по-старинному разделенные на прихожую, гостиную и спальню, а стоили не больше трешницы в сутки, помесячно — иногда дешевле.

В скучной тишине большого старинного дома, еще хранившего мрачное величие пушкинской эпохи, удобно было писать, зная, что в ближайшем соседстве тоже скрипят перьями «братья-писатели». Иногда, в виде отдыха, собирались к кому-нибудь для приятельских раз-

говоров; после летних путешествий — осенью обыкновенно — происходил «слет» в «Пале-Рояле».

В один из моих ежегодных приездов я застал обычную компанию «роялистов» в полном сборе. Говорили о свежей новинке — о «Топи» Сергеева-Ценского.

— А сам он живет здесь же, в сороковом номере, только он чудаковатый: вывесил художественный плакат на своей двери с надписью: «Меня никогда нет дома!»

— К нему никто и не ходит, а он, между прочим, ходит ко всем.

— Вероятно, работает, не хочет, чтобы посетители мешали.

Раздался стук в дверь, и на пороге появился некто чрезвычайно лохматый.

— Вот он! — со смехом сказало сразу несколько голосов.

Вошел высокий, прямой, смуглый молодой человек, в черных бравых усах и с целой охапкой буйных кудрей, отливавших синим отливом, небрежно спутанных, отпущенных до плеч, крупно вьющихся «по ветру», как у песенного Ваньки-ключника. Эти дремуче-запущенные роскошные кудри свидетельствовали не о франтовстве, а, наоборот, о недосуге заниматься ими, о свирепой занятости литературного аскета.

Это первое мое впечатление подтвердилось потом, при более близком знакомстве.

Ценский жил одиноким отшельником в «Пале-Рояле», так же как, вероятно, жил когда-то в деревенской глуши Тамбовской губернии, уроженцем которой считался, и вообще везде, куда ни бросала его бродячая жизнь. Из его биографических обмолвок известно было, что он два года служил в пехотной армии офицером и вышел в запас. Долгое время перебивался уроками, был домашним учителем и, наконец, бросил эту профессию после постоянных ссор с богатыми людьми, в домах и поместьях которых ему приходилось служить репетитором.

Подтвердилось и впечатление живописи от его манеры литературного письма — исключительной способности «рисовать словами»: еще задолго до выступления в литературе он готовился в живописцы; его этюды масляными красками свидетельствовали о таланте и порядоч-

ной технике пейзажиста. Он и в литературе оставался тонким, наблюдательным пейзажистом.

Летом его тянуло на юг, в излюбленные им места девственной природы и дикой, некультурной жизни, откуда он и черпал красивые впечатления и трагические темы.

После первого знакомства я постоянно встречался с ним или в столице, в литературной среде, или, наоборот, в глухих захолустьях на юге, чаще всего летом в Крыму, где он, наконец, обосновался.

Где-то около Алушты вдвоем с другом-плотником собственноручно построил себе дом, где и жил в полном одиночестве.

Я не видал этого дома, но представляю, что это трудовое жилище, выстроенное чуть ли не голыми руками хозяина и работника, вряд ли отличается размерами или комфортом.

Однажды летом мы встретились в Ялте. Я пригласил его к себе в Байдарскую долину, где поселился около татарской деревни, в замечательно живописной местности. К нам присоединилось еще несколько человек молодежи обоего пола, интересовавшихся пешим путешествием в глухие углы Крыма: предстояло пройти семь верст лесными тропинками, втрое сокращающими расстояние от Ялты до Байдарской долины. Этот путь существует со времен великого переселения народов из Азии в Европу. Подъем через перевал, высеченный в скалах в виде циклопической лестницы, существует с тех незапамятных времен, лишь слегка ремонтируемый населением. Этим путем я много раз путешествовал из деревни на южный берег, любуясь девственной, первобытной природой как бы искусственно созданных красот. Ценский, конечно, заинтересовался: все это было как раз в его духе.

Около часа мы взбирались по циклопическим ступеням тысячелетней каменной лестницы и когда наконец очутились наверху седловидной горы, откуда начинался едва заметный уклон в долину по берегу ручья, ниспадавшего по каменным уступам под тенью столетних деревьев букового леса, то потеряли тропинку. Решили спросить дорогу в видневшейся лесной сторожке. Но в ней в праздничный день оказалось великое пьянство ар-

тели лесорубов: навстречу нам высыпала пьяная ватага распоясанных и босых людей, до глаз заросших бородами. Несколько молодых женщин в нашей группе, видимо, заинтересовали их. Могла произойти большая неприятность, если бы мы обнаружили робость или вызвали ссору. Но нас было все-таки пятеро здоровых мужчин, вооруженных кизиловыми палками, оправленными в железо, поэтому опасная встреча кончилась мирно.

Пока мы спускались в долину, Ценский экспромтом рассказал тут же придуманный им рассказ на тему этой встречи о том, что могло бы произойти, но не произошло. Я убедился в его способности создавать занятные рассказы по всякому поводу.

Красочное впечатление от живописного пути было к вечеру все-таки испорчено: землевладелица, жившая в собственной усадьбе, рядом с деревней, пригласила нас в свой сад на чаепитие.

И дернуло же несчастную петербургскую даму начать с Ценским литературно-салонный разговор!

— А вы любите Гарина-Михайловского? Ах, я обожаю! Первоклассный писатель! Так гладко пишет, так гладко!

Косматый Ценский вдруг вскочил из-за стола с горящими яростью черными глазищами. Его, что называется, взорвало.

Хозяйка выронила чашку, сделала круглые глаза и, до полусмерти напуганная, убежала в дом, а вслед ей неслась громовая тирада о творчестве бедного Гарина.

— Противная баба, — бросил он по ее адресу, берясь за шляпу, — да и Байдарская долина эта — могила какая-то! Пойдем! — кивнул он мне и зашагал в деревню.

Он близко и простодушно принял к сердцу пустую мещанскую болтовню, оскорбительную для его выстраданной любви к литературе.

Спустя несколько лет, осенью, в холодный, ветреный день, я приехал из Байдар в Севастополь на деревенских лошадях, озяб, проголодался и зашел в буфет вокзала обогреться и перекусить. В буфетной комнате не было никого, кроме буфетчика. Я стоял у стойки, выбирая и заказывая еду,

Вдруг с перрона вошел бравый военный.

— Ба! — весело раздался знакомый голос.

Я едва узнал Ценского: буйные кудри были снесены под гребенку, усы подстрижены и закручены, на руках — белые перчатки.

— Что за превращение?

— Призван, брат! Хе-хе! На войну идем!

Поговорив несколько минут, мы расстались.

Последняя моя встреча с Ценским была опять в «Пале-Рояле». За несколько месяцев до революции 1917 года.

Я только что приехал и, проходя по коридору, увидел знакомую надпись на большом листе бумаги:

«Меня никогда нет дома!»

«Жаль!» — добавил я карандашом, но в эту минуту в дверь выглянул Ценский.

У него был прежний, опять «писательский» вид: спутанные кудри до плеч, небрежный костюм и бледное лицо, как бы еще хранившее отблеск неостывшего возбуждения за тяжелым трудом творчества.

— Заходи!

— А как же надпись?

— Э! — Он махнул рукой. — С ней все равно никто не считается!

Мы вошли в комнату и стали говорить о предстоящих событиях.

Театр накануне 1905 года

Всюду переживалась драма гниения устаревшего быта, и немудрено, что в литературе сама собой выдвинулась на первый план драматическая форма: беллетристы стали писать пьесы.

Но и в театре происходила ломка устаревших трафаретов, шли искания новых форм, новых подходов к изображению драмы: жизненная драматичность переживаний вместо прежней, бытовой, чисто внешней картинности времен Островского приняла теперь психологическую, «нутряную», углубленную форму «настроений».

Специалисты-драмоделы, ремесленники выдохшегося трафарета давно уже никого не удовлетворяли, хотя все

еще считалось, что пьесы должны писать не писатели, а драматурги, как бы рожденные для сцены.

К этому времени относится выступление Чехова в качестве драматурга.

Известен незаслуженный провал «Чайки» — его первой пьесы — в лучшем тогдашнем театре — в «Александринке»: «Дом Щепкина», давно остановившийся и окаменевший на «бытовом» репертуаре Островского, провалил «Чайку» — эту бесприютную первую ласточку новой эпохи в истории русского театра — вследствие органической неспособности сойти со старой, укатанной дороги на новый путь.

На этом пути создался совершенно новый театр, с новыми людьми — Художественный театр, избравший своей эмблемой чеховскую «Чайку» и сделавший Чехова основоположником своего репертуара.

«Чайка», поставленная в молодом, начинающем театре, имела необыкновенный успех. Еще с большим успехом утвердились в его репертуаре дальнейшие пьесы Чехова. Начало этому было положено в 1900 году, когда «художники» только что перекочевали на время репетиций из «Эрмитажа» в новое помещение — так называемую «Романовку» близ Пушкинского бульвара.

Сезон открывали «Снегурочкой» Островского, поставленной в пику «Александринке» в совершенно неожиданных, новых тонах с первым выступлением Качалова в роли Берендея. Юный тогда Качалов, стройный, благородно красивый, с дивным, богатым, гармоничным голосом, звучавшим, как музыка, поразил публику в этой сказочной пьесе о пришествии весны. Да и вся труппа состояла тогда из цветущей, талантливой, юной молодежи, еще так недавно составлявшей «любительский» кружок. Качалову было тогда двадцать пять лет, Москвину двадцать шесть, и в таком возрасте эти «начинающие» уже сверкали яркой талантливостью. Была поставлена роскошная поэма на сцене: теплая и темная весенняя ночь с ее шепотами и поцелуями свободной любви, когда казалось, что со сцены, да и от всей пьесы льется свежий, нежный, ночной аромат распускающихся алых роз!

И все-таки, несмотря на успех, эту пьесу Островского скоро сняли с репертуара: время требовало новых песен. Вторым спектаклем шла пьеса Чехова «Дядя Ваня».

Успех пьес Чехова нанес смертельный удар беспечному существованию ремесленного цеха «драмоделов»: наглядно показал, каким должно быть истинное драматическое произведение, в котором художественная сценичность, заменившая опошленные трафареты, соединялась с первоклассной литературой.

Большая публика приняла «Дядю Ваню» и впоследствии «Вишневый сад», как и все вообще пьесы Чехова, чуть ли не с большей любовью, чем его мелкие рассказы.

Чехов как драматург был признан прессой и публикой.

Успех его пьес как бы проложил дорогу на сцену более молодым писателям, его современникам: существовал и быстро развивался Художественный театр, где умели ставить пьесы так талантливо, как никогда и нигде еще не ставили.

Почти одновременно с Чеховым выступил и драматург Горький: его «Мещане» были поставлены в 1901 году. В следующем сезоне появилось «На дне».

Эти и другие его пьесы как бы сопровождали события 1905 года.

В то же время на сцене как Художественного, так и других театров появляются своеобразные пьесы Андреева: «К звездам», «Савва», «Дни нашей жизни». На долю последней пьесы, которой сам автор не придавал большого значения, выпал исключительный успех, какого не имела даже «Жизнь человека», великолепно поставленная Художественным театром.

По их следам шел Семен Юшкевич, талантливый беллетрист и драматург, яркий бытописатель, автор многочисленных рассказов и повестей, проникнутых любовью «к бедным людям», автор популярных в свое время пьес «Мизерере», «Король», «Человек воздуха», «Комедия брака», из числа которых «Мизерере» с успехом шла в Художественном театре.

Его произведения всегда были согреты чувством любви к людям. В пьесах Юшкевича изображалось то же самое углубление классового и семейного развала, дробившего жизнь на антагонизмы «богатых и бедных», «отцов и детей», какое происходило тогда с особенной обостренностью по всей стране.

С. А. Найденов

Среди шума, поднятого произведениями новых писателей, появилась драма Найденова «Дети Ванюшина», в которой вскрывалось разложение рядовой современной купеческой семьи. На долю ее выпал колоссальный, в полном смысле этого слова, успех.

В двадцать четыре часа безвестный молодой человек, ничего до этого не писавший и еще ни разу нигде не печатавшийся, сделался знаменитостью.

Пьеса была поставлена в театре Корша, шла чуть ли не через день в течение всего сезона и неизменно давала битковые сборы. Не было в Москве человека, не стремившегося хоть раз посмотреть «Дети Ванюшина». Имя автора сразу стало большим именем, а сам он очутился в высшем кругу деятелей сцены и художественной литературы.

Найденову было тогда тридцать два года; худой, среднего роста, сутуловатый, в пенсне, с темными, взлохмаченными, слегка вьющимися вихрами, с небольшой бородкой; лицо смугловатое, горбоносое, немножко восточного типа, какие часто встречаются в Казани — родном его городе.

Он был очень молчалив, застенчив и скромен, говорить на больших собраниях не умел или боялся, да и в интимном приятельском кругу говорил мало, тихим голосом, сбиваясь и путаясь, ухмыляясь чудаковатой, простодушной улыбкой.

Говорил, что был некоторое время провинциальным актером на вторых ролях, но скоро это дело бросил, так как, по его словам, актер он был «плохой». Это и видно было по его застенчивым манерам, по неуменью говорить и рассказывать, по отсутствию хотя бы намека на апломб. Ничего в нем не замечалось актерского.

Происходил он из довольно состоятельной купеческой семьи, когда-то популярной в Казани, но по смерти отца обедневшей и распавшейся. Тема пьесы «Дети Ванюшина» почерпнута им из хроники собственной семьи, причем так близка к действительным живым лицам, что постановка пьесы в Казани надолго была запрещена автором.

Некоторая угрюмость и замкнутость в характере Найденова была, вероятно, следствием тяжелой семейной обстановки, в которой прошли его ранние годы.

При ближайшем знакомстве с этим всегда державшимся в тени человеком у всех оставалось приятное впечатление доброты, мягкости, сердечной отзывчивости, природной деликатности.

В первую зиму своей славы Найденов был холост, одинок, жил большей частью в первоклассных гостиницах, обедал в лучших ресторанах и вообще не знал, куда девать получаемые от пьесы деньги, казавшиеся ему огромными, но шикарный образ жизни не удавался и как-то не шел к его скромной вихрастой фигуре и эстетическим привычкам.

Иногда жаловался на одиночество, на то, что ему уже много лет и что надо жениться, пока не ушла слава: внезапной славе своей он плохо верил и боялся, что она может изменить ему.

В эту же зиму он как-то явился на собрание «Среды» к Андрееву вдвоем с молоденькой курчавой особой в красных сафьяновых башмачках и отрекомендовал ее: «Моя жена Инна Ивановна!»

После головокружительного успеха первой пьесы начались неизбывные неудачи последующих. Правда, в провинции с некоторым успехом шла его вторая пьеса «Богатый человек», в Художественном поставили третью — «Авдотьина жизнь» и четвертую — «Стены», но все они почему-то разочаровывали публику, не делали сборов и после нескольких спектаклей были сняты с репертуара.

С тех пор и до конца жизни литературная судьба жестоко и незаслуженно била Найденова. Он написал более десяти пьес. Одна из последних — «Работница» — была написана в 1916 году, ставилась в Москве и провинции, но, как и прежние, успеха не имела. Последующие совсем не ставились.

Это происходило не потому, что Найденов, кроме одной удачной пьесы, ничего не написал удачного. Все его пьесы в литературном и сценическом отношении ничуть не хуже «Детей Ванюшина», но по самому содержанию уже не имели для публики того значения, какое имела его первая пьеса.

В эту пьесу Найденов вложил все, что имел, сам переживший и перестрадавший ее горькую жизненную правду, которая оказалась такой близкой и волнующей для всей предреволюционной эпохи. Но ни природный талант, ни знание техники сцены не спасли его последующих пьес от несправедливого равнодушия публики, метавшейся в своих настроениях из одной крайности в другую.

Неуспех всех пьес, кроме первой, страшно отозвался на здоровье Найденова: у него началась чахотка, и все последние годы ему пришлось жить в Крыму, где больной драматург вынужден был поселиться на много лет до самой своей смерти.

Инне Ивановне выпала печальная судьба — превратиться в подругу больного, мнительного, потерявшего веру в себя и свой талант писателя.

Она мужественно и самоотверженно выполняла данную ей жизнью роль, не жалуясь на судьбу.

Никогда не жаловался и он, но, вероятно, тем тяжелее было таить в себе уныние, сомнение, тоску...

Летом 1916 года я в последний раз видел Найденова в Ялте. В это время ему было лет сорок семь: длинные и густые вьющиеся волосы его поседели как лунь, придавая ему сходство с Ибсеном. Единственным источником существования давно уже служили «Дети Ванюшина» и кое-какие крохи, уцелевшие от прежних сбережений.

В 1922 г. он умер и похоронен на Ялтинском кладбище.

Реакция и литература упадка после 1905 года. Арцыбашев

После поражения революции 1905 года началась беспощадная расправа, водворилась на много лет гнетущая, тупая реакция.

Реакционный политический режим породил у части интеллигенции реакцию внутреннюю, психологическую, уныние, пессимизм и упадок духа, сказавшийся в потребности найти забвение в чем-то другом: искали суррогатов в опьянении себя вином, кокаином, половой распущенностью, азартной игрой; мрачным флером по-

дернулось затуманенное сознание разочарованных душ, утративших веру в лучшее будущее.

«Все насмарку, и всему конец» — приблизительно такими словами обозначали эту длительную полосу отчаяния и горького разгула.

Арцыбашев, выступивший в миролюбовском «Журнале для всех» со «Смертью Ланге» и в «Современном мире» с рассказом «Рабочий Шевырев», ранее этого работал над длинным романом, в то время забракованным Миролюбовым. Теперь этот роман автор частями посылал в «Современный мир», где его стали печатать, не зная дальнейшего содержания рукописи.

Оказавшаяся «сексуальность» романа несколько смутила редакцию, хотя поневоле пришлось продолжать печатание в надежде, что суть произведения не в «этом».

Но именно «это» создало неожиданный и необыкновенный успех романа у публики, с болезненным вниманием относившейся к ставшим модными «проблемам пола». Заглавие романа, «созвучного эпохе», было «Санин».

Влияние этого пессимистического произведения, поставленного критикой «по ту сторону литературы», быть может, вопреки намерению автора, было исключительно «сексуальным»: в жизни появились «Санины», «санинцы» и «арцыбашевки».

Изданный отдельной книгой «Санин» прогремел на всю Россию, доставив автору сомнительное имя, полускандальную славу и довольно большие деньги.

Молодежь увлекалась Арцыбашевым, этой новой тогда знаменитостью: думали, что в «Санине» решается вопрос об «освобождении женщины», что автор вывел там самого себя, как нового «героя нашего времени», рокового красавца и победителя сердец.

На самом же деле Арцыбашев только мечтал походить на своего героя, но никогда не был им в жизни.

По внешности это был маленького роста чахоточный молодой человек, которому на почве туберкулеза когда-то была сделана трепанация черепа, наделившая его большим физическим недостатком — неизлечимой глухотой и неприятно звучавшим, несколько гнусавым голосом.

Правда, лицом он был недурен, но лицу своему с холеной, подстриженной бородкой и с подкрученными

маленькими усиками, желая хоть отчасти походить на «автора Санина», он старался придавать фатоватый оттенок, что, однако, ему мало удавалось, потому что на самом деле Арцыбашев совсем не был фатом. Ходил всегда в коротенькой студенческой косоворотке, студенческих форменных рейтузах и смазных сапогах, хотя никогда студентом не был, а учился в училище живописи, намереваясь сделаться художником.

Несколько странная, демократическая его наружность с заметным физическим недостатком, вероятно, мало импонировала «роскошным женщинам» санинского типа, которых Арцыбашев неизменно выводил в своих произведениях и к которым стремился в жизни, но никогда не имел успеха, за что мстил им в своих романах, рассказах и пьесах.

Физически обиженный природой и вместе одаренный духовно, болезненно самолюбивый и несчастливый в личной жизни, он, вероятно, уже вследствие своих природных данных был всегда склонен к пессимизму.

Личная его жизнь в этом отношении была чрезвычайно показательной: он рассказывал, что в юности его обманным образом обвенчали, напоив пьяным до беспамятства. Утром он удалил от себя навязанную ему жену и больше никогда не встречался с нею, несмотря на то, что имел от нее сына, которого никогда не видел и не хотел видеть. Мальчик был очень хорош собой и болезненно, фанатически любил своего знаменитого отца, известного ему только по фотографиям.

После такого неудачного «законного» брака Арцыбашев был двенадцать лет женат на женщине ничем не замечательной, был для нее совсем не по-«санински» любящим, верным и заботливым супругом, написал при ней «Санина», прославился, разбогател, но как только перевел на ее имя большую часть своих денег, она тотчас же оставила его ради заурядного актера быкообразной наружности.

Погоревав и обеднев, автор «Санина» встретился в Петербурге на многолюдной писательско-актерской вечеринке с маленькой выходной артисточкой и на другой же день женился на ней, польщенный легкостью своей победы. Эта жена проводила его до могилы, но говори-

ли, что он не столько любил ее, сколько ревновал, выстрадав пьесу «Ревность».

Таков был в «жизни» известный в свое время писатель Арцыбашев, автор «Санина», больной и несчастный человек.

После «Санина», переведенного на европейские языки и даже на японский, Арцыбашев дал ряд произведений с неизменным привкусом «сексуальности», но в сущности одно пессимистичнее другого: отвращение к жизни и неизбежность самоубийства — вот выводы, к которым приходят герои его последнего романа — «У последней черты».

У этой черты угасло и творчество Арцыбашева, модного представителя упадочной литературы в мрачную эпоху реакции — до Октябрьской революции.

«Леда» Анатолия Каменского. Вербицкая и Арк. Аверченко

До появления «Санина» в Петербурге был молодой, малозаметный писатель Анатолий Каменский, аккуратный, приличный и корректный, приятных манер человек, писавший столь же приятные рассказы, ничем не выделявшиеся из общей массы заурядных, но не плохих рассказов.

«Санинское» течение захватило и этого вполне уравновешенного человека: он написал небольшой рассказик «Леда» с эпизодом фантастического демонстрирования прекрасного женского тела и эстетической проповедью «о красоте», которая должна быть выше предрассудков.

Рассказ этот в литературном отношении был и остается самым слабым из всех немногочисленных произведений Анатолия Каменского, но, по иронии судьбы, именно этот рассказ сделал шум в литературе, возбудил у одних возмущение, а у других одобрение не художественно-литературной стороной, а остротой «модной» темы.

О «неприличии» этого рассказа так часто упоминалось всюду кстати и некстати, что Каменский, наконец, стал известен всей России главным образом как автор «Леды».

Этот сомнительный успех так ободрил скромного автора, что он серьезно уверовал в свою миссию пропагандировать то, что называется «нюдизмом»[1].

«Погоня за успехом», несомненно, окрылила Каменского, побудив его переделать рассказ в одноактную пьесу, сутью которой было, конечно, появление на сцене женщины в одних только башмаках.

Составив труппу, Каменский в качестве автора-антрепренера отправился с нею в артистическое турне по провинциальным городам с целью своеобразной агитации, ставя повсюду свою «Леду».

На первое представление публика являлась из любопытства, но потом утрачивала интерес: в пьесе не было никакого действия, а было «ревю» с эстетической проповедью.

В «ревю» же этом не оказывалось ничего ни чувственного, ни соблазнительного: хорошо было в древние времена знаменитой легендарной Фрине покорять сердца людей своей «божественной» красотой под открытым небом, под лучами горячего южного солнца, но исполнительниц «Леды», обладавших выдающейся красотой или талантом, Каменский не мог привлечь к своему турне в разгар зимнего сезона по занесенной снегом северной стране, а те маленькие актрисы, которые соглашались выступать, производили жалкое впечатление на халтурно обставленной сцене провинциальных театриков, с позеленевшим телом от стыда, страха и холода. Для храбрости прибегали к коньяку и кокаину, и все-таки были случаи обмороков «Леды» после выхода на сцену.

«Турне» пришлось прекратить, но в литературе имя Каменского как автора «Леды» осталось.

Гораздо большим успехом в то время пользовались произведения пожилой писательницы Вербицкой — исключительно у зеленой молодежи.

Это была как бы Чарская наизнанку. Серьезная критика с презрением относилась к ее «Ключам счастья», не находя в них ничего, кроме спекуляции, и ставя ее про-

---

[1] От слова «ню» (nu — голый *(франц.)* — обнаженная живая натура; изображение обнаженного тела.

изведения «по ту сторону литературы», но это нисколько не мешало громадному тиражу ее книг.

Такое же значение имела литературная юмористика, успех «Сатирикона» и «сатириконцев», главным образом Аркадия Аверченко.

Он очень быстро сделался всеобщим любимцем широкой публики: смешными рассказами на невинные обывательские темы литературный весельчак невольно вызывал улыбку на лице читателя, издерганного окружающей мрачной действительностью. Да и реальное лицо самого Аверченко никогда не было таким беззаботным, каким оно представлялось читателю.

Действительность, отражаемая в «пришибленном лепете» литературы, как в существовавшем тогда же «Кривом зеркале», становилась с каждым днем мрачнее и невыносимее.

МАЯКОВСКИЙ

Задолго до войны 1914—1918 годов в русской поэзии задавало тон преобладавшее в ней литературное течение символизма. (Кроме символистов, было много молодых поэтов, родственных им по духу, настроениям и стремлениям.) Под влиянием европейских образцов молодая русская поэзия ушла тогда в лабораторную работу, в искание новых форм.

Уже один только Бальмонт открыл и разработал целые россыпи музыкальных тонкостей языка, разнообразия размеров, изысканности рифм и такой виртуозной техники стиха, о которой не снилось старым идолам русской поэзии. Во главу угла прежде всего ставилось техническое мастерство часто в ущерб содержанию. Голая мысль в поэзии отрицалась, требовались образы, музыкальность и новизна формы, рифм и даже слов. Состязались в нагромождении образов, за которыми читателю самому предоставлялось угадывать затуманенный смысл поэтической шарады.

Внешне — это было несомненным подражанием западной изысканности, утонченно-эстетической гастрономии, гурманству европейской литературы, объевшейся буржуазным скептицизмом с пустой сердцевиной и роскошной косметикой старой красавицы. Внутреннее угасание духа насквозь омещанившейся жизни там давно прикрывалось тонко разработанной формой. Эстетическое гурманство преимущественно скрывало угасающий пепел прежних ярких огней.

То, что в русской жизни действительно отживало и разлагалось, жадно впивало в себя этот аромат пресы-

щения, смягчавший роковую, неумолкающую боль, помогавший на время забыть о пугающих предчувствиях, опьянить себя сладким дурманом утонченного эстетизма.

Но внутренне — искание новых форм для грядущего содержания, неудовлетворенность старыми формами и разрушение их уже являлось началом революции в русской литературе: чувствовалось отдаленное веяние нового всемогущего духа, неотвратимо охватывавшего старую Россию.

Но пока лабораторная работа поэтов, выковывавших новые формы художественного слова, не удовлетворяла широкие, примитивно здоровые слои, жаждавшие не только пустой формы, но и немедленного наполнения ее жгучим материалом. Там, глубоко внизу, все уже кипело расплавленным металлом и только ждало возможности вылиться. Там зрели громадные запросы великой страны, выросшей из детских свивальников, оттуда неизбежно надвигался грубый реализм человеческого страдания, борьбы и кипящего гнева. Для этого содержания вряд ли все-таки годились утонченные, хрупкие, заимствованные формы символизма: широким кругам снились говорящие громы, гигантские образы или по крайней мере громкоговорители и плакаты. В те времена политической реакции после подавления революции 1905 года, когда разочарованные русские души искали приюта в эстетизме и художественных исканиях, навстречу этой потребности шла не только литература, но и театр: там тоже происходили «искания»: искал выхода из «чеховских настроений» Художественный театр, ставя то Ибсена, то Шекспира, то инсценировки Достоевского, «искала» Комиссаржевская, искал Мейерхольд. В «Эрмитаже» московском некоторое время существовал новый богатый театр, роскошной постановкой «новинок» подавлявший чародейство Станиславского. Особый успех там имела экзотическая пьеса — якобы перевод с китайского — «Желтая кофта»: после исторической борьбы в желто-золотую кофту — символ высшей власти — облачался, коронуясь на царство, китайский принц, долго скитавшийся в неизвестности.

И тотчас же прославился доселе неизвестный, почти нигде не печатавшийся молодой поэт Маяковский, появ-

лявшийся в театрах и ресторанах в желтой кофте. Его удаляли оттуда при помощи полиции, со скандалом, газеты писали о «саморекламе» этого чудака, возмущались. Маяковский заставил прессу и публику говорить о себе благодаря необыкновенному костюму. Потом с компанией таких же, как и он, «неизвестных» поэтов уехал в литературное турне по провинции — все в той же желтой кофте. Публика недоумевала, не понимая: почему кофта? Хотя не трудно было предположить, что юный неудачник, стихов которого не принимала ни одна редакция, считал себя принцем поэзии и, по-видимому, «короновался» самовольно, не дожидаясь, когда его признают и возведут в ранг «короля поэтов». Такое самомнение казалось всем ловкой и смелой рекламой, оригинальной шуткой. Скоро поэты возвратились из турне с деньгами и скандальной «славой»: публика везде возмущалась стихами и костюмом Маяковского, дерзкими репликами поэтов с эстрады, кричала им «Долой!», но, движимая любопытством и желанием «возражать» им, всюду с боем лезла на их литературные публичные вечера. Сделавшись своеобразной «известностью», Маяковский с деньгами и славой вернулся в Москву, оделся франтом и больше уже никогда не надевал желтой кофты.

В это время мне случайно пришлось встретиться и познакомиться с ним в гостях у одного модного тогда писателя. Маяковским оказался высокий, здоровенный, жилистый детина в приличном костюме и каком-то оригинальном бархатном жилете. На вид ему можно было дать лет двадцать пять, хотя на самом деле могло быть и меньше, но уж слишком громоздким был этот великан с густым, сильным басом, важным видом, квадратным лбом коротко остриженной головы и презрительно выдающейся нижней челюстью. Его характерное, резко очерченное лицо с тяжелым взглядом глубоких глаз и просторным черепом казалось мрачным и застенчивым.

Совсем не таким представлял я себе героя скандальных вечеров и носителя желтой кофты. По газетам, это был развязный рекламист, авантюрист, трактирный кутила. Но этому представлению не отвечало непосредственное впечатление: Маяковский был очень серьезен,

сдержан, обнаружил большую начитанность по художественной литературе, держался скромно, иногда краснел и смущался. Казалось, что на эстраде и в литературе он чувствовал себя совсем не тем, чем был на самом деле. Таково было мое первое впечатление от встречи с Маяковским.

Прошло несколько лет. Имя Маяковского больше не фигурировало в хронике литературных скандалов, но зато появлялись в печати его стихи: он примкнул к редакции «Сатирикона», вращался в литературных кружках молодежи, в его стихах стало заметно влияние «лабораторной работы»: меткость сравнений, богатство изысканных рифм, мастерство техники. Школа символистов оказала ему, несомненно, большую услугу, и все-таки он чем-то отличался от них, выявлялось свое собственное, «Маяковское» лицо. Появилась его поэма под юмористическим заглавием «Облако в штанах», хотя ничего веселого в ней не оказалось: наоборот, она была проникнута революционным чувством, изобиловала крупными образами плакатного рисунка и была скорее печальна и лирична, чем остроумна.

Но большая публика еще помнила «желтую кофту», смотрела на Маяковского, как на «сатириконца», и ждала от него только вывертов, эксцентричностей и острот. Самое заглавие поэмы многих отталкивало от прочтения ее. Ничего серьезного, «идейного» в обычном штампе, а тем более революционного или хотя бы «гражданского» от Маяковского не ждали, да он и сам отмежевывался от тогдашних гражданских мотивов. «Облако в штанах» не сделало шума.

Как-то зимой в Петербурге я поехал с компанией писателей в знаменитый тогда кабачок литературно-артистической богемы «Бродячая собака» на объявленный там литературный вечер. Это было почти подземное помещение в подвале большого дома с ходом со двора, состоявшее из трех или четырех маленьких, низеньких комнат со сводчатым потолком. Стены его были расписаны художниками богемы странными, ярко красочными рисунками в декадентском стиле бредового содержания. Съезд в «Собаке» начинался после полуночи. Приехали в самый разгар литературного вечера. Было душно, дымно и тесно. С эстрады один за другим декламирова-

ли свои произведения молодые поэты — бледные, бритые юноши типа тогдашней богемы. Читали одинаково хорошо или плохо, но непонятно, новой тогда напевной, монотонной манерой.

На эстраду поднялась громадная, худая, жилистая фигура Маяковского. Той же общепринятой манерой он продекламировал наизусть свою поэму «Облако в штанах». Читал не лучше других, но хорошо звучал его обширный, богатый и сильный голос.

Публика «Бродячей собаки» была пестрая: в меньшинстве — артисты, писатели, художники, а в большинстве — нарядная, буржуазная, «из моды» приезжая сюда закончить вечер после театра, кутежа или ужина в ресторане.

Маяковский читал с пафосом:

Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкал,
и небье лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.

Публика, слушая, смеялась, принимая этот грандиозный плакат за очередную шутку поэта.

Дождь обрыдал тротуары...
на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз...
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало...

Опять было смешно, хотя насчет «сала» и неприятно немножко, но ждали какого-нибудь выверта и скандальности в духе капитана Лебядкина. Странно было видеть, как «проевшаяся насквозь» публика упорно не хотела понимать истинный смысл трагической поэмы, написанной в балаганном стиле шутовским языком Мармеладова:

Идите, голодненькие...
покорненькие,

. . . .

берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук—
пришел чтоб — и бился лбом бы!

Стихи прерывались смехом нарядной публики: революционно? Но ведь это Маяковский, шут и паяц, в «Бродячей собаке» потешает пьяных!.. Не серьезно же!

И чем громче орал он с эстрады странными, словно отрубленными топором стихами и сам похожий на топор с неожиданными и часто забавными рифмами, чем в больший приходил пафос, тем смешнее становилось мирно настроенной публике. Она твердо помнила, что ее забавляет шут, «человек, который смеется». Ей не приходило в голову, что, быть может, это Гуинплэн русской поэзии. Даже когда он проклинал и грозил, когда плакал о любви стихами, слушатели смеялись. И не приходило в голову пропахшему вином погребку «Бродячей собаки», что этому забавнику, зашедшему сюда с какими-то зловещими шутками, суждено в близком будущем оказаться Мефистофелем нарядной публики, которой будет тогда не до смеха.

Маяковский долго не имел успеха. Подняла его революция. На уличную трибуну площадей поднялся уже более не шут в желтой кофте, а «король футуризма», поэт-агитатор, принц революционного пафоса. Все было у него для этой исключительной роли: орущий смех, не знавший ни меры, ни размера, даже в лиризме звучавший в неизменном «фортиссимо», крупный, площадной язык, вечная приподнятость, плакатные, преувеличенные образы и сам он — огромный, с громовым голосом, как бы созданным для шумных площадей.

В своей литературной молодости он был принят как «гадкий утенок» из андерсеновской сказки с той разницей, что никогда не чувствовал себя утенком: всегда знал, кто он.

Его первые стихи не воспринимались в этой глухой реакции вследствие своеобразности формы, нарушавшей привычные традиции стихосложения; она казалась недопустимой дерзостью: Маяковский отбросил плавность размера, заговорил свободным, новым, ярко образным языком, умышленно допуская площадность и грубость тона. Это было неслыханно, оскорбляло хранителей старых, освященных временем литературных форм, отталкивало рядового читателя, никогда сразу не приемлющего оригинальности, и только молодежь, как это всегда бывает при появлении настоящего поэта, почуяла в

нем самое себя, свое настроение, дух протеста и вызова всему, что отходило в прошлое и чего «старшие» не хотели видеть из слепоты, лицемерия или трусости.

Он, как ребенок в известной сказке, первый крикнул, что «король без штанов!», свое же явление миру уподобил «облаку в штанах».

Скромный и даже робкий в обыденной жизни, Маяковский в своих стихах становился бесстрашным, а с эстрады казался дерзким и самонадеянным, когда дело касалось его веры в себя, в свое новаторство. В этих случаях он сравнивал себя только с Пушкиным: ему казалось, что ведь и Пушкин, отбросивший державинский стих и впервые внесший в поэзию разговорный язык, ужаснул хранителей «высокого стиля», вызвал их протесты и порицания, а при первых своих выступлениях был признан лишь немногими.

Что же касается высокой техники пушкинского стиха, то ведь она давно стала всеобщим достоянием: современная техника, после символистов и целого ряда позднейших виртуозов языка и рифмы, опередила пушкинскую эпоху.

Маяковский, действительно, имел право сознавать себя крупным представителем литературного мастерства, того мастерства, какого еще не могло быть в пушкинские времена: он не мог не сознавать себя первым поэтом мирового перелома, начавшегося в России.

По свойству каждого истинного таланта воспринимать впечатления и переживать всякое чувство в сильно увеличенном виде он чрезвычайно высоко ставил свою роль в русской поэзии. Это вытекало из всей психологии его несомненно сильной натуры: «непризнанность» принижает слабых, но в Маяковском она вызывала протест, возбуждала все его силы к действию, а силы были незаурядные. Чем больше его отвергали, тем настойчивее и тверже становилась его замечательная «вера в себя». «Непонимание» современников только увеличивало его энергию в работе над собой, утверждало уверенность в собственной избранности, в мессианстве.

Успех ему достался не сразу и не легко. Он много работал, много боролся за свою самостоятельность в литературе, прошел тяжелый путь неудач, непризнанности и

травли, и этот путь органически развил в нем революционное чувство борьбы.

Предчувствие поэтом своей будущей роли в русской литературе свидетельствовало о редкостной интуиции, об ощущении им близости катастрофического сдвига в русской жизни, когда об этом еще никто не думал.

Наступала эпоха, требовавшая от людей громадности сил, героических чувств и почти сверхчеловеческой энергии. Революция должна была создавать «поэта эпохи», и этот жребий выпал Маяковскому: в революции он нашел себя, перевоплотился в трибуна и пламенного агитатора в русской поэзии — явление, как и сама революция, еще небывалое в России. Развернулись планетарные масштабы, мировые горизонты, исчезла грань между возможностью и фантазией. Развенчивались и низвергались кумиры, разваливались и сокрушались царства, исчезали властные классы, гибли венценосцы, и самое небо подвергалось штурму.

С другой стороны, из глубины унижения, из тьмы неизвестности выдвигались на вершины власти новые люди: произошло головокружительное падение одних и возвышение других. В поэзии в самом начале социального катаклизма в первые ряды призваны были футуристы — по духу их творчества революционеры и новаторы. Талантливейшим из них оказался Маяковский. Как тут не закружиться даже и не слабой голове? Как не ощутить величия переживаемой эпохи? Психозом величия были охвачены не только отдельные личности, но главным образом массы, да и психоз ли это, когда грандиозность была неизбежна для величайшей из революций человечества?

В литературу хлынули новые силы, новые таланты, не считая подражателей Маяковского, с новыми мотивами, с новым, бодрым самочувствием, с лозунгами борьбы, ломки старого и строительства новой жизни — от символизма к новому реализму; сама жизнь давала слишком много выстраданного материала для широких изображений героической эпохи.

Самый футуризм был несколько заглушен и покрыт лавиной молодой и буйной советской литературы, но влияние Маяковского оказалось глубоким: он проложил новый путь не для подражателей, а для тех, кто яв-

лялся продолжателями его пути, кто, освободившись от нового штампа, выявил свое лицо.

В момент «величия» Маяковского, по-видимому, весьма мучительно переживавшего свое возвышение на вершину славы, вознесшей его так внезапно и предъявившей, быть может, сверхсильные требования, совершенно изменилось отношение к нему читателей, писателей и поэтов, да и состав их радикально изменился: читала и слушала его уж не «нарядная публика», ничтожество которой он знал, когда выступал перед ней в «Бродячей собаке», сам бесприютный, как бродячая собака. Он читал теперь свои поэмы перед тысячами рабочих Москвы, а потом и многих других мировых городов. Ему внимал «его величество народ», и уже здесь поэт, может быть невольно, чувствовал себя маленьким в сравнении с громадностью слушателя, впервые узрел себя на высоте, а под собой бушующую бездну революции.

В одном стихотворении этого времени Маяковскому чудится, что он стоит над Кремлем на куполе Ивана Великого и делает отчаянные усилия, чтобы удержаться и не упасть, а внизу шумит «народ московский».

Ему казалось, что революция превознесла его до небес, и в другом стихотворении представляет себя «на небесах»:

Эта вот
зализанная гладь —
это и есть хваленое небо?
. . . .
«Ну, как вам,
Владимир Владимирович,
нравится бездна?»...

«Прелестная бездна.
Бездна — восторг!»

Он говорит с небом, как демон, с иронической бравадой, с вызывающей насмешкой, но на самом деле именно с этого момента открывшаяся под ним бездна властно тянула его к себе: кипящие волны революции вздымаются и падают и опять подымаются, требуя все новых сил и жертв, бесконечного напряжения, бесконечного героизма.

Имя и творчество поэта революции навсегда будут связаны с ней.

Подобно Уитмэну, которому он сроден, Маяковский останется исключительным явлением в литературе, как исключительна сама революция.

Он жил и горел в грандиозных масштабах великой эпохи, чувствовал, писал и поступал гиперболически, в зависимости от общего подъема духа: все было в нем крупно, но это крупное до гигантских размеров увеличивалось на экране его воображения. Громадной казалась ему не только ненависть, но и любовь его, которая была не причиной, а только поводом: кипучая жизнь оборвалась внезапно, как звук струны, натянутой слишком высоко. Он умер, прервав свою кипучую жизнь трагической смертью и заключив ее стихом с улыбкой Гуинплэна.

1930

АНАТОЛИЙ ДУРОВ

Весной 1904 года я ехал по железной дороге в захолустный, но живописный приволжский город на летний отдых.

Стоя у окна в коридоре вагона и любуясь проплывавшими мимо зелеными полями и лесами, я в то же время заметил, что прилично одетый красивый человек интеллигентного вида, средних лет и среднего роста следит за мной, расхаживая около меня по коридору и как бы выбирая момент вступить со мной в разговор. Наконец он решился и, приподняв котелок, вежливо спросил меня, не тот ли я писатель, за которого он меня принимает. Убедившись, что не ошибся, отрекомендовался:

— Анатолий Дуров!

В завязавшемся разговоре мой знакомец сообщил, что едет со своей труппой в этот же город давать спектакли в цирке, и попросил меня заглянуть на спектакль.

— Непременно приходите, я и билет вам на дом пришлю.

Говоря о своей артистической деятельности, присовокупил, что он, кроме клоунства, немножко художник и поэт, пишет картины, сочиняет куплеты, эпиграммы и ведет многолетний дневник.

— Если будете когда-нибудь в Воронеже, — добавил он, — приезжайте ко мне: у меня там свой дом и собственный музей — вам интересно будет его посмотреть! Дневник свой собираюсь издать отдельной книгой, да боюсь, стоит ли?.. Вы, как опытный писатель, посмотре-

ли бы сначала, да и сказали бы свое мнение. Может быть, предисловие к моей книге напишете?

Я обещал. Разговор перешел на литературу и тогдашние бодрые настроения кануна первой революции. Знаменитый клоун показался мне вдумчивым, серьезным собеседником. За все время беседы он, кажется, ни разу не улыбнулся, и странным казалось, что профессия этого солидного, даже немного печального человека — смех!

На вокзале мы расстались добрыми знакомыми. В день спектакля он зашел ко мне с неожиданным подарком: принес небольшую картину в раме, оригинально написанную масляными красками на стекле, и собственноручно повесил ее в моем кабинете на стенку.

Случилось так, что вечером мне экстренно понадобилось ехать с пароходом часов в одиннадцать ночи. Перед началом представления я зашел к Дурову за кулисы сказать, что после первого отделения уезжаю прямо на пристань.

Дуров заметно огорчился.

Его выступление предполагалось во втором отделении, в конце спектакля.

— Тогда я выступлю в первом, — решительно сказал он. — и поеду на пристань провожать вас!

Артист так и сделал: выступил первым, своими остротами вызывая беспредельный хохот многочисленной публики. После переоделся и в антракте вышел со мной из цирка, чтобы сесть на извозчика.

Тут мы оба увидели, что и публика вся покинула цирк, расходясь по домам и не интересуясь концом спектакля: оказалось, что она собралась только для Дурова. За отсутствием зрителей спектакль прекратили.

Мы расстались надолго. Страна пережила большие события, печальные разочарования, наступила длительная реакция, произошло всеобщее «успокоение», «царили безверье и тоска».

Жить не стало веселее, но потребность в смехе не убавилась, даже как будто возросла.

В 1911 году летом я, на несколько дней остановившись в Казани, видел, как публика с «боем» ломилась в цирк, где висели яркие афиши, обещавшие «вечер смеха» «всемирно известного» Анатолия Дурова. От него ждали

острот политического содержания, которыми знаменитый артист и прежде славился.

Направляясь в цирк, я тотчас же увидел его на тротуаре, идущим навстречу мне. Он остановился, с комическим видом раскрывая объятья.

— Вот мы и встретились! Битковые сборы — пятнадцать лет не выступал в Казани! А у меня и труппы-то нет теперь никакой! Выступаю один, с женой да с дочерью, купил вот здесь полдюжины поросят и уже сделал их дрессированными! Вот и вся моя труппа! Ну, брат, уж теперь-то после спектакля зайдем ко мне — расписаться в моем дневнике, обязательно черкнуть что-нибудь на память, а может быть, и обещанное предисловие написать? А?

Огромное здание цирка, залитое огнями, было переполнено собравшейся публикой. Такое внимание к гастролеру создало в цирке торжественное, праздничное настроение.

Необыкновенный нервный подъем переживал и артист: в течение всего вечера он один, не надеясь более ни на кого, занимал собою публику. В атласном шутовском наряде, в дурацком колпаке с бубенцами, красавец, с небольшими черными усиками, в гриме Пьеро, набеленный и накрашенный, он не был теперь тем солидным человеком, каким казался в жизни, не был и цирковым шутом. Под дурацким колпаком все видели лицо и дерзкую голову, в которой кипели колючие, насмешливые мысли. Это был вдохновенный Пьеро, убийственные остроты которого хлещут не только высокопоставленных особ, но даже императоров.

Заткнуть народному шуту рот — значило для властителей открыто принять на свой счет замаскированные пощечины.

Многие из острот его, за которые он иногда и в тюрьму попадал, давно стали ходячими анекдотами, вошли в народный фольклор.

Губернатор Хвостов только тем и прославился, что однажды разрешил Дурову выступать при условии не касаться в своих остротах «хвостов». Тогда-то и появились ставшие «традиционным номером» поросята с хвостами, подвязанными алыми ленточками и запечатанными сургучом.

На вопрос из публики, что значит запечатанный хвост, паяц печально ответил: «Губернатор «про хвост» запретил говорить».

Были и еще более опасные шутки: Дуров вызвал из публики желающих переломить пополам серебряный рубль, на котором чеканился портрет царя, предлагая приз сто рублей.

С галерки спустился деревенский простоватый парень с надеждой «попробовать». Конечно, переломить не мог.

Тогда Дуров сказал ему: «Брось, перестань «ломать дурака!»

Все это и тому подобное давно было известно, но Дуров не повторялся, варьируя свои остроты на свежие злободневные темы.

На другой день на моем письменном столе лежала рукопись Анатолия Дурова, его дневник. Тут были рассказы из его богатой приключениями жизни, большею частью печальные, написанные просто и правдиво, повидимому, без всякой «выдумки», стихи, анекдотические воспоминания, забавные шутки, интересная и грустная автобиография «царя смеха», описание его музея в Воронеже и серьезная психологическая статья «о смехе», в основу которой была положена мысль «о неожиданности и разнообразности». Много фотографий, рисунков и портреты самого Дурова — то в «шутовском наряде» со смеющимся лицом, то в обыкновенном человеческом виде, и тогда с портрета смотрело хорошее, чуть-чуть печальное лицо с живыми, умными глазами, в которых притаился смех.

Эта двойственность его лица сказалась и в содержании рукописи: в ней отразилась вся пестрота, разнокалиберность, разносторонность многочисленных талантов широко одаренной, оригинальной натуры. Анатолий Дуров — это порядочный художник и поэт, хороший актер, декламатор, сатирик, беллетрист, гимнаст, коллекционер, остроумный, находчивый человек и великий клоун. Все это — веселое и грустное, серьезное и смешное — одновременно существовало в нем. Было совсем невесело читать его мило и трогательно написанный рассказ «Тюрьма», где описываются переживания бедного шута, попавшего прямо из цирка в европейскую тюрьму за

смелую шутку, которую сочли оскорбительной для короля. Короли не любят шутить, и перепуганный шут в ужасе плачет в каменном мешке. Чтобы как-нибудь утешить самого себя, он начинает «петь, становиться на голову, ходить на руках»... Странный арестант!

«Людей, людей мне дайте!» — кричит он в исступлении.

Если б король мог видеть шута, отнятого им у людей и ходящего в тюрьме на руках, он, вероятно, рассмеялся бы, приняв и горе его за новую шутку.

Автобиография Дурова — это печальный рассказ о сиротском, одиноком детстве, лишенном материнских ласк, бегстве от строгих педагогов в ярмарочный балаган, скитаниях с балаганной труппой, где акробаты спали на голом полу, подкладывая под голову собственные ноги, и т. д. Это был тернистый путь настоящего таланта, человека с определенным призванием «смешить людей». Но даже сделавшись «известным», он не был избавлен от трагических положений, когда антрепренер цирка силой вытащил его из квартиры от постели умирающего ребенка и вытолкнул на арену смешить людей. «Смейся, паяц!»

Невольно волновали его рассказы о мелких и низких людях, мстивших ему за острое словцо ударом палкой «сзади», истреблением его дрессированных зверьков, отравлением любимой ученой лошади и поджогом его цирка.

Все говорило за то, что не так-то уж легко и весело быть «царем смеха» и не совсем безопасно «смешить людей»: сила смеха страшна! Человека, в выдающейся степени одаренного этой силой, ненавидят и боятся те, по спинам которых прогулялся резко звучащий бич его сатиры. «Царя смеха» преследуют уязвленные подданные и не любят короли.

Но самой интересной частью этой пестрой книги показался мне «альбом» Дурова, в котором расписались его «друзья и поклонники». На первый взгляд эта «альбомная» литература не может иметь общественного интереса, но чем больше перелистывал и перечитывал я это бесчисленное количество надписей, стихов и афоризмов людей, ничего общего между собой не имеющих, кроме знакомства с Дуровым, тем более убеждался, что

он не даром собирал в этот альбом в течение многих лет всю свою «почтеннейшую публику», а, собрав, не себя показывал, как делал он в цирке, а приглашал ее теперь взглянуть на самое себя!

В самом деле, кого тут только не было! Вся публика биткового сбора в типичных своих представителях отразила себя в этом альбоме, как в зеркале и граммофоне. У всех живые лица, и все говорят. В первом ряду сидят члены Государственной думы, правые и левые, графы, князья, аристократы, знаменитые писатели, знаменитые артисты: тут Гегечкори, Куприн и Шаляпин, граф Бобринский, граф Илья Толстой, князь Волконский и много известных фамилий. Представители прессы, художники, прокуроры, политические ссыльные, земские начальники, полицейские, барышни и просто люди из публики. Все они высказались в стихах и прозе, в афоризмах, остротах и комплиментах, кто умно, кто глупо, некоторые остроумно, иные неудачно, но все с одинаковой симпатией к прославленному остряку и все расписались в этой симпатии, а некоторые, кроме того, в собственной бездарности. Дуров выставил их всех, как живую картину, а сам стоит рядом в своем шутовском костюме и загадочно улыбается глазами. «Посмотрите, господа, на самих себя, — как будто хочет он сказать, — и судите о себе сами!»

Больше он ничего не прибавляет, но загадочная и меткая насмешка вот-вот сорвется с его острого, как бритва, языка, на лету подхваченная дружным хохотом «почтеннейшей публики».

Загадочна душа таких редко родящихся людей, как Анатолий Дуров, поэта и сатирического артиста, с капризной насмешливостью избравшего своей аудиторией цирковую толпу и поприщем — роль «шута». Он всегда говорил «с народом», говорил, бросая в толпу острые мысли, «крылатые» словечки, едкие и подчас дерзкие насмешки над сильными и власть имущими. Этим он был известен, за это любим и за это имя его стало легендарным, а след, оставленный им в нашей жизни, не имеет ничего общего с шутовством.

Анатолий Дуров был «королем шутов», но никогда не был «шутом королей»!

1930

О ПЕВЦАХ

Известность певцов и актеров по самому свойству их дарований кончается почти тотчас же, как только они сойдут со сцены, иногда задолго до физической смерти. Даже о самых знаменитых остаются только воспоминания людей, слышавших их на сцене, да в виде исключения сохранившиеся в литературе впечатления больших писателей, если артисты случайно попадали под перо художников слова.

Так, Гейне увековечил впечатление от игры Листа и Паганини, так о русском трагике Каратыгине мы хотя бы отчасти имеем представление по замечательным рецензиям Белинского.

Правда, звуки пения и игры певцов и музыкантов нашего времени могут теперь сохранять для будущих поколений пластинки, но звуки машины будут лишь частью и тенью того впечатления, какое оставляет живой артист на сцене или на эстраде. В особенности это касается оперных артистов, у которых пение соединено с талантом пластики, мимики, способностями драматического или комического актера.

В настоящее время уже нет в живых тех людей, которые могли бы передать свое впечатление от пения Патти, и уже никто не может представить себе, в чем заключалось чудо ее обаяния. Очень немногие помнят Мазини, да и то уже старого, безголосого, вызывавшего недоумение и разочарование у тех, кто не слышал его раньше.

Все меньше остается людей, слышавших Альму Фострем или Хохлова, слава которых гремела когда-то.

Кто помнит таких певцов прошлого, как бас Шакуло, баритоны Унковский и Виноградов, тенор Преображенский, недолго бывших на сцене, но обладавших исключительными вокальными средствами! Кто помнит итальянских певцов в девяностых годах прошлого столетия? Вряд ли кто помнит артиста императорских театров Лярова, певшего в царствование Александра II и умершего в глубокой старости и полной неизвестности?

Увы! Не только память, но даже самые имена этих удивительных певцов, когда-то купавшихся в сиянии славы, исчезли из памяти людской, покрылись пеплом забвения, словно их и не было никогда.

Шакуло и Унковский были артистами столичных театров, но мне пришлось их слышать в начале девятидесятых годов в провинции, во время их летней гастрольной поездки с большой оперной труппой по городам Поволжья. Состав труппы был сильный, хор большой, и поездка эта, всюду привлекая битковые сборы, походила на триумфальное шествие. Вся труппа состояла из хороших певцов и певиц, но выделялись Шакуло и Унковский.

Шакуло и тогда уже был в пожилых годах, говорил, что голос его идет на убыль, но еще мощен был этот густой бас необыкновенной силы и большого диапазона, мягкого, приятного тембра. Он щеголял октавными низами и был единственным на оперной сцене Марселем с его огромным басом-профундо, ровным от октавных низов до громовых верхних нот. Мощная фигура соответствовала голосу.

Были у него и недостатки: он часто «врал» в пении. Голос его был до того массивен, что совсем не годился для быстрой колоратуры некоторых партий, и Шакуло просто пропускал «мелкие ноты». Был он и не плохим актером, но, конечно, по тогдашним временам не отходя от установленного шаблона. Суть была не в игре, а в его поистине колоссальном голосе.

Унковский обладал широким, трубным, походившим на высокий бас, необыкновенно сильным и красивым баритоном. Баритонов такой силы я потом так и не слыхал. Коронной его ролью был Демон. Знаменитый Тартаков, считавшийся лучшим исполнителем этой

трудной партии, даже в расцвете своего голоса не был в «Демоне» так хорош, как хорош был Унковский. Он буквально наполнял звуком весь театр, покорял не только своим необыкновенным голосом, но тем чувством, огнем, с которым пел всегда. При этом он был кутила, пьяница, широкая натура. По всем этим причинам, насладившись успехом, он скоро бросил сцену, мелькнувши на ней изумительно ярким метеором.

В те же времена уже сошел со сцены артист столичных театров Мельников второй (Миллер) и жил в провинции уроками пения, выступая иногда в концертах. Почувствовав убыль голоса, он сам оставил сцену, но те, кто слышал его даже на ущербе, поражались звучностью и красотой его голоса, а главное — первоклассным искусством пения: второй бас, подавлявший оркестр в нижнем регистре, он умел делать трель, в совершенстве владел закрытым головным звуком, уходя в область высоких теноровых нот. Голос с такой идеальной обработкой, с такой высокой техникой итальянской школы трудно было встретить среди русских певцов.

Мельников был на редкость хорошим учителем пения и в этом искусстве имел только одного соперника — Усатого, тоже бывшего артиста столичных театров, а в конце жизни гласного ялтинской городской управы. Известно, что Усатов был учителем Шаляпина.

Мельников кончил жизнь оперным режиссером и умер на сцене скоропостижно.

В середине девятидесятых годов на харьковской оперной сцене подвизались такие силы, как молодой бас Антоновский, баритон Виноградов, знаменитый тенор Преображенский, Ершов и замечательный артист Девиклер.

Царил Антоновский, бас выдающейся красоты и силы. По силе и размерам голоса он немного уступал такой громадине, как исполинский голос Шакуло, но зато владел звуком лучше, выступал даже в партии Руслана, доступной более для баритона, чем для баса.

Впоследствии он числился на «Мариинской» сцене, но не ужился там и через десять лет сошел со сцены. В последний раз он выступил в 1903 году в Москве в партии Мельника, когда уже взошла звезда Шаляпина. Огромный голос Антоновского, не утратив замечательной силы,

к этому времени успел потерять красоту тембра: он «проорал» свой голос. Появление Шаляпина создало новые, повышенные вкусы публики: кроме голоса и хорошего пения, от певцов стали требовать актерского искусства.

Последнее выступление Антоновского прошло незамеченным, при равнодушии прессы и публики. Певец имел мужество тотчас же, еще будучи в расцвете лет, сойти со сцены. Он удалился на свою родину — в Бессарабию, под сень собственного виноградника. Неблагодарная публика скоро забыла этого выдающегося певца, равного которому по голосу с тех пор не появлялось на русской сцене.

Баритон Виноградов считался тогда знаменитостью, но далеко ему было до Унковского: он отличался только необычайной звучностью голоса, обилием металла в нем. Все же это был один из замечательных Демонов того времени.

В ту пору на русской оперной сцене было много хороших баритонов, и может быть поэтому опера Рубинштейна была любимицей публики, почти не сходила со сцены.

Преображенский был на закате славы, его уже съедала чахотка, гастролировал редко, но я помню его истинно теноровый красивый тембр, ровный, спокойный голос, легко звучавший во всех регистрах, его высокую, стройную, худощавую фигуру.

Вскоре его затмил Ершов, впервые выступивший и обнаруживший обширный, сильный, великолепный тенор. Имел он шумный успех в партии Финна в «Руслане» с участием Антоновского, тогдашнего кумира публики. Голос Ершова казался безграничным, когда он свободно бросал в зал верхнее теноровое «ре». Пел и играл горячо, с настоящим темпераментом артиста.

Девиклер потерял верхний регистр своего замечательного тенора еще до поступления на сцену, но это был редкий в то же время драматический артист-художник. В опере коронной его ролью был Герман в «Пиковой даме». Он давал такой потрясающий, трагический образ, какого, кажется, никому не удавалось создать. Девиклер пел незадолго до появления Шаляпина и был как бы предвестником того переворота в устаревших

традициях оперы, который вскоре должен был произойти.

Но был и более крупный, предшественник Шаляпина — большой артист украинской сцены, драматург и один из главнейших создателей украинского театра — Кропивницкий. У него, как и у Шаляпина, было все: разнообразный сценический талант от трагических ролей до высококомических, большая музыкальность, сценическая внешность и богатый голос, в пении напоминавший отчасти голос Шакуло. В певучих ролях у него соединился первоклассный артистический талант с прекрасными голосовыми средствами и другими данными его богато одаренной многогранной натуры.

В молодости он начал свою карьеру прямо с Александринки, где выступал в первых ролях шекспировских трагедий: это был хороший король Лир, Отелло, Шейлок. Его место было в ряду корифеев образцовой сцены, рядом с Давыдовым, Варламовым, Далматовым и другими, но он посвятил себя родному украинскому театру и сделался его корифеем.

По существу трагик и драматический артист, а также и комик, он был вместе с тем отличным певцом. Соединение общей всесторонней артистичности со счастливыми природными данными, отданными Кропивницким родному театру, вскоре повторилось в еще более крупном и высоком даровании Шаляпина.

В те же годы Одессу пленяла замечательная труппа итальянской оперы, где выделялись бас Танцини и тенор Арамбуро.

Верные старинным традициям итальянской оперы, они считали ниже себя играть на сцене, быть актерами. Они были только певцами — но какими! Это были только голоса — но какие голоса!

Голос Танцини нельзя было слушать без чувства упоения: это был изящный, стройный, светлый звук серебряного колокола, свободно льющийся, гибкий, прозрачный, как хрусталь, каскад беспредельных звуков, волной разливавшихся и наполнявших громадину роскошного одесского театра. В сравнении с ним Шакуло и Антоновский показались бы неуклюжими, грубыми ревунами. Весь голос звучал легко, свободно, гибко и сочно, в верхнем регистре переходя в могучий баритон,

замиравший пианиссимо или вдруг расстилавшийся бархатными, нежными нотами. Только итальянцы могут так петь, с их природным устройством горла, когда нота раскрывается, как цветок навстречу солнцу.

Тенор Арамбуро перед первым своим выступлением возмутил публику капризными странностями: два раза назначали оперу «Ромео и Джульетта» с его участием и оба раза отменяли — тенор присылал сказать, что он еще не настроился, болен и не будет петь, а между тем та же публика, возвращаясь по домам, слышала из его квартиры рулады знаменитого тенора, да еще при раскрытых настежь окнах зимой.

Наконец он «настроился», опера была объявлена в третий раз, и Арамбуро выступил в роли юного, влюбленного Ромео: на сцену вышел старичок с небольшой седенькой бородкой, в пиджачке. Это был Арамбуро собственной персоной, не захотевший ни гримироваться, ни одеваться в оперный костюм.

В зале театра пошел было зловещий шепот, грозивший перейти в скандал, но певец запел — и словно околдовал переполненный театр: не стало седенького чудака, вышедшего петь Ромео в современном костюме; вместо него почудился настоящий шекспировский Ромео, пылкий юноша с трагической, безысходной любовью, сильной, как смерть. Это было какое-то наваждение, волшебство, чудо; все забыли, что они в театре, что поет невзрачный, седой старик. Волшебный голос уносил в иной, сказочный, фантастический мир.

Так пел Арамбуро.

ФЕДОР ШАЛЯПИН

I

Много рассказывали мне о Шаляпине нижегородские друзья Горького, у которого в Нижнем незадолго до моего приезда был Шаляпин. Кажется, это было их первое знакомство. Нижегородцы невольно сравнивали двух замечательных людей.

— Шаляпин со всеми людьми одинаково свободно держит себя, Горький же застенчив, сознает это, а потом злится!..

— Каков же он из себя? — допытывался я.

— Большой, высокий такой!..

— Неужели выше Горького?

— Куда тут! Громадина! И неуклюжий в жизни, а на сцене, действительно, преображается. Когда поет, все ноты одинаково легко берет — и высокие, и низкие! Не «жилится», просто очень поет!

Совершенно неожиданно столкнулся я с ним в Крыму весной 1902 года.

В прихожей одинокой большой дачи, где жил Горький с семьей, внезапно кто-то заговорил приятным, бархатным голосом, и появилась громоздкая фигура в поддевке и высоких сапогах: это был Шаляпин.

Никакой неуклюжести незаметно было в его крупной, почти гигантской фигуре; напротив, во всех его движениях чувствовалась эластичная сила и ловкость, глаза смотрели светло и весело, и весь он был какой-то светлый и ласковый, как будто смотрел на мир играючи,

«Какой сокол»! — невольно подумал я, внимательно приглядываясь и прислушиваясь к новому человеку.

Если бы я не знал, что это знаменитый артист, то все равно не мог бы не заинтересоваться одной только его наружностью: редкостный, ярко выраженный северный тип славянина! Белокурый, рослый, широкоплечий, с простонародным складом речи, изобиловавшей меткими словечками, брызжущей ядреным русским юмором, — он так похож был на деревенского парня! Войдя, тотчас же начал рассказывать что-то смешное о своем путешествии из Севастополя на извозчике, рассказывал в лицах и сценах — получалась забавная художественная картинка. Продолжая рассказывать, он с небрежной щедростью сыпал остротами, бессознательно роняя между ними глубокие замечания. В нем как бы бродило внутреннее обилие образов, он весь был полон благожелательной веселости, радостного отношения к жизни и людям. В его замечательном остроумии не чувствовалось желчи и злости, это был светлый, олимпийский смех, и оттого весь человек как бы светился изнутри сильным, прозрачным, солнечным светом, словно явился он из другого мира, как жар-птица, что светится во тьме...

Мы просидели весь вечер втроем, причем мне приходилось только слушать. А слушать было интересно: замечательные собеседники рассказывали друг другу каждый историю своей жизни, казавшуюся отрывком из тысячи и одной ночи. Это были две фантастических истории, сходных по обилию нескончаемых скитаний, лишений, приключений и переживаний, полных драматизма и чисто сказочных неожиданностей. Оказывалось, что много лет назад, в юности, они сталкивались в одном и том же месте, в одинаковом положении, может быть даже видели друг друга и опять разошлись, не узнав один другого, каждый в своих поисках. И они жалели, что пришлось встретиться только теперь, на вершине славы.

Теперь они как бы взирали с вершины на пройденный тернистый путь, и казался он издали таким живописно-красивым! Непреклонный гений властно вел каждого из них за собой, и оттого история их жизни, трудной и внешне несчастливой, стала красивой сказкой!.. Такие люди не находят счастья в благополучии.

Они умеют создать из своей жизни, полной неукротимой борьбы, необыкновенно драматическую поэму, действующими лицами которой являются они сами...

В разговорах ночь пролетела как на крыльях: только под утро разошлись мы по комнатам спать.

Утром на первый день пасхи к Горькому собралось несколько человек гостей: тут были приезжие писатели, композиторы, музыканты, художники и просто ялтинские интеллигенты. Было уже двенадцать, а Шаляпин все еще спал богатырским сном. Наконец, дверь быстро отворилась, и в ней, как из земли, вырос и замер в юмористически картинной позе Шаляпин — во фраке, изящный, выбритый, в каком-то особом галстухе; сообразно костюму он и сам как-то переменился и уже не был похож на вчерашнего деревенского парня в поддевке.

С его появлением общество оживилось: послышались шутки, каламбуры, смех. Центром всеобщего внимания был Шаляпин. Он ни на минуту не умолкал: остроты, вызывавшие неизменные взрывы дружного смеха, юмористические рассказы в лицах из собственных наблюдений и забавные анекдоты — все это сыпалось как из рога изобилия. Незаурядное, безобидное остроумие, тонкая наблюдательность, огромная память и способность из каждого пустяка создать экспромтом нечто художественное, а главное, удивительное чувство меры и такта — все это вызывало невольный восторг слушателей, и Шаляпин, может быть сам того не желая, занял позицию не только интереснейшего собеседника, но и поразительного артиста, заставившего всех слушать себя. Рассказывая, он моментально превращался в каждое из действующих лиц, а когда мимоходом упомянул, как в цирке видел дрессированную обезьяну, то превратился и в обезьяну; он мог сжать свою физиономию в кулак, потом разжать ее и вообще сделать из своего лица все что угодно. И это не было только высокой техникой мимики, но, действительно, перевоплощением и пока еще только шутками артиста.

Его попросили спеть — он не стал отказываться, как обыкновенно делают большинство певцов, а тотчас же с видимым удовольствием согласился. Аккомпанировал отличный музыкант. Шаляпин пел без конца; пропел

почти весь свой тогдашний любимый репертуар романсов: «Три пути», «Как король шел на войну», «Пророк», знаменитую «Блоху» и прочее. С каждым романсом он только еще больше распевался, воодушевлялся: слушать этот серебристо-бархатный, от природы поставленный, мощный, гибкий, свободно льющийся голос было для всех истинным наслаждением.

О голосе и пении Шаляпина написана целая литература, да и вряд ли найдется интеллигентный человек, который бы сам не слышал Шаляпина хотя бы в граммофоне. Голос его — высокий бас баритонного диапазона — обладал наибольшею силой, красотой и свободой как раз на самых верхних нотах; там, где обыкновенно басы «давятся» или дают уже меньше звука, чем на средних нотах, Шаляпин царил и плавал, как орел на простертых крыльях, открывая целое море нарастающих, мощных и полных звуков, стихая, как ему угодно.

О таком именно голосе, вероятно, мечтали все старые и новые композиторы, когда создавали героические партии для баса, да и весь Шаляпин с его голосом, мощной фигурой и большим лицом, очень удобным для всякого грима, с тонкой музыкальностью и необыкновенным чувством меры, такта и ритма, как бы нарочно был создан для оперной сцены. Голос, удивительно гибкий, бархатного тембра, мягкий и вкрадчивый, там, где надо являвшийся олицетворением мужества и силы, не поражал силой, не бил по ушам, но, незаметно разливаясь теплой и мягкой, ласкающей волной, поглощал в себя все звуки аккомпанемента.

Впечатление мощности Шаляпин создавал мастерским расходованием звука и дыхания, ему одному свойственными изменениями тембра голоса, а также и выражением лица, которое у него «жило» во время пения; получалось очарование, внушение, полное подчинение психики слушателей воле певца.

— А скажи, пожалуйста, — спросил его один из приятелей, — чем, собственно, ты тогда в Милане «ужег» итальянцев: голосом или игрой?

Выступление Шаляпина в Милане, в театре Ля-Скала, в опере «Мефистофель» Бойто, когда он отказался платить всесильной итальянской «клаке» за ее продажные аплодисменты, сделало шум во всем мире: русский

артист так поразил итальянцев, что даже «клакеры», позабыв о своем решении «провалить» Шаляпина, аплодировали.

— «Ужег» я их, — с расстановкой и совершенно серьезно объявил Шаляпин, — игрой. Голосом итальянцев не удивишь, голоса они слыхали, а вот игрой-то я их, значит, и ужег!

II

Мне случилось быть в Нижнем во время ярмарки, когда там гастролировал Шаляпин, и я пошел в театр посмотреть и послушать его в «Борисе».

С первого же его выхода, при первых звуках знакомого голоса, при одном взгляде на этот созданный им трагический образ «преступного царя» я понял, что Шаляпин — великий трагик. Самый грим Бориса — лицо человека с душой, измученной пламенною, адскою мукой, — поражал. В антракте я пошел к артисту в уборную — рассмотреть поближе этот грим. Меня встретил Шаляпин — Борис — с обычными, свойственными ему добродушными шутками, но я не мог разговаривать с ним свободно: на меня смотрело исстрадавшееся лицо «несчастного царя». Шаляпин гримировался сам, и с таким искусством, что даже на близком расстоянии, лицом к лицу нельзя было поверить, что это только грим, что борода наклеена, а морщины нарисованы. Это было настоящее, живое, страшное лицо «обреченного» человека.

Спектакль продолжался. Публика забыла самое себя, забыла, что она в театре, что перед нею подмостки, что на подмостках Шаляпин: не было Шаляпина,—была только совершавшаяся, леденящая душу трагедия.

Публика, беззвучная, с затаенным дыханием, была как бы в состоянии гипноза, и очень немногие заметили какой-то странный диссонанс в заключительной сцене смерти Бориса, когда за кулисами, в тон певцу, отзывается хор. Казалось, что хор фальшивит, понижая тон, но все настолько были поглощены переживаниями артиста, что никто на это не обратил внимания. До хора ли тут: на сцене умирал безумный «царь Борис»!..

По окончании спектакля я снова зашел в уборную

Шаляпина и неожиданно наткнулся на печальную и тяжелую сцену: Шаляпин плакал.

Он был все еще в «царском» облачении, но уже без грима, без парика, с сорванной бородой. Уронив голову и руки на запачканный красками гримировальный стол — плакал.

А у порога уборной печально стоял хромой антрепренер Айхенвальд, держа в руках большую пачку бумажных денег — тысячу рублей вечерового гонорара Шаляпину, — и извинялся:

— Простите, Федор Иванович!.. Что же делать? Лучших хористов невозможно было найти в провинции...

Шаляпин вытирал гримировальным полотенцем мокрое от слез лицо и голосом, осекшимся, дрожащим, повторял, волнуясь:

— Нет! Я больше не буду петь! Не буду!

— Но ведь, Федор Иванович, еще три спектакля осталось!

— Не буду!.. С таким хором не могу!.. Это ужасно: на полтона!.. Зарезали!.. Я сам был хористом, но никогда так не относился к делу... Не могу петь!.. Снимите спектакли!..

Никогда ни до, ни после этого я не видел Шаляпина плачущим и никогда не видел, чтобы антрепренеры просили у артистов извинения.

Шаляпин настоял на своем и, действительно, так и не выступил в дальнейших трех спектаклях, которые уже были анонсом обещаны публике.

Публика роптала на него: говорили, что знаменитый певец «закапризничал» из-за каких-то пустяков.

— Говорят, хор, что ли, на полтона сфальшивил, так из-за этого!..

— Только-то? Ну-ну! Зазнался Шаляпин: ну, хоть бы на целый тон!.. Капризный какой!..

— Да хоть бы на два тона, хоть бы совсем не было ни хора, ни дирижера: велика важность! Нам бы только «его» послушать!..

Так рассуждала «большая» публика.

— Неужто и за деньгами не погнался?

Действительно, капризный артист так и не погнался за ними, ибо «не мог» слышать, как хор фальшивит всего-то на полтона. Не видал я и артистов, которые

страдали бы так от «маленького» диссонанса, как на моих глазах страдал Шаляпин. Публика не понимала его страданий, не знаю, понимали ли хористы, и, несомненно, понимал их извинявшийся антрепренер.

На другой день, в сумерках, я зашел к певцу в гостиницу.

Он сидел один в маленьком, неприглядном номере (лучшего не нашлось за переполнением гостиницы ярмарочной публикой) и, кажется, все еще грустил. В руках у него была партитура — «Майская ночь», которую он, по-видимому, от нечего делать просматривал: пианино в комнате не было.

— Вот, — сказал он мне, — вещь, которую я очень люблю. Замечательное остроумие музыки!.. Эту оперу редко ставят потому, что здесь для всех партий нужно, чтобы певцы были хорошими актерами. А жаль!.. Вот, например!

И он потихоньку, почти шепотом, начал напевать мне «Майскую ночь», выбирая наиболее остроумные места из партии Головы, Винокура и Каленика. Напевая, он, конечно, тотчас же «перевоплощался» во всех этих действующих лиц, сразу же увлекся, развеселился и так рассмешил меня, что я во все время его пения хохотал от души. Да и нельзя было не смеяться: таким неподражаемым «Головой» и «Винокуром» был он передо мной, напевая вполголоса без грима и без аккомпанемента, только мимикой и интонациями воссоздавая высокоюмористические образы.

Не знаю, пел ли когда-нибудь Шаляпин с такой охотой для единственного слушателя без хора, без дирижера и оркестра, но только оказалось, что его слушал не я один, а еще кто-то за стеной, из соседнего номера.

В самый разгар этого домашнего представления, в тонкую перегородку кто-то сильно застучал кулаками и густой женский голос, в котором слышалось ничем не сдерживаемое бешенство, заорал:

— Послушайте, вы! Когда вы перестанете безобразничать? Нужно же дать покой людям! Слушала, слушала, нету никакого моего терпения! Перестаньте ералашить!

Тон соседки Шаляпина был так груб и возмутителен, что я, в свою очередь, хотел ей наговорить дерзостей че-

рез стену и сказать, что это поет Шаляпин, думая, что ее «тон» изменится к лучшему. Федор Иванович остановил меня, извинился перед дамой и закрыл партитуру.

— Бог с ней! — сказал он добродушно, махнув рукой в сторону сердитой соседки.

Эти маленькие эпизоды, вероятно, потому вспоминаются мне, что освещают истинный образ Шаляпина-артиста и то отношение «в жизни», какое обнаруживает мещанская публика даже к лучшим служителям искусства.

Вскоре после встречи с Шаляпиным на нижегородской ярмарке, этой же осенью, я заехал к нему в Москве на квартиру, в переулок около Тверской, где он тогда жил. Меня удивило, что весь переулок около его дома был забит народом: толпа была не менее тысячи человек. Лестница тоже была заполнена людьми, стоявшими «в очередь» вплоть до самой двери. Не знаю, почему никто из них не воспрепятствовал мне пройти через толпу и позвонить. Дверь полуоткрылась, но оказалась на цепи, а в щель просунулся здоровенный кулак длиннобородого Иоанна, как Шаляпин называл своего слугу Ивана, и уперся мне в грудь. Только всмотревшись, Иван быстро впустил меня и опять запер дверь с грозным окриком на людей, попытавшихся было проскользнуть вслед за мной.

Так как я до этого довольно часто бывал у Шаляпина и Иоанн хорошо знал меня, то сказал мне, называя по имени и отчеству и снимая с меня пальто:

— Уж вы извините, я по привычке и не посмотрел, кто идет, а прямо кулак выставил. Иначе нельзя — лезут! И ведь какие нахалы! Мы, говорят, друзья Федора, да мы с ним на «ты», как смеешь не пускать? А куда же тут пустить: их полон переулок, да и врут все... Друзья!.. — с презрением закончил солидный Иоанн. — Знаем мы этих друзей!..

— Зачем же их привалило столько? — спросил я.

— Да за билетиками же за даровыми!.. Чай, сами знаете, нынче наш бенефис! Если таким друзьям даровые билеты раздать, даровой бенефис в ихнюю пользу получится! Русская-то «клака» еще хуже итальянской, — заключил Иоанн, возвращаясь к двери.

Шаляпин встретил меня, окруженный обществом друзей другого сорта. Это были известные художники и композиторы, его постоянные гости и сотрудники, без совета и содействия которых он не приступал к созданию своих ролей.

В халате, небритый, бледный, имел он необычайно хворый вид: жалобно стонал, как умирающий, не находя себе места, как бы в предсмертной тоске.

Друзья поддерживали его под руки и с самым встревоженным видом успокаивали:

— Ну, успокойся же, успокойся! Все будет хорошо!..

— В чем дело? — спросил я их.

— Боится! — объяснили мне художники. — Волнуется перед спектаклем... Вы знаете, какую травлю подняли уличные газеты из-за высоких цен в первом ряду партера и лож бельэтажа... Галерка как была тридцать копеек, так и оставлена, а вот богатая-то публика подняла газетную травлю. Боится Федор, как бы спектакль не сорвали.

— Да напрасно он это, — добавил другой. — Не посмеют! Что они — свистать, что ли, будут? Или гнилыми яблоками кидать? Публика не позволит!

Человек, не побоявшийся в свое время всесильной итальянской «клаки», теперь испытывал смертельный страх перед своим «первым» выступлением в «Мефистофеле» Бойто, которым когда-то покорил Италию, страну певцов. По-видимому, это было оттого, что итальянцев Шаляпин не знал, и поэтому не боялся, а «своих-то» знал хорошо.

Я был на этом спектакле, в успехе которого так неуверен был Шаляпин, и, зная, каким-разбитым и больным, словно приговоренным к публичной пытке, я видел его за час до спектакля, сам начал бояться за него, когда увидал залитый огнями, раззолоченный зрительный зал Большого театра — эту колоссальную золотую яму, переполненную тысячами людей, гудевших торжественным и, мне казалось, грозным гулом. На минуту я представил себя на его месте: что, если он не захватит публику, не поразит ее, не даст чего-то сверхъестественного, чего она непременно ожидает от него, из-за чего, заплатив повышенные цены, собралась в таком чудовищном количестве? С какой злобной радостью повергнет

она тогда во прах своего кумира! Признаюсь, в этот момент я не желал быть на его месте, а если б был, то ощутил бы непобедимое желание отказаться от десятитысячного сбора, отменить спектакль и без оглядки убежать из театра, в котором, казалось, готовилась артисту какая-то расправа. Возможно, что и Шаляпин в этот вечер переживал подобные чувства, но жребий был брошен.

Медленно поднялся занавес, все увидели небо и в облаках — Великого Духа, дерзко и самонадеянно говорящего с Небом: он был громаден и бесконечен, этот Вечный Дух, черной тенью выплывший из бездны, подобный гигантской грозовой туче, принявшей форму бесконечной змеи, откуда громовыми раскатами разносился могучий голос...

Впечатление было ошеломляющее. Шаляпин пел мощно, и я не мог себе представить, как он, всего только час тому назад походивший на расслабленного, мог так быстро превратиться в могучего духа. Только в конце пролога, когда голос его, божественно звучавший, опускался на нижние ноты, заметно было, как этот голос чуть-чуть дрогнул на последнем, замиравшем звуке, и весь театр почувствовал, какое сильное волнение теперь уже успокаивалось в нем. Шаляпин нашел свои поводья и почувствовал бразды. Не страшны были тысячи «друзей», не получивших даровых билетов, даже если они купили себе их и присутствовали здесь.

После этого бенефисного спектакля, с предварительным газетным шумом, еще долго в «обозрениях» фарсовых театриков актеры, загримировавшись Шаляпиным, распевали от его имени на мотив «На земле весь род людской» куплеты, которые потом и сам он, смеясь, певал дома перед приятелями.

Я на первый бенефис
Сто рублей за вход назначил,
Москвичей я одурачил:
Деньги все ко мне стеклись!
Мой великий друг Максим
Заседал в бесплатной ложе,
«Полугорьких» двое тоже
Заседали вместе с ним!

И так далее.

III

Когда у Шаляпина родился сын, он на радостях созвал небольшую, но интимную компанию гостей: тут были только художники, композиторы и писатели. Весьма характерно, что если были у Шаляпина истинные друзья, то только из людей этих трех профессий. Я никогда не встречал у него певцов и актеров. Мне кажется, что последними он просто не интересовался, так как у них ему было нечему учиться, нечего взять, между тем художники всех видов всегда что-то давали ему, или, вернее, он умел брать у них то, что ему нужно и что он один мог претворять в свое собственное. Бессознательным, но верным чутьем он всегда находил в них корнями души ту почву, которая давала ему нужные соки. В особенности это верно относительно больших художников кисти, музыки и слова.

Теперь очень интересная компания собралась у него за чайным столом. Кроме гостей, был еще какой-то несчастный друг его юности, которого Шаляпин встретил в самом жалком виде, опустившимся до Хитровки, и приютил у себя. Друг этот, сильно помятый жизнью, значительно воспрянул духом. Производил он впечатление неглупого человека, но сознание погубленной молодости и отравленного алкоголизмом здоровья, по-видимому, с особенной силой терзало его, когда он сравнил свою судьбу с блестящей судьбой Шаляпина.

— Тебе хорошо было выбиться в люди, у тебя — талант! — завистливо возражал он Шаляпину, ободрявшему его. На это Шаляпин неожиданно ответил страстной и очень интересной речью.

— Да, — сказал он, — все меня попрекают моим талантом, а между тем, когда я начинал, я шагу не умел ступить на сцене! Все думают, что если талант, то уж и работать не нужно, а если кто-нибудь добьется успеха, то объясняют это только талантом, который ему с неба свалился...

Я работал, искал, добивался, мучился, и думаю, что упорством и настойчивостью можно достичь многого даже без таланта.

Шаляпин говорил долго, горячо и красноречиво о своих исканиях.

Слушая его, казалось, что говорит Дон-Кихот: только Дульцинеей Шаляпина была свобода искусства, а ветряной мельницей — неведомая и таинственная «монтировочная часть». Много крови и нервов она из него вымотала.

В это время к нему на цыпочках подошел Иоанн и что-то сказал на ухо. Шаляпин тотчас же поднялся и вышел в прихожую. Через несколько минут он возвратился за стол и, продолжая разговор, не заметил, что из прихожей вслед за ним пришел и сел за стол, ни с кем не здороваясь, какой-то субъект, тотчас же потянувшийся к водке. Неожиданно увидав его, хозяин подошел к гостю, тихо сказал ему что-то и ушел вместе с ним.

Мы не придали этой сцене никакого значения, продолжая общий разговор, но теперь Шаляпин исчез надолго. Только минут через двадцать возвратился он, запыхавшийся, раскрасневшийся от мороза, и рассказал странный, анекдотический эпизод, только что происходивший.

Оказалось, что странный гость, сидевший за столом, был совершенно незнаком Шаляпину и явился к нему попросить денег на похороны умершего ребенка. Шаляпин дал ему двадцать пять рублей, но, возвращаясь, увидел его сидящим с нами за столом. Тогда он вывел его в прихожую, где и попросил удалиться, объяснив, что у него семейный праздник и собрались только близкие знакомые, причем сам проводил его на крыльцо. У крыльца стоял лихач, а на лихаче сидел кто-то нетрезвый и, не замечая Шаляпина, крикнул: «Ну что, Ванька, достал?.. Едем к Яру!..» Тогда человек, получивший двадцать пять рублей, бросился бежать, а Шаляпин, поняв, что его просто обманули пьяные шелопаи, пустился за ним в погоню.

— На углу я-таки догнал его и дал ему по шее! — с довольной улыбкой, удовлетворенно заявил он нам.

Все смеялись этому странному случаю, представляя Шаляпина без шапки и в одном пиджаке преследующего человека, которому только что дал денег, чтобы в дополнение к деньгам дать еще и «по шее».

Я думаю, что у Шаляпина не мало бывало подобных «просителей», сильно подорвавших его доверчивость к людям и бередивших наболевшее чувство к «публике».

С годами это чувство, вначале добродушно-юмористическое, стало переходить в раздражение и, наконец, обратилось в постоянную, назойливую боль.

Пришел и ушел 1905 год, потянулись годы нудные, скучные... Россия мрачно «пила» от столиц до глухих деревень, и надоел трагический танец «танго». Несколько лет я бродил по чужим краям, редко бывал в Петербурге, еще реже в Москве; с Шаляпиным виделся мало и мельком. Скучнее стал он, скучнее стало у него.

В сентябре 1912 года я случайно попал в Казань и проживал там в полнейшем одиночестве, почти не выходя из номера гостиницы. Знакомых в этом городе у меня не было никаких.

Стояла солнечная, ведренная, золотая осень. В неподвижном прозрачном воздухе чувствовалась задумчиво-нежная печаль отцветающей осени, деревья были в золотом уборе, и желтеющие опадающие листья, тихо кружась, медленно падали на землю.

— А Шаляпин-то здесь, в Казани, — сказал мне как-то при встрече хозяин гостиницы. — Во «Франции» остановился. Вы, кажется, с ним знакомы?

Это известие показалось мне маловероятным: как будто бы незачем ему быть в Казани! Тем не менее, проходя мимо «Франции», я зашел в вестибюль гостиницы взглянуть, нет ли там его фамилии. Действительно, на черной доске между именами приезжих было написано мелом: «Шаляпин». Я попросил слугу доложить обо мне. Через минуту ко мне прибежал слуга Шаляпина — молодой китаец Василий, давно уже сменивший Иоанна, чтобы убедиться, действительно ли это я, до того неожиданной была для него эта встреча.

Шаляпин встретил меня, одеваясь куда-то идти. На висках его я впервые заметил седые волосы. Острил он теперь не так весело, как прежде. Говорил о Казани, вспоминая своего отца, свое детство и юность, так как в этом городе началась его жизнь. Отсюда ушел он в ранней юности в смутных мечтах о служении сцене, оставив в бедности отца и близких.

— Отец мой спился, — часто вспоминал он. — Мать умерла с голоду. Но это не остановило меня... Отдыхал на Волге летом. Вот и завернул в Казань взглянуть на родной город, хожу здесь, отыскиваю те места, где ко-

гда-то жил... Пойдем вместе прогуляться, — предложил он мне. — Иду посмотреть, цела ли сапожная мастерская, в которой я служил подмастерьем у сапожника.

Я охотно принял его предложение.

Шаляпин завел меня на какие-то задворки и там, во дворе, отыскал деревянное старое здание, над покосившейся дверью которого висела сапожная вывеска, но фамилия сапожника была другая, не та, которую помнил Шаляпин.

— Я уже был здесь! — признался он мне. — Справлялся. Представь себе: всего только года три назад умер тот сапожник, у которого я здесь работал «в мальчишках». Жаль, не застал, хороший был человек, поговорил бы с ним.

Воспоминания печального детства и горемычной юности, вероятно, охватили его.

Постояли перед хибаркой, помолчали.

— Пойдем!.. — сказал он, как бы очнувшись от задумчивости. — Сходим еще в мужской монастырь, я там жил, в этом монастыре, служкой был.

Пошли в монастырь.

— А вот управских сослуживцев моих я тут всех разыскал и снялся с ними со всеми в группе, — продолжал он, шагая по тротуару. — Я здесь писцом в земской управе служил.

Мы вошли во двор древнего, замечательно живописного монастыря. Во дворе было кладбище. Вошли в полутемную церковь, где происходила служба и стояли молящиеся. Постояли и мы, послушали. Потом вышли.

— Зайдем в общежитие, — сказал Шаляпин. — Там есть комната, в которой я жил.

Вошли в угрюмое, грязное здание с длинным, полутемным коридором, в котором пахло щами и помоями. Повсюду были грязные, засаленные двери с рваной войлочной обивкой. В конце коридора он остановился перед одной из таких дверей.

— Вот! — сказал он с волнением. — В этой комнате!

Мимо нас проходил чернобородый молодой монах в коленкоровом черном подряснике.

— Можно нам войти сюда? — робко спросил его Шаляпин. — Нам только посмотреть...

— Можно, можно, — отвечал монах, предупреди-

тельно отворяя дверь и оглядывая важную, внушительную фигуру.

Мы вошли в ужасную, полутемную, сырую комнату, в которой, по-видимому, теперь никто не жил. Стекла единственного окна, кажется, никогда не мылись. Голая койка, некрашеный грязный стол и какая-то рухлядь на полу.

Шаляпин опять долго стоял молча, о чем-то думая. Казалось, он ожидал здесь, как и у сапожной мастерской, встретить то хорошее, что — он помнил — было здесь когда-то!

Или вспомнил он юного монастырского служку с пылкой головой, обуреваемой несбыточными мечтами, которому было хорошо здесь?.. И отчего было хорошо?.. Не от пламенной ли юной фантазии, не замечавшей окружавшего убожества и уносившейся в сказочное царство?..

Отчего же теперь тут так голо, неприглядно и холодно, словно навсегда ушло отсюда то, что как будто оставил здесь юный мечтатель?..

Я не мешал Шаляпину думать и молчал все время, пока мы возвращались к нему в гостиницу.

Войдя, он, не снимая пальто и шляпы, сел на стул, стоявший посреди комнаты, и, облокотясь на трость, незаметно для самого себя запел тем тихим, за душу хватающим фальцетом, каким умел петь только Шаляпин:

Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?..

IV

«Императорские» театры платили Шаляпину не очень много: всего только сорок тысяч рублей за сорок спектаклей зимнего сезона. Потом, когда весь мир признал его гениальным артистом, стали платить больше. За выступления в концертах вместо тысячи рублей за выход платили втрое, а впоследствии — вшестеро.

На летний сезон его выписывали за границу, большею частью в княжество Монако, где царила рулетка и лились бешеные деньги. Однажды он и сам проиграл триста тысяч франков — все, что успел «напеть».

Тогда директор игорного дома, по существующему там обычаю, принес ему в подарок за такой крупный проигрыш чек на десять тысяч франков, сказав, что м-сье Шаляпин, конечно, может опять продолжать игру, но если он надеется выиграть, то пусть он знает, что вообще выиграть в рулетку крупную сумму нельзя. Певец «напел» еще сто тысяч франков и имел характер прекратить азартную игру.

В годы расцвета своих сил, голоса и славы он пел без отдыха зиму и лето. Для этого нужно было иметь кроме таланта еще и богатырское здоровье, могучие нервы, неутомимое горло и необъятные легкие.

Великий артист жил на широкую ногу, но неустанный труд не оставлял времени на увлечения радостями жизни: подрастала куча детей, он заботился об их будущем, стараясь обеспечить семью и собственную старость.

Однажды, зайдя к нему в Петербурге, я еще от порога услышал пение: под рояль пел хороший, но уже сильно подержанный бас. Шаляпин аккомпанировал представительному старику с густыми, длинными кудрями, еще не совсем поседевшими.

— Это знаменитый когда-то Ляров! — сказал мне хозяин, когда гость ушел. — Пел на большой сцене Мефистофеля, Сусанина, Бертрама. Со сцены сошел еще при Александре Втором. Теперь служит конторщиком, получает семьдесят пять рублей в месяц. Таков конец многих знаменитостей. То же может быть и со мной, если не думать о будущем. Врагов, завистников и ненавистников у меня неисчислимое количество! Но я и тогда, когда придет старость, спадет голос, когда сойду со сцены, не пойду к ним кланяться и унижаться. У меня есть деньги! Я знаю, что́ такое нищета, но не бедность сама по себе страшна мне, а связанное с ней унижение. Неужели фортуна, поиграв мной, снова бросит и меня обратно? Нет!.. Со мной не будет этого!

И Шаляпин, словно возражая кому-то, стал ходить по комнате, волнуясь и повторяя:

— У меня есть деньги!

С точки зрения большой публики он был счастливец,

которого капризная фортуна осыпает золотым дождем.

Многим не давали спать не слава и успех его, а прежде всего деньги: ведь хористом был, ничтожеством, выдвинулся из мужичков, без образования, из простых, бедных людей!

Как-то в доме Шаляпина появилось новое лицо — младший брат его, вскоре исчезнувший. Спустя долгое время я спросил о нем. Старший ответил с горечью:

— Он спился окончательно — от зависти ко мне и вдобавок обокрал меня! Ведь зависть всегда переходит в злобу. Должно быть, именно поэтому у меня такая масса врагов. В особенности их много из числа тех людей, для которых я делаю что-нибудь хорошее. Ненавидит меня также и та актерская братия, которая привыкла относиться к искусству с точки зрения «двадцатого числа», и все у нее сходило с рук, а теперь нельзя стало! Терпеть не могу дураков, в особенности, если они попадают на сцену!

Шаляпин юмористически улыбнулся.

— Знаю, что скажут обо мне все они, когда я умру... Скажут — сво-лачь был, но — талантливый. А ведь мне только это последнее и нужно!

Случилось, что за кулисами появилась даже «мать» Шаляпина, деревенская старуха, несомненно кем-то подосланная за крупной суммой.

— Он, он самый, как есть мой сынок!

Когда мнимый «сын» объяснил, что мать его похоронена в Казани, и отказал в деньгах, старушка, уходя, недовольно бормотала:

— Какой скупой!

Мне случайно пришлось быть свидетелем разговора Шаляпина с крупным адвокатом о том, как быть с шантажистами, грозившими взыскать с него сто тысяч за воспитание двадцатилетнего «незаконного ребенка».

Больше всего, однако, опасался он тайных врагов, не раз прибегавших к газетным «уткам» для очернения его имени.

Черносотенные круги высшего общества давно были недовольны дружбой знаменитого «императорского» артиста с «левыми» писателями и общественными деятелями.

V.

Однажды русские газеты — столичные и провинциальные — подняли шум из-за того, что знаменитый оперный артист Шаляпин стоял на коленях на сцене Мариинского театра во время исполнения хором народного гимна в антракте оперного спектакля, на котором присутствовал царь Николай II.

Все газеты отнеслись к этому поступку великого актера с нескрываемым осуждением, иронией и презрением, за исключением правых, приветствовавших его за проявление монархических чувств.

Газеты восстановили против прославленного артиста всю тогдашнюю интеллигенцию: Шаляпина, члена литературной «Среды», снимавшегося вместе с группой писателей «Знания», дружившего с Горьким и Плехановым, считали, во всяком случае, сочувствующим революционному движению, предполагали и верили, что раз он демонстрирует свою дружбу с революционными писателями, то, вероятно, и содействует им. Ценили в нем не только артиста, но и «демократа», несомненно тяготеющего ко всеобщему и обязательному — левому настроению. Его имя постоянно ставилось рядом с именем Горького — идола эпохи.

Всем было конфузно и стыдно за него, досадно на себя, зачем считали Шаляпина «левым», когда он оказался архиправым и даже в этом расписался в своем знаменитом «письме в редакцию» в ответ на ругань левых и похвалы правых газет; в этом ответе Шаляпина за его подписью было напечатано, что он действительно «стоял на коленях» и сделал это потому, что, улицезрев «помазанника божия», не мог сдержать прилива верноподданнических чувств: заговорило его «ретивое», истинно русское сердце. Письмо было написано «черносотенным» языком и вызывало невольное недоумение. Именно это письмо с выражением верноподданнических чувств страшно уронило и унизило имя Шаляпина в общественном мнении, облило его всеобщим презрением, было понято не как проявление каких бы то ни было политических убеждений, но как унизительное холуйство.

В Петербурге в интеллигентных кругах и в особенно-

сти в среде учащейся молодежи с возмущением говорили о публичном самооплевании артиста, многие призывали бойкотировать Шаляпина, то есть никогда больше не ходить на его спектакли.

Крайне-правых, «монархических» взглядов «артист из мужиков» до этого своего письма никогда не исповедовал. Следовательно, такой припадок произошел с ним, как полагали, под каким-то давлением, неискренне, из какого-нибудь расчета. Но какой же расчет так уронить себя в глазах всей страны, подвергаясь всеобщим заушениям? Наоборот, уж если искать выгоды, то выгоднее было бы отказаться, «пострадать за отказ»: с каким восторгом отнеслись бы к такому «героизму» те же газеты и все «общественное мнение»! Ведь отделался же писатель Амфитеатров за «Господ Обмановых» всего только маленькой ссылкой, но зато был прощен прессой за сотрудничество в «Новом времени», а публикой по возвращении из пустяковой ссылки был встречен овациями, как герой! Вот какое было время!.. И не глуп ли какой-то там «расчет» Шаляпина?.. А между тем, по рассказам, он сам организовал пение гимна и стояние на коленях, стоял в этой позе перед царем впереди всего хора. Да еще печатно подтвердил свое стояние, объяснив приливом монархических чувств!

Глупо, нерасчетливо и фальшиво!

Всю эту историю я, находясь в то время в поездке по провинции, знал из газет, но, вернувшись в Петербург, только и слышал от всех встречных и поперечных, что выражение негодования по адресу Шаляпина. Газеты продолжали измываться над ним, даже карикатуристы и цирковые шуты всячески варьировали эту тему.

Но мне все-таки казалось, что тут «есть что-то», какое-то недоразумение: слишком невероятна была бестактность Шаляпина.

Я знал и любил этого умного, чуткого человека и в душе был бы рад найти для него какое-нибудь оправдание: ведь его осуждали не за политические убеждения, а за лицемерие, холуйство, подхалимство, публично обнаруженные; мне больно было бы окончательно убедиться в этом. Я ждал случая лично встретиться с ним.

Вдруг Шаляпин сам прислал за мной с просьбой непременно и немедленно приехать к нему на квартиру.

Жил он тогда на Петербургской стороне, на краю города в собственном доме. Я встретил у него в кабинете еще несколько петербургских писателей.

Завидя меня, хозяин сказал:

— Ну, вот спасибо, что приехал. Теперь все в сборе. Жаль, нет Андреева, а Горький на Капри и на мои письма не отвечает. Господа! Я не имею возможности печатно восстановить истину о моем якобы стоянии на коленях перед царем и хотел бы, чтобы вы здесь выслушали меня и не поступили бы так, как поступил Плеханов. Он вернул мне по почте мою фотографическую карточку с надписью: «Возвращается за ненадобностью»! Согласитесь, что ведь это — пощечина! И неужели ему не пришло в голову, что газеты, которым он так легко поверил, слишком часто врут, что все напечатанное про меня могло быть неправдой уже по одному тому, что напечатано в газетах!

Опровергать все это в газетах я не буду, по обстоятельствам дела — не имею возможности, да и не умею я писать по-газетному, никогда не пробовал. Лучше я расскажу вам всю правду на словах.

Шаляпин, видимо, был взволнован, курил одну папиросу за другой, встал с кресла во весь свой огромный рост и, стоя перед нами, продолжал:

— Произошло все это вот как. Назначена была опера «Борис Годунов», на которой должен был присутствовать царь. Вы знаете, что на таких казенных спектаклях обыкновенной публики не бывает: весь театр полон военными чинами, придворными, охранниками и сыскной полицией.

Перед началом ко мне приходила депутация от нашего оперного хора с просьбой во время спектакля передать царю прошение хора о прибавке жалованья. Я на это не согласился и объяснил почему. Я находил, что обращаться к царю на парадном спектакле с просьбами, да еще с такими наивными, как прибавка жалованья хористам, неуместно, лучше это сделать обыкновенным путем, в другое время. Хористы ушли, недовольные моим отказом, и, кажется, обиделись, попрекнув, что я сам когда-то был хористом, а теперь, видно, забыл об этом. Наверное, решили, что «зазнался», и, как потом

оказалось, вознамерились, по их терминологии, «подложить мне свинью» — и подложили.

Наступил спектакль. Я играл «Бориса».

У придворной чопорной публики не принято хлопать артистам, но после третьего акта вся она поднялась и шумно мне аплодировала: должно быть, удалось мне расшевелить ее. Я должен был выйти на поклон. И вот, откланиваясь аплодирующей публике, вдруг вижу: на сцену торопливо выбегают хористы и еще на ходу начинают петь «Боже, царя храни».

Первой моей мыслью было: что случилось? Я знал, что в программе спектакля пения гимна не предполагалось, иначе бы меня об этом предупредили, — значит, случилось что-то экстренное, неожиданное: родился, что ли, кто-нибудь в царской фамилии или произошло что-нибудь в этом роде. Хотел кинуться за кулисы, чтобы узнать, в чем дело, но декорации третьего акта в этой опере представляют глухую комнату с одной только маленькой дверью в глубине сцены, а дверь загородил собою хор, уже певший на коленях гимн. Я оказался в мышеловке: со сцены уйти не могу, стоять столбом во время гимна, когда весь хор стоит на коленях, неудобно, и — признаюсь, господа, — я, чуть ли не в первый раз в моей жизни, растерялся! Да, признаюсь, я после некоторого колебания, спрятался за высокой спинкой кресла около кулис.

Потом объяснилось, что хористы за свой страх, экспромтом и тайно от начальства устроили эту демонстрацию, не предупредив о своем намерении никого, и, кажется, пытались подать царю свою челобитную, меня же насильно и обманом заставили принять невольное участие в их коленопреклонении во время пения гимна.

Скандал произошел невероятный. Царь был очень недоволен. Распорядители спектакля и вся администрация театра перетрусили, пришли в ярость. Хористам нагорело, а меня на другой день вызвали во дворец для дачи объяснения по этому странному делу.

Вот, собственно, и все. Довольно глупое закулисное недоразумение, актерские дрязги, какие бывают каждый день, если бы не фигурировало мое «стояние на коленях». Врагов, завистников и ненавистников у меня — тысячи! Думаю, что именно благодаря их воздействию